

Н О В Ы Й
М И Р

11

Н О В Ы Й
М И Р

1959

11

1959

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 11

Ноябрь, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПАВЕЛ ГРУШКО — Эпохе нельзя повториться... Стихи	3
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ — Ленинский броневик, стихи	4
ПАВЕЛ ШЕГЛОВ — Россия, стихи	5
ВЛАДИМИР КУЛАГИН — Опоры, стихи	6
НИКОЛАЙ ПЕРЕВАЛОВ — Первая космическая, стихи	7
С. ГЕОРГИЕВСКАЯ — Тарасик, повесть	8
НИКОЛАЙ ЗАЕВ — Начало дня, стихи	59
И. ИСАКОВ — Кавалеры	61
НИКОЛАЙ ДИМЧЕВСКИЙ — Мастера, стихи	75
СТ. РАКША — Турбаевцы. Литературная запись Е. Герасимова	77
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
А. ТВАРДОВСКИЙ — Заметки с Ангары	121
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ИСКАТЕЛИ:	141
А. Борин. Иван Иночкин.	
С. Синельников. Леонид Лалетин.	
В МИРЕ НАУКИ	
А. Ф. ИОФФЕ, академик, И. Б. РЕВУТ, кандидат сельскохозяйственных наук — Физика и технический прогресс в сельском хозяйстве	157
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛ. СОСНОВ — В Бирме. Путевые заметки	166
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
По страницам иностранных литературных журналов	214
В. Стеженский. Дух мира — дух времени.— Вл. Рубин. «Доказательства» недоказуемого.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
КОРНЕИ ЧУҚОВСКИЙ — Луначарский (Из воспоминаний)	220
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
О. МИХАЙЛОВ — Трибуна братских литератур («Дружба народов», январь — сентябрь 1959 года)	236
ТОМОДЗИ АБЭ — Традиции и современность. Письмо из Японии. Перевела с японского И. Львова	248
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Мунблит. Повесть о рыбаках.— А. Павловский. Приметы времени.— И. Мотяшов. Правда сказки.— Н. Стальский. Книга живет.— И. Бернштейн. Чешский писатель об Америке.	254
<i>Политика и наука</i>	
А. Таланов. Книга о нашей Родине.— Кандидат исторических наук И. Портной. Очерк о целинном крае.— Полковник Н. Денисов. Воспоминания советского маршала.— П. Шелест. Выдающийся революционер и публицист.— Кандидат филологических наук П. Николаев. Летопись русской печати.	267
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Вяч. Нечаев. Л. Фейхтвангер на встрече с работниками ЦАГИ.	279
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

*Да здравствует 42-я годовщина
Великой Октябрьской
социалистической революции*

ПАВЕЛ ГРУШКО

★

Эпохе нельзя повториться,
не вечно движение сердец...
Им было в ту пору по тридцать,
штурмующим Зимний дворец.

Сегодня мое поколение —
мечтатели до двадцати —
в другое идет наступление,
чтоб в тридцать в Коммуну войти.

Отцы нас исполнили силой,
и нет этой силе конца.
И кровь их ушла не в могилы,
а в жаркие — наши — сердца.

Москва.



ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

★

ЛЕНИНСКИЙ БРОНЕВИК

Стоит у музейного входа,
исклеванный пулями зло.
В железные трудные годы
родиться ему повезло.

...Захлебывались пулеметы,
от ярости раскалясь.
Он шел по карельским болотам
на бой — за Советскую власть.

Под гром и скрежет металла,
в дыму, в слепящем огне
грозное «Смерть капиталу!»
он нес на стальной броне.

Не раз его смерть касалась,—
он выжил, фронты пройдя.
Вела его в бой, казалось,
железная воля вождя.

Ленинград.



ПАВЕЛ ЩЕГЛОВ

★

РОССИЯ

Мне мать оставила наследство:
Рубец под глазом — след ожога,
Не знавшее гребенки детство
Под крышей чердака чужого.

И рад бы затеряться —
мета!

Взгляните,
будто по заказу!
Кто б ни проштрафился —
к ответу
Мальчишку с ручейком под глазом.

Мне по плечу такая ноша,
Я с нею вышел в мир огромный
До нитки вымокшим, продрогшим
Солдатом армии бездомных.

Солдатом лет семи от роду,
В лохмотьях и худых опорках,
Мечтавшим о морских походах
У жизни где-то на задворках.

И что б с моей судьбою стало?
Но ты склонилась надо мною
И в душу властно постучалась,
Назвавшись матерью родною.

Вошла, на голове косынка,
Свежа, как первый луч рассвета,
В больших — не по ноге — ботинках,
В простую кожанку одета.

Увидела —
и сердце сжалось
От боли материнской, горькой.
Ты на ногах едва держалась,
Сама лишь встав с больничной койки.

Валили с ног ветра косые,
Морозы жгли — не отогреться...
Такой я знал тебя, Россия,
Такой вошла ты в память с детства.

Старобельск.

ВЛАДИМИР КУЛАГИН

★

ОПОРЫ

Из Жигулей на запад, в горы,
Разбросив щупальца свои,
Бегут железные опоры,
Скрываясь в облачной дали.

Источник силы, море света,
Москве подарок дорогой
Они, как будто эстафету,
Передают одна другой.

Волжский.



НИКОЛАЙ ПЕРЕВАЛОВ

★

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ

Одолев земное притяженье,
унеслась — и след простыл навек.
И не ждешь, конечно, возвращенья
ты, ее пославший человек.

Сын Земли, ты сам теперь на старте.
Путь до бесконечности высок.
Ты умчишься — и на звездной карте
ляжет мироздание у ног.

Но, миры волшебные объемля,
по-сыновьи нежен и велик,
ты свою родную Землю
позабыл бы хоть на миг?

Новосибирск.



С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

★

ТАРАСИК

Повесть

Дорогой Наташе посвящаю.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вечер. Вечер повсюду. В городе он не такой, как в поле или в лесу. В лесу и в поле темно и тихо. А в городе светло. Здесь всегда светло, даже ночью. По мостовым проезжают машины. Свет из больших, круглых, выпуклых глаз освещает путь вперед.

На перекрестках горят семафоры зелеными, красными и желтыми огнями. А на тротуаре зажигаются один за другим фонари.

И все эти огни скрещиваются, спутываются, горят и сияют.

Только небо над городом темное, как и повсюду, где нет ни тротуаров, ни мостовых, ни троллейбусов, ни автобусов. Оно ночное — все в звездах, даже над самыми высокими городскими домами.

И светится каждый городской дом в этот вечерний час, словно зажглись его глаза-окошки, как глаза совы в лесу. Но у совы они маленькие, зеленые, а у городских домов большие и разноцветные.

Тише!.. Глядите, вот новый дом! Он стоит на самой окраине и окружен молодым садом. Но и над ним, над этим самым молодым и новым садом, тоже темное небо. Потому что вечер.

Окна у нового дома широкие. Двери лаковые. Никто еще не успел их обить каблуками. Никто еще не успел исцарапать гладких перил его лестниц.

Дом покрыт новой крышей. На крыше новые антенны. На всех окнах, даже на кухонных, висят занавески. Это люди, видно, сильно обрадовались, что у них хорошие, красивые квартиры, взяли да и повесили нарядных занавесок.

Тише. Тише... Давайте тихонько оглянемся.

Видите, на дворе снег — свежий и пухлый. Новый снег. Никто еще не пробежал по недавно выпавшему снегу. Даже кошка. Не видно следов ее маленьких круглых подошв.

Посмотрим-ка через садовую ограду. Как ярко отсвечивает в темноте снег! Право, можно подумать, что его присыпали нафталином.

Да нет!.. Кто ж это станет посыпать нафталином снег? Никто. Даже на радостях, что получил хорошую квартиру.

Зачем же так горит, так блещет и сияет в темноте каждая снежинка?.. Может быть, там, глубоко под землей, зажегся волшебный огонь и от него засиял снег?

Снег блещет и светится спокойным, широким голубым сиянием. Он прыскает блестками. Горит, как от холодного пожара. Каждая брызжу-

щая светом снежинка могла бы, верно, рассказать какую-нибудь историю. Только не хочет говорить. У нее свой язык. Она блещет.

Тише. Тише. Давайте-ка поглядим на недавно высаженное в новый сад дерево. Каждая его ветка рассказывает истории. Только у них, у веток, свой язык, свои буквы. Своя азбука.

О чем же они рассказывают, чуть покачиваясь и будто вздыхая?

О своих сестрах — тоненьких, плоских ветках, которые нарисовал мороз на стеклах трамваев и троллейбусов; о своих братьях — настоящих, больших лесах, которые так тихо, так волшебным образом дремлют под светом луны и звезд; о звездах, зажегшихся над лесами в темноте ночи; о том, какими звезды бывают круглыми и какими окружены неровными зубчиками.

Но пойдете, пойдете дальше!..

Давайте не шагать по лестнице. Взлетим-ка прямо вверх — к самому карнизу.

Вот он — карниз! Осторожней. Покрепче-ка держитесь за выступы стены.

Вот и окна. Теперь они совсем близко от нас. Мы можем заглянуть в любое из них. За стеклами виднеются красивые обои. Небось рады хозяева своим новым обоям.

А вот и лампа под потолком. На ней розовый абажур. Он в шелковых кисточках.

Свет лампы ложится белым кругом на стол. А по стенам ползет красноватыми отблесками: темная полоска, розовая полоска.

И только углы комнаты, куда не добежал свет, почти совсем темные. Там колеблются и живут большие, длинные тени. Одна из них похожа на кошку, другая — на ставшего на задние лапы волка.

А вот еще одно окно. Зеленое.

Остановимся, поглядим в комнату. Зажжем наш потайной фонарь. Войдем в дом неслышно, через стекло окошка. Подслушаем, о чем говорят люди и о чем они думают. Посмотрим, как они живут.

Нехорошо подслушивать и подсматривать.

Но что ж поделать!

Книжка — ваша. А грех — пополам.

Глава первая

— Пап, а пап, шкаф — мужчина или женщина? — раздумчиво и тихо спрашивает мальчик.

— А? Чего?.. Мужчина. Раз «он» — значит мужчина, — отвечает папа, который сидит в углу, у письменного стола, над раскрытой книгой.

На столе лампа с зеленым абажуром. Папины пальцы запущены в густые русые волосы, и от этого волосы стоят во все стороны торчком. Глаза у папы воспаленные. Рот приоткрыт.

— Пап, нет, на самом деле? А почему у него там, где ножки, как будто бы туфельки? Маленькие. Не мужчинские... Как у тетеньки, а не у дяденьки.

— Ага, — не отрываясь от книги, коротко и громко говорит папа. — Как у тетки? Пусть будет по-твоему. Шкаф — тетка. Он тетка. Он носит юбку с оборкой. Ну? Успокоился?! Доволен?!

Молчание. Раздумье.

— Па-па! — раздастся минут через десять тихий и сонный голос из темного угла. — А стол, он кто? А стул? А скамейка? А полка? А табуретка?

— Ты что?! — уронив руки на раскрытую книгу, спрашивает папа. — Зарезать ты, что ли, меня решил? — И папа в отчаянии протягивает руки с растопыренными пальцами к стене, оклеенной голубыми обоями.

На стене сейчас же начинают двигаться две длинные тени.

— Есть люди, которым, может, хочется спать, — заикаясь от жалости к себе, говорит папа, — но они не спят. Они занимаются. Они готовятся к экзаменам. Есть люди, которые... Есть такие люди... А есть другие, которые...

Отец умолкает. Не придумал он, какие на свете бывают люди. Слышно, как он обиженно посапывает носом.

В комнате тихо. В окошко глядятся круглые звезды. Ни звука, ни шороха. Даже мышь и та не скребется под полом. Она не успела еще перебраться на новую квартиру: в новых домах не бывает мышей.

Папе хочется спать. И хочется заниматься. Но для спокойствия ему почему-то нужно быть уверенным в том, что заснул его сын.

Подумав, он отстраняет учебник и тихо, на цыпочках, встает из-за стола.

Скрипнул стул. Скрипнули папины башмаки. Пропел свою тонкую песенку паркет под папиными ногами.

Вот темный угол комнаты, где стоит короткая никелированная кровать. Глаза у мальчика крепко зажмурены, слишком крепко зажмурены, чтобы поверить, что он спит.

— Тарасик, — говорит папа шепотом.

Молчание.

— Тарасик, — виновато говорит папа. И осторожно во тьме — ведь никто никогда не увидит этого, разве что только новые стены и новые обои, — он дотрагивается до макушки Тарасика.

«Эх! И бывают же у людей такие мягкие волосы», — думает папа.

Тарасик сейчас же открывает глаза. В его глазах отражается свет лампы; в них горит лукавый огонек — насмешка над собственным отцом (так думает папа); в них теплится смутная надежда, что отец провалится на экзаменах потому, что Тарасик делает свое черное дело, мешает ему заниматься. Папа быстро отдергивает руку от головы Тарасика, отступает на шаг от его кровати. Он притворяется, что поймал муху.

— И откуда только поналетали? — тихонько бормочет папа.

Он забыл, что на дворе зима и что зимой в новом доме мух не бывает. Откуда им взяться? Ведь они не успели летом сюда залететь. Летом тут еще не было дома. Это знает даже Тарасик.

— Тарасик, спи!

Тарасик видит, что дело плохо, и закрывает глаза. Но это не значит, что он спит. Как бы не так! Не спит и не будет спать.

...Снег заглядывает в окно голубым и широким светом. Поздно. Тихо. Папа возвращается к столу.

«Тик-так», — говорят ходики. «Тик-так. Только так», — говорят они папе, который склоняется над учебником.

Под мерный звук часов, под их ровное бормотание оживает в комнате угловой человек, о котором знает только Тарасик.

Когда переехали на новую квартиру и расставили мебель, человек сейчас же поселился тут. Днем он прятался. Ночью кивал Тарасику.

Когда гасили верхний свет, человек отделялся от своего угла и шагал по стенам осторожно, раскачиваясь при свете звезд, при свете папиной лампы. Этот человек был тенью от шкафа и стопки книг, положенных на шкаф.

Вот угловой человек вытянул вперед руку — тощую, плоскую. И снова застыл, притаился. И снова шарит по стене его прозрачная рука, долгая, длинная, без пальцев. Плечо у него острое, и весь он окружен

сиянием: отражением белого снега, глядящего через окошко, и светом луны.

Луна тихонько вышла из-за облака. Или просто проснулась? Она высоко. Разве ее поймешь, разве спросишь о чем-нибудь у луны?

Скучно ей одной посредине большого неба. Одна она, а людей много на свете. Они могут разговаривать, плеваться, кто дальше; тузить друг друга; могут играть в салки... Им хорошо, а луне плохо. Вот она и заглядывает к людям в окошки.

Глянула в окошко луна — и ожил угловой человек. Тронул кошку, тронул неприбранную посуду на столе, тронул голову папы. И папа заснул. Положил щеку на учебник — и спит.

Зашла луна. Человек отбежал в свой уголок и слился со стеной. Приклеился к ней — и затих. Стоит и не дышит.

Отвернувшись от человека, Тарасик смотрит на квадратные узорчатые стеклышки в новой двери. Стеклышки блестят, отражают огонь лампы, мерцают. И вдруг они становятся совсем маленькими, бегут к Тарасику и останавливаются.

Нет стекла. Нет шкафа. Нет углового человека.

Тарасик спит.

А что они там делают, пока он спит,— вещи, посуда, кошка и человечище в углу,— кто их знает?.. Небось едва дождались, чтоб он уснул... Смеются, пляшут...

Только его не проведешь. Погодите! Когда-нибудь он вовсе не станет спать, подглядит и заулюлюкает: «Угу-гу!» — ночью. Что тогда?! Они смутятся небось да так и застынут. Он хитрый. Его не проведешь.

Глава вторая

— Тарасик, давай вставай,— говорит папа. И голос у него сердитый, он сам проспал.

Тарасик с трудом открывает глаза. Он моргает.

— Вста-а-авать! — говорит папа коротко и грозно, как будто отдает военную команду.

Но Тарасику очень хочется спать. По его ногам и рукам бегут такие теплые, такие сонные мурашки! И потом, за что на него кричат? Ведь он же спал, а что худого может сделать во сне человек?

Тарасик принимается реветь. Он ревет сквозь сон, с полузакрытыми глазами. Спит и ревет.

Скоро ему становится тошно от собственного протяжного крика. Но достоинство не позволяет замолчать. Ведь никто не просил, чтобы он перестал плакать.

— У-у-у! — вопит Тарасик. И уж сил больше нет вопить. Устал. Хорошо бы и отдохнуть. Но человеку дорого собственное достоинство.

А отец притворяется, что не слышит Тарасика. Он делает свое дело: ставит на стол соль, приносит из кухни подогретую картошку в закоптелой кастрюле. Нарезает хлеб.

На скатерти пятно от пролитого и высохшего чая. Опрокинутая чашка; не прибранные с вечера тарелки.

— Тарас, вставай!

«Погоди-ка, я вырасту большой,— думает Тарасик,— и я буду ночью тебя будить. И я попрятаю твои ботинки так далеко, что ты опоздаешь на работу. И я рассыпаю соль на столе. И как только ты сядешь читать свои книжки, я выскочу из-под стола и ка-ак заору: «Угу-гу-у!» Будешь знать».

— Тарасик, вставай же,— терпеливо и тихо говорит папа.

Тарасик встает, шатаясь от обиды. Он обувается. Отец не заметил, как он шибко кричал. Зря старался. Зря.

— Ни-и-кто,— говорит, обращаясь к стенке, Тарасик,— ни-и-кто, кроме мамы, не пожалеет.

— Тарас, давай действуй! — сухо говорит папа.

Тарасик действует: рысцей бежит на кухню. В его глазах отчаяние.

Став на цыпочки, он дотягивается до нового, блестящего крана.

Из крана бьет холодная вода. Смочив кончики пальцев, он возвращается в комнату и энергично трет полотенцем сухое лицо.

— Садись и ешь! — говорит папа.

Есть не хочется. Тарасик берет сухую картофелину и обмакивает ее в соль. Украдкой, из-под ресниц, он поглядывает на папу.

Папа тоже действует: ухватившись обеими руками за длинную палку швабры, он подметает пол.

А в окошко глядит утро, серое небо, зима... Озябнув, печально стоят во дворе деревья и припорошенная снегом изгородь нового сада. Она тоже небось озябла.

Все озябло, даже свет за окошком. Озябла чужая кошка, которая бредет по двору: поджала лапки, вытянула длинное черное тело. А лицо у нее усатое. И мяукать ей лень. Спать охота. Холодно.

Один за другим выходят во двор люди: они торопятся на работу.

— Наелся? — спрашивает папа и ставит в угол швабру.

— Наелся! — не глядя на папу, говорит Тарасик.

Он берет кусок отварной картофелины, обмакивает ее в соль и подает кошке. Но кошка не ест. Не интересно ей есть сухую картошку.

— Наелась? — спрашивает Тарасик. А кошка молчит.— Ага... Наелась? Так действуй.

Папа разливает чай, собирает посуду и прикрывает грязную стопку тарелок кухонным полотенцем.

Тарасик выпивает жидкий чай, а потом от нечего делать принимается шагать по комнате.

— У-у-у! — поет он голосом ветра.— И-и-и! — поет он голосом радио и телевизора. И подходит к отцовскому столу.

На столе чернильница.

— У Марфуши муж гуляка! — поет Тарасик тоненьким, женским голосом, который пел вчера из радиоприемника.

И вот чернильница принимается плясать. Она пляшет очень прекрасно. Ее подталкивает Тарасик.

— Му-у-уж гуляка! — поет чернильнице Тарасик.

И вдруг чернильница опрокидывается.

В первую секунду Тарасик не может опомниться. Он не понимает, что с ним случилось: чернильница пуста, а руки у него густо-лиловые. Чернила медленно растекаются по столу и капают тяжелыми каплями на новый пол.

Беда, которая свалилась на Тарасика, такая большая, что он стоит молча, с раскрытым ртом над опрокинутой чернильницей.

— Что это значит? — тихо и грозно спрашивает папа.— Назло? Да?

И у него дрожат на щеках, под кожей, мускулы.

Опустив голову, сдвигшись, папа уходит на кухню, приносит оттуда тряпку и старательно растирает чернила на полу.

Красивое чернильное, сиреневое пятно лежит теперь у папиных ног, под папиным столом. Руки у папы лиловые, тряпка тоже лиловая.

— Идем,— говорит папа. И бодро шагает по коридору. В одной руке у него швабра, в другой — сильно вытянутой вперед — лиловая половая тряпка.

Тарасик трусцой бежит за папой по коридору.

— Весело! — подходя к крану, говорит папа. И намыливает руки стирочным мылом. Чернила бледнеют. Вместо лиловых они становятся голубыми. — Тарасик, иди сюда!

Ну и холодная, ну и ледяная вода в новом кране! И вдруг она становится сильно горячей — это папа открыл другой, новый кран.

Папа старательно трет мылом и щеткой руки своего несчастного сына. Но чернила не отмываются.

— Кошмар! — говорит папа. — Не понимаю, чем все это кончится!..

И Тарасику начинает казаться, что незнакомое и страшное слово «кошмар» шевелит лохматыми ножками, похожими на ножки жука в утренней полутьме кухни.

Он открывает рот, набирает побольше воздуха и опять принимается громко орать.

— Добивай! — говорит папа. — Валяй добивай. Это, видно, я виноват, что ты опрокидываешь чернильницы!

Теперь руки Тарасика похожи на бока животного — зебры из зоопарка. Только бока у зебры белые, в коричневую полосу, а руки Тарасика красные, в лиловую полосу. Это, наверно, навсегда. На всю жизнь он останется с такими зебристыми руками. С такими вот полосатыми. Тарасик ясно видит это по отчаянному выражению в глазах папы. Как-никак Тарас ему родной сын, не собака!.. А весь полосатый.

— Давай одевайся, — поглядев на часы, говорит папа.

Тарасик надевает пальто, шапку и варежки. Теперь его руки прикрыты варежками.

«Ничего, — успокаивает себя Тарасик. — Я же могу всегда теперь ходить в варежках. Даже спать могу в варежках».

И, захлопнув входную дверь, они торопливо спускаются по лестнице красивого нового дома — полосатый Тарасик и его злосчастный отец.

Глава третья

«Худо жить», — так думает Тарасик.

Ан нет! Как посмотришь на снег, сразу станет видно, что жить на свете не плохо, а хорошо. Снег хрустит и блещет под ногами Тарасика. В новом снегу горят голубые, красные, белые точки. Не иначе как все елочные дожди, шары, звезды взяли и спрятались в этом снегу, у самого порога нового дома Тарасика.

Чем дальше шагают по улице Тарасик и папа, тем белее и пухлее снег.

Но нигде нет такого снега, как в сквере, куда ходят каждое утро Тарасик и папа, до начала папиной работы.

Никто еще небось не шагал в этом садике, который почему-то называется сквером, по недавно выпавшему белому снегу. Вот разве что только папа, Тарасик и воробей.

Серенький маленький воробей слетел с трамвайных проводов и чирикнул так жалостно! Наклонил набок пегую голову и сказал зиме:

«Зачем снег? Зачем холодно? Дай червяка!»

Седьмой час. Сквер пуст.

Но вот в раскрытую калитку входят две женщины в ватниках, с лопатами в руках.

Э-эх! Если бы Тарасик был папой, а не Тарасиком, разве бы он заделался электротехником?! Он стал бы дворником. Дворникам хорошо! Зимой они копаются в снегу, а летом поливают улицы из шлангов.

Самые лучшие, большие метелки, шланги, лопаты — все это бывает только у дворников.

— Закрутил ты мне голову,— с досадой говорит папа.— Я забыл прихватить твой совок. Давай посиди-ка на лавочке или слепи мне снежную бабу. Ладно?

На папе лыжный костюм. Сейчас он будет бегать по кругу. Старая история! Все известно Тарасику наперед.

— Папа! Я тоже хочу побегать,— тянет Тарасик.

— Хорошо,— отвечает папа.— Побегай. Не возражаю. Вокруг скамеечки.

И, повернувшись спиной к Тарасику, он удирает.

Папа бежит так шибко, что только подметки мелькают в воздухе.

Поворот — и Тарасику видно его лицо с приподнятыми бровями. Кажется, что даже папин нос вытянулся вперед.

Папина голова откинута назад, а нос глядит вперед. Только вперед.

— Давай жми! — подбадривает папу Тарасик.

И папа жмет: бежит все шибче и шибче.

Поворот — и Тарасику больше не видно его лица. Теперь он видит только отцовские подметки.

Поворот — и видать лицо.

Поворот — и видать, как мелькают подметки.

— Раз, два! Раз, два! — подпрыгивая на месте и размахивая руками в варежках, командует Тарасик.

И папа сейчас же сворачивает в аллею — большой коридор, обсаженный с обеих сторон деревьями.

Теперь Тарасику ничего не видать — ни папиного лица, ни папиных подметок: папа убежал на другую сторону сада.

Вокруг пусто. Тихо. Бело. Тарасик вздыхает, от нечего делать садится на корточки и принимается сгребать руками снег.

Но ведь папа не взял совка! А много ли снега нагребет человек руками?..

Нет морковки! Не прихватили ее с собой. А как сделаешь без морковки снежной бабе хороший нос?..

Нет поблизости кочегарки. А разве сделаешь бабе глаза из простого снега — без угольков?..

Тарасик оглядывается и взбирается на скамейку. Вздروгнув, дерево сыплет снегом на его теплую шапку.

Тихо звенят трамваи. Тонким хором чирикают воробьи.

Скучно Тарасику.

И вдруг выглядывает откуда-то из-за дальних домов солнце. Не солнце, а отблеск его. Но Тарасик знает, что теплый свет всегда бежит впереди солнышка, чтобы сказать: «Сейчас оно придет».

Про это он знал всегда. Даже тогда, когда был совсем еще маленький. Даже тогда, когда не умел ходить и не понимал, что у солнца есть имя: Солнце.

И вот его лучи.

Волшебнo коснулись они кустов. Волшебнo коснулись они дорожек и памятника посредине сада. Памятник — голая тетка с разбитым кувшином. Но и каменной голой тетке весело от теплого солнышка. Она согрелась и даже как будто вспотела: вся блестит в его свету.

Горят огнями, елочными фонариками каждая ветка и каждый куст большого пустого сада.

Повернутой к солнцу щеке Тарасика становится тепло. Солнце слепит его правый глаз. Глаз хочет жмуриться. Хочет спать. А за ним — второй... Оба глаза слипаются.

Красно и весело сквозь закрытые веки бежит навстречу Тарасику большое солнце. Солнце блещет, переливается... Солнце гудит, гудит.

Тарасик посапывает.

И вот он как будто шагает в валенках, проваливаясь в глубоком снегу, по гуляющему, веселому, солнечному коридору.

Коридор весь блещет! Тихо, в последний раз цвивиркнул воробышек. Лохмато и сладко обхватывает Тарасика сон своими большими теплыми руками. Голова в большой шапке шатается то вправо, то влево.

Тише, трамвай! Эй вы, воробы, потише!

Тарасик спит.

Глава четвертая

— Ты это что, малец? — говорит Тарасику толстый голос. И кто-то дотрагивается до его плеча. — Жив ли?

— Жив, — отвечает Тарасик. — Это я нарочно зажмурился. Я приду-мал, что если кто ко мне подойдет, так я его лягну.

— Ну и хитер ты, брат! Видать, решил меня взять на пушку! А я вот первый тебя обдурю... Держись — забодаю! — говорит толстый голос.

И вперед протягиваются два больших коричневых от курева пальца. Они щекочут пальто Тарасика (в том месте, где у Тарасика живот).

Человек хохочет. От его дыхания валит густой белый пар. Тарасик моргает. Он удивляется, какие такие глупые люди бывают на свете, — разве умный станет щекотаться через пальто?

Здрав голову, Тарасик внимательно разглядывает человека. Смотрит и видит, что рядом с ним стоит не настоящий дяденька, а дед-мороз. Брови у него утыканы колючками инея, щеки сизые, а нос красный. Только ватных усов он не успел приклеить себе под нос (а ведь каждый мальчик и каждая девочка знают, что настоящие деда-морозы обязательно приклеивают к сизым картонным носам большие ватные усы).

Тарасик смотрит на человека. А тот хохочет. В ярком свете сияют и блещут его большие белые зубы.

— Дяденька, это вы снегу наелись? — задумчиво спрашивает Тарасик.

— Уморил! — улыбаясь, отвечает ему дед-мороз и наклоняется совсем близко к лицу Тарасика.

Глаза у деда-мороза синие. Голубые глаза всегда синеют от холода: видно, зябнут. Из снежных ресниц морозно и весело глядят на Тарасика колючки озябших глаз. В глазах, как в зеркале, отражается не душа, про которую дедушка пробовал рассказывать Тарасику басни, как будто душу можно увидеть или потрогать. Нет. В морозных глазах наклонившегося к Тарасику человека отражается сам Тарасик. Весь. В большой шапке, в варежках, в пальто с пуговицами. В глазах деда-мороза отражаются сад, кусты, скамейки, голая тетка и солнце. И все это почему-то перевернуто вверх ногами.

Белый пар застилает лицо деда-мороза и бежит вверх, как дым из трубы. Дед-мороз дышит паром.

— Давай знакомиться! — сочным голосом говорит дед-мороз Тарасику. — Ты кто такое будешь?

— А я Тарасик, — отвечает Тарасик.

— А я — погляди, кто я?

Тарасик смотрит и видит, что дед-мороз одет в милицейскую форму. На плечах у него погоны, а на голове блестящая от инея милицейская шапка.

— Привет, приятель, — говорит Тарасику милиционер.

— Хорошо! — отвечает Тарасик.

— А чего ты здесь делаешь?.. Заблудился, что ли? — спрашивает милиционер.

— Ничего я не заблудился. Я с папой был. Только он убежал.

— Не дури,— обиженно покачивает головою милиционер.— Я с тобой по-хорошему, и ты со мной по-хорошему. Где отец?

— Да я же сказал вам, дяденька: он убежал. И не отец он вовсе, а папа. Отцы у тех мальчиков, у кого пап на фронте убили.

— Чего?— удивляется милиционер.— Нет, с тобой не соскучишься, брат. Я тебе слово, а ты мне — три. Где папа? Куда убежал?

— Не знаю!— отвечает Тарасик.

— А давно?

— Ой, давно! Я в снегу копался... Потом я ждал... Потом я опять покопался...

— Озяб небось?

— Озяб,— подумав, говорит Тарасик.

— Подожди, малец.

Милиционер встает со скамейки и медленно обходит сад.

— Никого не видать,— говорит он Тарасику, возвращаясь.— Что ж делать-то будем, а?

— Расскажите мне что-нибудь,— предлагает Тарасик.— Вы сказки умеете?

— Есть мне время сказки тебе на посту рассказывать! — обижается милиционер.— Пойдем-ка лучше в милицию. Да ты не бойся меня, не бойся. Милиция маленьким — первый друг. Милиция любит ребенка. Милиция его бережет. Там тебе и детская комната, и кисель, и кубики. И всякая разность.

— Ладно. Так я к вам зайду в другой раз,— утешает милиционера Тарасик.— А теперь не пойду.

— Не пойдешь — и не надо,— ласково говорит ему милиционер.— Я тебя на руках донесу.

Он наклоняется и осторожно, будто стеклянного, берет Тарасика на руки (и даже слегка покачивает его). Видать, милиция в самом деле крепко любит Тарасика.

— Пустите, дядя! — говорит Тарасик милиционеру и отпихивается от его груди кулаками.

— Давай, пацан, поступать культурненько,— предлагает милиционер.— А милиция рядышком, за уголком.

Но Тарасику вовсе не хочется за уголок.

— Пустите, дядя! — орет он сердито.— Зачем вы меня уносите?

Звонкий воздух подхватывает его голос и относит его далеко вперед.

— Пустите, пустите, дядя!..

И чудо! Когда Тарасик был здесь совсем один и скучал, никто небось не отозвался ему.

А тут на его вопли сбегается чуть что не вся улица. Вот они: даже дворники тут. Прибежали и принесли с собой лопаты.

— Чего случилось?— спрашивают женщины с лопатами.

— Заблудился, видать,— объясняет им какая-то старушка.

— Прелестный ребенок!.. Мурильё! — обзывает Тарасика дядя в зеленой шляпе, какие носят только тетеньки, а не дяденьки.

— Позвольте, граждане,— отвечает на все это милиционер.— Пропустите! Не будемте создавать паники.

— А зачем он меня уносит? — кричит Тарасик и старается вырваться из его рук.

— Ребенок не хочет с вами идти,— сейчас же заступает толпа за Тарасика.— Зачем вы его уносите?

— А что ж, мне кинуть его одного посредине улицы? Так повашему? — удивляется милиционер.— Чтобы он под трамвай попал?

— Эй, земляк,— говорит милиционеру женщина-дворник.— Я ж его видала, отца-то. Гляжу — пришел спозаранку, мальчонку оставил в садике, а сам наутек. И чуть меня с ног не сшиб. Так бежал, так бежал... Подкинул ребенка! Да если б я догадалась, да я б его, ирода, на месте огрела лопатой.

— Не может этого быть! — отвечает милиционер.

— Как так не может, когда я его видала? Бежал — не оглядывался!

— Ну и ну,— удивляется милиционер.

И вдруг глаза его, озябшие на морозе, из синих становятся голубыми — Ну и дела! Дела!..— говорит он, печально махнув рукой на озябшую землю и глядя куда-то поверх головы Тарасика.— А ведь такой мировой пацан! Эх, люди-люди!.. А в каком направлении убежал гражданин? — опомнившись, спрашивает он у женщины-дворника.

— Куда надо, туда и удрал, милочек. Так он тебя на месте и дождался. Чисто сработано. Утек — и делу конец. Не припухай в другой раз на посту, земляк.

— Ну и папаша, ну и молодец,— смеется от злости какой-то старичок, забрызганный известкой.— Ничего не скажешь — культурная нынче пошла молодежь.

— Подкинули? — спрашивает дядя в зеленой шляпе, тот самый, который обозвал «мурильей» Тарасика.— Подкинули? — И он поднимает высоко рыжие брови.— Нэдопустимо! Судить на мэсте общественным судом!

— Гражданин,— убеждает дядю милиционер,— я бы все же вас попросил хоть немного поаккуратней... Некрасиво при малом ребенке такими словами...

— Я к папе, к папе хочу! — кричит Тарасик и лягает милиционера ногой в валенке.

Кольцо вокруг Тарасика и милиционера растет. К толпе подходят все новые люди.

— Что случилось?

Им отвечают разными голосами:

— Да вот ребенка отец подкинул.

Толпа гудит. Она все больше, все шире.

Даже папа и тот никак не может прорваться через толпу.

Первым его замечает Тарасик. (Ведь он выше всех — он сидит на руках у милиционера.)

— Что с ребенком? — не своим голосом спрашивает у людей папа.— Пропустите! Пустите меня, пожалуйста.

— Папа, я тут! — отчаянно кричит Тарасик и машет папе руками в варежках.

Услышав этот истощный вопль, папа ввинчивается в толпу. Он ввинчивается в толпу штопором. Он плывет вперед кролем, проскальзывает меж чужих голов, плеч, спин. Он рассекает толпу, как речку.

— Жги давай! — подбадривает его Тарасик и рвется у милиционера из рук.

И вот папа рядом с милиционером. Подходит к нему и быстро-быстро ощупывает Тарасика. Потом он вытирает со лба пот. Потом принимается отбирать у милиционера Тарасика.

Как бы не так!

— А по какому такому праву вы самовольничаете, гражданин? — спрашивает милиционер папу.

— А по такому обыкновенному праву,— говорит папа,— что я его отец.

— Предъявите-ка документики, будьте любезны,— говорит милиционер папе.

— Проспись, друг! — отвечает папа. — Вот он, мой документ. У тебя на руках сидит. Какого тебе еще рожна? Документы! Скажите, пожалуйста! Сейчас же отдай ребенка. Я на работу опаздываю.

— Папа, а ты его вдарь! — советует Тарасик. И снова легонько лягает милиционера.

— Где мать ребенка? — не унимается милиционер.

— В командировке. На Дальнем Востоке, — опешив, говорит папа.

— А почему ребенок не в детском саду?

И вдруг папа теряет терпение и выкрикивает тонким голосом:

— Подай ему, видите ли, детский сад! Детский сад, а?! А где я его возьму — детский сад?! Я не хозяин над вашими садами... Мы определили его в детский садик, а когда я его повел, мне сказали, что карантин. Не хозяин я над вашими садами. Не хозяин я над вашими карантинами. И куда ж мне его девать? Отправить, что ли, к матери на Дальний Восток посылкой?

— Чтобы это было в последний раз! — очень строго говорит милиционер папе. И вручает ему Тарасика.

Со вздохом облегчения Тарасик выскальзывает из рук милиционера, последодок толкнув его пяткой валенка. Высоко подняв Тарасика над головой, папа проносит его через смеющуюся толпу.

Он бежит по улице и прижимает Тарасика к себе.

— А в милиции кисели дают, — косясь на взмокшего папу, задумчиво говорит Тарасик.

Папа бежит все шибче. Он не спускает Тарасика с рук. Лицо у папы отчаянное. Чем ближе он подбегает к дому, тем крепче прижимает Тарасика к себе.

Хорошо, что дом так близко от сквера, иначе папа, пожалуй, задушил бы Тарасика от страха, что у него отнимут родного сына.

...И, скажите, за что? За то, что он физкультурник и занимается каждое утро бегом — легкой атлетикой?

Эх! Если бы папа знал, что его чуть было не огрели за это лопатой!

Глава пятая

Папа идет на работу. Тарасику слышны папины шаги на лестнице. Сперва они громкие, потом становятся все тише, тише... Хлопает дверь парадной за папиными плечами.

Эхо на лестнице молчит. Спряталось в темный угол, на самом верхнем этаже, и ждет, чтобы кто-нибудь опять пришел, или ушел, или крикнул другому хоть словечко вдогонку. Тогда эхо выскочит снова из своего угла и заулюлюкает, и ну перекатываться с этажа на этаж.

Тихо. Не слышно на лестнице шагов. Тарасик один. Он совсем один в новой скучной квартире с натертыми полами и занавеской на кухонном окне.

Вот была у них раньше квартира — так это да! Там можно было хлопнуть один разок мячом о чужую дверь, и тогда — ого! Тогда из-за двери сейчас же выскакивал какой-нибудь человек и давай кричать. Но мама не позволяла кричать на Тарасика. «Он ребенок! Разве он понимает? Стыдно вам. Идем, мой зайчик. Идем, моя ягодка».

Богатая была квартира. В каждой комнате пело радио — тихо и громко, на разные голоса. В коридоре висел на стенке чужой двухколесный велосипед, и можно было сколько угодно крутить ему колеса.

Коридор был весь в ящиках, сундуках, раскладушках... Богатый был коридор.

А здесь что? Ничего.

Хоть плюнь на стенку, никто ниоткуда не выскочит, не заорет и не удивится.

На столе в комнате суп-лапша для Тарасика. А рядом — ложка. Это папа ее положил... Дремлет в углу старый дедкин буфет. Буфет — ничего не скажешь — очень даже прекрасный... Папа и тот называет его «гроб с музыкой». Но сколько Тарасик ни вслушивается, буфет никогда не поет. Зато дверки у него большие, толстые. На дверках висят интересные деревянные курицы, перевернутые вверх ногами.

А в другом углу — против папиного стола — распрекрасная дедушкина качалка.

Дедка сам перевез сюда свою старую мебель, когда переезжали на новую квартиру Тарасик, папа и мама. Вместе с ними дедушка втаскивал мебель на третий этаж. Только качалку он почему-то понес один. Опрокинул себе на голову и пошел вверх.

От сиденья качалки, которое было плетеное, всё в дырочку, и даже в одном месте совсем порвалось, на дедушкино лицо ложились веселые, светлые пятнышки. Как будто он сидел под деревом в саду.

Дед шагал и хлопал по ступенькам тяжелыми ногами. На шум его шагов пооткрывались все двери соседних квартир. Люди увидели, как идет по лестнице дедушка с качалкой на голове. Они увидели, какое у него сердитое лицо и волосатый, немножечко большой и толстый нос.

— Свекор? — тихо спросила у мамы соседка и посмотрела на дедушкин нос.

— Папаша! — ответил папа усталым голосом и махнул рукой в сторону дедушки: мол, и так все ясно, мол, и так все видят, какой у них свекровий дедушка и как это нехорошо.

А дедушка внес в дом своего сына старую качалку и снял ее, как корзину, с головы. С дедушкиного лица сразу ушли все веселые пятнышки. Он поставил качалку в угол и обтер со лба пот. Потом пошел вниз и принес откуда-то большой кирпич ржаного хлеба и соль в тряпочке.

— Хлеб-соль! — зачем-то сказал дедушка, хотя каждый и так понимал, что хлеб — это хлеб, а соль — это соль.

— Дедушка, это теперь мой хлеб? — спросил Тарасик. — А качалка тоже моя?

— Твоя, а как же? — ответил дедушка.

Тогда Тарасик тихонько подошел к деду, поглядел снизу вверх на его усталое лицо, протянул вперед руку и погладил дедушкин волосатый нос.

— Ты красивый, дедушка, — сказал Тарасик и вздохнул.

— А ты как думал? — ответил дедушка.

— Дедушка очень хорошенький. Верно, мама? — сказал Тарасик для прочности и еще разок внимательно, снизу вверх, поглядел на деда.

И вот теперь в углу их нового дома стоит навсегда, на всю жизнь, распрекрасная дедушкина качалка.

Тарасик подходит к ней и перевертывает качалку вверх дном. Качалка сейчас же превращается в автомобиль.

— Прочь с дороги, куриные ноги! — кричит Тарасик.

А качалка уже заделалась пароходом. Пароход идет по морю. Море шибко блестит. Посредине моря пятно от чернил. Пароход перекачивается с боку на бок. Из трубы идет дым.

И вот Тарасик причалил к берегу. На берегу стоит хата. На земле отражается ее плетеная крыша. Земля вся усеяна светлыми пятнышками от красивой плетеной крыши. Вокруг хаты растут трава и цветки.

Тарасик заходит в хату. К нему в гости приходит кошка. Она говорит: «Ах вот ты где закопался, Тарасик? А я ищу-свищу. Здорово, друг!»

Тарасик молчит. И вдруг неожиданно он выскакивает из дома-качалки. — Ура-а-а! — орет Тарасик кошке.

Но кошка и не думает пугаться. Она спокойно принохивается к чему-то и недоверчиво шевелит усами.

— Ноги голы не кажи! — чтобы унизить ее, говорит Тарасик.

А ей наплевать. Кошка уходит прочь, мягко переступая по полу босыми кошачьими ногами.

«Хорошо б это было, если б кто-нибудь позвонился в дверь и принес мне подарок, — вздохнув, думает Тарасик. — Вот тебе подарок, Тарасик. Бери. На!»

Тарасик сидит и ждет, притаившись в прозрачной тишине своего качалочного дома. Он ждет звонка. Ждет час и другой и, кажется, задремал...

И вдруг раздается короткий звонок. Пробежав коридор, Тарасик встает на цыпочки и открывает входную дверь.

На площадке женщина-почтальон.

— Здорово! — сияя, говорит ей Тарасик.

— А взрослых нет ли? — угрюмо спрашивает она. — А ты не потеряешь?

И отдает Тарасику большое, толстое письмо.

— А где подарок? — удивившись, спрашивает Тарасик.

— Вот еще! — отвечает ему почтальонша. — А чем тебе письмо не подарок?

Тарасик бросает письмо на стол, рядом с молочной лапшой, распахивает окошко, глядит во двор.

Через окошко виден не только двор. Перед Тарасиком большая, широкая улица. Полутемно. Еще не зажглись огни. По улице идут люди. По мостовой проезжают трамваи и троллейбусы... Хорошо на дворе!

Тарасик надевает шапку, пальто и варежки и, хлопнув дверью, уходит из дому.

Глава шестая

Папа поставил на стол молочную лапшу, положил рядом чистую ложку, велел Тарасику не выходить из дому, оделся и быстро спустился с лестницы.

Папа бежал по лестнице бегом. Эхо, которое жило на верхней площадке, подхватывало звук его шагов и перекачивалось с этажа на этаж.

Тарасик слышал, как хлопнула дверь парадной за папиными плечами. Жалостно улюлюкнув в последний раз, эхо опять ушло к себе, на верхнюю площадку, притаилось там и принялось ждать, чтобы кто-нибудь снова затопал ногами по каменным ступенькам, крикнул «Мама!» или запел что-нибудь.

Эхо пряталось в прохладном каменном уголке, Тарасик сидел под качалкой, а папа ехал по городу автобусом номер четыре.

Вот как ехал по городу папа Тарасика.

Он вскочил на ходу в автобус, уперся носком ботинка в его узкую подножку, ухватился другой рукой за выступ наружной стенки автобуса, а вторую ногу откинул назад, потому что ей не хватило места на подножке. Было похоже, что папа летит по воздуху.

Автобус ехал быстро. Навстречу ему летел ветер. Ветер выхватывал волосы из-под папиной кепки и трепал их на бегу. Ветер ударил папе в лицо, а улицы побежали ему в глаза широким белым полотнищем.

С подножки папе было хорошо видно, что и на крышах тоже лежит снег и что он вспыхивает под солнцем. А папиным щекам было холодно, морозный ветер щекотал их колючками. От ветра и блеска белого снега на глаза ему навертывались слезы.

Все сияло, дробилось и троилось у папы в глазах. Ветер пел ему в ухо самые распрекрасные песни.

Он пел про то, что Тарасик не устроит дома пожара, не обольет чернилами папины тетрадки, не опрокинет на пол молочную лапшу, а съест ее и будет сыт.

Он пел про то, что папа сдаст все экзамены и через три года наконец-то станет инженером-электротехником.

«Фьюисть — хорошо!.. Фьюисть — хорошо!..» — говорил ветер.

Папа слушал, слушал, что говорит ветер, и вдруг взял и поверил, что все на свете в самом деле хорошо.

— Давайте-ка сойдем с подножки, гражданин,— сказала папе кондукторша и постучала в стекло автобуса костяшками пальцев.— Давай-те не будем стесняться, купим билетик!

Но папе неплохо было и на подножке.

Он доехал до перекрестка улицы, соскочил на ходу, глотнул морозный воздух и стал бодро и весело пересекать площадь.

И вдруг папа замер с раскрытым ртом. Большие часы на перекрестке улицы сказали ему, что сейчас без двух минут девять. Этим часам, как и всяким часам на свете, не было дела ни до Тарасика, ни до папы Тарасика, ни до тех чернил, которые Тарасик опрокинул на новый паркетный пол.

Часы были заняты — они указывали время для всех людей на земле: для тех, кто родится в эту минуту и будет каждый год в этот день получать подарки; для тех, кто глянул в окошко, удивился, как все кругом светло и бело, и крепко-крепко закрыл глаза; и тому они указали время, кто придумал самую красивую на земле песню; и тому, кто сочинил, как перекинуть через широкую реку большой и прочный мост; и тому, кто в первый раз сел верхом на оленя и крикнул: «Кой-кой!» — иди, мол, вперед, олень! И тому, кто оперся смуглой ножкой о ствол бананового дерева и сорвал свой первый в жизни плод; и тому, кто плыл в океане; и тому, кто сделал первый робкий шаг по большой земле; и тому, кому минуло сто лет; и тому, кто сказал в первый раз короткое слово «мама»... Часы — это время: они не только часы. Поэтому и тем они сказали, который час, кто в эту секунду вылупился из яйца и глянул на курицу глазами-бусинками; и тому, кто выключнулся из земли,— травинке, и яблоне, и будущему дубу.

Пока папа, раскрыв рот, глядел на часы — большая черная стрелка вздохнула, дрогнула... Стало ровно девять часов.

Папа Тарасика опоздал на работу.

Папа, насупись, вошел в ту комнату, где работала его бригада, и сказал:

— Здравствуйте!

Папин начальник поднял на него глаза и притворился глухонемым.

Начальник был толстый человек, лицо у него было доброе. Если глянуть на него со стороны, могло показаться, что он хороший. Много таких людей гуляет по городу, работает на заводах, в артелях, в аптеках, в школах.

Но папиному начальнику не было дела, что папа Тарасика занимается по ночам; что у папы есть сын Тарасик; что надо каждое утро, до работы, гулять с Тарасиком; что папе Тарасика сейчас не особенно хорошо живется, потому что мама Тарасика уехала на Дальний Восток, а детский сад закрыли на карантин.

Папин начальник работал в Госэнерго, в руках у него было электричество всего района, но не было у него ни в руках, ни в кармане потайного фонаря, который может взлететь и осветить все на свете. Даже то, о чем думает человек, даже то, что у него на сердце, и то, как он живет далеко от нас — за стеклами и дверями своего дома.

Начальник не знал, что бывают на свете такие фонарики. И если бы мы сказали ему, что они бывают, он засмеялся бы нам в глаза.

В комнате, где работала папина бригада, висела на стене большая карта, похожая на географическую. Она была сделана из железа и вся разрисована квадратами.

Взгляни на эту карту не только что Тарасик, но даже, скажем, человек посolidнее Тарасика, который уже занимается в школе, он тоже ничего не смог бы на ней прочесть.

Карта была вся сплошь усеяна маленькими лампами.

Если на какой-нибудь улице или же на заводе гас свет — в прямоугольнике или кружке, который изображал улицу, переулок или завод, сейчас же загоралась электрическая лампа. Зеленый огонек. Он значил: авария на вашем участке, товарищи электротехники.

Работа папы Тарасика — монтера Искры — и двух его напарников — Андреева и Рахматулина — была похожа на работу врачей скорой помощи.

Вот, например, раздается звонок:

— Вышлите скорую помощь!.. побыстрей! Человек поскользнулся и упал с крыши. Он пускал бумажного змея... Да, да... Свалился. Свалился. Поторопитесь.

Так же примерно бывало и в Госэнерго. Только вместо того чтобы позвонил телефон, загорался на карте зеленый огонек. Он говорил папе Тарасика и его напарникам:

— Скорее, скорей, ребята!.. Нуждаемся в скорой помощи. Погас свет. Без электричества не может работать завод. Не может заниматься школьник, никто не хочет сидеть у себя дома в темноте.

И вот дежурные монтеры садятся в дежурный автобус Госэнерго.

...Помните ли вы, что на лбу машины скорой помощи нарисован красный крест? Машина летит по городу, и ей дают дорогу пешеходы, трамваи и троллейбусы.

Каждый знает: она едет вперед без оглядки, чтобы спасти больного.

А во лбу автобуса Госэнерго нет, разумеется, красного креста. На боку у него написано незаметными буквами: «Аварийная. Госэнерго». Вот только и всего.

Но машина с дежурными монтерами тоже шибко мчится по городу. Шофер электрической скорой помощи дает, как говорится, газу.

«Госэнерго» — написано на боку автобуса.

Граждане! Дайте дорогу машине Госэнерго.

И люди глядят ей вслед и удивляются: почему не останавливает милиционер этот маленький, неказистый автобус? По какому такому праву он обгоняет весь городской транспорт?..

Комната дежурных монтеров звенит, гремит и тренькает телефонными звонками. К железной карте придвинут длинный и узкий стол, похожий на гусеницу. На столе штук десять телефонов. И все они звонят то разом, то с перерывами в несколько минут.

— Слушаю! Оперативная служба. У телефона диспетчер Андреев.

— Слушаю! У телефона монтер Искра.

— Слушаю! У телефона монтер Рахматулин.

Так отвечают в трубку дежурные монтеры.

Если свет погас в жилом доме, телефон не устает звонить. Жильцы сердятся.

— Давай свет, Госэнерго! Безобразия! Бюрократизм! До людей вам нет никакого дела!

Телефон звенит, тренькает, надрывается. По ту сторону телефонов выходят из себя и кричат на монтеров жильцы домов, где погас свет. А железная карта Госэнерго давно уже зажглась зеленым или другим огоньком. Она давно уже рассказала монтерам, где именно случилась авария; она им сказала, какая именно авария произошла на их участке и какой пострадал кабель: кабель, по которому бегут токи высокого напряжения.

Вы, может, не знаете, что ток, как и человек, бывает высокий и низкий? Если ток высокий, тогда на той большой машине, где он заперт, написано: «Осторожно — опасно для жизни» — и нарисована красная стрела, похожая на молнию.

Если ток низкий — это как небольшого росточка и не особо сильный человек: дал в ухо, а ты устоял. Да и то не всегда: разозлившись, он тоже может убить.

Телефон звенит.

— Слушаю, — отвечает диспетчер Андреев.

— Слушаю, — отвечает монтер Искра.

— Слушаю, — отвечает монтер Рахматулин.

Не беспокойтесь, граждане! Без света сидеть не будете. Нам все известно. Мы примем меры.

Вот так, очень вежливо и терпеливо говорят монтеры из Госэнерго в орущую телефонную трубку.

В тот день, когда Тарасика чуть не унес в милицию милиционер, а папу чуть не сгрела лопатой женщина-дворник, в тот день, когда папа, взяв с рук на руки своего сына, донес его домой, поехал на работу автобусом номер четыре и вбежал в свою рабочую комнату, опоздав на десять минут, — в этот день зеленый огонек на железной карте сказал о том, что испортился свет в одном из районов.

На место электрической аварии сейчас же выехали два монтера: монтер Искра — папа Тарасика — и монтер Рахматулин — папин напарник.

Их третий товарищ — мастер-электротехник Андреев — остался дежурить в Госэнерго, для того чтобы отвечать на телефонные звонки и глядеть на карту: не зажжется ли на ней другой зеленый огонек, не случится ли в районе еще какой-нибудь аварии с электрическим светом.

Машина Госэнерго — маленький неказистый автобус — быстро летела по городу.

В автобусе сидели два монтера (папа Тарасика, папин товарищ Ахмед Рахматулин) и шофер, пожилой, надутый и небритый человек.

Все молчали. Каждый был занят своими мыслями.

Автобус ехал по длинным центральным городским улицам, сворачивал в переулки, подпрыгивал, вздрагивал на камнях и опять выезжал на гладкие широкие магистрали.

Два молодых монтера и старый шофер у руля задумались.

...Зажжем наш потайной фонарь. (Ведь он умеет освещать все на свете, даже то, о чем думает человек.)

Монтер Рахматулин — он тоже был студентом-заочником Электротехнического института — воображал, как хорошо он сдаст экзамен, как удивится и даже ахнет профессор и сейчас же поставит ему пятерку в зачетную книжку.

Рахматулину пошел двадцать первый год. Он был черноволосый, приземистый, любил музыку и умел хорошо свистеть.

И вот он сидел в автобусе и воображал, как выступит на институтском вечере.

Кто-то скажет:

— Студент-заочник второго курса Ахмед Рахматулин. Художественный свист.

Он выйдет вперед, раскланяется, такой молодой, красивый... Выйдет и засвистит.

И Рахматулин на самом деле вдруг взял да и засвистел.

Он свистел, как зяблик. Нет! Он свистел, как соловей.

В приоткрытое окошко кузова летящего вперед автобуса рвался ветер. Ветер поднял дыбом чуб на лбу молсдого монтера.

— Петух! Ну чистый петух... Петух и есть...— оглянувшись, сказал шофер. (Он сегодня не выспался и был сердитый.)

Но Рахматулин свистел до того красиво, что в конце концов размечтался и сам шофер, сидевший у баранки.

Он думал вот что: «А может, оно ничего, что мне выделили садовый участок далеко от города?.. Может, все-таки не надо было отказываться?.. Видать, я того... Я немного погорячился...»

Можно было бы взять коллективного сторожа. Это раз. Хорошо бы такой подобрать участок, чтобы был поблизости от водопровода. На зиму будет свое варенье... Ну и там моченые яблоки, повидло, конечно... Хороши моченые яблоки! Опять-таки можно, пожалуй, заготовить и черной смороды!.. Витамины!»

Шофер глубоко и сладко вздохнул, а другой шофер, проезжавший мимо, крикнул ему:

— Эй ты, папаша! Потихе на поворотах!

Шофер, который выехал из-за угла навстречу нашему размечтавшемуся шоферу, должно быть не знал, какая бывает людям большая польза от витаминов...

Но давайте же наконец подслушаем, о чем думал папа Тарасика.

Он сидел у окошка. На ледяном стекле папа вывел какую-то букву. Это была хорошая буква.

За окном автобуса ярко светило солнышко, которое начинается с этой буквы. Там был снег, который разгребали дворники. Снег начинался на эту букву. А свет, хоть солнечный, хоть электрический, тоже начинается с этой буквы.

Если сказать по правде, то папа Тарасика написал сперва на обледенелом окошке целое слово: «С-о-н-я». (Соней звали маму Тарасика.)

Но потом он покосился на Рахматулина, испугался, что тот подсмолит, стер слово «Соня», опять дыкнул на стекло и написал на нем «С», всего лишь первую букву имени мамы Тарасика.

Эта буква была похожа на кренделек. Он глядел на нее, с опаской косился в сторону Рахматулина, шурился и вздыхал.

А за окном автобуса все было такое белое...

Не одна какая-нибудь снежинка лежала перед глазами папы Тарасика, а целое большое белое царство...

Снег, снег, снег... Он блещет и светится. Он прыскает блестками, горит, как от холодного пожара. Может быть, там, глубоко под землей, зажегся волшебный огонь и от него засиял снег?.. Нет. Это блещет свет в сощуренных глазах папы.

...«С!» Милая-милая буква «С!» Милая, дорогая Соня!» — глядя в окошко автобуса, думал папа Тарасика и сочинял то письмо, которое никогда на свете не написал бы на самом деле.

«Буква «С» — ты уехала на Дальний Восток и оставила нас с Тарасиком, потому что мы были неблагодарные. Ты на нас стирала, и штопала, и стряпала нам котлеты. И мы ели эти котлеты и забывали сказать спасибо.

А ведь ты, как и я, была студенткой-заочницей. Ты хотела выучиться, чтобы писать в газеты. Ты хотела работать.

А мы с Тарасиком ели эти котлеты и забывали сказать спасибо.

И вот ты уехала. На практику.

А нам без тебя нет никакого покоя и уважения, и мы погибаем и пропадаем. И мы погибнем. И чтобы я сквозь землю провалился, если съем когда-нибудь хоть одну котлету. И я согласен ходить всю жизнь в дырявых носках — только бы ты была рядом, Соня.

Буква «С»! (Я люблю, люблю эту букву, Соня, хотя забывал тебе, между прочим, об этом сказать...)

И вот ты уехала. Детский сад сейчас же закрыли на карантин. Но мы терпеливы. И мы молчим. И мы мужественны, потому что мы оба мужчины.

...А позавчера Тарасик чуть не свалился со шкафа. А вчера наша кошка сожрала все молоко Тарасика. А сегодня Тарасика чуть не забрали в милицию.

И кто его знает, когда я вернусь домой нынче вечером, застану ли я его живым и здоровым. И пусть бы он весь облился чернилами. И пусть бы плюнул на голову из окошка нашему управдому, только бы я застал его целым и невредимым.

Буква «С»! Милая, дорогая буква! Если наш Тарас свернет себе голову, как я тебе посмотрю в глаза?

...А сегодня я опоздал на работу. И я провалюсь на экзаменах. И даже ночью он говорит, что у шкафа ножки, как у тетеньки, а не у дяньки, чтобы мне было еще тяжелее.

Соня!

Слово «счастье» начинается с буквы «С». Слово «сын» начинается тоже с этой красивой буквы. И не надо мне никаких котлет, и не надо мне чистой рубашки, и не надо мне никаких супов, лишь бы ты...»

— Приехали! — сказал шофер и затормозил. Папа Тарасика перестал сочинять письмо и ринулся к выходу. Мужественно и бодро он соскочил с подножки автобуса.

Он был мужчиной и по этой причине так мужественно соскочил с подножки.

Машина останавливается у свежeverкрашенной зеленой двери.

Рысью выбегают монтеры из машины, прыгнув с ее высокой подножки. Они бегут вперед.

В погасших коридорах поликлиники, около рентгеновского кабинета, сидят сердитые больные.

Над рентгеновским кабинетом не горит больше надпись «Вход воспрещен».

Она погасла. Загубило ее Госэнерго!

Больные косятся на мчащихся вперед монтеров. Это они, монтеры из Госэнерго, виноваты в том, что нельзя немедленно просветить себе легкие, сделать рентген желудка, зуба или печени.

Больше того! Эти два молодых и вертлявых парня, они, и только они, виноваты в том, что у людей болят зубы, желудки и сердца. Им-то что?! У них ничего не болит. Смотрите, как бодро шагают по коридору.

— Безобразия! — говорят больные.

Заслышав суетню и бег, выплывает из рентгеновского кабинета молодой толстый врач.

Он разводит руками и говорит монтерам, покачивая головой:

— Как же так, товарищи! Вы срываете нашу работу.

— Ага! — подслушав, подхватывают больные. — Опомнились. Прибыли... Им бы песни петь, а не свет чинить!..

— Кому?

— А вон этим! Вот они, оглашенные. Бегут. Спихватились, голубчики.

Навстречу монтерам выходит заведующий в белом халате.

— Что ж,— говорит он им,— я снимаю с себя ответственность. Хорошо, ребята. Вы нас подводите.

— Ну и ну! — покачивая головами, вздыхают больные.

И право, можно подумать, что в поликлинике каждый час гаснет свет, что Госэнерго назло больным и врачам что ни день устраивает происшествия и аварии.

Но разве бывает такое, чтобы в жизни дома, завода, школы или поликлиники никогда не погас свет?

Разве бывает так, чтобы с кем-нибудь или с чем-нибудь никогда не случилось аварии?

Даже с людьми — самой тонкой, прочной, сложной и верной из всех на свете машин — нет-нет да и случится авария.

А ведь только про человека и говорят: «Он горит на работе». Стало быть, только он умеет гореть без помощи Госэнерго, без помощи газа и керосина.

...Даже конь, а ведь конь-то о четырех ногах, и тот нет-нет да и споткнется.

— Скорей! — говорит монтерам заведующий поликлиникой.— Скорей!

И монтеры торопятся. Быстрым шагом они уходят во двор соседнего дома.

Когда ты играл во дворе со своим товарищем, не приметил ли ты в углу двора железную, очень странную дверь?

Что там, за этой дверью? Лестница черного хода, подвал, квартира?

Недолго думая, папа Тарасика открывает железные двери ключом, который прихватил с собою из Госэнерго.

Дверь распаивается. Перед монтерами маленькая чистая комната. Хозяева странного дома — электрические машины.

Машины, машины — большие и маленькие. Они выкрашены в серо-голубой цвет, и на одной из них нарисована красная стрела: «Осторожно — опасно для жизни». В этой машине заперт ток высокого напряжения.

Осторожнее, осторожнее, монтеры! Помните о правилах технической безопасности. Иначе как бы о вас не сказали товарищи: «Хороший был паренек... Но он забыл о правилах техники безопасности, неосторожно дотронулся до машины с током высокого напряжения и сторел на работе!»

Встретив монтеров, хозяева тихой и чистой комнаты — голубые машины и аппараты — рассказывают им на своем языке, понятном только электротехнику, где именно перебит кабель, по которому бежал электрический ток.

Электрокабель находится глубоко под землей. Для того чтобы заменить поврежденный кусок новым и прочным, должна подоспеть на место аварии машина-компрессор. Она раздробит асфальт, пробуривит землю. На место аварии придут рабочие и мастер-электротехник.

Когда старый кабель заменят новым, его опять засыплют землей и залыют асфальтом.

Хорошо, а как же быть с поликлиникой? Как быть с больными, которые сидят в коридорах и ждут, чтобы снова зажглась над рентгеновским кабинетом надпись «Вход воспрещен»?

Что делать монтерам? Как им дать побыстрее свет поликлинике?

Монтеры втаскивают в комнату, где живут электрические машины, тяжелый шланг.

Один его конец они прикрепят к той комнате, где электрические машины, а другой протянут к рубильнику, во двор.

Как только подведут к рубильнику второй конец тяжелого, плохо подвижного шланга, в поликлинике загорится свет.

Загорелся свет. Заработал рентген. Желтый и теплый круг света лег на стол в кабинете заведующего поликлиникой.

Видно, шланги и есть электрическая скорая помощь?

Да, они как укол, который быстро сделали больному, чтобы поддерживать работу его ослабевшего сердца.

Но лечиться по-настоящему больной станет только потом. Только ночью проложат люди под землей кусок нового кабеля и полетят во все стороны искры от машины-компрессора.

Только ночью будет накрепко закончен ремонт.

Навсегда. На всю жизнь.

До новой большой или маленькой аварии.

А город уже не белый. Он синий. Зашло солнце. Зажглись на вечерних улицах первые огни.

Фонари горят и окошки в домах. Целая цепочка огней.

Свет сияет в окнах кино. В магазинах. В столовых.

Весь район, в котором работает папа Тарасика, монтер Искра, залит ярчайшим электрическим светом. Свет отражается в снегу. Снег блещет.

Свет! Электрический свет!

Монтеры из Госэнерго отвечают в своем районе за каждый фонарь, за каждый дом, за каждое незажегшееся окошко.

В кармане у папы Тарасика лежат ключи от электрической будки, которая называется трансформаторной.

Он может много! Он может — свет!

Но в кармане папы Тарасика, кроме ключей от электрической будки, которые он сдаст своему сменщику, лежат другие ключи, ключи от собственного дома.

Папа едет в автобусе номер четыре. Он возвращается домой. Быстро шагает по улице папы Тарасика. Чем ближе он подходит к своему дому, тем быстрее идет по улице.

Вот лестница. Он поднимается по лестнице и перепрыгивает через четыре ступеньки. Он открывает дверь своим ключом.

В квартире пусто. И тихо. И холодно.

Окошко в комнате распахнуто настежь.

Сам не зная, что делает, папа подбегает к окну и чуть не сваливается вниз.

Нет под окном Тарасика. Под окном лежит снег.

Забыв закрыть за собою дверь, папа Тарасика выбегает на улицу.

Глава седьмая

...Но что же стало с Тарасиком?

Возьмем наш потайной фонарь. (Вы помните, он может нам осветить все на свете, даже то, о чем думает человек; даже то, как он живет без нас, за стеклами и дверями любого дома; он может помочь нам взлететь и вернуться назад; он может помочь нам увидеть то, что было и что еще будет.)

Взлетай, фонарь!

...Тарасик надевает шапку, пальто и варежки.

Громко хлопая по ступенькам, он быстро спускается с лестницы своего дома.

Перед Тарасиком большая, широкая улица. По улице идут люди. По мостовой проезжают трамваи и троллейбусы.

А по двору, около дома Тарасика, бегают мальчик Азарий. Он волочит за собой на бечевке жестянку из-под консервов.

— Глазарий, дай потаскать,— раскрыв рот и останавливаясь на пороге дома, просит Тарасик.

Азарий притворяется глухонемым. Он не слышит Тарасика.

Как только Тарасик выходит во двор, он — Азарий-Глазарий — принимается еще шибче бегать взад и вперед по двору — видать, для того, чтобы еще громче затарахтела жестянка, чтобы еще вьедливее сделался ее металлический голосок, пронзительный, похожий на шаркающий шаг больших башмаков, подбитых гвоздиками, заунывный, как звук крутящегося колеса точильщика.

— Потаскать! — чуть дыша, говорит Тарасик.

Но Глазарий смотрит куда-то поверх его головы. Он не видит Тарасика.

Он дудит толстым голосом парохода. Он поет тонюсеньким голоском трамвайных и троллейбусных проводов. «Дзинрара!» — подхватывает жестянка.

— Глазарий! Говядина-жадина! Жалка-а-а, да? — чуть не плача, молит Тарасик.

Пальтецо на нем расстегнулось, шапка съехала на затылок. Тарасик рысью бежит за Азарием, он спотыкается и то заглядывает в жестянку, то, обогнув Азария и жестянку, смотрит снизу вверх на вздернутый подбородок счастливого, поющего мальчика.

Очень прекрасно поет Азарий. Хорошо тарыхтит жестянка. Тарасик подпрыгивает, икает от зависти и волнения.

— Гла-а-арий! Глазарий, дай потаскать!

Вечереет. Становится все темнее и темнее. По ту сторону двора — там, где улица, там, где другие дома, зажигаются первые окошки. Зажглись. Едва приметные лучики окружили каждое большое и маленькое окно.

Еще день на дворе. Но все — и воздух, и мостовые, и асфальт, с которого дворники уже сгребли ночной снег,— все как будто окружено чем-то дальним, синим, размытым, как растекшееся по полу пятно от синих чернил.

Вечер шагнул издалека. Ступил большой своей ногой на мостовые города, и все кругом стало очень большим, засияло, затеплилось. Вечер жмет к каждой парадной, он прячется в дальних углах двора... Стоит, притаившись, во всех закоулках и рассказывает мерным голосом, похожим на песню мамы, что еще не кончился день.

Последние прозрачные тени ложатся на снег от тонких стволов деревьев в садике около дома Тарасика.

И вдруг все кругом на минутку вспыхивает, краснеет.

Это заходит солнце.

Оно на той стороне города, его не видать, но полосато-красным становится большое небо. Красные широкие лучи ударяются об асфальт двора, и все вокруг на минуту становится розовым.

Пробежало солнышко мимо парадной и позолотило новую, покрытую лаком дверь. Дальше пошло оно: легло на крышу, брызнуло нежным светом на другой стороне дома; засияло и покатилося дальше — большое и круглое.

Блеснула в последнем его свете жестянка Глазария. Как в зеркало, поглядело солнце в ее собранный гармошкой бочок.

Солнце большое. На все у него хватило времени и сил. Оно глазастое, заметило даже маленькую жестянку посредине большого двора.

Большое солнце успело быстро сказать Тарасику, что земля, которую оно освещает, тоже сильно большая. Что на земле есть не только покрытый асфальтом двор, не только дом, где живут Тарасик, папа и мама, не только маленькая жестянка. Оно сказало Тарасику, что на свете бывают большие деревья, а на деревьях — белки и дятлы; что в норах, в лесу живут кроты и лисы; что за городом дворники не разгребают лопатами снег; что на большой земле есть моря и реки. Зимой они покрываются льдом, а подо льдом дремлют рыбы — большие и маленькие. Спят. Ждут весны.

Вот это успело сказать Тарасику солнце. И Тарасик задумался.

А солнце взяло и ушло: покатилося и провалилося на другую сторону земли.

Все вокруг сделалось сразу еще синее и длиннее. Еще ярче лучики вокруг каждого зажегшегося окошка. Они неровные, эти лучики. Они тонкие, как волоски. Их видит только один Тарасик.

Глазарий зевает, поглядывает на Тарасика и вдруг говорит:

— На!

— Чего?! — удивившись, спрашивает Тарасик.

— Давай потаскай, — разрешает Азарий.

Не веря себе, Тарасик быстро и крепко хватается бечевку и принимается бегать по двору.

Кто бы знал, как красиво дудит Тарасик! Он дудит, как машина, когда ей еще не запретили дудеть на улицах. Он поет так красиво и громко, что не слышно, как тарыхтит жестянка.

И вправду: она больше не тарыхтит. В руках у Тарасика остался только обрывок бечевки, а жестянка лежит посредине двора. Она устала. Прижалась щекой к асфальту — и дремлет.

Глава восьмая

В кочегарку ведет полутемная лестница. Тут, верно, тоже прячется вечер. Разлегся дрожащими тенями на каждой ступеньке. Его длинные теневые пальцы указывают ребятам дорогу вперед.

Посреди кочегарки — большая печь. Над печкой — большой котел. У некрашеного стола, который придвинут к стене чисто выбеленной комнаты без окошка, сидит кочегар. Он ест воблу и запивает ее лимонадом.

— В чем дело? — спрашивает мальчиков кочегар.

— А так... — говорит Азарий. — Можно нам немножечко постоять?

— А по какому такому поводу? — очищая воблу, спрашивает кочегар.

— Так просто, — шепотом говорит Азарий.

А Тарасик молчит. Он внимательно смотрит на воблу и лимонад.

— Ладно. Стойте себе... Только не хулиганить — одно условие, — говорит кочегар и разрезает воблу большим перочинным ножом.

— Дяденька, — тихо вздыхает Тарасик, — а у вас, глядите, кусочек рыбки упал на стол.

Кочегар не слышит Тарасика. Он задумался. Он ест воблу, запивает ее и покрывает. Хороший, видно, попался ему лимонад!

На полу в кочегарке, у самой печи, лежит красный отблеск солнышка.

Печь в кочегарке сильно большая. А в ней — огонь. Он сложен из углей. Каждый уголь горит. Горит так быстро, как будто сделалась прозрачной его черная кожа и стало видно угольное нутро.

Кровь двигается взад и вперед внутри угольков. Угли — а их очень много в печи — окружены голубыми красивыми венчиками, похожими на пламя газовой конфорки.

А все вместе — гора из углей, большая и красная. Она перекачивается, шуршит. Над ней огонь, и внутри огонь.

Кочегар подходит к печке, отталкивает мальчиков и подбрасывает в огонь большой, широкой лопатой новые угли. Печка светится. От нее идет жар. Томно глазам. Их как будто заколдовали. Так и стоял бы, так и глядел бы в огонь. Сто лет стоял бы, сто лет бы глядел.

Отойдя от печки, кочегар садится за свой некрашенный стол и свертывает самокрутку — как дедушка.

Тихо. Молчат кочегар. Молчат мальчики. Только огонь гудит.

— Пошли,— говорит шепотом Тарасику Азарий.

— Куда?

— В подземелье...

Вот оно, подземелье. Это обыкновенная, чисто выбеленная известкой комната, которая рядом с кочегаркой.

Комната освещена тусклым светом маленькой лампы. Но когда глаза привыкают к полутьме, становится видно, что «подземелье» завалено гайками, гвоздиками, какими-то железками. А по углам стоят бочки, наполненные песком.

— В стенке оно! — непонятно объясняет Тарасику Азарий.— Только дверь замурована.

— Какая такая дверь?

— Обыкновенная. Из железа... Там пещера и черепа... А с потолков свисают сталактиты и сталагмиты.

— Чего?

— Серопятый,— машет рукой Азарий.— Поговори с тобой! Не видал сталактитов и сталагмитов!

— Видал,— отвечает Тарасик.— У нас их дома полно.

— А еще в пещере есть топоры. Читал «Тома Сойера»? — спрашивает Азарий.— Ну так, в общем, там раньше жили разбойники. А около ихнего озера, на камнях, валяются ведра, кинжалы, сухие харчи. Когда тут строили дом, так разбойников нечаянно взяли и замуровали... Только мы план нашли. Я и ребята. Во дворе. Под трубой. Надо всю стенку обстучать. Где глухой стук — там потайная дверь.

И, подняв с полу ржавый и старый заступ, Азарий принимается осторожно поколачивать им по стене.

Под ударами заступа красиво крошится известка. Белые кусочки известки быстро и аккуратно ложатся на каменный пол.

— Глазарий! Говядина-жадина-а-а! Дай немножко постучать. Жалка-а-а, да? — подпрыгивая, просит Тарасик.

И, может, Глазарий дал бы постучать. Кто знает? Он дал бы заступ... Дал бы! Если бы...

Если б не кочегар.

— Ага! Так вот вы зачем сюда позабрались?! — раздается вдруг за спинами мальчиков тихий и ласковый голос подкравшегося к ним кочегара.— Хулиганить, дьяволы?

И он хватает Азария за воротник.

— Из двадцать пятой квартиры? Ясно! Так это ты, змей ползучий, на той неделе все каменья из-под водостока выворотил?

Кочегар задыхается. У него страшное, злое, перекосившееся лицо.

— Дяденька, он не змей! Отпустите его! Мы искали пещеру. И ведра. И черепа,— говорит Тарасик.

— Чего ты мелешь? — отвечает, поглядывая сверху вниз на Тарасика, кочегар. — От полу два вершка, а врет.

И он сейчас же хватает Тарасика второй рукой за воротник расстегнувшегося пальтишка.

Тарасик падает на пол. Кочегар подхватывает его. Тарасик опрокидывается опять. (Как ванька-встанька.)

С кочегара от удивления слетает шапка.

— Цветочки жизни! — кричит он, опомнившись. — Дом только что отстроили, и давай, давай — позаселяли его хулиганями! Я вас на чистую воду выведу!

— Не хочу я на чистую воду! Я домой хочу, — выворачиваясь из его рук, говорит Тарасик.

— Не хочешь? Вредитель!.. А может, хочешь людей обливать керосинами и дома поджигать? Отвечай. Ага! Как приперли к ответу, так замолчали, голубчики!

— Неправда, неправда, дядя! Мы не голубчики, — говорит Тарасик.

— Мы не голубчики. Хоть кого хотите спросите, — петушиным баском подхватывает Азарий.

— Отведите нас к папе, дядя! Мой папа вас вдарит, — выворачиваясь из рук кочегара, молит Тарасик. — Мой папа в вас плюнет! Па-а-апа!.. Па-а-а...

Глава девятая

Тарасик сидит на полу в кочегарке. С его руки слетела варежка. Пальцы у Тарасика растопырены. На каждом пальце короткий ноготок. Около ногтей заусенчики. На третьем пальце царапина. Рука залита чернилами.

Вот он — Тарасик. И вот его рука. Живая. Теплая. С царапиной на самом длинном пальце.

Рука упирается в каменный пол. Тарасик ее разглядывает.

А над Тарасиком стоит кочегар.

Как теневой человек на стенке, который во сне один раз припугнул Тарасика: «А ну-ка, давай закрывай глаза, или я тебя съем, Тарасик!», как пустая темная комната, в которой не слышно дыхания другого человека, не слышно тепла, не слышно шагов ни мамы, ни папы, ни дедушки, — таким же ненастоящим кажется Тарасику кочегар.

— Дяденька, мы не голубчики, — говорит Тарасик.

— Хоть кого хотите спросите, мы не голубчики, — петушиным баском подхватывает Азарий.

— Там разберутся, кто вы такие есть! — говорит кочегар. И хватает Тарасика за воротник пальтишка.

— А где это, собственно, «там», браток? — раздается с лестницы знакомый сердитый голос.

И к высокому тощему кочегару, невесть откуда взявшись, подходит высокий и тощий дедушка Тарасика.

— Дедушка! — говорит чуть слышно Тарасик. (Он хочет броситься к деду, но кочегар крепко держит его за воротник.)

— Отпусти-ка! — наступая на кочегара, говорит дедушка.

Кочегар удивляется. Он отпускает Тарасика.

— И этого, глазастого, давай отпускай! — строго говорит дедушка.

Кочегар удивляется еще больше, поднимает брови, покачивает головой и, удивившись, выпускает из сжатой руки воротник Азария.

И тут случается чудо! Большой Азарий, который из третьего класса, который читал «Тома Сойера», который уже прошел сталактиты, Азарий,

который все может — даже взять и вдруг подарить жестянку, — этот Азарий смотрит на дедушку и вдруг принимается громко плакать.

Он жмется лицом к старой дедушкиной стеганке, всхлипывает, захлебывается.

А дедушка тихонько похлопывает Азария по плечу.

— Как ты смеешь детей обижать, — раздувая ноздри, спрашивает дедушка у кочегара, — когда они, может, есть наше будущее?! Ну! Отвечай!

И они очень долго смотрят в глаза друг другу, оба высокие, старые, тощие.

— А ты кто такое будешь, чтобы командовать?! — опомнившись, спрашивает у дедушки кочегар.

— Кто надо, тот я и есть! — отвечает дедушка. — А тебе скажу: ты бы как-то, милейший, поаккуратней. Нечего выпивать на работе! Винищем за три версты разит!

И, положив Азарию и Тарасику на плечи большие темные руки, дедушка выводит их из подвала.

Глава десятая

Тарасик не знал, почему и откуда пришел в кочегарку дедушка. Он не думал о том, как дедушка догадался разыскать его в кочегарке. Но ведь Тарасика схватили за воротник пальтишка, а значит, дед обязан был его выручить.

Каждый мальчик и каждая девочка знают, что утром встает над землей солнце; потом оно заходит, а в небе начинают светить разноцветные звезды, красиво раскиданные по небу, как кремешки. Поэтому, если тебе кричат «Хулиган!» или вдруг берут тебя на руки и хотят унести в милицию за то, что твой папа удрал на другую сторону сада, разве может такое быть, чтобы кто-нибудь не заступился за тебя?

Чудеса в каждой ветке дерева, которую в начале нашей книжки мы осветили потайным фонарем; они в красных, зеленых и желтых стеклах, которые горят в окошках новой парадной; они в свете зимнего солнышка.

А ведь солнце-то светит для него — для Тарасика! И снег блестит для него — для Тарасика! И трава растет для него — для Тарасика!

Мир хороший. В нем надо расти и жить. А жить — значит радоваться. Поэтому никто никогда не посмеет обидеть Тарасика.

А он сам кого захочет, того возьмет и обидит!

Тарасик идет по улице и крепко держится за большую теплую руку деда.

— Щец горячих хочешь небось? — поглядывая искоса на Тарасика, говорит дедушка.

— Нет. Я воблы хочу. С лимонадом, — подумав, говорит Тарасик.

— Вот оно что?! — удивляется дедушка. — А может, водки тебе охота? А может, прикажешь пива и раков?

— Хорошо, — говорит Тарасик. — Я буду рака. Потому что я весь голодный.

Дедушка жалостно покачивает головой и шагает еще быстрее. Тарасику не угнаться за ним. Он икает и спотыкается.

— Ослаб... Уморили ребенка, — бормочет дедушка. — Чего спотыкаешься? Давай под ноги гляди.

— А я гляжу, — говорит Тарасик. И внимательно смотрит по сторонам.

Залитый светом вечерних огней, стоит на перекрестке улицы милиционер. Он салютует машинам: поднимает вверх то одну, то другую руку.

— А вот стоит милиция, она меня любит! — принимается петь Тарасик.

— Чего ты мелешь! — говорит дедушка.

— А вот идет милиция, она меня не любит! — на всю улицу распевает Тарасик.

Услышав такое пение Тарасика, на них начинают оглядываться прохожие.

— Бесплатное кино! — говорит дедушка, покачивает головой и с укором глядит на внука.

— А в ми-и-и-лиции кисели-и дают! — под дружный смех людей, проходящих мимо, громко поет Тарасик.

— Замолчи! А то такого дам киселя, что своих не узнаешь! — оставившаяся, строго говорит дедушка.

И вот наконец они подходят к дверям какой-то столовки.

«Блинная», — задрав голову, раздумчиво читает дед.

Дверь «Блинной» то и дело распаивается. Оттуда валит горячий пар и тянет вкусными запахами.

— Ну? — глядя снизу вверх на задумавшегося дедушку, говорит Тарасик.

— А с тобой, пожалуй, сюда не впустят, вот дело какое, брат, — вздохнув, говорит дедушка.

Но Тарасик, не слушая, тянет его к двери.

— Ишь ты!.. Да! Такого как раз уморишь, — говорит дедушка.

И, высоко подняв голову, переступает с внуком порог столовой, которая называется «Блинной».

Догадайтесь, почему она называется «Блинной»?

Потому что тут не кормят холодной картошкой и молочной лапшой.

Тут блины, и вобла, и лимонад...

Глава одиннадцатая

Счастлив тот человек, который умеет припрятать заботу о своем деле в цехе (например, в том узком заводском шкафчике, где оставляют до следующего утра спецовку и мыло). Такой человек и отдохнет хорошо и сохранит хороший характер.

Но дедушка Тарасика, Тарас Тарасович Искра, не умел оставлять своих забот на заводе, где уже много лет работал мастером. Поэтому он не был особенно счастливым человеком. И часто сердился и ворчал.

Работа была у него такая: он делал урны для парков и садов.

Они несколько не были похожи на скучные урны из жести и железа, которые мы часто видим на перекрестках улиц в больших городах. Эти урны будто сливаются со стенами домов, исхлестанными ветрами и дождиками. Они печальные, и, право, кажется иногда, что мигают они так жалостно серенькими своими глазами! Но люди все-таки не желают их примечать.

Нет. Урны дедушки Искры — дело совсем другое. Их приметит каждый. Они разноцветные, пузатые и тощие, на них нарисованы журавли и подсолнухи, красные, зеленые и желтые выпуклые листочки. У них бываю красивые круглые ручки (и кажется тогда, что урна подбоченилась); иногда у них совсем не бывает ручек, а только одна-единственная широкая и плоская нога. Но и на этой одной ноге они прочно и твердо стоят у садовых дорожек.

Из зелени или из снежной и почему-то немного грустной белизны сада навстречу прохожему маячат урны мастера Искры желтыми, красными, ярко-сиреневыми огнями.

Они блестят. У них глянцевые бока. Людям так и хочется остановиться и оглянуться.

И они останавливаются, оглядываются и, как полагается, бросают в урны окурки, обрывки газет или мокрые бумажки от мороженого.

Но дедушке, несмотря на все это, не хотелось быть счастливым человеком. Он не оставлял свою заботу о деле на керамическом заводе, а носил ее всегда при себе.

Вот какая забота была у дедушки.

Ему хотелось делать не только урны. Ему хотелось бы делать еще и вазы для парков и садов. Он их и делал, но прежде, давно. Фонтаны, вазы и кувшины. А в последнее время все урны да урны. Урны хоть и красивые, да кому охота, чтоб в твою работу мусор всякий кидали? Подумайте сами: старые вазы из камня с выщербленной морозами кожей и тронутыми зеленью от старости боками — они бывают только в старинных парках. А дедушке хотелось делать вазы совсем другие — для новых парков и садов!

Он их видел так ясно — свои большие будущие вазы. Видел, когда ходил по городу, когда ездил в трамвае; когда рассматривал ночью, задумавшись, потолок своей одинокой комнаты.

Его вазы были большие, но похожи на игрушки; они были похожи на огни — разноцветные, как огни иллюминации в праздник Первого мая.

И сады, они тоже почему-то мерещились дедушке. Всякие: старые, с могучими дубами, и молодые, с деревцами тонкими, тонкорукими...

Дед шагал по улице. Под взглядом его сердитых острых глаз со страха на всех пустырях города сейчас же будто вырастали сады. Они поблескивали то снегом, то зеленью. Ветки молодых деревьев лепились к стеклам окошек. Меж древесных стволов светились огни.

...Вот — синий огонь! — это большая синяя дедушкина ваза. Один ее край изогнут. Оттуда голубыми частыми каплями стекают на землю незабудки.

От яркой голубизны заходило дедушкино сердце. Он задумывался... А его ваза сейчас же из синей делалась ярко-красной.

Часто бродил дедушка, как будто к чему-то прислушиваясь, совсем один по городским улицам.

— Папаша, а вы не скажете, где Кривоколенный? Переулок Кривоколенный?

— Чего? — вздрагивая, отвечал дедушка. — Сам ты, братец, кривоколенный!

Ему мешали думать и огорчаться. А он этого не любил.

В тот час, когда Тарасик пел и таскал по двору жестянку Глазария, дед вышел из заводской проходной будки: окончился его рабочий день.

Ему надо было идти к себе — в пустой дом, из которого он недавно выволок чуть что не всю мебель для новой квартиры своего сына. Туда бы надо деду. Думать про обжиг. И кашлять. И курить. И ворчать. И сердиться.

Но когда он перешагнул порог проходной будки, зимнее солнышко, которое лизнуло жестянку Глазария, поглядело походя в стекла городских окошек и брызнуло навстречу деду короткими и жгучими лучами. Оно легло на соседнюю крышу красным сиянием; побежало, сверкая, по ближнему переулку; вспыхнуло и пропало: покатилося и провалилося на другую сторону земли.

Дед улыбнулся, покачал головой и сказал: «Э-эх!»

...Задрожали первые тонкие лучики вокруг каждого зажегшегося окошка.

«Это мы! — сказали окошки.— Идите, люди, домой. Отдыхайте. Пора. На дворе ночь!»

Дед вздохнул и, задумавшись, вместо того чтобы идти к себе, сел в трамвай и поехал к Тарасику.

Глава двенадцатая

Взлетай, фонарик!.. Помогите нам вернуться назад.

Папа возвращается с работы и открывает дверь своим ключом.

Окошко в комнате распахнуто настежь. Медленно и осторожно плывет навстречу папе задубевшая от холодного ветра занавеска. Из каждого уголка тянет холодом.

Пусто. Тихо.

— Та-а-арасик!

Папа бросается к распахнутому окну. Под окном снег. Нетронутая пухлая снежная целина.

Папа раскрывает дверь шкафа, заглядывает под кровать.

Забыв закрыть за собою дверь, перепрыгивая через три, четыре ступеньки, он выбегает на улицу.

Куда бежать?

Папа останавливается, оглядывается.

Сейчас Тарасик, наверно, выскочит из-за угла. Оттуда!.. Из самого дальнего, темного уголка. Стбит только как следует, как следует приглядеться, и папа увидит его ушанку.

«У-у-у!» — завопит Тарасик. «А ну, молодец, давай-ка сюда,— прищурившись, твердым голосом скажет папа.— Подгребай. Энергичней. Живей!»

— Тара-а-асик! Ау!

...Нет, нет... Не может этого быть. Надо только спокойно оглядеть двор. Тарасик здесь. Он близко... Сейчас, вот сию минуту, папа увидит его острый подбородок, его мелкие редкие зубки...

— Тарасик! Тарасик!

Папа бежит по двору, раскрывает двери парадных.

Двор тих. Сад пуст.

— Мальчик, ну будет, будет... Тарас! Ты слышишь? Давай перестань валять дурака! Тара-асик! Тарасик!

Соседи печально глядят на папу и качают ему вслед головами.

— Простите, пожалуйста,— улыбаясь дрожащей улыбкой, спрашивает у людей папа,— вы не видели случайно моего мальчика? Он... ну, вот такого примерно росточка... В большой черной шапке.

— Да что это все сегодня как сговорились — искать ребят?.. Старик ходил. Искал не то внучку, не то внучонка... Да ты, парень, не убивайся-то наперед. Гулял тут мальчик маленького росточка. Только он со двора пошел.

— Со двора?

— Ага. Часу эдак в четвертом... Мальчонка. В шапке.

— С совком?

— Кажись, что так.

Забыв сказать соседям спасибо, папа разворачивается по-физкультурному и бежит.

Он бежит так быстро, что мелькают в воздухе его подметки. Папа расталкивает прохожих. От его дыхания валит в воздух горячий пар. Пар клубится над папиной головой. Слившись в сплошную полосу, несутся ему навстречу огни, дома...

Добежав до перекрестка улицы, папа останавливается, оглядывается. Куда сворачивать? Вправо? Влево?

И вдруг он видит под фонарем широкую спину постового милиционера.

— Товарищ,— захлебываясь от бега, говорит папа.— Вы не заметили, тут случайно не проходил мальчик? Маленький. Вот такого росточка. С совком.

Милиционер оборачивается. В свете фонаря глядят на папу два голубых, нет, синих, озябших глаза. Они печально и укоризненно смотрят вперед из-под ресниц, утыканных колючками инея.

Постовой молчит. Он вздыхает, широко раскрыв от удивления рот.

Папа прислоняется к фонарю.

— Товарищ,— говорит он тихо и глухо,— тут, верно, случилось несчастье?.. Мальчик... Тарасик...

— Гражданин, пройдемте,— сурово и коротко отвечает ему на это милиционер.— Я вам, кажется, довольно ясно сказал нынче утром, чтобы это было в последний раз. Сказал? Да? А милиция вам не нянька.

Папа весь обмякает. Он крепко держится рукой за фонарь.

— При чем тут нянька? — говорит он счастливым голосом.— Чем, скажите, пожалуйста, вас так допек мой малыш, что вы его хватаете на всех перекрестках?!

— Видать, папаша из молодых, да ранний! — покачивая головой, непонятно объясняет милиционер.— Пройдемте давайте...

В полном молчании бредут папа и милиционер в милицию. Они шагают дружно. Гуськом. Впереди — папа. А сзади — милиционер.

А по тротуару навстречу им идут соседи — жильцы из красивого, нового папиного дома.

Идут и видят: постовой ведет в милицию их молодого соседа — монтера Искру. Без шапки. (Бедняга, видать, от срама потерял шапку.)

Сурово и пристально смотрит на папу дежурный милиции — молодой, пухлощекий, розовый лейтенант.

— Где мой сын? — стиснув зубы и сжав кулаки, говорит папа.

— Ваша фамилия, гражданин? — вежливо спрашивает дежурный.

— Товарищ начальник! — вмешивается постовой.— Разрешите-ка доложить: это тот самый папаша, который утром потерял своего ребенка.

— Ясно! — коротко говорит лейтенант.— Товарищ Морозко, вы слышали? Он сказал: «мой сын». Значит, вы, папаша, отцовства не отрицаете? И попрошу не кричать. Я вам не жена. Я дежурный милиции. При исполнении служебных обязанностей. Присядьте.

Папа не то садится, не то падает на скамейку. Он запускает пальцы в густые русые волосы.

— Вот этак-то будет получше,— примирительно говорит постовой.— Посиди-ка, парень! Подумай... Молодо-зелено. Эх, люди-люди! А ведь какой мировой пацан! Не ребенок — ягода. Шустрый, чернявый... Ноженьками дрыгает, тянет ручонки. Кричит: «Не оставь, папаша!»

Брови юного лейтенанта от жалости становятся дыбом.

— Тарасик! — глухо говорит папа.

— Вот именно, что Тарасик,— покачивая головой, подхватывает милиционер.— И как это только сердце у человека не разорвется?! Такой толстый, гладкий... Такой бедовый. Я ему слово, а он мне три. «Папенька», — говорит.

Сквозь папины пальцы на тыльную сторону ладони медленно выкапывается прозрачная капля. (Во время бега он потерял шапку. Иней на его волосах растаял. По смуглой папиной руке осторожно катится капля, похожая на слезу.)

Глава тринадцатая

Одинока пустая квартира, по которой большими шагами шагает папа. Одинока кошка, которая лежит на диване и дремлет. Одинока луна, которая стоит посредине неба,— она заглядывает в окошко, но ее не видит Тарасик.

Крепко спят тетради и книжки на папином столе. Поблескивает в лунном свете пятно от пролитых на пол чернил. Застыла в темном углу перевернутая качалка. А в другом углу белеет маленькая застланная кровать. Под кроватью два башмака— коричневые, с обитыми носками. Они хранят отпечаток коротких пальцев хозяина. На одном из них оторван шнурок.

Ни звука. Ни шороха.

В окошко глядятся круглые звезды. Даже мышь и та не скребется под полом (она не успела еще перебраться на новую квартиру).

Папа устало бродит по коридору. Он избегал сегодня с милиционером все скверы района. Обзвонил все больницы города... Лейтенант (дежурный) сообщил о пропаже мальчика Искры— сына монтера Искры— даже в трамвайный парк. Составили протокол. Папа расписался под протоколом.

Ему велели идти домой и ждать Тарасика.

Папа ждет. Он бродит по темному коридору.

На лестнице раздаются шаги. Папа останавливается, прислушивается. Шаги тяжелые. Их звук подхватывает эхо. Громко хлопает дверь на верхнем этаже.

И опять тишина. И кто-то опять стучит по ступенькам, но на этот раз тонкими, острыми каблукками.

Проходит пять, десять, двадцать минут. Глухо, как крепко-крепко бьющееся сердце человека, отстукивают в тишине ходики.

Папа садится верхом на стул. К звуку его дыхания примешивается равномерный бег маятника— отрывистые и жесткие шажки часов.

Папа встает со стула и выходит на кухню. Он принимается мыть посуду— трет мочалкой тарелку, чистит песком кастрюлю...

Потом ни с того ни с сего он ставит кастрюлю на пол посредине кухни и долго-долго бессмысленно смотрит на кухонный стол. В глаза из тьмы наплывают лопающиеся мячики— багровые и темно-зеленые. Они соединяются и расходятся.

Папе кажется, что он спит. Может, все, что случилось с ним и Тарасиком, сон? Сейчас он проснется и увидит перед собой раскрытый учебник, а за плечами услышит спокойное дыхание Тарасика? Он подойдет на цыпочках к его кровати, погладит его мягкие волосенки и скажет шепотом: «Что же это, а?! И всегда ты, человек, валяешься у меня на дороге!..»

Папа медленно разлепляет глаза.

Посредине кухни стоит недочищенная кастрюля. На лестнице, над папиной головой, громко— в который раз— хлопает чья-то входная дверь.

И опять тишина. Она воет печально и глухо у папы в ушах. Он слышит ее неровное, ее тягучее дыхание.

«Тара-а-а-сик!..»

Папе видится, как Тарасик бредет один по узкой темной дороге где-то там, за чертой города... Он проваливается в сугробы. В его валенки забился снег. Он потерял совок. Он потерял варежки. Нет у него больше силенок плакать и причитать. Тарасик покачивается и садится на снег.

Папа ясно видит мокрое, залитое слезами лицо своего сына. Видит его набухшие, растрескавшиеся от плача губы.

...Бежать! Добраться до Госэнерго!.. Сообщить о пропаже Тарасика дежурным монтерам. Установить связь со всеми монтерами всех городских районов. Пустить в ход все автобусы Госэнерго! Мобилизовать всех милиционеров!..

«Ребята у нас ничего, энергичные,— думает папа.— Наши ребята сумеют взяться...»

Сейчас папа выйдет на улицу. Он...

Хорошо. А что если Тарасика приведут домой? Тарасик постучит кулаками в дверь — голодный, холодный,— а двери не отопрут.

...«Соня,— бормочет папа имя мамы Тарасика.— Соня, ведь ты мне его доверила! Он был шустрый. Он был бедовый. Соня, я бы на твоём месте убил такого отца!»

Папа выходит на улицу. На лестнице тонко-тонко, как счетчик, звенит тишина. Тишина повсюду. Во всех уголках. Ночь. Она дремлет на каждой ступеньке...

Папа возвращается в коридор, садится на табуретку.

И вдруг ему начинает мерещиться, что кто-то запел на лестнице. Ему кажется, что лестница звенит и поет. Поет и звенит. Папа ясно слышит голос Тарасика.

— Из-за острова на стяжу-у-у... — поет Тарасик.

— ...На простор речной волны,— подхватывает дедушка Искра.

Папа встряхивает головой.

«...Волны-ы-ы, волны»,— гудит лестница.

Папа подкрадывается к двери и быстро распахивает ее.

По лестнице поднимаются Тарасик и дедушка.

— ...Выплывают расписные Стеньки Ра-а-азина челны! — поют Тарасик и дедушка.

— Та-рас! — дрожа губами и голосом, говорит папа. Быстро сбегает с лестницы, хватая Тарасика на руки и крепко, изо всей силы прижимает его к себе.

После этого папа ставит Тарасика на ступеньку. Он садится тут же, на другую каменную ступеньку, заглядывает в глаза Тарасику, проводит рукой по его подбородку, встает и...

Начинается все сначала: папа прижимает Тарасика к себе, трогает его руки и щеки, хватая Тарасика, жметя к нему головой. Говорит: «Тарасик!.. Тарасик!..»

Скрипнув, распахиваются двери на верхнем этаже. В двери мелькает усатое заспанное лицо пожилого соседа-лекальщика.

— Товарищ Искра! — говорит он застенчиво.— Надо бы все же как-то поаккуратней. Людям в шесть утра на работу, а вы того!..

— А что ж с него взять, Ванятка? — будто обрадовавшись, подхватывает бодрый голос жены лекальщика.— Хорошего человека не станут зазря волочить в милицию. Я там отродясь и в свидетелях не была!

— Раскудахталась! — отвечает жене лекальщика дедушка Искра.— Видать, и выпить маленько нельзя рабочему человеку. А? Так, выходит, по-твоему?

Шум крепчает. Голоса подхватывает эхо.

— Тарасик! — будто оглохнув, говорит папа.— Родной!.. Голодный!..

— Нет, я наелся,— успокаивает папу Тарасик.— Я рака ел.

— Кого-кого? — говорит папа. И переводит глаза на дедушку.

Дедушка медленно опускает голову.

Губы у папы дрожат. На щеках под кожей перекачиваются мускулы.

Все, что пережил папа за этот день, вкладывает он в три нетвердых слова, которые говорит отцу.

— Па... папа... Палаша! Вы эгоист!

И, подняв Тарасика на руки, отворачивается от дедушки.

— Эгоист! Всегда таким были, таким и останетесь!

Громко и звонко, с перекатами и переливами, захлопываются перед дедушкой двери папиной новой квартиры.

Эхо выскакивает из своего уголка, подхватывает гудение и звон, перекаты и переливы.

А дедушка все стоит и стоит на лестнице.

Склонив набок голову, он внимательно и удивленно прислушивается к скачущим мягким шажкам бегущего эха.

Перебирая мохнатыми лапками, эхо добегаёт до верхней площадки и жмётся толстой щекой к холодной, шершавой стенке.

Там оно будет долго стоять и ждать. Оно будет ждать терпеливо, пока не подхватит звук дедушкиного шага.

Печально и долго станет оно перекачивать шаркающий, усталый шаг старого человека, перед которым захлопнул двери своего дома его родной сын.

Глава четырнадцатая

День окончен. Он ушел вместе с солнцем на другую сторону земли. Занавески, которые мама когда-то (дней двадцать тому назад) повесила на новое окошко, плетут на стене свой неутомимый узор. Они колеблются, потому что папа приоткрыл форточку.

«Что день грядущий мне готовит?» — чуть слышно и печально спрашивает репродуктор.

Тарасик не может ответить на этот вопрос: он спит. Папа тоже не знает, что им готовит грядущий день. Но, может быть, об этом знают занавески? Ведь недаром так таинственно, так тихо взлетают они...

Или об этом знает луна?.. Вот она выплыла из-за облака и осветила снег за окном; протянула сквозь щель меж двух занавесок свой длинный дрожащий палец, погладила плохо подметенный пол, осторожно тронула кошкин бочок, взобралась на скатерть и окунулась в молочную лапшу.

«За-а-мучен тяжелой нево-лей», — красиво, нежно и так печально поет репродуктор.

Ночь. Тишина.

Папе не спится. Он лежит на диване одетый, но босой.

Чиркнула спичка. В ночной тишине и тьме новой комнаты горят теперь два огонька: круглый, маленький — папина папирота — и длинный, голубоватый — лунный.

Взобравшись по скатерти, луна освещает бумажный квадрат на столе. Письмо! (То самое, что получил сегодня Тарасик.)

Бессонные глаза папы скользят по краю тарелки...

Что?! Нет, нет... Не может этого быть.

А лунный палец тихонько щекочет скатерть. И вдруг весь квадрат письма озаряется его голубым сиянием.

Неслышно ступая по полу босыми ногами, папа подкрадывается к письму... Его уголок искупался в молочной лапше. Папа держит конверт осторожно в дрожащих пальцах.

Свет лампы под зеленым абажуром заслонит сейчас свет луны.

«Тарасу Богдановичу Искре» — написано на конверте.

(Это, значит, мама прислала письмо Тарасику.)

Но ведь край письма размок в молоке! Может, там было приписано мелкими буквами «и Богдану Тарасовичу Искре» (папе Тарасика)?

Может быть. Может быть. Посмотрим, посмотрим...

«Мой зайчик! Моя черешенка!»

(Нет, это не ему, не папе. Уж это, конечно, Тарасику.)

«День и ночь я вижу тебя перед собой. В каждом порту я покупаю тебе какую-нибудь игрушку.

Я вижу тебя во сне. И как ты там живешь? Сыт ли? Надевают ли тебе шерстяные носочки?»

Нет, это не ему, не папе, это тоже Тарасику. Папа перелистывает страницу — одну, другую, — письмо длинное, и папа ищет слова «Богдан».

«...А линзы на маяках, если бы ты их видел! Они большие, хрустальные! А люди какие!.. Одни посреди моря. Зимой и летом — во время штормов, и когда мороз, и когда жара... На маяках служат мужественные молодые ребята, герои! Они тебе передали привет, Тарасик».

Папа перелистывает еще одну страницу.

«...Я очень волнуюсь. Уж сколько времени прошло, как я уехала, и хоть бы одно письмо. Хоть бы твою ручку, Тарасик, кто-нибудь обвел карандашом и прислал. Неужели это трудно?»

Папа отшвырнул письмо. Потому что в нем не было слова «Богдан».

Ну что ж, посмотрим, посмотрим...

Глава пятнадцатая

В комнате горит огонек от папиной папиросы. Он, наверно, долго будет гореть.

Долго-долго будут всматриваться бессонные глаза папы в то, как неумоимо плетет узор занавеска на голубой стенке. Папины прищуренные глаза будут долго блестеть от злости в темноте.

Долго будут шарить длинные лунные пальцы во всех уголках и закоулках комнаты.

Вспыхнет в лунном сиянии паутина под потолком. В паутине вздремнет паук, уютно прикрытый голубым лунным одеяльцем.

Хорошо пауку!

А каково папе?

Протягивает вперед свои длинные прозрачные пальцы луна и поглаживает стопку нетронутых учебников на папином столе.

Она освещает мамину фотографию, которая висит над папиной кроватью.

В свете луны глядит куда-то вверх папиной головы молодое улыбающееся лицо мамы с чуть раскосыми черными глазами и большим тонким ртом.

«Эх ты! Казанская сирота!» — говорит фотографии папа Тарасика.

Мама Тарасика росла в детском доме. Она и на самом деле была сиротой. У мамы нет никого на земле: ни отца, ни матери, ни деда, ни бабушки. Никого. Кроме сына Тарасика, его папы и дедушки Тараса Тарасовича.

Семь лет назад папа Тарасика познакомился с мамой в парке культуры и отдыха. Она взглянула на папу раскосыми черными глазами, в которых отражались цветные фонарики, красиво освещавшие танцплощадку. У нее были две тугие косы. Из-под тюбетейки поблескивала мамина челка.

Сам не зная, как это случилось, папа пригласил ее танцевать.

Маме было шестнадцать лет, а папе — семнадцать.

На танцплощадке погасли фонари. Радиола запела вальс «На сопках Маньчжурии». А на пятачке посредине парка духовой оркестр выдувал увертюру из оперы «Руслан и Людмила».

Музыка скрещивалась. Переплеталась. Папа с мамой расхохотались и бросили танцевать.

А через два года папа женился на маме.

«За такое дело я очень свободно могу тебя выпороть!» — сказал, узнав об этом, дедушка Тарас Тарасович Искра.

Но было поздно. Скоро у папы и мамы родился сын.

Мама принесла Тарасика к бабушке в дом (в комнату той богатой квартиры, где на разные голоса пело радио, а в коридоре на стенке висел соседский двухколесный велосипед).

Мама остановилась у бабушкиного порога, низко склонив голову. Она плакала и глядела исподлобья на бабушку.

— Будет тебе реветь, казанская сирота! Давай садись, — сказал бабушка.

(Вот откуда оно и пошло с тех пор: «казанская сирота».)

Мама назвала своего сына Тарасиком. Узнав об этом, дед выпил и прослезился. Он сидел в «Блинной», сморкался в большой носовой платок (платки ему теперь стирала мама), всхлипывал и говорил:

— Звездный сын он мне, а не только что внук. Это надо понять. Это тонко, тонко... По мне назвала: Тарасом!

Так говорил бабушка и разливался в три ручья.

...Откуда было знать бабушке, что он однажды снова, но только не счастливо, а горько заплачет из-за Тарасика. А это случилось как раз тогда, когда папе дали квартиру и Тарасик уехал от бабушки.

Папа тоже не знал, когда танцевал с мамой в парке культуры и отдыха, что в один прекрасный день ей только то от него и понадобится, чтобы он обводил на листочках бумаги карандашами руки Тарасика.

Луна спокойно выкатывается из-за облака. Вся комната залита ее широким сиянием.

— Докатился, — говорит злобным шепотом маминой фотографии папа Тарасика. — Дожил, а?!

И он запускает пальцы в густые русые волосы. (Волосы сейчас же встают от этого во все стороны торчком.)

— Хорошо! Красиво! — говорит маминой фотографии папа. — Что ж! Пожалуйста!.. Я себя за героя, конечно, не выдавал. Маяков я не охраняю... Кто я? Я всего рядовой монтер.

Но почему, когда он говорит все это, словно плывет и движется комната, освещенная отблеском белого снега? Зачем так светится край тарелки с молочной лапшой? Зачем покачивается длинным туловищем угловой челсзек на стенке?

Папа хватает листок бумаги и синий карандаш, подходит к кровати Тарасика и быстро-быстро обводит карандашом руку Тарасика.

Он аккуратно складывает листок и запечатывает его в конверт. Вспархивает на окне от ветра занавеска.

Папа подходит к окну и срывает занавеску. (Ведь ее повесила на окошко мама!)

Занавеска, мертвая, повисает на папиной руке. Голо и холодно глядит незанавешенное большое окно в сощуренные глаза папы.

На дворе ночь. Под окном снег. Снег блещет и светится спокойным, широким голубым сиянием. Он прыскает блесками, горит, как от холодного пожара.

А в небе луна. Лицо у нее чуть скуластое, а глаза раскосые.

«Соня!» — говорит папа. И опускает голову. На руке у него неподвижная, сорванная с окна занавеска.

Глава шестнадцатая

Дедушка Тарасика Тарас Тарасович Искра шагает по городу. Он возвращается домой.

Тяжело ступает дедушка по снежным дорогам усталыми ногами.

Вот он обогнул мост. Позади остались улицы, широкие и большие. За мостом потянулась окраина — улочки узкие, переулки горбатые.

Мигнула навстречу деду знакомая новостройка — большущий дом, окруженный паутиной лесов.

На пустыре у дома, тесно прижавшись друг к другу, как пилюли в аптекарской коробочке, лежат перевернутые вверх дном ванны.

В свете луны поблескивает кирпич, отколовшийся от своих братьев кирпичей. И сияет бочка с известкой. Вся белая. А рядом белая земля.

На Украине, в Опошне, откуда дедушка родом, такой известкой белят хаты — и хаты белые, как сахар. Летом там стрекочет трава, потому что поет кузнец. И светляк горит из пожженных трав: насекомое, а имеет фонарь. А на изгороди из кольев сушатся глиняные горшки, сработанные украинскими гончарами.

...Да, да, ничего не скажешь, хорошая на новостройке бочка!

Но вот наконец-то глянул деду в глаза из дальнего переулка маленький деревянный дом. Это дедушкин дом. Он старый. И деревья во дворе старые — большие, с толстыми стволами. Они прожили много лет, может, триста, а может, больше. Их широкие кроны уходят в темное небо. И светятся, и горят.

Ну и старательный художник зима! Не поленилась, разрисовала инеем каждую, хоть самую маленькую ветку.

Дед проходит мимо, а дерево сыплет снегом на его теплую шапку. (Для дерева дедушка — мальчик. Дереву триста, а деду только пятьдесят семь лет.)

Дедушка медленно пересекает двор. За ним идет его тень. Плечи у тени сутулые. Она опустила голову. У нее тяжелые длинные руки. Она стара.

Тень старая потому, что нет у нее глаз, как у дедушки, чтобы видеть город и радоваться ему. У нее нет сердца, чтобы любить своих внуков. У нее нет памяти, чтобы вспоминать свою родину.

Дедушкина тень выражает обиду, усталость. Да мало ли что она может выразить? Ведь это тень человека — не шкафа или стопки книг, поваленных на шкаф. Человечья тень, она самая умная из всех теней на земле.

Дед ступил на крыльцо своего дома. Заскрипело старое дерево. Крыльцо запело: «Где это ты пропал, хозяин?»

Дед, вздыхая, проходит длинный коридор и отпирает дверь своей комнаты.

В низкие окна его комнатенки заглядывает старый двор — сарайчики, пристройки и лесенки.

Двор освещает луна. Ее голубое сияние льется спокойно и свободно на крышу сарая, где посреди большого города живут куры.

Дедушка медленно поворачивает выключатель. Под потолком загорается лампа.

Она загорается, а комната темна. В углу стоит старая дедушкина кровать. В другом углу — кухонный столик и стул.

А посреди комнаты — муфельная печь. Его гордость. В ней он обжигает глиняные черепки, ищет цвет своей будущей вазы. Рядом с печкой белый песок — каолин.

Ярко горит под потолком лампа, она не завешена абажуром. Но комната-одинока, поэтому-она темна.

«Вот здесь,— вспоминает дедушка,— стояла коляска Тарасика, а там—Сонина раскладушка, а тут висело зеркало, в которое она любила глядеться...»

Медленно, будто к чему-то прислушиваясь, подходит дедушка к муфельной печке и включает ее. Яркий огонь освещает дедушкины руки.

В комнате вдруг делается светло.

Мастер Искра работает. Цвет эмали не шутка. Его-проверит только огонь.

Ночь. Она в каждом доме, в каждом погасшем, в каждом светящемся в темноте окошке; она стоит, притаившись, в подворотнях, ложится на тротуары острыми тенями ларьков; спокойно глядит на землю с черного неба, где низкие звезды и большая белая луна.

Тихо дремлет фонарь на перекрестке улиц. Согнув дугой свою тощую алюминиевую шейку, он отбрасывает на мостовые свет, похожий на конус.

Блещет и светится в темноте снег. Он прыскает блестками, горит, как от холодного пожара.

Ночь, и ясное дело, что даже в том месте, где небо сходится с землей, еще не видать солнышка. Но вот из-за домов осторожно выкатывается узкое длинное зарево, похожее на дым. Небо из темного делается светло-серым.

Свет медленно наплывает на середину неба. Звезды уходят. Это рассвет.

Утро!

Давайте пойдем дальше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Однажды московский парнишка-электротехник пригласил вечером за город девушку, которую звали Соня, а прозвали Семечкой.

Электротехник и девушка сидели друг против друга у распахнутого окошка автобуса. Они молчали. Лицо у парня было насмешливое, сердитое.

Склонив набок голову, девушка подобрала от скромности ноги под вздрагивающую скамейку. Ей было неловко. Ей все казалось, что люди глядят на нее и думают: «Вот она! Вот она! Раскатывает по вечерам на автобусах с кавалерами».

Чуть приоткрыв рот, Семечка глядела, как рвется земля из-под бегущих вперед колес, как она откатывается назад — кругло и мгновенно, бугрясь деревьями, деревцами, кустами, кустиками.

Лукаво мигали в широко распахнутые глаза Семечки домишки и домики. Кидалась под вздрагивающие колеса асфальтовая дорога. Изредка Семечка отрывала глаза от окна автобуса и поглядывала на своего сурового кавалера. Ветер трепал его хохолок.

Приехав, они раскинули палатку и развели костер из сучьев, которые нельзя было подбирать: «...Осторожней, граждане! Берегите лес от пожара!»

Испеклась картошка. Электротехник и Соня принялись целоваться. Они целовались долго.

Костер горел. Тихо стоял у берегов лес — обглоданный, городской, со следами бывших костров. В этом лесу не водилось ни одной белки, ни одного медведя. Но тихая луна озаряла его вершины. Чуть слышно и заперто шумела вода канала. Как зажегшиеся во тьме папиросы, мигали в лесу другие костры.

«...Граждане, граждане, берегите лес от пожаров!»

У речки сидел рыбак, старик, москвич. «Псих, должно быть». Спали щуки в реке. А он знай сидит и сидит, как будто нет на земле ничего, кроме рыб. Фетровая дамская шляпа с большими полями сползала ему на нос.

А у лодочной станции бились привязанные к цепям лодки. Их влажные скамейки отражали растекающуюся луну.

Тишина, таинственная, большая, переполненная шорохами, пронизанная сиянием маленьких белых звезд, как будто выпархивающих из собственных лучей; тишина, озаренная тихим сиянием; тишина, от которой хотелось плакать; тишина, великая, торжественная, разрывавшая душу, стояла над лесом, полем, рекой, кострами.

Семечка приоткрыла рот, как будто хотела вобрать в себя, проглотить эту тишину, этот мир, эти плески и шорохи.

Она вздохнула, раскинула руки и принялась кружиться. Прилежно перебирала она худыми длинными ножками, обутыми в тапки, по камням берега. Вилось и вспархивало вокруг ее тонких ног посветлевшее от луны голубое платьишко.

Она кружилась долго — до тех пор, пока не поплыл лес и не качнулся в глаза канал.

Тогда Семечка упала на камень и принялась смеяться.

И вдруг она приметила лицо юноши. Незнакомо и страшно выступало оно из белого света ночи.

Ее испугало выражение его как будто ослепших глаз.

— Богдан, ты чего? — спросила она. Так окликают маму во тьме ночной комнаты для того, чтобы услышать рядом голос родного человека; для того, чтобы вздохнуть, успокоиться. А назавтра сказать: «Ну и напугалась же я, честное слово. Прямо смешно!..»

...Завтра! Завтра — день дальний. А сегодня так страшно, что и сказать нельзя. Сегодня весь мир как будто ошетинился, чтобы напугать ее своими тенями, своим молчанием, своими кострами, шорохами и вот этим лицом, этим перевернутым взглядом, этим хриплым дыханием.

— Богдан!.. Да ну тебя на самом-то деле!.. Чего с тобой? Говори... Честное слово, больше я с тобой никуда не поеду.

И, слыша свой голос (который так хорошо притворялся, что ему вовсе не страшно), она пугалась все больше и больше.

— Богдан, мне страшно.

— Со-ня-я-я!

Он сказал это шепотом. Но как горячо, как грустно и счастливо донеслось до нее ее имя.

— Соня!..

Соня (и больше уже не Семечка!).

Лес подхватил ее имя; река его повторила; и даже земля — гудящая тонким звуком и разошедшаяся от дневного солнца.

Все вокруг говорило, и повторяло, и пело: «Соня-я-я», как будто весь мир захлебнулся ею и забормотал, что любит ее.

— Со-ня-я-я...

Тот, кто это сказал, смотрел на нее так старо и древне из-за каждого дерева, из глубины вот этой земли, растрескавшейся от дневного зноя. Он говорил «Соня» светом костров; тишиной и безветрием; тьмой; широтой лесов и полей; дыханием вот этой речки; биением вот этого сердца; лицом, преображенным страстностью выражения и слепотою вот этих опрокинутых над ней глаз.

И она узнала его.

Она сказала: «Богдан».

Лесной пожар занялся едва приметно. Скупое пламя лизнуло одно дерево, а потом другое...

И, страшный в темноте ночи, забил пожарный набат.

Огненно, вздыхая, стеная, повалились одно за другим на землю деревья.

К небу взвился огонь, забушевало пламя.

Полно, а был ли на самом деле пожар? А может, он только им помешался?

Под Москвой выпадают большие росы.

За ночь выпала большая роса. Пока юноша и девушка шли к автобусу и девушка плакала, роса подсохла, ее подсушило солнце.

Ветер легонько тронул скирду, которую заготовили на зиму, для того чтобы кормить скот. От сена запахло лютиками.

Наступило утро.

— Ну? Чего ты реवेशь? — спросил у девушки электротехник.

И у нее зашлось сердце.

Ветер жалостно дернул ее платьишко. Старый и добрый, он хотел ей напомнить, как сладко пахнет земля (большая земля со всеми ее морями, лесами, полями, лютиками).

Но под ногами у девушки не было больше земли.

Она не знала, что человек может плакать так горько; что человек может изойти слезами; что человек может умереть от слез; выплакать душу; сердце; свет своих глаз...

Они шли по полю. Соня плакала.

— А между прочим, сюда идут, — сказал, жуя травинку, электротехник. — Решили, видно, что человека зарезали... или стянули с него часики.

«Идут?!»

Она спряталась: прижалась щекой к его майке. Под ее распухшими от плача губами глухо и медленно билось сердце. От сердца (или от майки) пахло дымком.

— Богдан!

Не зная, куда себя девать, его рука, растерянно и неловко, легла на ее плечо.

Соня спряталась в его жесткой ладони — в щели между теплой майкой и сильной рукой.

— Богдан!..

И он заорал:

— Женю-юсь!.. Перестань реветь. Ты слышишь?! Женюсь!.. Люблю!

* * *

Свидетельство о рождении

Искра

Тарас Богданович

родился 16 марта 1954 года

место рождения: Москва

район: Московская область, республика РСФСР

о чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении 1954 г. марта месяца 28 числа произведена соответствующая запись

место регистрации:

ЗАГС Свердловского района гор. Москвы

Дата выдачи: 28 марта 54 г.

Д-РБ № 131826

Заведующий Бюро записей гражданского состояния

Н. Артюхов.

Глава первая

Из-за домов навстречу Тарасику и папе белым дымом выползает туман. Он стелется по земле как будто бы для того, чтобы защитить собой и пригреть снег; как будто бы для того, чтоб сказать папе и его мальчику: «Ступайте-ка осторожнее! Снег — он уже не молоденький. Устали хрустеть и устали скрипеть его белые косточки».

Вздрагивая, тихо дремлют на проводах воробьи. Уселись в рядок, нахоленные, кудлатые, и не видать их головушек. Схватились они и попрыгали головы под рябые крылья.

— Папа, давай нажимай! — заглядевшись на воробьев, говорит Тарасик.

— А что случилось? — спрашивает папа.

— А то, что шагай веселей.

— Я тебе не конь,— сердито говорит папа.— Ты мною не понукай.

— Из-за тебя я опоздаю в детский сад, давай действуй! — ворчит Тарасик.

И папа действует: Тарасик тащит его вперед.

Так они доходят до перекрестка улицы.

И вдруг Тарасик бросает папину руку и останавливается, широко раскрыв рот. Медленно и осторожно он поднимает голову, поворачивает ее, как стеклянную, и, не мигая, глядит на седую лоточницу из-под бортов своей лохматой шапки.

Старуха пляшет от холода. В воздухе мелькают ее большие рыжие валенки. Ее пуховый платок блестит. На каждой пушинке платка дрожит иззябшая капля. В каждую каплю, как в зеркало, глядится солнце.

— Что с тобой, Тарас? — удивившись, говорит папа.

— Папа! Она... красивая! — вытаращив глаза, отвечает Тарасик.

— Кто? (И папа оглядывается.) Спрашиваешь!.. Но главное в человеке не красота, Тарас. (И папино лицо становится печальным.) Главное в человеке... (Папа достает из коробочки папиросу и чиркает спичкой — видать, он не знает, что главное в человеке.) В человеке главное... (Папа прикуривает.) ...порядочное поведение! Душа!

— Душа? — приподняв брови, задумчиво спрашивает Тарасик.

— Ага!.. — И папа выпускает в воздух три дымовых колечка.

— Дай руку! — приказывает Тарасик.

И папа молча протягивает Тарасику руку.

Прохожие, у которых нет потайного фонаря, видят, что по улице идет молодой отец и, задумавшись, тащит своего толстого сына. Но мы-то...

Мы видим вот что.

По улице идут два мальчика. одному из них нет еще и пяти, а другому двадцать четыре года. Один высокий и поджарый. Другой короткий и приземистый, он смахивает на колобок. На нем пальтишко, перешитое мамой из старой дедушкиной куртки. Пальтишко украшено барашковым воротником. (Его сшила мама из своей старой меховой шапки.)

У одного мальчика лицо задумчивое. Из-под кепки свисает на лоб прямой белесый чуб. (Это папа.)

У другого лицо лукавое и вместе шустрое. Он чернявый, как турок. (Это Тарасик.)

У одного глаза голубые, холодные, как льдинки.

(Но ведь это просто так говорится: «холодные, как льдинки». Мы-то знаем, что льды холодными не бывают. Попробуйте, троньте лед — он обожжет вам руку. Льдины брызжут сотнями огней, если на них упадет солнце. А это значит, что в каждой из них живет горячее сердце.)

У одного из двух мальчиков подбородок тяжелый и чуть выдается вперед. (Это папа.) У другого личико круглое, а подбородок остренький, как у новорожденного котенка.

Мальчики не похожи один на другого. Но разве бывают вполне похожи друг на друга ветки одного дерева?

Нет. Они разные — длинные и короткие, прямые и кривые, гибкие и неподатливые... Каждая ветка шумит и молчит по-своему. И каждая по-своему повертывается к солнцу.

Но растут они от одного ствола.

Глубоко корнями своими уходит дерево в большую землю.

Тарасик, папа и дедушка Искра — ветки, растущие от одного ствола. Такое дерево зовется семьей.

Папа — Богдан; Тарасик, ясное дело, — Тарасик; а дедка — Тарас Тарасович.

Но все они зовутся Искрами. Семейство Искр. Ветки одного и того же почтенного дуба.

Мальчики, которых мы осветили потайным фонарем, не похожи и вместе похожи один на другого. Еще бы! Ведь это папа и его сын.

Вот они идут по улице и молчат.

Сквозь варежку Тарасик чувствует тепло папиных пальцев.

«Сегодня я возвращусь с работы и буду совсем один! — говорит ручке Тарасика папина рука. — Ночью не будут стоять под кроватью твои башмаки, Тарасик...»

— Папа, а ты пробудешь со мной в саду до самого вечера? — сейчас же спрашивает Тарасик.

— Нет. Я иду на работу. А что?

— А то, что я хочу домой.

— Но ты же хотел в детский сад? Ты меня торопил. Ты не дал мне побриться!

— Хотел. А теперь не хочу.

— Тарас, ты попросту хочешь, чтоб я тебя выпорол.

— Хочу!

Они останавливаются посредине улицы. Их толкают прохожие. Вокруг них образовывается водоворот.

Опомнившись, рука папы сердито хватается руку Тарасика.

— Чтоб такой большой и такого маленького! — на всю улицу голосит Тарасик.

Его вопли подхватывает мороз.

Прохожие видят, как по тротуару идет молодой отец и, не говоря ни слова, тащит вперед своего орущего сына. Мальчик лягается толстыми ножками, обутыми в валенки, приседает на корточки, выворачивается из отцовских рук.

— Нехорошо, товарищ, — останавливаясь и покачивая головами, увецевают папу прохожие. — Все же надо с ребенком как-то поделикатней...

— Порись! — причитает Тарасик. — Порись!.. Я маме скажу.

— Ну и отец! Ну и ну! — вздыхают прохожие. — Разве можно с ребенком так?

Папа молчит. Но на щеках, под кожей, у него легонечко дрожат мускулы.

Тарасик знает — папа не скажет ему: «Перестань!» Поэтому он будет орать до тех пор, пока совсем не выбьется из сил.

Недаром Тарасик и папа — ветки одного и того же дерева. Может, это сильно упрямое дерево?

Дуб. Чего ж тут и говорить?

Смотрите-ка: вот шагают по улице два человека. Один из них спотыкается и орет. А другой как будто не видит этого.

Меньшой устал спотыкаться, устал орать. Все глядят в его сторону и печально покачивают ему вслед головами. Широко раскрыв от удивления рта, на Тарасика оглядываются ребята. Они думают: «Вот он, вот он — толстый поротый мальчик».

И только мороз жалеет Тарасика.

Увидел его слезы, нежно погладил его глаза длинными теплыми пальцами.

Пошкотал один глаз, пошкотал другой... Сквозь голубые и красные льдинки, которые сейчас же слепили его ресницы, Тарасик разглядел желтый двухэтажный дом.

Рядом с домом — сад. Во дворе, ничего себе, хорошая горка. Рядом с горкой — салазки.

— Порись! — приветствует Тарасик детский сад.

С причитанием: «Чтобы такой большой и такого маленького!» — он перешагивает порог двухэтажного дома и вступает на широкую дорогу новой жизни без мамы, папы и дедушки, без знакомой лестницы, без дедушкиной качалки, без слова «сын».

Тут он будет мальчиком, а не только сыном. Тут он станет Тарасиком Искрой, а не только Тарасиком.

— Ты кто? — наклонившись к Тарасику, спрашивает какая-то тетя в белом халате.— Тарасик?.. А я — Маргарита Ивановна. Ну и горластый же ты, Тарасик. Проходите!.. Вы папаша? Раздевайте ребенка. Вот его шкаф. Ты запомнишь, Тарасик? Это твой шкаф. Тебе нравится эта вишня?

— Ага,— облизнувшись, говорит Тарасик.— Хорошая вишня. Я буду — вишню.

— Вот и отлично! — восхищается Маргарита Ивановна.

И Тарасик хватается ее за подол. Крепко держась за ее подол, он сердито глядит на папу из-под бортов своей лохматой шапки.

Глава вторая

Сняв кепку, стыдливо поджав под стул ноги, папа сидит в прихожей и ждет заведующую детским садом.

Дверь пропела еще разок свою тонкую, нежную песенку, и в детский сад вошли мама и ее девочка.

Мама высокая. Лицо у нее желтоватое, с ввалившимися щеками. А у девочки личико милое. Оно говорит: «Я хорошенькая. Верно? Я очень хорошенькая... Ага?»

На голове у девочки капор, который связала мама; на ногах тупоносые белые ботики; на крошечных ручках варежки, вышитые мамой. В тугих косичках голубые прозрачные ленты, торчащие и шустрые, как уши у зайца.

А на маме черное выгоревшее пальто и черная шляпа, похожая на старый горшок. Под шапку гладко убраны ее седоватые волосы. Мама раскланивается, улыбается... У нее нет двух передних зубов. (Эти зубы уже никогда не вырастут, потому что они не молочные.)

Тяжело ступают по красным дорожкам большие плоские мамины ноги, обутые в открытые калоши. Ее шаг сотрясает пол. Шагают, шагают упрямые мамины ноги, а рядом, как лапки воробышка, семят тупоносые белые ботики ее дочки.

Дверь открывается опять. Трубач-мороз говорит: «Вот он! Встречайте, ребята!»

Через порожек перекатывается крепко скроенный краснощекий мальчик в серой каракулевой генеральской шапке.

За ним идет его ладно скроенный, сизощекий дедушка-генерал.

— Приветствую! — переступая порог, говорит генерал.

И кажется, что его басок брызжет соком и чистотой, так его славно умыл мороз.

— Привет почтенному дому сему! — помахивая рукой, брызжет умытым ласковым голосом генерал.

— Привет, с хорошей погодой, папаша! — не сморгнув, отвечает деду хитрая нянечка.

— Альфред, раздевайся! — сдерживая ликующую улыбку, командует дедушка.

И разматывает на внуке шарф.

А дверь верещит опять. Она поет свою утреннюю знакомую песенку: «Ки-ра, Ки-са, Кса-на, Ки-рилл».

И нет ей времени отдохнуть.

Тонок и звóнок голос двери. «Не ссорьтесь, не ссорьтесь, — скрипит она. — Не простужайтесь, не задирайтесь, не обижайтесь. Поздравляю и много благодарю».

Энергично толкая друг дружку локтями, переваливаясь на коротких кривых ногах, в прихожую входят два брата-близнеца.

— Сычи, да и только, — вздыхает нянечка.

«Добрые люди, — говорит молодое кроткое личико матери, — не обесудьте за то, что они родились у меня такие самостоятельные».

— Хочу какава! — подходя к своему шкафу, говорит один из двух мальчиков.

— Дайте какава! — сейчас же требует его брат.

— Будет вам! — убеждает шепотом мама. — Вы же только что напились кефиру. Могут подумать, что вы голодные.

— Какава! — хором говорят дети, снимая валенки.

— Ай да братья Пылаевы, — покачивает головой нянечка. — Сразу слышать, что пришли Пылаевы.

Близнецов зовут Пашей и Пекой. Но никто не может выговорить сразу два имени, как бы он ни старался.

Поэтому в детском садике мальчиков-близнецов зовут по фамилии: Пылаевы. «Братья Пылаевы», чтобы не обидно было ни Пеке, ни Паше.

— Ай да Пылаевы, — говорит нянечка. — Сразу слышать, что пришли Пылаевы.

— Товарищ Искра, — говорит задумавшемуся папе Тарасика заведующая детским садом. — Извините... Я вас заставила ждать. Пройдемте... Нет, сюда. В эту дверь.

Глава третья

Дверь стеклянная, раздвижная.

Когда заведующая детским садом сидит в своей комнате, она словно капитан на своем капитанском мостике.

Ей сто́ит только приподнять голову, чтобы увидеть сквозь прозрачные двери, кто входит в детский сад, а кто выходит из детского сада; стоит ей повернуть голову вправо — и она сейчас же увидит большую белую лестницу, бегущую вверх, в спальни к ребятам; стоит ей поглядеть влево — и она увидит плиту. И кухарку.

Когда капитан стоит на своем мостике, перед ним море, солнце и звезды. (По-морскому, а это вы узнаете дальше, они называются небесными светилами.) Есть у капитана и карта. На ней отмечены глубины морей, подводные скалы и указано, какие и где проходят подводные течения.

А перед заведующей детским садом лежит на столе большая толстая книга, переплетенная в голубую обложку. В эту книгу вписаны все девочки и мальчишки, которые приходят в детский сад.

Имя:

Тарасик. (Тарас Богданович Искра) — вписывает заведующая большими четкими буквами в свою голубую книжку.

В о з р а с т:

Четыре года, шесть месяцев.

Н а ц и о н а л ь н о с т ь:

Украинец.

О т е ц:

Богдан Тарасович Искра.

С п е ц и а л ь н о с т ь:

Электротехник.

М е с т о р а б о т ы:

Улица Гоголя, 42, Госэнерго. (Студент-заочник Электротехнического института.)

М а т ь:

— Отсутствует,— отвечает папа.

— То есть как это так «отсутствует»?.. — Молодая кудрявая заведующая хмурится.— Извините, товарищ Искра, но у меня в саду сто двадцать ребят. У меня нет времени для шуток.

— А я не шучу,— рассердившись, говорит папа.— Она на Дальнем Востоке.

Заведующая отрывает глаза от книжки и по-детски, в упор, неучтиво и пристально, разглядывает папу Тарасика.

Под ее взглядом он густо краснеет и опускает голову.

— Товарищ Искра,— дрогнувшим голосом говорит она,— свет не без добрых людей. Ребенка вырастите. И вырастите хорошо!

— Чего, чего? — ужаснувшись, спрашивает папа.

— Успокойтесь, товарищ Искра!

Перо скрипит.

М а т ь:

«Отец-одиночка», — прикусив губу, аккуратно вписывает двадцатидвухлетняя заведующая детским садом в голубую толстую книжку.

Глава четвертая

— Спасибо вам, Маргарита Ивановна, ну и терпения же надо к ним, Маргарита Ивановна, в жизни не хватило бы у меня такого терпения, — сказала Нелина мама, робко глядя в глаза Маргарите Ивановне и улыбаясь, как улыбаются в школе учительнице девочки-подлизы.

— Да бог с вами, какое же тут терпение, — ответила привычно усталым и спокойным голосом Маргарита Ивановна, все понимая и тоже улыбаясь. — Пообедала хорошо. Да нет, ну кто же ее обидит? Право, нет. Ее любят у нас.

Пока она говорила это, Неля, одетая в свою белую шубку, примостившись на корточках, лепила из снега пирожки. Рядом с ней сидели Тарасик и Альфред.

— Он не так лепит, — говорил Неле Тарасик.

— Он испортит тебе пирожок, — говорил Альфред.

Искоса, боковым взглядом глядела Нелина мама на светлые Нелины косы, торчавшие из-под капора, на розовую, повернутую в ее сторону щеку; не слыша, вслушивалась в детские голоса. Звонкий голос дочки выражал уверенность и любовь к себе. Неля смеялась.

— Маргарита Ивановна... — вдруг сказала Нелина мама.

— Да, да, мамаша?

— Маргарита Ивановна! Мне кажется... Неля будет иметь успех.

Голос дрогнул, губы скривились, как будто прося, чтобы Маргарита Ивановна простила ее за ту глупость, которую она сказала только что.

— Несомненно! — серьезно ответила Маргарита Ивановна. — По моему, Неля будет иметь успех.

Мать не сказала больше ни слова и даже не сказала «до свидания». Она взяла свою девочку за руку, и они пошли. Так рядом с сумрачной стеной высокого каменного дома прыгает солнечный заяц, невесть откуда взявшийся. Так меж булыжников пробивается робкая травка. Так ни с того ни с сего неожиданно раздается на окраине города в предрассветной темноте петушиный голос: «Кукареку, я тут, пришло утро!»

Свернули за угол и пропали. И Маргарита Ивановна наконец позволила себе улыбнуться и забыть, что она воспитательница.

Один за другим расходились по домам ребята — мамы, папы, дедушки, бабушки уводили их из детского сада.

— Дети, ужинать, ужинать! — сказала Маргарита Ивановна круглосуточникам счастливым и радостным голосом, стараясь не встречаться взглядом с новеньким мальчиком.

Он не сказал: «Я хочу домой», он не сказал: «А папа?» Он ждал.

«Этот, пожалуй, в жизни не пропадет», — почему-то подумала Маргарита Ивановна и небрежно и ласково сунула руку под барашковый воротник Тарасика.

— Ребята, ужинать, ужинать! — повторила она так бодро и счастливо, будто сообщала им, что в детском саду появился новый аквариум с рыбами или что в их детской столовой завелся кенарь.

— Стройтесь парами, — весело сказала она, — пусть каждый возьмет лопатку и ведро! Правильно, молодцы! Тарасик, не толкай мальчика, стой спокойно. Так! Пошли в дом!

И она запела, шагая рядом:

В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.

Ее песню подхватил один-единственный детский голос, голос самой кроткой и тихой девочки из всей группы. Заскрипел снег. «Кюк!» — очень тихо сказала дверь, и двенадцать ребят-круглосуточников вошли в прихожую детского сада.

Ночь. Может, где-нибудь в этот час светит солнце. Но в Москве ночь. Она над крышей каждого дома — самого большого и самого маленького. Она глядится во все окошки — в окошко дома на самой-самой дальней окраине и того большого дома, что на улице Горького. К каждой стене прильнула она своей тихой щекой. И хотя улицы залиты электрическим светом и все еще едут по ним троллейбусы, автобусы, трамваи, но полгорода спит. Спят не только дети и старые люди, спят булыжники во дворах, там, где нет уличных фонарей. Спят деревья и даже, может, река Москва. Ведь надо же отдохнуть и ей. Конь спит стоя, а река — на бегу.

В спальню детского сада входит свет с улицы. Наискосок от детского сада — кино. Над кино зеленые буквы. Они то вспыхивают, то потухают. Зеленый свет больших букв освещает кровати в спальне ребят. Вспыхнет, погаснет и снова вспыхнет.

Светом, должно быть, командует милиционер — хозяин улицы. Недаром он стоит на углу, где скрещиваются разные огни. И, может, это вовсе

не большие зеленые буквы, которые над кино, а милиционер засылает свет в спальню детского сада?..

Тарасик лежит, затаившись под байковым одеялом, положив руку под щеку. Он не спит и не жалуется. Он шустрый. Он понимает—его не услышат ни мама, ни папа, ни дедушка. Покивал бы ему хоть какой-нибудь теневой человек со стенки! Не покивает. Чужая комната. Новая комната. И тени здесь новые. Даже тени чужие. И нет того, чтоб сказала тень, как один раз сказал дома, во сне, угловой человек Тарасику: «Тарасище, хватит! Закрой глаза!»

Дома можно было заплакать сквозь сон, прижаться к родному, теплону, к маминой щеке и услышать: «Я тут, Тарасик, глупый мой, я же тут, чего это ты испугался, Тарасик?»

А здесь, что тебе ни приснится, никто не скажет: «Я тут».

Двенадцать ребят, двенадцать кроватей. Двенадцать стульев, на которых аккуратно сложена одежда каждого мальчика, каждой девочки.

Двенадцать ребят — ни единой мамы, ни единого папы, ни бабки, ни дедки, — хоть шаром покати.

Входит ночная нянечка, позевывает и, подперев кулаком щеку, садится на стул у окна. Она дремлет. Нос у нее то опускается, то вскидывается опять.

— Тетенька, — говорит Тарасик, — пойди сюда... Посиди со мной... пожалуйста.

— Полно тебе, — отвечает она, — перебудешь ребят, спи себе, спи!

Но Тарасик не спит. Не спит и не будет спать... Один! В чужой комнате, с чужими тенями, с чужими стенками и чужим потолком. Он знает — тут никто ему не откликнется, не пожалеет, не сядет рядом, не скажет: «Усни, Тарасик».

Дома откроешь глаза и сквозь ресницы увидишь: у письменного стола сидит папа, а где обедают — мама. Рядом с мамой — чайник. Мама всегда сидит на тычке, возле чайника, — не то что папа. У папы целый письменный стол...

Мама пишет. Она рассказывала Тарасику, что выучится на журналистку и будет писать в газеты. Чуть что — она всегда пугает Тарасика и соседских ребят:

— Бойтесь меня! Я вас на чистую воду выведу, я вас освещу в печати!

— Смотрите, смотрите, она хочет нас освистать в печати! — говорили про маму мальчики во дворе и смеялись.

А мама писала, писала. Рвала — и опять писала. Она жмурилась, как будто во что-то вглядывалась...

— Мамочка! — окликал Тарасик, чтобы мама не вздумала забыть о нем.

Она вздрагивала, поднимала голову и, бросив все, подходила к нему.

А тут — зови, не зови — никто тебя не пожалеет.

Скрипнула и открылась тихо и страшно дверь чужой комнаты. В комнату вошла неслышным шагом Маргарита Ивановна. Много кое-чего знает она про нового мальчика, про Тарасика. Знает, что Тарасику четыре года шесть месяцев. Знает, что он орет и дерется. Знает, что во время обеда он схватил чужой пирожок. Она велела ему тогда: «Скажи сейчас же девочке Оле: «Извини, я больше не буду», а девочка Оля ответила: «Ни за что! Пусть всю жизнь непрощеный ходит!»

Маргарита Ивановна знает, что Тарасик смотрит на всех сердитыми, ждущими глазами; знает, что он лягает каждого из ребят, который тоже хочет немножечко подержаться за ее платье. Много кое-чего знает Маргарита Ивановна о мальчике, который первый день в ее группе. А что о ней знает Тарасик?

Если бы он мог переколдоваться, к примеру, в шпильку, которая в волосах Маргариты Ивановны, или в снежинку на воротнике ее пальто, он бы вместе с ней сегодня после работы свернул за угол. Вместе с ней прошел бы широкий двор. Вместе с ней поднялся бы неторопливо вверх. Так же, как и она, Тарасик остановился бы на пороге комнаты — той самой, где живет Маргарита Ивановна.

Дом... Ее дом. Вот аккуратно застланная кровать, стол, полки с книгами, на окне занавеска. Ну и хитрая же Маргарита Ивановна, пожалуй, подумал бы он: она не гасит свет в своей комнате. Откроет двери — ее встречает свет. Свет лампы.

Маргарита Ивановна хитрая. Она шустрая, как Тарасик. На всякий случай она каждый день натирает пол, чтобы веселее было вернуться в дом.

Вошла. Сняла шляпу. Пальто. Надо бы поесть. Постираться. Лечь. Но вот беда. Ей сильно не нравится пол в ее комнате. Если б на нем был след от чьих-то ног, хоть маленьких, самых маленьких!.. Пусть не мальчишка, пусть хоть девочки — вот бы весело было тогда Маргарите Ивановне! Она бы не зажигала в комнате свет, перед тем как уйти на работу; она бы, пожалуй, сварила обед, она бы, пожалуй, читала вслух книжку. Она бы, пожалуй, спела, как пела когда-то своему сыну в полутьме комнаты, заслонив настольную лампу газетой:

В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.

Откуда мог знать Тарасик, что люди иногда не спят по ночам даже тогда, когда они дома, а не в детском саду, и даже тогда, когда им не надо, как папе, готовиться к экзаменам.

Если бы он мог переколдоваться, перестать быть собой и сделаться Маргаритой Ивановной, он бы, пожалуй, увидел, что, кроме стола, кровати, кресла и занавески, которые всегда на своих местах, комната Маргариты Ивановны переполнена мыслями. Они носились по комнате — ночные, печальные, длинные и короткие. С ними было трудно сладить.

Когда Маргарите Ивановне не спалось, она бродила по улицам и возвращалась в детский сад: он был совсем рядом с ее домом.

И вот неслышно раскрылась дверь. В спальню к ребятам вошла Маргарита Ивановна. Услала нянечку и сидит у окна, затаившись, и кутается в платок. Она не знает, что на нее глядят с подушки глаза Тарасика.

«Была на свете большая война,— так вспоминает Маргарита Ивановна. — Возвращались домой поезда, украшенные бумажными цветами. А в поездах, понимаешь, Тарасик, ехали фронтовики. На вокзалах плакали от радости люди. Они встречали фронтовиков. Мама — дочку, жена — мужа, дети — папу, сестра — брата. И вот я сошла по ступенькам (Тарасик, ты заметил, какие высокие бывают у вагонов ступеньки?), прыгнула на перрон и пошла вперед.

На мне была форма. Она бы, наверное, тебе понравилась. Красиво блестяли на ней погоны. Я, знаешь ли, была младшим лейтенантом. Ух, и сверкали трубы, Тарасик! Ух, и бил барабан! Тебе нравится барабан?.. Я шла, и вдруг меня обхватила чужая женщина — не особенно молодая и нельзя сказать, чтоб красивая, — и принялась меня целовать. А дома... Дома меня никто не встречал. И эту женщину я навсегда запомнила...»

— Тарасик, зачем ты ходишь босой?

— Тетя, не плачьте, тетя, — сказал Тарасик.

И Маргарита Ивановна увидела в свете зеленых букв его поднятое к ней лицо, блестящие, расширенные глаза.

— Тетя, не плачьте, — повторил Тарасик.

— А я и не плачу! — весело ответила Маргарита Ивановна. — С чего ты взял?

Молча и смело протянулась вперед короткопалая толстенькая рука Тарасика и тронула ее щеку. Маргарита Ивановна улыбнулась, подняла Тарасика на руки и, прижав к себе, стала тихо его укачивать. Она так шибко его сжимала, что он было хотел отпихнуть ее кулаком, да не отпихнул. Может быть, потому, что теперь он стал старше на целую ночь?..

Тарасик лежал под байковым одеялом. А рядом с ним, на его кровати, сидела воспитательница детского сада Маргарита Ивановна и тихонько похлопывала его по спине.

Разве Тарасик грудной, что надо его укачивать?

Поползли по стенам тени, поползли по ногам мурашки.

«Спи, Тарасик. Я тут, Тарасик», — думала Маргарита Ивановна.

Вспыхнул зеленый свет за окном. И зачем он старался? Тарасик не видел его. Он спал. Рядом с ним сидела Маргарита Ивановна.

Глава пятая

В тот вечер, когда Тарасик лепил из снега красивые пирожки, а Маргарита Ивановна сказала ребятам: «Возьмите свои лопатки и стройтесь парами!», папа Тарасика, очень счастливый и радостный, возвращался домой. До экзаменов по сопромату оставалось шесть дней. В самый раз он пристроил Тарасика в детский сад. Сейчас он зажжет зеленую лампу, раскроет учебник и будет заниматься. Вокруг — ни звука, ни шороха. Никто не скажет: «Папа, укрой меня», или: «Опять не купил халвы. Ты обещал халвы!» В доме тихо. Папа будет сидеть у стола, а на диване будет спать кошка.

Домой! В тишину! За дело!

Папа раскрыл входную дверь, прошел широким шагом по коридору. Вот и комната.

Энергично, не сняв пальто, он подошел к старому дедушкиному шкафу, распахнул дверцу и схватился обеими руками за старенькое платье мамы Тарасика. (Будто только того и ждал, чтобы пристроить Тарасика в детский сад и свободно хвататься за старые мамины платья.)

Папа замер. Прижался к платью щекой, нырнул в него. Может, он даже поцеловал бы платье, но это уж было бы чересчур, до такого он себя допустить не мог.

Мамино платье, за которое обеими руками держался папа, было старое, штапельное, чуть выгоревшее, голубое в желтых цветочках. Оно было мягкое и от частой стирки сделалось на ощупь как шелковое, только еще шелковистее. В старом дедушкином шкафу — который дедушка Искра подарил папе и маме — висело всего два платья. Папа много бы отдал, чтобы там висела целая дюжина платьев. Когда-нибудь он, может, накупит маме много разных красивых платьев — шерстяных и настоящих шелковых. Отрез бостона. И туфли. Лаковые. На каблуках. Но и это старое платье тоже очень нравилось папе Тарасика. Мама носила его много лет подряд. Еще тогда, когда они ничего не знали про своего будущего Тарасика.

Платье было счастливое. Никакой работы оно не работало, не стирало, полов не мыло, не стряпало. Оно только и делало, что ездило за город, ходило в кино и сидело в кафе-мороженох. Платье вилось вокруг маминых ног, когда она танцевала. Маячило голубым огоньком из-под большущих часов на площади. Оно было одно на свете, единственное. Штапельное. В цветочках. Увидев издали это платье, папа пускался рысью

к большим часам. Когда он подхватывал маму под локти и подымал ее, широкая юбка платья взвивалась, взлетала. Когда он сажал ее себе на плечо, платье так щекотало щеку, что хотелось зажмуриться и вдавиться в него глазами, щеками и подбородком.

Иногда, когда они ссорились, платье беспомощно обвисало вокруг ее ног. Она стояла с опущенной головой, зло и замкнуто глядя на папу из-под черных бровей. И ему хотелось заколдовать это глупое голубое платье: пусть оно станет маленьким, как носовой платок, он бы сунул его в карман или спрятал за пазуху. Вместе с ней... Так будет спокойнее! Нельзя же себя допустить до того, чтобы дурость, юбка забрала над человеком такую власть!

И вот папа стоял в углу комнаты и крепко держался обеими руками за старое мамино платье. Она носила его, когда гуляла в саду с Тарасиком. Папа любил это платье. Оно вобрало в себя часть его любви и его раскаяния.

Раскаяния? Но в чем же было раскаиваться папе? Ведь с первых же дней, как у дедушки поселился Тарасик, папа стал уходить из дому, чтоб не толкаться и не мешать ему. Мама вытаскивала из кухни корыто (в той квартире не было ванной комнаты). К потолку поднимался пар. Повязав зачем-то волосы белой косынкой и завернув в пеленку Тарасика, она опускала его в корыто. Тарасик дрыгал ногами. Он был доволен. А папа томился. Ходил по комнате, глядел сквозь стекло во двор.

— Ну что ж, я пойду, пожалуй.

— Да ты бы хоть того, хоть помог бы вылить корыто,— удивившись, говорил дедушка.

— Папаша,— тихим голосом отвечала мама,— пусть идет. Действительно, что ж...

И он уходил. Но ведь без помощи мама не оставалась, дед помогал выносить корыто.

Однажды, когда папа вернулся домой обедать, она гуляла с Тарасиком во дворе. Был первый весенний день. Она сидела на табуретке возле коляски. Дворовые лужи старательно отражали солнышко. Плакали водосточные трубы: таяли на солнце сосульки. И вдруг папа увидел, как мама закинула голову и тоже заплакала. Рядом с ней почему-то стоял отец. Она вскинула руки в толстых рукавах зимнего пальто, всхлипнула и прижалась лбом к дедушкиному животу. Дед длинный, выше ей было не дотянуться.

— Что с тобой, пойдем... Зачем же... нехорошо. Люди увидят,— вздыхая, говорил дед.— Молодо-зелено. Я ему... Я его...

— Нет,— сказала она,— если я сама не могу... Мне не надо насильно. Пусть...

И папа все это услышал.

В ярости, не сказав ни слова, он прошел мимо них, кулаком толкнул дверь, вбежал в коридор.

— Что случилось?— шепотом спросила соседка (не у него, у другой соседки).

— Искры плачут,— отвечала та.— Видно, Богдашка уж очень шибко схватился гулять.

— А вам-то что?— свирепо спросил у соседки папа.

— А то, что по ночам приходишь и будишь весь дом!

Неправда, неправда! Он никого никогда не будил. Он входил на цыпочках. Он зажмурился еще в коридоре, чтобы шагать потише. Неловко распахивалась под осторожным нажимом его плеча дверь комнаты. В углу горел ночничок. Он сделал его из елочной лампочки. Свет огня был похож на недремлющий глаз совы. Похрапывал и вздыхал

отец. Чуть взлетала марля над коляской Тарасика. Соня лежала в углу так тихо. Видно, крепко спала...

Врать не надо — она не спала! Он притворялся перед собою, что она спит. Подходил к кровати и видел: все в ней как будто к чему-то прислушивалось — завитки ее жестких волос, ладошки, согнутые колени. Он глядел на нее, и что-то перехватывало ему дыхание.

«А будь я проклят, если я завтра опять уйду», — говорил он себе. И он был проклят. И завтра и послезавтра он опять уходил. Москва большая. В Москве бывает футбол, состязания по легкой атлетике, шахматные турниры. В Москве много улиц, они просторные, широкие — по ним весело ходить большой компанией, а хотя бы и небольшой... Конечно, родился Тарасик... Но в Москве не закрыли кинотеатры, в Москве случаются и веселые вечеринки. Честное слово, он был хорошим отцом и очень любил Тарасика. Но не хором же петь колыбельные песни? Пусть их поет она... Да и товарищи говорят:

— Ты что, очумел, Богдан? Женился и закрутился?

А мамино платье щекотало папину щеку, папину ухо и будто шептало ему: «Нет, нет, было не только плохое. Было так много хорошего! Помнишь, Тарасик был уже большой, а вы танцевали по вечерам. По субботам, когда радио передавало вальсы... Кружились по комнате, на-талкивались на обеденный стол, коляску...»

И папа сейчас же вспомнил, как открывал дверь и они кружились по коридору. Соседи глядели молча, как вспархивает мамино голубое платье. Они носились между сундуками, раскладушками, холодильником. Не выдержав, дед хватал Тарасика на руки и тоже пускался в пляс. Если было лето, они кружились по двору на удивление петухам. Петухи выскакивали из своих сарайчиков — двор был старый, — усаживались в рядок на дощатый забор и, слегка наклонив головы, глядели кругло и глупо на маму и папу. По двору тихо гуляли куры, обалдело шарахались от танцевавших мамы и папы. А мама и папа, забыв обо всем на свете, так хорошо, так красиво плясали меж маленьких палисадников, которые загораживали окошки нижних этажей. Тарасик подпрыгивал на руках у деда, хлопал в ладоши, кричал: «Глядите, глядите, мама с папой танцуют!»

Зачарованно перебирала мама тонкими ногами в тапках по острым камням двора. Садилось солнце. Папа глядел, чуть-чуть улыбаясь, на ее черные волосы. От солнца они становились рыжими.

Едва поспевая за ними, кружился по двору дед с Тарасиком на руках.

— Искры пляшут! — говорили соседки, поглядывая на них из раскрытых окошек.

Спасибо, что оно тут — голубое платье. Ушла, уехала.

Люди проходят практику под Москвой и даже в Москве, когда у них есть ребенок. А ей подавай моря, океаны, штормы.

Однако ведь он не сказал, чтоб она не ехала на Дальний Восток. До этого он себя допустить не мог. Он смеялся над ней, подтрунивал. Перестал ей глядеть в глаза. Смотрел куда-то вверх ее тонких бровей (это было нетрудно, ведь росточком она не вышла).

— Да, да, папаша, — видно, судьба кому-нибудь прославить нашу семью. Вот она и прославит. «Софья Искра». Звучит?.. Тарасик, мама твоя человек творческий, без пяти минут журналист, а глядишь, раз-два — и в редакторы выйдет... Тогда нам с тобой до нее, пожалуй, не дотянуться.

— Чего? — говорил Тарасик и хватался за мамин подол.

Папа не отвечал. За два дня до ее отъезда он не выдержал, сдался, перестал смеяться и начал свистеть. Никогда в жизни он не свистел так много, как в эти дни. Смотрел в окно и насвистывал. Брился — насви-

стывал. Вместо того чтобы сказать «до свидания», «здравствуй» или «дай мне обедать» — свистел.

— Нехорошо, — сказал дед, — высвистываешь из дома добро.

— Добро? — приподняв брови, задумчиво спросил папа Тарасика. — Да куда уж теперь? Видно, высвистел.

И вдруг в тишине комнаты раздался тихий детский плач. Тарасик? Да нет. Тарасик выл, улюлюкал, не такой он был человек, чтобы плакать. Тихо забившись в угол, прижавшись к стене лицом, она всхлипывала, как девочка. Папа видел, как вздрагивают ее острые плечики.

Подойти, оторвать от стены, прижать к себе ее зареванное лицо, поцеловать глаза, сказать: «Марш в ночлежку!» (А это значило на их языке, что она должна спрятать голову под его пиджак.)

Но вместо этого он пожал плечами, вышел на кухню и засвистел.

Он не пошел провожать ее на вокзал. Зачем же? У человека есть воля, характер. Достоинство... Родные люди должны считаться друг с другом. А она наплевала. Ну и прекрасно. И он плюет. Но иногда бывает так трудно плевать...

Поезд на Дальний Восток уходил в семь тридцать. Ровно в семь часов, находясь на работе, он перестал плевать, взревел: «Замени, Рахматулин. Я мигом!» И ринулся на вокзал. Он вскочил в автобус, потом в метро. Два раза он уронил кепку... Прохожие и пассажиры проклинали его, он их толкал локтями, наступал им на ноги, вслед ему говорили: «Ну и вежливая пошла молодежь!»

Сердце билось так крепко, когда он бежал через привокзальную площадь. Он забыл, что есть на свете слова «достоинство», «самолюбие» и все остальные — похожие.

Надо было бежать. Он бежал. Только это он помнил.

Пусть сквозь стекло вагона, пусть хоть мельком она увидит его. Он ей крикнет: «Соня!» — вот только это одно. Вся его жизнь, все его желанья, бег, оголтелый стук сердца как будто превратились в самый последний вагон ее уходящего поезда... Догнать, крикнуть: «Соня!»

...И вдруг он увидел, как издалека идут через площадь Тарасик и девушка Искра. Они шли медленно. Им хорошо! Они ей махали вслед.

— Отец, — сказал папа дедушке Искре голосом, все еще срывающимся от бега. — Отец, ведь я ее так просил!

Медленно, холодно и отчужденно поднялись глаза из-под лохматых отцовских бровей.

— Видно, худо просил, сынок.

— А как же еще просить? В ногах мне, что ли, валяться? — вскинул-ся папа.

Словно не слыша, отец продолжал:

— Я тебя не засватывал, жениться не уговаривал. А уж коли схватил — держи.

...Папа закрыл старый дедушкин шкаф, сбросил теплую куртку, снял кепку.

Пока он шел к столу, для того чтобы зажечь настольную лампу, ему мигнуло большое лиловое пятно от пролитых на пол чернил...

Тарасик! Раз есть Тарасик — стало быть, она тут.

Тихо. Светло. По комнате ходит кошка.

Ну? Занимайся! Вокруг не слышно ни шороха, ни дыхания. Пристроил Тарасика в детский сад. Упек жену на Дальний Восток. Оскорбил отца, обозвал эгоистом старого человека. Чисто, тихо. Порядок. Учись. Постигай. Расти. Через шесть дней экзамен по сопромату. Перед тобой раскрытый учебник. Славно светит зеленая лампа. Перестала бродить по ком-

нате кошка. Свернулась на диване и спит. А может, удалить и кошку? Вытолкнуть ее на мороз?

«Занимайся, проклятый! Давай учись!»

Все это говорил себе папа Тарасика, опрокинув голову на руку, сжав от злости губы, стараясь забыть про то, что в шкафу висит какое-то глупое голубое платье.

...Вот как весело, как хорошо и спокойно провели первую ночь в разлуке Тарасик и его злосчастный отец.

(Окончание следует)



НИКОЛАИ ЗАЕВ

★

НАЧАЛО ДНЯ

Морозным утром выхожу в дорогу
В подшитых валенках и стеганке удобной,
Дареным шарфом шею повязав.
И радостно похрустывает снег,
Вернувшийся на землю из скитаний.
И провода навстречу выбегают
Горнистами декабрьской зари.
Передо мной рассыпаны следы,
За мною скрип размеренных шагов
И гулкое раскатистое эхо
от взорванных морозом сосен,
Звучащее торжественным салютом
Всем
начинающим свой день в пути.
Когда, расправив тросов сухожилия,
Потягиваются краны на восход,
Зевают экскаваторы ковшами
до судорог в лебедке
И моторы,
прокашлявшись, соляркою густой,
Как чаем мы,
сердца подогревают,—
Я не один!

Со мною в этот час
Выходят из дверей, окутываемых паром,
Строители, шоферы, слесаря,
В спецовках глянцевитых и прожженных,
Натянутых на ватники б/у,
Пропахшие олифою и ржой,
Карбидом Арагаца и бензином
Со звонких новостроек Туймазы,
На чьих руках сноровистых, умелых
Снежинки непоседливые тают,
С налета обжигаясь о пальцы,
Привычные к известке и раствору,
К упрямству рычагов коробок передач
И громыханью разводных ключей;

Кто станет под ветра нездешние, сквозные
На гулких, свинченных из труб лесах

И будет,
 щуря в инее ресницы,
 постукивая ручкой мастерка,
Равнять карниз,
 махоркою чадя,
По видевшему виды ватерпасу;
Кто поведет грузовики с породой,
 прогнувшей порыжелые рессоры;
Кто жилистые краны отогреет,
Дав в лапы им дымящийся кирпич
И грузные бады зеленого бетона.

Я выхожу, чтоб цехи вырастали,
 заполненные песнями станков
 и запахом вращающейся стали,
Где б шестерни, захлебываясь в масле,
Послушно обороты набирали
 по верному движению руки.
Где б дикие молекулы бензола,
Подвластные катализу, смирялись
И, под руку друг друга подхватив,
Бобинами капрона закружились.
Чтоб окна воздвигаемых домов,
Как детские глаза, сияли удивленьем
На этот мир Поповых и Кюри,
Познавший с колыбелей революций
И дел размах и жажду созиданья
Простого человеческого счастья,
Зовущегося кратко:
 коммунизм.

Я выхожу со всеми в это утро,
И вслед за нами —
 солнце над страной!



И. ИСАКОВ

★

КАВАЛЕРЫ

1

К началу лета 1942 тяжелого года мы уже знали, что если по ордеру станичного Совета квартирьеры получат большую, но пустую комнату, а в остальных комнатах этого дома тесно от мебели, перин и подушек,— значит, хозяева не собираются эвакуироваться. Таких хозяев, отводящих при разговоре глаза, были единицы, но они были. На вопрос, где сыновья, старики отвечали неопределенно:

— А кто разберет? Мабуть, в Красной коннице, а мабуть, еще где?

И можно было ручаться, что это именно их сынки, приbedнясь, приходили по вызову в военкомат в рваной рубахе или бешмете и дырявых сапогах, получали казенную «справу», а иногда по чьей-то глупости даже и оружие, после чего им почему-то фатально не везло, так как не удавалось найти свои сборные пункты или части.

Комиссар казачьей дивизии, объезжавший разбросанную дислокацию своих полков и прибывший в станицу Видмидиевку на несколько дней, чтобы помочь утрясти переформирование, очевидно попал на постой к хозяевам этого редкого, но все же существовавшего типа.

Большая, абсолютно пустая комната. Даже ключья обоев свисали кое-где с обшарпанных стен. Посредине — простой деревянный стол, накрытый очень давними, пожелтевшими газетами в чернильных кляксах. Две табуретки и железная кровать вдоль стены — не то казарменная, не то госпитальная.

Все это «богатство» богатого, под железной крышей и с резным крыльцом, многокомнатного дома во фруктовом саду освещалось одной тусклой лампочкой, висевшей над столом.

Красная, полунакаленная нить в засиженной и запаутиненной колбе поливала каким-то слизистым светом высившуюся на столе кучу амуниции и снаряжения: автомат с диском; шашка, скромно убранный серебром; маузер в деревянной кобуре, отполированной о черкеску владельца; призматический бинокль; армейская фляга в суконном чехле и так называемая «корпусная» полевая сумка. На первый взгляд казалось, что все это свалено на стол в полном беспорядке, но, приглядевшись, можно было обнаружить в клубке тонких ремешков строгую систему, позволявшую владельцу этой амуниции в случае надобности надеть ее на себя в пятнадцать секунд.

На койке валялись легкий потертый кожаный реглан и кубанка.

На краешке стола примостилась ученическая чернильница и лежала клеенчатая тетрадь.

Перелистывая страницы тетради, комиссар казачьей дивизии Петр Авдеевич Глазков разговаривал с сидящим рядом с ним у стола младшим инструктором Политического управления фронта.

Почти полная неподвижность могучего торса с бычьей шеей и медленные, скупые движения рук, размеренный хриповатый голос на низком регистре, с паузами после каждой фразы,— все это изобличало либо природную флегму, либо большую усталость комиссара.

Но может быть, сочеталось и то и другое...

А за открытым настежь окном — волшебная ночь Кубани, залитая светом полной луны, и такая тишина, будто там подводное царство.

Только негромкий, но слитный звон цикад, к которому привыкаешь так, что не слышишь, и шаги дозорного по дощатому настилу дорожки.

2

— Так говоришь, что казачки и морячки дружно живут?.. Ну, а как насчет соревнования?

— Да какое там соревнование! Состязаются на чихире, кто кого перепьет.

— Ну и кто? — Комиссар как будто оживился.

— Не знаю. Неудобно было оставаться. Как-никак, я представитель фронта. Еще не хватало, чтобы в жюри выбрали.

— Ну, это ты брось! Что-что, а тебе такое не грозит... Лучше расскажи, откуда ты взялся.

— То есть как откуда взялся?

— Да вот как из тебя инструктор вышел?

Это было сказано абсолютно незлобиво, и инструктор не обиделся. Он сказал:

— Я из Ростова. Взят с четвертого курса. Философ. Окончил курсы политработников, год работал по агитпропу. Специализировался на войсковой прессе.

— Скажи, пожалуйста, а казаков, кроме как на базаре в Нахичевани или Аксае, где видел?

Инструктор пожал плечами.

— Вот езжу по частям, знакомлюсь. А потом, у нас в составе фронта не одни же казаки.

— Тоже верно! Ну, а все же чем тебе давеча старые казачки не понравились?

— Видите ли... Я считаю, что, во-первых, они действительно стары по возрасту — какие-то музейные редкости! (Комиссар, который имел около шестидесяти годов за плечами, поморщился, но ничего не сказал.) Во-вторых, не совсем ясна их биография; как раз за тот период, когда на Дону и на Кубани шли решающие бои за Советскую власть...

— А ты сам в тот период что делал? — перебил инструктора комиссар.

— Кто? Я? Да мне ж тогда всего годов пять или шесть было...

— Ясно! А что там у тебя в-третьих?

— В-третьих, то, что один из них — таманский, двое — с Дона, а четвертый — с Кубани, но просятся... да что там просятся — требуют зачисления в одну часть. Только на том основании, что «вместях вот уж какой день маемся».

— Скажи, пожалуйста, как, значит, с людьми обходились, что уже не хотят в одиночку оставаться. Плохо! Ох, как плохо, инструктор!.. Ну, ладно. Есть еще доводы против?

— А как же! Существует у нас государственная дисциплина или нет? — начал горячиться инструктор. — Колхоз приказал со скотом и скарбом двигаться на Восток? Приказал! Так вот пусть и двигаются!..

И, наконец, скажу главное! Из-за этих побрякушек молодежь липнет к ним, как мухи к меду! Не все, конечно. Есть которые открыто издеваются, к крестам прикладываются подходят. Но я вас спрашиваю, товарищ комиссар, за кого и за что будут агитировать наших комсомольцев эти «кавалеры» со своим святым Георгием? А они, можно сказать, живые субъекты агитации, даже если молчать будут!

На этом месте инструктор выдохся и замолчал.

— Значит, не нравятся тебе эти побрякушки?

— Не нравятся!.. Я был убежден, что весь этот маскарад давно забыт, а оказывается, где-то по сундукам и кубышкам сохранились все эти регалии и теперь вдруг полезли наружу... У другого штанов нет, а ордена хранит! Как же это мне может нравиться? — опять загорелся инструктор. — От кого они их получили? За что получили? Может быть, за карательные экспедиции... Ведь вот вы — будь кресты у вас, вы бы, наверное, не стали их носить...

— А кто его знает? Может, носил бы... Только не обо мне сейчас речь. Прежде чем запрещать ветеранам носить эти кресты, ты сперва послушай. Не все царские сановники и генералы такими дураками были, как тебя учили или в кино видишь. Ты, наверное, записки Вересаева о русско-японской войне вспомнил? Это где тыловые офицеры ордена «с мечами и бантами» получали за раздачу белья в госпиталях... Было! — с нажимом сказал комиссар. — И в первую мировую было! Но только с георгиевскими крестами обстояло не совсем так. За порку крестьян и за расстрелы демонстраций деньги давали, лычки давали, водку давали, а вот георгиевских крестов не давали. Это не от благородства, а из прямого расчета. Надо было, чтобы народ в этого Егория верил, чтобы его ценил, понимаешь? Поэтому рядовому солдату или окопному офицеру крестик — особенно первый — ох, как нелегко давался. — Пауза. — Когда я про эти серебряные или позолоченные крестики слышу, то деревянные кресты, которые за ними стоят, помню. И раненых и изувеченных, конечно.

Комиссар, продолжая говорить, загнул, а затем старательно оторвал широкую, как бинт, полосу от закапанной чернилами газеты, заменившей скатерть, примерился к ней одним глазом, вроде как к выкройке, и, очевидно, остался недоволен, потому что, чуть сдвинув лежавшее на столе снаряжение, оторвал от газеты вторую ленту и теперь разглаживал их вместе широкой, тяжелой, как утюг, ладонью.

Затем, пошарив в глубине полевой сумки, он извлек с самого дна один золоченый, один серебряный кресты и золоченую медаль на георгиевских замусоленных ленточках.

Размеренно и, как показалось инструктору (который смотрел как замороженный), нарочито медленно комиссар положил три орденских знака стопочкой, замотал ленточками и сбернул крест-накрест оторванными от газеты полосками.

— Так вот, милоч, чего тебе не вредно знать, — закончил он и вдруг, вскочив, как на пружине, подошел к окну и метнул пакетик с крестами в бирюзовую ночь.

Метнул — и замер.

Через секунду где-то далеко, на бахче за садом, раздался какой-то шорох и вслед за тем почти испуганный громкий возглас:

— Ихто идэ?

Тишина.

Быстрые шаги, приближающиеся к окну, и щелк предохранителя.

— И невдомек парню, что то «идэ» Георгий Победоносец, и не кудынибудь, а возносясь на небо, — сказал комиссар и окликнул дозорного: — Слышь, хлопец! Где там четыре старика, что до меня добивались?

— Издесь. На крыльчке сидят. С казаками не разговаривают. Пока, говорят, с комиссаром не свидаемся, никуды не уйдем.

— Ладно! Допусти их.

Наступила длительная пауза. Наконец инструктор, сидевший с широко раскрытыми глазами, не выдержал.

— Товарищ комиссар, я чего-то не понял!.. Как раз, когда вы меня почти убедили, что эти побряк... эти награды имеют свой смысл... вы их в огород выбрасываете?!

— А может, как раз не я тебя, а ты меня убедил, а? А может, и так, что, пока я с тобой разговаривал, себя в чем убеждал?.. Кто знает? — И сразу заговорил о другом, что его, видимо, уже больше занимало:— Ты мне лучше скажи, что это вы там, в Краснодаре, смотрите? Почему маршала без охраны пускаете с одного фланга на другой — от Сальских степей до Керчи и по-над морем до Туапсе? Как это можно, чтобы он один разъезжал? Думаешь, на весь Северный Кавказ ни одной сволочи не найдется, что купить можно? Ну, скажем, подлюга деньги возьмет, но рисковать своей шкурой не захочет,— так ведь они с неба подбросить могут! Долго ли из кукурузы автоматом полоснуть по машине или гранату бросить? Не-ет! Вы там или святые, или что такое война с фашизмом не понимаете!

В этот момент опять прозвучали шаги приближающегося дозорного.

— Вот, видал?! Даже меня охраняют! — Комиссар мотнул головой в сторону окна.— Правда, я так и не понял, от «гостей» меня оберегают или от хозяев... Тоже, подумаешь, цаца какая — комиссар дивизии! Ненавижу под охраной сидеть что на воле, что в тюрьме...

Сделав паузу и с шумом выдохнув воздух, как через предохранительный клапан перегретого котла, комиссар продолжал:

— Под Майкопом, в лесу, фашисты листовки сбрасывали, чтобы рабочие не портили скважины! За сохранность — награда, за повреждение — смерть... Листовки, видно, в харьковской типографии печатали, и ведь нашлась же сука, которая те листовки тестом на стенах и вышках расклеивала!.. А маршал гоняет где придется и даже без оружия... А ты как думаешь, немцы поспешили на награду? Вспомню — зло берет! Ведь это... это... — Вскипевший вдруг комиссар не находил слов. От его флегмы или усталости не осталось и следа.

— Сколько раз говорили, а он отшучивается,— будто оправдывался немного опешивший инструктор.— Говорит, второй такой машины нет для охраны, а мне ее ждать некогда... А если и найдется другой «зверь», то Доброхотов — шофер маршала — не потерпит, чтобы его кто нагонял,— опять незадача. И все в этом духе.

— Шутит, значит?! А вы и уши развесили...

За входной дверью послышалась какая-то возня, покашливание и шепот. Не обратив внимания на это, комиссар настойчиво попытывался у инструктора:

— Тяжело небось ему?

— Да, тут никакой шуткой не прикроешься. Ставка разгранлинию перенесла вверх по Дону, целые соединения передает соседу; там, где армии участки занимали, теперь дивизии стоят, а где дивизии были — морские бригады...

Комиссар поднес к носу собеседника свой пудовый кулак.

— Ты мне еще номера и численность бригад декламировать начни!..

Инструктор проглотил язык и смущенно оглянулся на входную дверь.

— Да ты не на ту дверь оглядывайся, за которой шум, а на ту, за которой тихо,— сказал комиссар и кивнул на плотно закрытую дверь в хозяйские комнаты.

В прихожей, видимо, деликатно ожидали, пока комиссар закончит

разговор, и, когда он замолк, один за другим, гуськом, тихо вошли четыре пожилых, но еще крепких казака. Они старались ступать полегче, но половицы предательски скрипели и, казалось, даже гнулись под их богатырскими ногами.

Зайдя со свободной стороны стола, казаки развернулись и стали в двух шагах от комиссара, этим расстоянием и всем своим видом выражая почтительное отношение к нему. Однако какой-либо особой напряженности в их выправке не было заметно. Должно быть, они понимали, что хотя комиссар Глазков и очень высокое для них начальство, но все же он такой же станичник, как и они, и, возможно, их однолеток, а значит, разница между ними не такая уж и большая. Может быть, только в том, что у них чуть позвякивали длинные колодки крестов и медалей на гозырях, а у него на черной кавказской рубахе тускло поблескивали два ордена Красного Знамени — судя по сбитой эмали, большой давности — и одна медаль «XX лет РККА».

— Ну, выкладывайте, отцы! Чего свой «отряд» сформировали и какие претензии ко мне имеете?

Один из казаков, переглянувшись с товарищами и как бы получив их молчаливое согласие, стал рассказывать, как они отстали от своих колхозных «тылов», в которых колонновожатыми были поставлены бабы-бригадиры; как, не сговариваясь, встретились на вокзале в Кущевке; как кое-кто из встречных говорить с ними не хотел и даже штаба не указывал («бо военная тайна»), как...

— Ну, а как же тогда вы штаб полка нашли?

— То наша военная тайна, товарищ комиссар,— с хитрецей ответил казак.

— Ну, а все же?

— По плетням.

— Не пойму.

— Так плетень плетню рознь. Вы смотрите, округ станицы — особенно по вулице на Ахтырскую и по шишэ на Титаровку — все плетни проводами да кабелями опутаны. Так того только дите малое не уразумет, куда ции кабели ведут.

— Ясно! — сказал комиссар, наблюдая одним глазом за инструктором, который с нескрываемым любопытством разглядывал кавалеров.

Когда станичник закончил рассказ о том, как неприязненно встретили их в полку, в отделении личного состава, доказывая на основе тысячи и одного постановлений, наставлений и инструкций, что зачислить их в действующие части нельзя, комиссар вдруг спросил:

— А не тяжело вам будет, отцы?

— Тяжело! — прозвучало в ответ, и после короткой паузы:— Но тяжелее и горше будет, если не вбьмете.

3

В то же самое время сотни на две километров к северу, почти в такой же горнице, но с завешенным окном ввиду близости к фронту, стоял, склонившись над оперативной картой, маршал Буденный. Упираясь локтями в предгорья Кавказа, он рассматривал сетку цветных эллипсов «расположений» и ударных стрелок «направлений», густо облепивших оба берега нижнего Дона и угрожающе сгущавшихся в сторону Волги.

Та же безоблачная и лунная ночь. Такие же мирные дома и замечательные сады. Те же цикады в неподвижном воздухе, но... их не слышно, так как над всем стоит слитный гул артиллерийской канонады, изредка заглушаемой сильным взрывом бомб или близким разрывом дальнего боевого снаряда.

Когда маршал закрывал глаза, то он почти осязаемо видел расстилавшийся перед ним край, так как это были места его детства и юношества, потом — трудовой и боевой страды, тягот и первых побед. Не только каждый лесок и каждую балку, но очень много людей, выросших на этой земле, знал маршал. Мог ли он когда-нибудь думать, что на эту землю придет враг?

А что враг, возможно, придет, пусть хотя бы и временно, он уже понимал.

Вошедший офицер доложил на ухо члену Военсовета Армии, а тот — Буденному.

— Там собрались вольные, станичники. Говорят, вас лично знают и не уйдут, пока вы к ним не выйдете.

— А почему они здесь и не эвакуировались? — строго спросил Буденный.

— Колхозы организованно ушли, как было указано; а это старики — говорят, умрем, а родные места не оставим...

— Ладно! Зеленский, выйди и скажи станичникам, что, когда кончу здесь, повидаюсь с ними.

И маршал снова склонился над картой. Длинных колонн из колхозных телег, фур, линеек, тачанок и прочих экипажей, запряженных худобой, а то и быками, на карте не было, но они как живые были у него перед глазами. За колоннами стлались длинные шлейфы дорожной пыли — вдоль по шоссе, на грейдерах, проселках, а то и просто без дорог.

Так же, головой на восток, по дорогам и целиной тянулись бесконечные гурты скота с теми же шлейфами густой пыли за ними.

Местами, особенно в Приазовье, оставленные колхозами сторожа начинали поджигать стога сена и даже хлеб, который нельзя было захватить с собой и который уже некому было сдавать. Вдвойне горький дым стлался по кубанской земле, вместе с пылью увеличивая и без того нестерпимую душевную тяготу, жару и духоту этих трагических дней.

Не все еще понимали необходимость эвакуации, кое-кто осуждал ее, называл «преждевременной» или даже «панической», считая себя за Доном, как за китайской стеной.

Однако Военный Совет фронта совместно с крайкомом партии взял на себя большую часть ответственности за этот шаг, и маршал Буденный твердо добивался спокойного и планомерного проведения эвакуации, в душе опасаясь, как бы немцы не отрезали последние эшелоны.

С трудом оторвавшись от невидимой другим карты, отпечатанной у него не только в сознании, но и в душе, Семен Михайлович шагнул в соседнюю комнату, которая служила аппаратной, и после переговоров с Краснодаром вышел из хаты. Станичники увидели своего любимого и знаменитого земляка.

Спокойно, повышая голос только когда мешал орудийный гул, маршал рассказал им об общей обстановке так, чтобы они видели не только Дон и Кубань, но и Европу, и Киренаику, и океаны. Сказал, в чем их задача, если, он подчеркнул, если враг перейдет через Дон, и, пожав ближайшим станичникам руки, исчез в сумеречной ночи так же внезапно, как появился. И, как всегда, без охраны.

В станице Видмидиевке разговор подходил к концу.

— Ну, ладно! — сказал комиссар Глазков. — Что до меня, то я согласен вас взять. Однако... порядок есть порядок. Не я его устанавливал, и не мне его ломать. А на вас особое разрешение требуется... Вы,

отцы, переночуйте здесь, у хлопцев, а утром представлю я вас командующему фронтом. Он и решит окончательно.

— А хибá тут Будэнный? — Этот быстрый и встревоженный вопрос был задан почему-то вполголоса.

— Здесь или не здесь — не знаю, но в любой момент с неба свалиться может.

И видя, что старики как-то мнутя и хоть собираются уходить, но не уходят, комиссар спросил:

— Ну? Какие еще есть вопросы?

— Так что, товарищ комиссар, есть не вопрос, а как бы сказать — сомнение.

— Выкладывайте!

— Получается как-то обидно... Мы в войне с германом — ну, правда, больше с турками, да это один хрен — кресты и медали воинского ордена Георгия, можно сказать, бывшего святого, заработали. Теперь, обратно, с тем же германом война идет. А кто косится на награды, говорит «иконостас», кто сомневается, а которые так те прямо насмешки строят... Так вот мы до вас, товарищ комиссар, имеем просьбу. Дайте указание. Либо нам — тогда снимем. Либо казакам — пушай не касаются, что не понимают!

— Ясно, отцы! Не вы первые, потому так отвечу, как в Краснодаре маршал ответил делегации с Лабы, которая, между прочим, и такую заботу имела: «Пока специального указа о запрещении от Советской власти не будет, носите себе на здоровье!..» Значит, это и вас касается.

Когда станичники, позвякивая своими крестами и медалями, так же гуськом, один за другим, вышли, комиссар сказал:

— Ну, вот что, инструктор! Ты, кажется, их музейными редкостями назвал? Переночуй здесь и дождись маршала. Увидим, как он распорядится. Может, ты прав окажешься. Но тогда значит, что я, Глазков, Семена Михайловича вовсе не знаю... А теперь давай спать!

5

Знойный июньский день, если он не первый, а десятый и при полном штиле, делает безоблачное кубанское небо белесо-голубоватым. При этом дали по горизонту затягиваются сплошной бесцветной дымкой, хмарой.

Для тех, кто знает и любит эти места, такое спокойное однообразие милее ярких красок и эффектных рельефов, тем более, что если хорошо всмотреться, то на юго-востоке можно различить как бы плавающие, взвешенные в этой безбрежности сизые или белые от снега вершины отрогов Главного Кавказского хребта. Однако в такие затуманенные зноем дни расстояния до гор неуловимы. Или рукой подать — или в бесконечной дали. Или горы — или облака. Либо вообще почудилось.

В который раз оглядывая этот привычный пейзаж, старшина поста ВНОС Назар Телков, по прозвищу Аист, вдруг увидел, что восточная часть станицы начинает быстро исчезать. Как будто кто вспорол снизу и отрезал главную улицу, как по шву, которым служит грунтовая дорога, идущая на Краснодар.

Не трогая бинокля, Аист нажал зуммер и потянулся за трубкой телефона.

Невидимая за домами машина подымала за собой стену мельчайшей кубанской пудры, клубящейся до неба, и как бы стирала с карты местности половину станицы.

Ничего не ведавший дежурный по штабу был огорошен докладом:

— Воздух! От Тимошевской приближается маршал Буденный!

- Так ты его где, на небесах узрел?
- Ни!.. Гонит на звере!
- Но почему ты знаешь, что это маршал Буденный?
- По пыли!
- Ты что, перебрал, что ли? Как по пыли? А почему маршал?
- По скорости! Товарищ майор, вы лучше доложите... А то как бы зараз неприятность не вышла!

6

Командир полка, молодой и статный полковник, одетый с иголки, но не по форме (в кавказской шелковой рубашке, подпоясанный тончайшим ремешком и в грузинских мягких сапогах), сделал понимающий вид и, бросив всем: «Оставаться на местах!», — пошел к выходу на перрон, поигрывая стеклом.

Выйдя на теньевую сторону здания, комполка с удовлетворением убедился, что не только железнодорожная станция, но и вся станция вымерла. Нигде не было видно ни души.

Неподвижный знойный воздух еще больше подчеркивал пустоту и безжизненность всего вокруг.

Немного погодя от главной улицы в сторону вокзала над крышами ближайших домов показались вздымающиеся султаны, или гейзеры, пыли, как бы занавешивая снизу полстаницы, и вслед затем раздался приглушенный рев форсируемого мотора.

Еще через минуту голубой «зверь» командующего фронтом повернул к штабу. Но с этой стороны подъезда не было, поэтому маршал остановил машину, сбросил пыльник и, послав шофера в обход, сам с двумя сопровождавшими его пошел, перешагивая через рельсы запасных путей, прямо на комполка. У сопровождавших под толстым слоем пыли не видно было не только знаков различия, но и цвета одежды.

Командир подтянулся, разгладил поясной ремешок, стал в стойку «смирно» и, проверив скошенным глазом, стоит ли горнист у него за левым плечом, приложил руку к кубанке.

И в это время вдруг с грохотом отодвинулась дверь ближайшей теплушки и оттуда раздался громкий и изумленно-радостный вопль:

— Будэнный!

— Ихдэ?

— Да вон же!.. Он самый и есть!

Вслед за этим, как по сигналу, начали отодвигаться двери других вагонов, и из них грузно, с шумом и бряцанием посыпались казаки и бросились навстречу маршалу.

Почти одновременно с треском стали распахиваться ставни, а затем окна ближайших домов, потом стоящих поодаль, и из них прямо на грядки палисадников удивительно неуклюже, приседая до земли и придерживая руками шашки, тоже вываливались один за другим казаки.

Комполка побелел.

Дело в том, что еще накануне полковник Зеленский позвонил ему от имени маршала и строго-настрого предупредил на сугубо конспиративном диалекте, чтобы «никакой петрушки не устраивали».

К великому сожалению, получилось хуже «петрушки».

Казаки бежали, обгоняя друг друга, и вместе с ними надвигался слитный и все нарастающий гул:

— Будэнный!.. Будэнный!..

Маршал остановился в нескольких шагах от командира полка и смотрел то на него, то на набегавшие волны казаков, затем резко повернул и пошел навстречу бегущим.

Хорошо и плотно скроенный, небольшого роста и с голосом не громовым, а иногда сбивающимся на тонкий тенор, маршал в гневе мог быть страшным.

Переступая через рельсы, он медленно, но твердо продолжал сближаться с хлынувшей навстречу массой.

Первые из добежавших, запыхавшиеся и с радостными лицами, нерешительно останавливались и затем как-то невольно начинали пятиться, стараясь пристроиться за спину соседа. Но соседи были в том же положении.

Задние, не видевшие грозного лица маршала, продолжали пробиваться локтями и напирать на передних.

Тягостную паузу прервал сигнал «Слушайте все!», сыгранный горнистом по знаку маршала.

В наступившей тишине раздался голос маршала, едва владевшего собой в гневе. Сперва в сторону щеголеватого комполка, но с расчетом быть услышанным всеми:

— Так что это такое?.. Я вас спрашиваю?.. Замаскированная воинская часть... или кабак?

По лицу командира полка пошли розовые пятна.

Затем Буденный повернулся к пятящейся массе казаков, продолжая наступать на нее, и, срывая голос, продолжал:

— Так вы думаете, что если сейчас немецкие штурмовики посекут вас из пулеметов... или осколочными... так Буденный вас пожалеет... может, слезу прольет?.. Ну нет!.. Так вам и надо... сукины дети... скажу! Пусть на этих дурнях другие учатся... что война — это не шутки шутить... что маскировочную дисциплину, да и всякую дисциплину соблюдать надо... А кто этого не понял, того к чертовой матери гнать надо... В обоз!.. В тыл!..— И голос маршала сорвался.

Запыленная фигура — это был полковник Зеленский, — подскочив к командиру полка, зашипела:

— Давайте «отбой»! Давайте «отбой»!.. Черт побери!

Очевидно, в первый момент и в штабе все офицеры и писаря под влиянием общего, массового порыва готовы были высыпать на перрон, но комиссар Глазков, став в просвете открытой двери, заслонил выход своей могучей спиной и для убедительности еще погрозил кулаком в глубину коридора. При первых словах маршала тихо-тихо прикрылись все окна штаба.

По сигналу «отбой» исчезли даже прилипшие к стеклам офицеры.

Если казаки, напиравшие сзади, не все слышали и не совсем понимали, почему первые ряды пятятся от маршала, то сигнал отрезвил и их.

Началось обратное движение в виде отступающих групп, потом группок и, наконец, одиночно улепетывающих бойцов.

Последним аккордом явился шум захлопывающихся вагонных дверей и оконных ставен, после чего наступила тишина.

На месте рассыпавшейся толпы осталась только шеренга из четырех кавалеров в стойке «смирно».

— А это еще что за ма... — «маскарад», хотел сказать маршал в сердцах, еще не оступ от гнева, скорее отеческого, чем начальнического. Но, приблизившись к фронту застывших кавалеров, поправился: — Что это за молодцы?

Комиссар дивизии, сделав шаг, приблизился и доложил:

— Так что старики отказались уходить с колхозными тылами и просятся в строй, да вот возраст и документы...

— Возраст, говоришь?.. — сказал Буденный. — А тебя самого, Глазков, не пора ли по возрасту с колхозными тылами к Каспию направить? А? — И, обращаясь к кавалерам, отчеканил: — Здравствуйте, казаки!

— Здравия желаем! — громко и дружно рявкнули кавалеры, но дальше пошел разноречивой: «ваше...», «товарищ», «Семен Михайлович» и «маршал».

— Машину под навес, в тень! — приказал маршал. — А станичников давайте к тому пакгаузу! Надо поговорить!

И вот, прикрытая от наблюдения сверху, в тени и тиши пустующего железнодорожного пакгауза собралась группа из кавалеров, маршала, его сопровождавших, комиссара дивизии, комполка (он все еще был не в себе) и двух-трех офицеров штаба.

Кругом — ни души.

Но чувствовалось, что из-за неплотно закрытых ставен, сквозь щели вагонных дверей и из просветов между штабелями шпал за Буденным и его группой скрытно следит много десятков невидимых глаз.

7

У старых казаков, по очереди подходивших к маршалу, называвших свою фамилию и станицу, было много общего с ним: тот же возраст, те же сильные, коренастые фигуры, та же старая кавалерийская осанка, которую ни изобразить, ни воспроизвести невозможно; неторопливая речь, стариковская солидность, сдержанные жесты и поседевшие виски.

Поздоровавшись со всеми за руку, маршал сказал:

— Ну вот что, отцы, расскажите, за что и где получили последний крест. Потому что если начнем перебирать, кто и как полный бант заработал, то нам и четырех суток не хватит. А потом и о деле поговорить можно, — прибавил он лукаво.

Один из ветеранов — тот же, что разговаривал с комиссаром дивизии (очевидно, он некогда был полуофицером и по сей час считал себя старшем остальных), — сделал шаг вперед, начал так:

— Генерал Баратов — может, изволили слышать? — заметил меня еще при раздаче наград за Сарыкамыш. Это, значит, в Армении против турок пришлось воевать, в Первом Кубанском казачьем полку, вплоть до самого Эрзерума. Тогда кто более награжденный был, но без увечий, из госпиталя в конвой отбирали... Но последний крест... — немного смущенно добавил ветеран, — в Царском селе получил вроде как за ранение, но по случаю тезоименитства, извините, его императорского величества, как тогда величали. А еще через год производство вышло — подхорунжим... Все!

— Это значит, Первой Кавказской казачьей дивизии, — заключил маршал, — и что до весны тысяча девятьсот шестнадцатого года непрерывно в боях был, да еще ранен...

— Четыре раза, — тихо подсказал бывший подхорунжий.

— Да еще ранен четыре раза! И театр сложный, и климат суровый. В общем, есть что рассказать... молодым.

Маршал повернул голову ко второму ветерану, и тот, не ожидая особого приглашения, сказал:

— А я что? Поди в тех же местах да за те же дела. Но, пожалуй, труднее всего против турков было... — И замолк.

— Это не в отряде ли генерала Шарпантье?

— Ну да! Он самый! Мы с этим самым Шарпантьевым насквозь всю Армению прошли¹.

— Значит, Первого Хоперского?

— Так точно, — радостно отчеканил казак.

¹ Шарпантье, потомок выходцев из Франции, командовал Кавказской кавалерийской дивизией, отличившейся в боях с турецкой армией.

Третий кавалер, отвечая маршалу, сказал:

— Мы с ним одного года, с одной станицы и с одного полка. Разве что по разным госпиталиям отлеживались. Как ни старались вместях быть, да одновременно пулю получить не просто.

— Да! Этому и учить не следует... Учите, как врага рубить или из винтовки ударить, да так, чтобы не только самому живым остаться, но еще и товарищей сберечь.

— Так, товарищ Семен Михайлович, это он умалкивает, что один из крестов за то и получил, что меня не бросил, а вынес, можно сказать, мертвого, когда сам обмороженный, вроде как полумертвый был.

— А ты? — обратился маршал к четвертому кавалеру.

— За Малазгирт, Первого Лабинского казачьего полка, когда...

Буденный перебил его:

— Ясно! Значит из отряда Абациева? Это за июль тысяча девятьсот пятнадцатого года? Не прикрой вы тогда правого фланга и отхода, много бы русской крови зря пролилось.— И Буденный замолк, задумчиво глядя себе под ноги, видимо что-то вспоминая.

Тогда, переглянувшись с товарищами, слегка кашлянув в кулак и переминаясь с ноги на ногу, снова заговорил казак бывшего Первого Лабинского полка.

— Так что вы, конечно, извините нас, но, прямо сказать, непонятно. Фамелию Буденного и что из наших, из донских, станичников будете — знаем почитай с самой революции. А вот что касается казаков, что в Кавказском корпусе служили, так такой фамелии никто промеж нас не упоминает... Но вы, конечно, извините.

— Чудак человек! Разве все фамилии, да еще солдатские, с той войны может кто упомнить?.. А стоит перед вами командир взвода Восемнадцатого Северского драгунского полка! Конечно, ничем особенным не знаменитый и, хвастать не буду, тоже полный бант заработал.

Надо было видеть радостное оживление, которое охватило старых бойцов, когда Буденный назвал свой бывший полк. Ему вновь пришлось «поздоровкаться» за руку со всеми кавалерами. Это было крепкое и длительное рукопожатие старых соратников.

— Драгун, значит?

— Как хочешь считай. Спереди казак, а сзади драгун. Хотя в Северском наоборот говорили.

Глазков, опасаясь, что старики увлекутся воспоминаниями и отнимут у маршала много времени, сказал:

— Точнее будет, с какой стороны ни смотри — Главнокомандующий Северо-Кавказского направления и Маршал Советского Союза¹.

Других намеков не потребовалось.

Старики сделали шаг назад и с бесстрастными лицами стали в стойку «вольно», положив руки на кинжалы. И ясно было, что больше они слова не скажут, если их не потянут за язык.

Как будто не заметив этого, Буденный, приветливо улыбаясь, сказал:

— Ну вот наконец перезнакомились. А теперь рассказывайте, какая у вас забота?

Старики стояли молча, скосив глаза на комиссара дивизии.

Глазков знал, что чувство собственного достоинства и деликатность кавалеров не позволяют им ни просить за себя, ни жаловаться на штаб, который вчера принял их не очень приветливо. Поэтому, выступив вперед, он кратко доложил их одиссею и просил разрешения зачислить всех четверых в полк.

¹ К этому времени «направление» было уже переформировано в Северо-Кавказский фронт, но для большего впечатления Глазков сознательно оговорился.

Комиссар еще вчера вечером обратил внимание на то, что военная биография «отцов» обрывалась где-то перед самой революцией. Совершенно очевидно, что ни один из них ни в Первой Конной Армии Буденного, ни во Второй не служил, иначе не удержался бы упомянуть об этом. Но не случайно же маршал также обошел этот вопрос.

8

Теперь слово было за маршалом.

— Слишком долго зубы смотрите! А это вам не кони, а люди, и люди заслуженные, и просятся те люди защищать Родину. И смотри, Глазков, чтобы не вздумали еще куда гонять. А если еще раз услышу: «наши казаки» или «не наши казаки», то шкуру спущу с того. Казак есть только один — советский! А с Дона ли, с Кубани или Терека — это второе дело... Ясно?

— Так точно, товарищ маршал!

— Ну ладно!.. А теперь, отцы, я скажу, для чего вы мне нужны.

Семен Михайлович заговорил с ветеранами, но ясно было, что его слова обращены не только к ним.

— Нынче велосипедами да мотоциклами молодежь увлекается. Это неплохо... В хозяйстве — трактора на первом месте. Это еще лучше. Дожили мы с вами, что даже сельхозавиация народилась. Вот как! А все-таки коня забывать нельзя. Это я не как конник агитирую, а дело говорю, хотя бы только на опыте первого года нынешней войны. Кто на пересеченной местности, где только тропы, выручает? Конь! В болотистых местах, в лесах — конь! А кто выручал этой зимой, когда такие снега были, что не только колесо, даже гусеница застревала? Опять же конь... Перед войной много мудрецов развелось, которые кавалерию хоронили. А что вышло? Небось слышали про рейды конников Доватора, Белова, Плиева, Селиванова и других? Значит, рано хоронили коня? Рано! Конечно, это уж не та конница, которую Шарпантье водил, хотя окапываться и в пешем строю драться мы, драгуны, и тогда умели. И пулеметов больше, и автомат вместо карабина, и броневик вместо тачанки, и радио вместо ординарцев. Кроме того, время для маневра и боевые порядки выбирать надо. Днем, скажем, марши уже к концу гражданской не делали, если у белых самолеты были. Когда авиация в воздухе хозяйничает, то не только с конницей, но и с танками не очень-то разгуляешься. Да что с танками? Вы вот морячков спросите, и с кораблями в море не вылезешь. От самолетов маскироваться надо, свое зенитное оружие иметь надо, маневрировать надо так, чтобы бомбардировщик или штурмовик не нашел тебя там, где час назад разведчик засек. Но главная защита с воздуха — своя авиация... Хотя ее не всегда и не везде хватает.

При упоминании о маскировке послышался легкий удар стека по голенищу. Все ждали, что маршал опять помянет давешний случай, но ошиблись. Маршал, видимо, решил, что урок был дан сильный и повторять не следует.

— Я не говорю, что вечно конница такое значение иметь будет. Но думаю, есть еще места на свете, где кавалерию использовать можно будет. Ну да ладно! Не будем далеко заглядывать. Сейчас другая забота. Вот здесь, в предгорьях Кавказа, когда немец уже Северный Донец переступил и на юг ударить собирается, — здесь сейчас кавалерия нужна, и никакая другая, как казачья. И вот тут-то вы, отцы, мне и нужны. Научите молодежь коня беречь. Не для воскресных скачек или колхозной свадьбы с джигитовкой, а для больших переходов без дорог, часто без отдыха, без штатного фуража, во всякую погоду, да

еще по ночам. И как седлать, и как ковать, и как поить, и как гонять его. Научите понимать, что конь только тогда поможет, когда ты сам ему помогаешь. Тут не лекции читать надо и не руганью брать. Расскажите, как приходилось самим жареным зерном питаться, кто до Урмии доходил и пшеницу из ям выкапывал. Да не мне вас учить. В этом деле вы профессора. Чем тяжелее в походе будет, тем лучше слушать будут. А я вам легкой жизни не обещаю... по крайней мере на полгода, а то на год, — тяжело еще будет...

Тут маршал улыбнулся и спросил попросту, дружески:

— Ну как, кавалеры, поможете?

— Помогем, товарищ Семен Михайлович! — почти в один голос ответили кавалеры.

— Ну вот и отлично! Спасибо скажу вам, если управитесь. Да что я?.. Родина спасибо вам скажет.

Наступила выразительная пауза.

После этого один из ветеранов, бывший подхорунжий, сделал полшага вперед и почтительно спросил:

— А дозвольте узнать, товарищ Семен Михайлович, кака-така теперь главнейшая техника, или, значит, оружие, бо вы с начала войны против германцев воюете, а мы, можно сказать, окромя клинка да карабина образца одна тысяча девятьсот седьмого года, почитай годов пятнадцать оружия не видели?!

— Скажу! Самая наипервейшая техника против танка, или самолета, или артиллерии — есть саперная лопата!

Несмотря на серьезность тона маршала, у казаков появились под усами осторожные улыбки: мол, шуткует командующий, на бога берет! От Буденного не укрылась эта улыбка, но он продолжал:

— Так вот! Это я, Буденный, вам говорю — лопата! Хоть она с Петра Великого в армии на вооружении, но нынешней войной проверено, сколько людей, а также и коней сберегла. Это мы сдуру раньше ее презирали, да и не только мы — конники. Первое дело, это щели для людей. Где бы ни было, если местность и грунт позволяют. Она и от наблюдения и от осколков оберегает, все равно с самолета, с танка или из орудия тебя шарят. Поленишься — другую щель тебе друзья выроют, а потом сверху присыпят. Сейчас не только пехота, а все рода войск закапываются, когда надо. Кто на Керченском полуострове от немцев отбивался, расскажет вам, что даже наши танки закапывались. Только башня наружу. Что танки? Радиостанции, всякие машины, даже для коней капониры рыть приходилось. Даже самолеты сами под землю прячутся или земляным валом обносятся... Капониры — называется такое укрытие. Понятно?

— Так точно, товарищ Семен Михайлович!

— Капонир, значит? — повторил левофланговый, как бы заучивая на память.

Полковник Зеленский, посмотрев на ручные часы, предварительно соскоблив с них налипшую грязь, выразительно показал их маршалу. Все поняли, что из-за непредусмотренной встречи с кавалерами командующий фронтом, очевидно, задержался в станице больше, чем было положено.

Кольцо стало почтительно расступаться.

Кто-то махал шоферу, чтобы выводил машину.

Но у кавалеров остался еще не высказанным самый мучительный вопрос, самая тяжелая их дума, и они загородили путь командующему.

— Товарищ маршал! Уж больно далеко германец зашел да еще на восток шагать продолжает. Как же это?

У командующего фронтом, видимо, не было охоты говорить об этом. Лицо его стало суровым, и, не глядя ни на кого, он сказал как бы в про- странство, но твердо:

— Ну что ж, чем дальше пойдет, тем дальше обратно гнать придет- ся! — И, обратившись к Глазкову, приказал: — Зачислить в кадры пол- ка, но по разным сотням.— И спросил: — Ну что еще?

— Так что остались сомнения насчет крестов, товарищ маршал.

— Пусть носят себе на здоровье. Не я один буду рад, если они сумеют их сменить на советские ордена. Ну, а теперь прощайте, отцы. Надо ехать. Желаю успеха!

Когда шли через железнодорожные пути к машине, полковник Зелен- ский шепотом попросил у командующего разрешения проект приказа о «чепе» в полку представить в Краснодаре.

Маршал ответил тихо:

— Ты бы лучше, дорогой Петр Павлович, предложил такой проект, чтобы казачки забыли, как я их сгоряча облаял. А ведь они, по сути, не так и виноваты. Спрашивать надо с тех, кто их воспитывает. А полк не закончил формирования. Вроде не тот спрос, хотя время такое, что спрашивать надо, не считаясь ни с чем!.. Что касается командира, тот надолго запомнит и без твоего приказа. Так что забудь и напомни, если только при следующей проверке или после первых боев, которые будут лучшей проверкой, обнаружится какая-нибудь слабина полка. Тогда посчитаем за все.

Через несколько минут голубой «зверь» командующего фронтом, поднимая завесу пыли, мчался с предельной скоростью на юг.

9

Через три месяца, уже лежа в госпитале, я узнал, что весь казачий корпус при новом переформировании получил звание гвардейского.

Этого почетного боевого отличия казачьи полки добились еще в пе- риод исключительно тяжелых оборонительных боев, когда казалось, что заслоны, стоявшие насмерть от предместий Новороссийска на всех пере- валах Главного хребта до Эльхотских ворот, Малгобека и Ищерской, не выдержат, и гитлеровские полчища хлынут по долинам, дорогам и тропам в Закавказье.

Трудно, очень трудно было в те дни, когда еще окончательно не опре- делился великий перелом в великой битве, получить такое высокое признание.



НИКОЛАЙ ДИМЧЕВСКИЙ

*

МАСТЕРА

..*

Земля,
пропитанная гарью и углем,
пронизанная щебнем и железом...
Ее мы любим —
мы на ней живем,
и след наш навсегда в земное тело врезан.

Все камни, и песок, и шлак
прошли сквозь наши пальцы, как сквозь сито,
и горсть земли, зажатая в кулак,
сплавляется в бесценный слиток.

Мы прячем в землю реки и ручьи,
мы тянем кабель по бетонным трубам.
Прислушайся: она звучит
и нежным шепотом
и взрывом грубым.

Под ней, как электрический разряд,
как сгустки скорости и света,
с протяжным воем поезда летят.
И там рождается новый лад
для песни, что еще не спета.

Земли не убивает наша сталь —
на тихих улицах, у водостоков ржавых,
распарывая стебельком асфальт,
родятся травы.

Прокладывая линии траншей,
бетоном заливая площадь,
мы оставляем место для корней —
пусть лето
листья
ливнями полощет!

Земля, как тело, вся в извивах жил,
она живет и дышит вместе с нами —
ведь душу человек в нее вложил,
когда закладывал в фундамент
первый камень.

* * *

Клин выбит,
и корабль,
скользнув по скату,
качается в пригоршнях волн.
Оснасткой оперившись,
он уйдет куда-то...
Куда?
Не знают те, кем был он сотворен.

Судьба творцов и мастеров —
разлука
с машинами, с картинами, с домами, со стихом.
Вещам мы отдаем свой мозг и свои руки,
чтоб, как живые, шли
они своим путем.

Чем больше труд и мысли напряженье,
тем дальше ляжет сложный путь вещей.
Ненужное отсеется в движенье,
и станет ценное еще ценней.

Как корабли, сквозь времена и версты
плывут созданья лучших мастеров.
Искусность рук и сила мысли острой
ведет их в дали будущих веков.

* * *

Душистый воск еще не зрелой мысли,
характер ломкий, как весенний лед.
Судьба чуть начата —
не ясно,
вниз ли,
ввысь ли
ее ветрами занесет.

Весь инструмент учителя —
терпенье
и время, сотканное из минут в года.
Дробятся камни,
рвутся цепи звенья,
но это напряженное терпенье
ему не изменяет никогда!

Вот он в саду.
Столпившись, смотрят дети,
как держат нож,
как режут черенки.
Не скоро под плодами дрогнут ветви,
но зреет плод в тепле его руки.

Он сотни раз
выводит букву, слово...
И медленно
и с каждым днем верней
он, точно скульптор, лепит из живого
сердца и облик будущих людей.



СТ. РАКША

★

ТУРБАЕВЦЫ

Литературная запись Е. Герасимова

1. ЗЕМЛЯ И МИР

1

Турбаевцами нас звали по предкам. Жили они на Полтавщине, в селе Турбаи,— те исконные турбаевцы, которые еще при Екатерине Второй убили своего пана и сожгли его поместье. За бунт царица повелела выслать все село в безводные степи Северной Таврии батрачить на немцев помещиков Фальца и Фейна. Этим Фальцам и Фейнам той же Екатериной были отданы все лучшие земли у Перекопа — говорят, по пяти копеек за десятину.

Еще не было в Каховке на Днепре батрацкой ярмарки, на которую потом стала съезжаться крестьянская голытьба со всей России, когда наших предков-бунтарей пригнали под стражей к Фальцу и Фейну — Фальц-Фейнам, как они стали именоваться, породнившись.

Дед мой говорил:

— Мы, турбаевцы, люди особые и, надо сказать, очень живучие и плодovitые: от нас пошли и Чалбассы, и Чаплынка, и Қаланчак, Қопани, обе Маячки, обе Збурьевки, старая и новая,— все села от Сивашей до кучугуров. (Это название — кучугуры — идет от слов кучи и горы. В низовьях Днепра по его левому берегу на много верст протянулись навеянные ветрами «кучи и горы» — холмы белого песка, поросшего шелехом; из него у нас плели корзины и изгороди.)

Все ли села, о которых говорил дед, пошли от турбаевцев, этого уже сейчас не проверишь, но то, что турбаевцы — люди живучие, это верно: дед мой, ровесник прошлого века, переживший его на восемь лет, не был каким-нибудь исключением среди них.

Мальчиком отдали его в батраки, и почти сто лет он пас на Перекопе несметные фальц-фейновские отары, дослужился до атагаса — старшего чабана, а когда София Богдановна Фальц-Фейн (эта злая бестия) уволила его, он перебрался из ее Преображенки в Скадовск и опять закабалил себя, нанявшись к новому хозяину конюхом и водовозом. Второй век пошел ему, а он и летом и зимой спал на конюшне, редко когда в сенцах при кухне.

Отца я не знал. Слышал, что служил он у Фальц-Фейнов табунщиком и славился как танцор и джигит, хотя все наши табунщики были лихими плясунами и наездниками.

Однажды зимой, еще малышом, сидел я на корточках у печи, отогревал замерзшего воробышка, и вдруг кто-то постучал в окно. Увидев в окне чужого человека, я от испуга выпустил воробышка из рук, и он, впорхнув прямо в печь, сгорел в огне.

Потом мне говорили, что стучал в окно мой отец, приезжавший домой. Вскоре после того он помер — разбился, упав с лошади на скаку.

И я, как все безземельные турбаевцы, еще мальчишкой ушел из дому скитаться по миру. Исходил я много поместий, сел, хуторов и городов и только в Николаеве задержался: понравилось суда строить, да и товарищей приобрел хороших. Они помогли мне разобраться в жизни и увидеть, где корень зла.

Поглядите на карту: от устья Днепра до Каховки, от Каховки прямо на юг, к Перекопу, от Перекопа по берегу Черного моря до Днепровского лимана — вот этот угол земли между Днепром и морем и был Днепровским уездом. Разделите его пополам так, чтобы одна половина протянулась вдоль Днепра, а другая — вдоль моря, и если у вас в руках старая, дореволюционная карта, то вы сразу обратите внимание, что верхняя половина уезда населена много гуще, чем нижняя, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот: ведь у Днепра — кучугуры, белые пески, на которых растет один шелех, а ближе к морю — чернозем, и там на тучных пастбищах в иной год бывает такой травостой, что волы в нем скрываются; идет стадо, а над травой только рога колышутся.

Так вот и поделен был уезд: у кучугуров, на песчаных землях, жались села турбаевцев, а на тучных черноземах раскинулись владения Фальц-Фейнов, Шпехтов, Шмидтов, Шредеров, Диминиру. Не знаю, где еще вопрос о земле был более жгучим, чем у нас. И не просто было решать его, когда после свержения самодержавия мы вернулись с германской войны к себе домой делить землю.

Каких только партий не развелось к тому времени в нашем уезде — кадеты, меньшевики, эсеры, трудовики, анархисты, бундовцы и эти еще украинские самостийники, ратовавшие за Центральную Раду. Все они грызлись между собой, но, как только дело касалось земли, в один голос кричали, что до Учредительного собрания землю помещиков трогать нельзя — это, мол, незаконно, грабеж, на который толкают мужиков приехавшие с фронта большевики, не иначе как подкупленные немцами, чтобы мутить народ.

Конечно, и среди турбаевцев, получивших некогда на «ревизскую душу» по шести десятин песчаной земли, люди были разные: и такие, что, прибрав к своим рукам наделы сотен «ревизских душ», выселились на хутора и жили не хуже иных помещиков, и такие, что еще держались — кто крепко, а кто кое-как, из последних сил, — за свою единственную «ревизскую душу» или что осталось от нее. Но если взять наше село Чалбассы, то тут большая часть крестьян уже забыла, что у них в роду тоже когда-то имелся земельный надел.

Надо правду сказать, первое время крестьянская масса стояла в стороне от кипевшей в уезде межпартийной борьбы, на митингах голоса своего не подавала, только прислушивалась к спорам записных ораторов, про себя решая, за какой партией ей идти. Между тем у нас, в Чалбассах, всеми делами заправлял эсер Закруткин, председатель волостного земства, бывший инспектор высшего начального училища. На митингах он распинался за демократию и социализм, а когда в Мелитополе был назначен крестьянский съезд северных уездов Таврии, так он тишком, без выборов, хотел послать на съезд своих земцев.

Чтобы разоблачить обман, пришлось мне ударить в церковный колокол. Закруткин поднял крик, что это незаконно — собирать народ без его ведома. Но народ, собравшийся на звон колокола, стал на мою сторону и выбрал меня делегатом на съезд. После этого Закруткин провел в земстве постановление о высылке меня за пределы Днепровского уезда как большевика и немецкого шпиона. Но уже поздно было. Вернулись домой другие чалбассцы-большевики, беднота почувствовала свою силу и подняла голос. Вскоре в нашей ячейке было уже двенадцать большевиков. И когда в Петрограде на Втором съезде Советов прозвучал голос Ленина — вся власть Советам, мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам, хлеб голодным, — мы взяли Закруткина под руки, вывели из волостного правления, раскачали и кинули с высокого крыльца вниз. И так по всему уезду рабочие и крестьянская беднота решительно свергали и выбрасывали вон всякие эсеро-меньшевистские волостные земства и комитеты, создавали вместо них свои советские органы, которые сразу же приступали к разделу помещичьей земли.

Вот с этого в уезде и началась великая битва за освобождение.

2

— Скорее, скорее, товарищи!

— Прибавьте шагу, товарищи!

Чаще всего это был голос Сеньки Сухины. Он боялся, что отряды могут опоздать, и проклинал предательскую клику Викжеля, сорвавшую в Херсоне подачу поездов для нас.

Кто в Чалбассах не знал рыжего Сеньку Сухину! Однажды он поднял бедняцких парней против кулаков, на улице завязалась драка, и поп прибежал с крестом усмирять бедноту. Долго смеялись потом в Чалбассах, вспоминая, как Сенька пугнул тогда ба-тюшку и тот, скакнув через плетень, зацепился за него рысой и повис.

Сенька не был большевиком, но, когда Закруткин на митинге убеждал народ не трогать землю помещиков до решения Учредительного собрания, он, пробираясь сквозь толпу к крыльцу волостного правления, потрясал кулаком и кричал:

— Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!

Буквально восприняв слова нашего партийного гимна, он не раз порывался решать земельный вопрос в Чалбассах «своею собственной рукой».

И теперь вот Семен, или, как его все называли, Сенька Сухина, горячился. Да и как не горячиться было таким потомственным батракам, как он: наконец-то получили землю, надо сеять — весна уже, — и вдруг приходит весть, что самостийная Центральная Рада заключила договор с немцами и немцы идут на Украину, чтобы задушить революцию.

Рабочие Николаева вышли дать отпор оккупантам и не одни сутки уже вели тяжелый бой. Мы спешили к ним на помощь — отряды из Херсона, Алешек, Каховки, Маячек и Чалбасс.

Прошли полпути от Херсона до Николаева, а умчавшиеся вперед конники все еще не давали о себе знать. Взволнованность и беспокойство охватили всех.

Люди устали — ведь со вчерашнего вечера в походе, а привала еще не было: делали пятиминутные остановки, чтобы кому нужно было портянки мог перемотать, и шагали дальше, тая про себя разные тревожные догадки. Если кто высказывал их вслух, Семен Сухина ругался:

— Чего поддаешь в огонь жару?

Наконец в утреннем солнце, освещавшем наш путь, показались на горизонте несколько скачущих всадников. Когда они приблизились, отряды остановились. Остановились и всадники на взмыленных конях. Это были наши посланцы. Они еще ничего не сказали, но по их лицам и без слов можно было понять, что наша помощь опоздала. Это всем стало ясно, когда командир группы наших отрядов, выслушав доклад старшего из конников, снял шапку. И все сбившиеся в толпу бойцы и командиры тоже сняли шапки и стояли молча, потрясенные известием о тяжелых жертвах, которые понесли николаевцы при защите своего города.

Как быть дальше? Что делать? Никто из наших командиров этого не знал. Один из них помчался на коне в ближайшее село, чтобы связаться по телефону со штабом революционной обороны в Херсоне. В ожидании его возвращения красногвардейцы сидели на краю дороги — кто в унылом раздумье опустил голову, кто, опираясь на винтовку, поглядывал тревожно на горизонт.

Казалось, что надвигается буря, но горизонт был чист. Оттуда только ветер вдруг подымал столбом пыль, кружил и гнал по дороге, будто черт плясал, да плыли беленькие облачка, тень от которых кое-где мрачным крылом покрывала яркую зелень озимых.

Кто-то сказал: «Яровые уже всходы дают», — и по дороге прошел вздох от одного красногвардейца к другому. Как не вздохнуть было тем, у кого только что полученная земля осталась незасеянной, но лишь этим общим, протяжным вздохом отозвались люди на чье-то неурочное слово.

Не старики мы были — мало кто из нас успел жениться, вернулись с одной войны и пошли на другую. Были и такие зеленые молодцы, как Митя Целинко, который го-

ворил в походе: «Мне бы только высмотреть себе невесту». Но и он добавлял: «И пойду я тогда на выселки из Чалбасс, хорошую хату построю на своей земле...»

Прошел час томительного ожидания и раздумья. Вернулся уезжавший в село командир, и всполошились, забегали красногвардейцы, передавая по отрядам весть, что херсонский штаб дал приказ идти назад, в Херсон, и там готовить отпор немцам. Раздалась команда:

— Строиться!

И сейчас же ее покрыл громкий голос:

— Товарищи! Земляки и братья!

Все обернулись на этот голос и увидели в центре привала высокого солдата с протянутой вперед рукой, в которой он сжимал фуражку.

Красное лицо, ястребиный нос, горящие глаза — это был командир нашего чалбасского отряда Семен Сухина.

Ветер раздувал его рыжие взлохмаченные волосы.

— Да что же это такое, товарищи дорогие? Немцы — в Николаеве, они чинят там расправу, льется кровь наших братьев, а нам приказ идти назад, в Херсон. Да как же это можно? Вы только гляньте, сколько нас! Из Каховки пришли, из Алешек, из Маячек и мы, из Чалбасс. Больше хорошего полка. Все турбаевцы. Это же сила какая! Выбьем немцев из города, ручаюсь, товарищи, что выбьем. Так шарахнем их, что эти душители революции ног не унесут!

Повторно отдана была команда «строиться», но никто не шелохнулся, и Семен Сухина продолжал кричать:

— Чего нам бояться немцев, когда за нами весь Днепроровский уезд? Пошли гонцов — и придет на помощь Чаплынка, и Каланчак придет, и Збурьевка, и Хорлы. Кто не встанет грудью за свою землю?

Командир нашей группы подошел к Семену и оборвал его:

— Прекрати митинг — дан приказ скорее идти в Херсон. Там и дадим решительный бой.

Но Семен не унимался. Ссылаясь на свой фронтовой опыт, он доказывал, что надо идти на Николаев — и победа нам будет обеспечена.

— Немцы поглощены своей добычей. Они не ждут нашего удара. Поймите, товарищи, что это так. Разобьем немцев, выручим рабочих — за сегодняшнюю ночь все сделаем. Поверьте мне, что момент очень удобный.

Командир группы снова оборвал его.

— Интересный ты человек, товарищ Сухина, — сказал он. — Видно, что воин храбрый, опытный и непобедимый. Врагов ненавидишь и беспощаден к ним, а к тому же и большой протестант. Все это очень хорошо, но ты же солдат и, значит, знаешь, что раз приказ дан, то его надо выполнять. Согласен ты с этим, товарищ Сухина?

Семен посмотрел на командира осовелыми глазами, махнул рукой, кинул фуражку под ноги, сел на землю и стал закуривать.

— Согласны, товарищи? — крикнул командир группы.

— Согласны... Согласны... — неуверенно, вразнобой отвечали бойцы.

— Согласны? — повторил командир.

— Согласны, — ответили бойцы более дружно, но еще не все.

И тогда, как это принято было у нас на сельских сходках, командир, возвысив голос, спросил в третий, последний раз:

— Согласны?

— Согласны! — прогремело в ответ, и сейчас же снова последовала команда:

— Строиться!

Медленно, не по-военному, собирались отряды, нехотя строились по четыре.

3

К ночи отряды добрались до Херсона и по указаниям штабников, встретивших нас под городом, заняли оборону. Наш чалбасский отряд получил центральный участок — кладбище возле вокзала. К середине следующего дня мы уже сидели в наскоро отрытых окопах.

Под вечер, выставив заставы и дозоры, Семен Сухина забрался на дерево и, поглядывая в степь, стал ругать немцев за то, что они долго не идут.

— Осторожничают, колбасники! Ждут, пока главные силы подтянутся. Ну и гады же — будет теперь трепать нервы революционному народу! — Долго негодовал он. Доставалось от него и нашему штабному командованию: — Это же не царская война, чтобы без надобности томить людей в окопах. Зачем окопы? Раз народ сам поднялся, смело веди в бой! Ни часу промедления! Промедление смерти подобно. Пошли бы вчера на Николаев, нагрянули ночью и уже расчехвостили бы немцев в пух и прах. Поверьте мне — я-то уж знаю немцев.

По всему изрытому окопами кладбищу разносился голос нашего командира, ораторствовавшего с дерева. Потом он соскочил на землю, подошел ко мне и сказал:

— Ты большевик, и я тебя спрашиваю: кто это мутит воду? Не этот ли одесский командующий Муравьев, что посылал нам в ревком телеграммы с угрозами, диктовал, кого уничтожать, кого прогонять? А кто он такой, беспощадный? Какое он имеет к нам отношение? Чем мы ему обязаны?

Телеграммы Муравьева, которыми этот командующий из левых эсеров в те дни засыпал ревкомы нашего уезда, действительно были полны угроз и требований жестоких расправ. Кого он только не причислял к врагам революции! Все у него были на подозрени, в том числе и георгиевские кавалеры. А Семен Сухина вернулся с германской войны старшим унтер-офицером с четырьмя георгиевскими крестами. Вот почему он спрашивал: а кто такой этот Муравьев?

Много смуты в умах наших людей сеяли тогда разные примазавшиеся к революции авантюристы вроде этого Муравьева, командовавшего красногвардейскими отрядами на юге Украины.

Объявилась у нас еще какая-то Маруся Никифорова со своим легучим конным отрядом под черным знаменем анархии. Она тоже призывала жестоко расправляться с врагами революции и под видом красного террора устраивала еврейские погромы.

Когда мы заняли оборону у Херсона, Маруся со своими анархистами уже ушла за Днепр и барахолила по селам нашего уезда. Все это волновало красногвардейцев и вызывало нехорошие слухи.

Прошла ночь в тревожных разговорах о предательствах и изменах, которые могут нас погубить, а немцев все не видно было. Во второй половине следующего дня далеко в степи показались их конные разъезды. Однако приблизиться к городу они не рискнули — покрутились на почтительном расстоянии и скрылись.

Никто больше не спрашивал, кто такой Муравьев и где он сейчас, этот командующий. Семен Сухина сразу забыл о своих обидах и оживился. Бегал по нашему участку обороны, проверяя, как обстоит дело с боеприпасами, не слишком ли далеко санитары. Он говорил:

— Ну, хлопцы, будьте уверены — сейчас и главные силы их подойдут.

Можно было подумать, что он больше всего боится, как бы бойцам не наскучило ожидать немцев.

Солнце уже низко спустилось, когда чуть в стороне от нас, у вокзала, стали рваться артиллерийские снаряды, и вскоре на горизонте появились кавалерийские эскадроны. Они быстро приближались к городу, вырастая на глазах. У кого-то невольно вырвалось:

— Удержимся ли?

Наш командир услышал это.

— Да что вы, хлопцы! — горячо заговорил он. — Кавалерия — это пустяки, только смелости больше и метко стреляйте. Это же скакуны, знаем мы их, они только в панику страшны, в других случаях сами первые паникеры. Вот увидите, и теперь так будет, уверяю вас.

И Семен оказался прав. Лихие скакуны после первых красногвардейских залпов повернули обратно.

— Ну вот, я же вам говорил, что это чепуха! — воскликнул командир, когда эскадроны были отбиты.

Наконец, уже после захода солнца, показались и цепи немецкой пехоты.

— А вот этих вымуштрованных кайзером истуканов, — говорил Семен, — надо под-

пустить поближе, и тогда мы тоже метким и дружным огнем заставим их повернуть назад.

И снова Семен оказался прав. Попав под огонь, немцы повернулись к нам спиной и побежали, позабыв подобрать своих раненых.

Ночь прошла спокойно, и под утро начались разговоры, что зря командиры держали нас в напряжении. Немцы вряд ли теперь скоро сунутся — значит, нечего людям торчать в заставах и дозорах, можно и поспать. Кое-кто был того мнения, что, наверное, немцы дальше Херсона вообще не пойдут, и поэтому, пожалуй, лучше отойти за Днепр и там, у себя в уезде, держать оборону. Эти уездные стратеги предлагали объявить Днепровский уезд независимой крестьянской республикой, а если немцы откажутся признать ее, то вести с ними войну в плавнях и кучугурах. Но в горячих спорах, закипевших на линии нашей обороны, большинство твердо стояло на том, что нельзя подводить херсонских товарищей, да и все равно, отдав немцам Херсон, мы не удержимся долго в своих плавнях и кучугурах. Тут и там появлялась высокая фигура Семена Сухины в распахнутой шинели, с рыжим чубом у козырька фуражки.

— Надо только стоять, товарищи, по-революционному, и немцам никогда не взять Херсона,— говорил он.— Вы же видели, как эти истуканы поворачиваются к нам спиной, когда мы достойно встречаем их огнем. Придет подмога. Наша революционная сила возрастет, и мы погоним кайзеровских истуканов, вернем Николаев, отомстим за жертвы. Ручаюсь вам в этом, товарищи, поверьте мне, я знаю этих истуканов.

Семен вкладывал в слова весь жар своей души, стараясь всех убедить, что победа непременно будет за нами. Казалось, что в горящих глазах этого солдата появятся слезы, если ему не поверят, но большинство хотело верить и верило, а кто сомневался, тот замолкал.

— Вот разобьем всех этих душителей революции,— говорил Семен,— и кто из чалбассцев в Духвино пойдет или на шмидтовскую усадьбу коммунальной жить, кто пойдет на выселки в Тарасовку, на земли Диминитру, а вот Митя Целинко собирается построить себе хорошую хату на шпехтовской земле. Он уже себе невесту высматривает. Поглядеть на него — какой красивый белокурый хлопец, а глаза какие голубые, не ходит, а пляшет. Да за такого, если у него будет хорошая хата на своей земле, любая дивчина пойдет. А если не удержим Херсон? Тогда лучше никому нам не возвращаться в Чалбассы, чем идти в батраки к Шмидту, Шпехту или же в Преображенку — кланяться этой старой стерве Софке.

Днем были отбиты еще две атаки немецкой пехоты, и наша уверенность в том, что мы отстоим Херсон, возросла. Когда немцы передали воззвание с призывом прекратить сопротивление, красногвардейцы единодушно высказались за то, чтобы оставить это воззвание без ответа. Штаб обороны города так и поступил.

Прошли сутки, и немцы снова начали наступление — и пехотой и кавалерией. По нашим отрядам была дана команда: подпустить противника поближе, сбить его огнем и пойти в контратаку. На этот раз победа была полной: не приняв контратаки, немцы побежали назад. Мы отогнали их далеко от города. И вдруг — приказ штаба: отрядам оставить свои позиции и быстро двигаться к Днепру, на пристань, для погрузки на суда и переправы на левый берег.

Мы видели, как враг бежит от нас, но мы не видели, что где-то там, севернее, немецкие полки беспрепятственно маршируют к Днепру, угрожая отрезать от переправы и окружить наши отряды. Упоенные своей победой, мы не могли поверить, что немцы сильнее нас, что наши отряды вынуждены отходить.

Семен Сухина снова гневно кричал:

— Товарищи! Земляки и братья! Да что же это такое?

Он подозревал измену, предательство, и не один Семен подозревал.

Неоткуда было ждать нам подмоги. Это сразу стало видно, как только, переправившись через Днепр, мы вернулись к себе в Чалбассы. Выглянули из цветущих уже садов выбеленные саманные, под камышовыми крышами хаты, и вот шагает наш отряд по

широкой песчаной улице, затененной по краям старыми акациями в свежей весенней листве. С одного двора навстречу нам выезжает пароконный воз, нагруженный жердями и разной домашней рухлядью. Мужик, сидящий на возу, увидев нас, отворачивается и начинает с преувеличенной озабоченностью возиться с рухлядью — что-то перекладывает, что-то закидывает.

Село наше протянулось в одну сторону на семь, а в другую на пять верст. Не все знают тут друг друга в лицо, но сидевший на возу Павло — личность, в Чалбассах достаточно всем известная.

Исправный середняк, или «ревизская душа», как у нас говорили о крестьянах, сохранивших свой земельный надел, Павло впервые заинтересовался политикой летом семнадцатого года, когда начались разговоры о разделе помещичьей земли. После установления Советской власти он целые дни топтался в ревкоме и стал там чем-то вроде главного советника при земельном комиссаре. Когда ревком решил послать во все помещичьи усадьбы волости своих уполномоченных, или комиссаров, как их называли на страх барам, первый выбор пал именно на Павло — и хозяин хороший и активист. Получив мандат и винтовку, Павло живо помчался на бричке к пану Диминитру, и, по дошедшим до нас слухам, комиссарствовал он у Диминитру усердно.

Что это он сейчас засуетился на возу? Чего лицо прячет?

— Куда это ты собрался, Павло? — окликаю я его.

— Да вот на луки еду помидоры сажать да капусту. Запоздал нынче с огородными делами, — отвечает он, не глядя в глаза.

Огороды у нас были верст за шесть от села, на луках, — так назывался оазис в кучугурах, прикрытый от песчаных наносов рощами.

— На все лето, что ли, собрался — курень будешь ставить? Сторожем нанялся?

— А вы чего пытаете? — Павло сердито глянул и хлестнул коней.

Кто-то из красногвардейцев зло крикнул ему влогонку:

— А у Диминитру своего кобеля за себя комиссаром оставил?

Павло оглянулся.

— Тебя самого! Ты-то кобель и есть!

Как он крыл матом и нас, и революцию, и немцев, которые идут душить революцию! Все у него в голове перемешалось.

— Ну и человек! — негодовал Семен Сухина. — Когда землю делить, он первый тут, тогда он комиссар, а когда за землю эту надо бороться — капусту кинулся сажать. Думает, там, в кучугурах, отсидеться от немцев. Гляди, гляди, как коней погнал — пыль аж до облаков поднял.

Многие чалбассцы в ту весну поставили свои курени на луках: место глухое, немцы сюда, пожалуй, и не заглянут, а в случае чего есть где укрыться от них — вокруг рощи, песчаные холмы, поросшие кустарником, недалеко и днепровские плавни.

Семейные говорили:

— Вам что, вы холостые, вам всюду, где кров, там и дом и невеста, а у нас дети — их не бросишь, как щенят, в воду.

А те, что три года просидели в окопах на германской, добавляли:

— Опять же не пускает из дому и сердечная жалость к жене. Как же жен своих мы оставим на глумление врагу?

Держали людей и посева.

— Посеяли, а кто убирать будет?

А иные говорили со злой откровенностью:

— Мы по большевистской программе-то не за войну, а за мир голосовали. Войной уже по горло сыты. А немцы что? Придут и уйдут — им тут долго делать нечего. У них тоже дома жены и дети.

По этим же причинам склонялись остаться в Чалбассах и некоторые наши семейные красногвардейцы, вернувшиеся из Херсона.

Надо было уже идти на Перекоп, где собирался объединенный Днепровский отряд под командой Ивана Матвеева, моряка из Алешек, но пришлось задержаться. В ревком ввалилась толпа евреев, ремесленная беднота — кузнецы, портные, сапожники, парикмахеры, фотографы, — подняла шум:

— Обождите, товарищи, не уходите. В Копанях Маруська Никифорова балуется со своей ватагой, грозится, что зайдет по пути и в Чалбассы пустить «красного петуха».

Копани — соседнее с нами село. Ревком послал меня туда выяснить намерения этой Марушки и в случае надобности предупредить ее, что красногвардейцы в Чалбассах не допустят погрома.

В Копанях на улицах метались обвешанные оружием всадники, по одежде будто моряки с военных кораблей, но до того волосатые, что бескозырки с ленточками выглядели на их лохматых головах какими-то игрушечными, и уж очень что-то волчье было в их повадках и во взглядах, которые они кидали вокруг себя, что-то высматривая.

Маруську я нашел по черному флагу, развевавшемуся над крыльцом поповского дома.

Говорили, что она женщина красивая и что ее адъютант, бывший штабс-капитан Козубченко, тоже красавец и щеголь, не спускает с нее глаз.

Я застал их обоих. Маруська сидела у стола и мяла в зубах папироску. Чертовка и правда была красива: лет тридцати, цыганского типа, черноволосая, подстриженная сзади кружком, с пышной грудью, высоко поднимавшей гимнастерку. Адъютант ее лежал на диване в расстегнутом кителе и читал вслух какие-то стихи. Когда я вошел, он кинул книжку на стол и, приподнявшись, налил из стоявшего на столе пузатого чайника в стакан что-то похожее на чай, но, должно быть, не чай, потому что, хлебнув из стакана, закусил соленым помидором. Я готовился к тонкому разговору, но дипломатия оказалась ни к чему. Никифорова не стала скрывать своих намерений. Узнав, что я из Чалбасского ревкома, она сказала:

— А мы как раз нынче вечером собирались завернуть к вам.

— Зачем вам завертывать — можем и тут договориться, если есть дело, — сказал я.

— Дело небольшое. — Маруська уставилась на меня пьяными, хохочущими глазами. — Хочу пустить красного петуха по вашим жидкам.

— Пожалуй, у вас из этого ничего не выйдет, — сказал я и спросил: — Какова численность вашего отряда?

— Двести сабель, — ответила Маруська, не спуская с меня хохочущих глаз.

— А у нас четыреста штыков. — Я почти вдвое преувеличил силы нашего отряда.

Маруська вскочила.

— Да ты что, сволочь, пугаешь меня?

Я думал, что она сейчас схватится за маузер, но в этот момент заговорил ее адъютант, до сих пор молча слушавший наш разговор.

— Ну зачем нам, Маруся, ссориться с большевиками из-за каких-то паршивых жидков? Давай лучше споем: «Святой отче Иване, шо будемо робить, як водки не стане?»

И кто-то из другой комнаты — наверное, хозяин дома, поп, — протянул басом: «Господи помилуй — два с половиной».

На этом разговор наш по существу и закончился. По всему видно было, что в отряде командует не Маруська, а ее адъютант, решивший, что ему, как бывшему штабс-капитану, лучше пока держаться в тени. Поэтому и придумал весь этот маскарад со своей разудалой любовницей и матросами на конях.

Через несколько дней, уже на пути к Перекопу, где-то у Чаплынки, мы встретили эту анархистскую ватагу, проскакавшую куда-то во главе со своей атаманшей и ее адъютантом — оба на белых конях, в черных каракулевых кубанках, и оба с папиросами в зубах.

Адъютант и глазом не повел, а Маруська, скользнув пьяным взглядом по нашей посторонившейся с дороги колонне, оглянулась через плечо на своих конных морячков и самодовольно блеснула зубами. И действительно, маскарад был великолепный. Под всадниками, наряженными в матросские бескозырки, форменки и клеши, а некоторые — во все кожаное с ног до головы, скакали подобранные по масти лошади: ряд вороных, ряд гнедых, ряд белых и снова вороные, гнедые, белые. За всадниками — гармонисты на тачанках, крытых коврами и мехами.

Семен Сухина долго потом ругался и плевался:

— Ну и собачья свадьба! За одной сукой сколько кобелей носится по степи!

Разгул анархистских и левоэсеровских ватаг усиливал разброд, происходивший в наших отрядах после отступления из Херсона, когда было потеряно общее командование.

Тяжело переживая все наши неудачи, Семен Сухина скрипел зубами от злости. Ему уже казалось, что все пропало и революция погибла, но как только мы останавливались, чтобы дать отпор врагу, к Семену опять возвращалась уверенность, что победа будет за нами.

Немцы для него были бездушными истуканами, которых приводит в движение скрытая где-то машина, и когда эти истуканы падали под нашим огнем, не только глаза Семена, но и все его жесткое, горбоносое лицо светилось от счастья.

— Вот видите, вот видите — они падают! Всех вас ждет могила на нашей земле! — кричал он.

5

Немецкие солдаты падали, и пордевшие цепи их откатывались назад, но вырастали другие цепи, открывала огонь артиллерия, на дорогах появлялись броневики, развертывались в степи кавалерийские эскадроны, и наши малочисленные отряды опять вынуждены были отходить.

В Преображенку, имение Фальц-Фейн у Перекопа, мы прибыли вслед за анархистами Маруськи Никифоровой, которые перед тем два дня рыскали по каланчакским хуторам. Слыхали мы, что они там все сундуки перепотрошили, по всем чердакам пошарили, всех девок перещупали, а у кого серьги были золотые, посрывали их с ушей.

К нашему прибытию в Преображенку они уже расквартировались в батрацких казармах и отобедали — на столах валялись остатки жареных кур и молодых барашков, заказанных Маруськой к обеду поварам Фальцфейнши (сама хозяйка уже давно куда-то исчезла). После обеда одни бандиты завалились спать, другие играли в карты за бутылку самогона или бочонком вина. Однако Маруська со своим адъютантом была начеку — об этом свидетельствовали усиленные караулы, особенно у большого сарая, в котором были укрыты тачанки, и то, что сбруя с выпряженных лошадей не была снята и лошади кормились тут же, в сарае, у своих тачанок.

Сильный караул охранял и штаб Никифоровой, расположившийся в одной из комнат роскошного дворца Фальцфейнши.

В этом же дворце, в противоположном крыле его, помещался и штаб Ивана Матвеева, объединивший наши красногвардейские отряды.

Между Матвеевым и Никифоровой шли переговоры. Матвеев требовал от анархистов ответа: будут они подчиняться объединенному командованию Красной гвардии или нет.

Никифорова с Козубченко не давали прямого ответа. Видимо желая выиграть время, они виляли: как будто и соглашались подчиниться, но только погодя, еще, мол, не все отряды собрались, вот когда все подойдет и выяснится, у кого сколько людей, тогда и будем решать вопрос об общем командовании, а пока давайте лучше решим вопрос о гардеробе Фальцфейнши.

Маруськина банда уже пересчитала все барские платья, кофты и юбки, развешанные по шкафам огромной гардеробной комнаты. Шкафы там стояли длинными рядами, как в хорошем магазине готового платья. Побывали в гардеробной и наши бойцы, в большинстве бывшие фальцфейновские батраки, посмотрели на эти утренние, обеденные, вечерние и бальные наряды и поудивлялись: зачем одной старухе целый магазин тряпок? Маруська по этому поводу развела демагогию:

— Имущество помещиков принадлежит не вам одним, а всему народу. — пусть люди берут, что хотят.

Иван Матвеев не стал вести с ней принципиальный спор о тряпках Фальцфейнши, и, когда Маруська, рассердившись, хлопнула дверью, в штабе было решено, что терпеть больше нельзя — надо разоружать ее отряд. И сам Матвеев и другие товарищи, входившие в штаб, были военными моряками. Их морскую честь больно задевало, что бандиты Маруськи щеголяют в матросских бескозырках.

— Из-за этой сволочи хоть снимай форму моряка,— говорили они.

И кое-кто снимал, чтобы в селе не приняли за бандита. Однако не так-то просто было разоружить вагагу Никифоровой.

Наше командование созвало общий митинг всех красногвардейских отрядов, собравшихся в Преображенке, рассчитывая, что на митинг придут и анархисты. И они пришли во главе с Маруськой — правда, не все.

В тот день в Преображенку все подходили и подходили из степи новые отряды, и к вечеру тут был бурлящий котел. Вся усадьба с ее дворцом, парком, разными флигелями служащих, казармами охраны и рабочих, амбарами и другими хозяйственными постройками была забита людьми, лошадьми и подводами, на которых прибывали отряды. Не всем хватило места под крышами, многие расположились под открытым небом на своих телегах, бричках и тачанках.

На митинге — он начался, когда солнце спустилось к земле и запылало костром,— все перемешавшиеся, сгрудившиеся отряды придвинулись вплотную к белым колоннам дворца.

Трибуной служил сначала балкон, а потом тачанка, стоявшая у густых зарослей туи.

Открыл митинг Поповицкий. Мы впервые тогда увидели этого уже немолодого военного моряка, который вскоре стал нашим партийным вожакom. Он вышел на балкон в бушлате и в морской командирской фуражке.

Совсем негромко прозвучал его голос:

— Товарищи красногвардейцы и партизаны! — Он как будто обращался не к тысячам людей, а только к тем, кто стоял перед самым балконом. Однако этот голос дошел до всех.

После душераздирающих призывов таких ораторов, как наш Семен Сухина,— а ораторы тогда почти все у нас были такие, с взвинченными нервами, бывшие себя кулаками в грудь,— особенно отрадno было слышать неторопливую, ровную речь этого невидного по фигуре моряка, толково объяснявшего, почему нашим отрядам пришлось отойти от Херсона к Перекопу. Ни разу он не взмахнул рукой, не бросил в толпу ни одного громкого призыва, глаза его не сверкали гневом,— опираясь руками о перила балкона, он смотрел вниз, на людей, спокойным взглядом и с какой-то очень надежной уверенностью в них.

Он говорил, что против нас действуют регулярные, хорошо вооруженные и вымученные войска, а наши отряды разрозненны и неорганизованны, и, следовательно, надо организоваться — и тогда мы сможем, встав на Перекопе, задержать немцев. Он сказал еще, что сегодня должен вернуться артиллерист Гирский, посланный на Кинбурнскую косу, чтобы снять оттуда береговую артиллерию.

И верно, еще не кончился митинг, как упряжки по шесть уносов лошадей притащили в Преображенку дальнoбойные пушки с длинными стволами.

Мы прозвали эти пушки «артиллерией Гирского» — нашего земляка, артиллериста старой армии, дослужившегося на фронте до фейерверкера. Грозный вид его артиллерии внушал нам большие надежды. Подошла в Преображенку и наша кавалерия — «бессарабская», как ее называли. Это тоже была какая-то старая воинская часть, влившаяся в ряды красногвардейских отрядов.

После Поповицкого выступил Иван Матвеев. Поднявшись на тачанку, он стал весь как каменный — с тяжелыми плечами и тяжелыми, крепко сжатыми кулаками. И слова, которые он бросал с тачанки, были тяжелые, как камень:

— Объединение... организация... дисциплина.

Этого только, как он говорил, нам не хватало, и это, как внушал весь его облик, он должен был дать нам.

Затем на тачанку вскочил Степан Кириченко из Херсонского губревкома — вдохновеннейший оратор! Он заговорил об анархистах. Маруська почувствовала в его голосе угрозу, дала знак своим людям, и те один за другим стали исчезать в зарослях туи. Пока мы спохватились, они пробрались парком в расположение своего отряда, выкатили из амбара тачанки и кинулись наутек. За ними была послана погоня, но ночь укрыла этих «вольных птиц степей» — так они себя называли. Их след был потерян.

6

На восходе солнца с балкона дворца Фальц-Фейнов штабники Ивана Матвеева увидели, как из Преображенки вырывались в степь всадники — один, другой, третий. Потом всадники стали вырываться кучками, и через две-три минуты вся наша кавалерия, полтысячи сабель, рассыпавшись по степи широкой лавой, на галопе удалялась от Преображенки в сторону Чаплынки, уже занятой немцами. Там, вдали, маячило с десятков конников. Они быстро исчезли за горизонтом, а вскоре исчезла и умчавшаяся вслед за ними вся масса нашей кавалерии, а степь уже заполнялась толпами пеших, которые хлынули из Преображенки тоже в направлении Чаплынки.

Что же произошло?

Кто-то, увидев вдали немецкий разъезд, двигавшийся от Чаплынки на Перекоп, крикнул: «Немцы!» — и все наши конники сорвались наперерез немецкой разведке, а когда та повернула назад, кинулись вдогонку и увлекли за собой все собравшиеся в Преображенке пешие отряды.

— Турбаевцы, за мной! — кричал Семен Сухина, и люди бежали за ним, как в атаку, готовые колоть штыком, бить прикладом.

Так началось это невиданное наступление. Полтысячи кавалеристов гнались за десятком немцев. А пешие отряды бежали за своей кавалерией.

Остановить это наступление было невозможно, и нашему командованию поневоле пришлось принять в нем участие.

Иван Матвеев на тачанке догонял свои отряды — вот тебе и объединение, организация, дисциплина!

От Преображенки в сторону Чаплынки простирались необозримые пастбища. Тут прадеды, деды и отцы наши пасли отары овец, гоняли табуны коней. Родная степь. Каждая балка знакома.

Около десяти километров отмахали мы, не передохнув. Запыхались, с бега перешли на шаг, но никто не отстал. Шли широким фронтом — не то цепями, не то толпами. Врага не видно было, и не слышно ни одного выстрела. Впереди только ветер гулял, гнул ковыль и красноголовые тюльпаны.

Но вот видна уже и Чаплынка с ее высокой колокольней и ветряками. Может быть, оттого, что немцы открыли стрельбу из села, а может быть, потому, что люди выдохлись, все отряды на виду Чаплынки залегли цепями. На левом фланге замоталась бессарабская кавалерия, а правого фланга нам не видно было — цепи уходили за горизонт, — и вскоре там, где-то далеко, загрохотала артиллерия Гирского.

До вечера продолжалась перестрелка. Когда в цепях появились убитые и раненые, люди отрезвели и поняли, что получилось неладно — под огнем до Чаплынки не добежишь и назад без урона не отойдешь: открытая степь. Слышны стали ворчливые голоса:

— Что же, так и будем лежать, пока немец всех не перебьет?

— Наступали, наступали, а теперь ни туда ни сюда.

Наконец-то вспомнили, что у нас есть общее командование. Не подымая головы, озирались, говорили:

— Ну где он, штаб-то? Чего не командует?

Многие поглядывали назад — далеко ли до балки? Вдруг видим, кто-то перекатывается с боку на бок, да так быстро, будто под гору катится. И правда, степь шла к балке под уклоном — повертывайся на бок и катись.

Этим и кончилось наше наступление. Может быть, не по всему фронту, но, насколько глаз хватал, все катились от Чаплынки назад кубарем в обнимку с винтовкой.

Сначала катились молча, кто-то только крикнул:

— Затворы, черти, поставьте на предохранитель, а то потеряете!

А потом, когда уже подкатывались к балке, близость укрытия развязала языки, и начали раздаваться бранные выкрики — люди отводили накипевшую злость.

Скотившись в балку, я увидел Митю Целинко. Он сидел на земле и, обхватив руками живот, качался от хохота. Его смешливость привела в ярость раненного в голову

Семена Сухину. Сорвав с головы окровавленную повязку, он стал крыть Митьку в бога, в душу и в соленую мать.

У Семена началось помешательство, которое вскоре привело его в психиатрическую больницу, где он и умер. Не выдержали нервы, а может быть, сказалоь и ранение в голову.

Отойдя к Перекопу, мы заняли оборону по Турецкому валу и держались тут около двух суток, пока немцы не выбили нас отсюда ураганным артиллерийским огнем. Потом наши отряды вместе с черноморскими моряками сражались за Симферополь. Город несколько раз переходил из рук в руки, было так, что после схватки обе стороны отошли: немцы на северную окраину города, а мы — на южную.

Из Симферополя наши отряды отступали на Керчь и Севастополь. На Керчь пошел Иван Матвеев с большей частью пехоты, имея в виду, что в Керчи для переправы через пролив можно расснитывать только на лодки и баркасы. Нам, двигавшимся с артиллерией, кавалерией, тачанками на Севастополь — оттуда мы должны были плыть на кораблях в Новороссийск, — пришлось еще схватиться с немцами под Альмой. Едва оторвавшись здесь от противника, мы опередили его в движении к Севастополю на один день.

Когда мы вошли в порт и сгрудились у причалов, тут всюду шли митинги, споры, и нельзя было понять, кто командует. Корабли в бухте и у причалов тоже стояли, как на митинге, голосуя своими флагами: красными, черными и желто-голубыми (украинских самостийников). Правда, красных флагов и тут было большинство, особенно на военных кораблях, даже флагманский на линкоре был красным, поднятый левым эсером Саблиным.

Наши штабники отправились на линкор. Саблин, встретив их, задал только один вопрос:

— Все прибыли?

Они ответили: все. И он стал командовать, кому и на какие суда грузиться. Артиллерию он взял к себе на линкор, кавалерия и пехота попали частью на миноносцы, частью на транспорты.

Кончилась погрузка, но столпотворение в порту не утихло. Когда корабли начали отваливать от причалов, на берегу поднялся рев. Кто-то пытался митинговать, но его не слушали. Раздавались выкрики:

— Трусые!

— Предатели!

Слышны были издевательские голоса:

— Вот вам земля! Вот вам и мир!

Команды трех транспортов, выйдя на рейд, бросили якоря и, спустив красные флаги, подняли на мачты желто-голубые. На двух этих кораблях красногвардейцы силой оружия подавили мятеж, а на третьем, где не оказалось решительных командиров, люди растерялись, и им пришлось на другой день, когда в город уже вступили немцы, побросать оружие в море и сойти на берег. Они разбрелись кто куда. Большинство ушло в сторону гор. Ушел туда и я с несколькими днепровскими большевиками, которым наши партийные руководители в самый последний момент сказали:

— А вам, товарищи, придется остаться. Будете работать в подполье.

Заново надо было собирать силы, заново подымать людей на борьбу.

2. ЧАПЛЫНСКИЙ ФРОНТ

1

Любили мы свою степь с ее привольным простором полей и пастбищ, причудливо изрезанный берег моря, сады и виноградники, окружавшие села, свои луки с огородами и бахчами, прикрытые от песков дубовыми, ясеневыми и яворовыми рощами.

«Эх вы, степи, степи вы широкие, за вашу красоту и просторы мы жизни не жалеем и в революцию пошли за вас, родные», — так писали своим землякам наши чалбасские зачинатели повстанческой борьбы Семен Гончарь и Иван Бетер, осужденные немцами на казнь.

Сначала повстанцы действовали в одиночку и небольшими группами в днепровских плавнях и в песчаной гряде кучугур. В плавни посылали своих людей Алешки, Каховка, Збурьевка. В кучугурах партизанили селяне Чалбасс, Копаней, Маячек.

Несколько позже, когда озимые хлеба поднялись в человеческий рост, появились повстанцы вокруг Чаплынки и Каланчака. Еще больше стало их тут, когда кукуруза и подсолнечник поднялись в полный рост.

Трудно было нашему подпольному укому в Алешках при той слежке, которая была организована за большевиками-подпольщиками, установить связь со всеми партизанами-одиночками, чтобы направлять их действия и нацеливать их удары. Но к концу лета Поповицкий и Птахов из укома преодолели эти трудности и с помощью всех оставшихся в уездном подполье партийцев стали собирать и организовывать повстанческие силы.

Как и всюду на Украине, у наших партизан появились свои вожаки: в Чаплынке — Баржак, в Каланчаке — Харченко, и Таран, во Владимире — Костриков, в Алешках — Крылов, в Збурьевке — Биленко и Луппо, в Хорлах — Гончаров, Киселев, Задырко.

Если весной, когда на Украину нахлынули немцы и под их натиском наши днепровские красногвардейские отряды вынуждены были уйти за море, многим казалось, что оккупанты — сила, с которой трудно совладать, то к осени эта сила была уже на исходе, хотя поднялся еще не весь народ, а только беднота.

Революция в Германии, брожение, начавшееся в войсках оккупантов, уставших от войны, ускорили развязку борьбы. На Украине началось всеобщее восстание.

У нас в уезде первой поднялась Чаплынка. Я пришел сюда, когда село уже бурлило. Начали бабы, возмущившиеся мобилизацией, которую под покровительством немецких оккупантов пытались проводить вылезшие из своего крымского гнезда белогвардейцы. Собравшись на церковной площади, бабы подняли крик, и на их крик со всех сторон огромного села, имевшего больше трех с половиной тысяч дворов, потянулся народ — сначала одиночки, а потом толпы, — и стечение его становилось все более бурным.

Накалилась ярость народная и против немцев и против гетманцев, а тут еще какой-то генерал Аджиев протягивает из Крыма свои руки — загребает людей в белую армию. Местная варта попыталась навести порядок, и это кончилось дракой. В нее вмешался стоявший в Чаплынке немецкий взвод, но толпа селян, собравшихся на площади, быстро смяла и обезоружила и вартовых, и немцев, и явившихся из Крыма белогвардейцев.

В тот же день о происшедшем в Чаплынке узнали в соседней Громовке, и Громовка зашумела; на другой день зашумел Каланчак, а через два дня поднялся весь уезд. Селяне стекались в Чаплынку кучками, толпами и отрядами, кто с винтовками и саблями, а кто с вилами и косами.

Разыгравшуюся стихию сначала никто не направлял, все шло само собой. Пытались возглавить восстание в Чаплынке и шумно вынырнувший откуда-то Жидченко — перед тем он был у Махно в Гуляй-Поле, — и украинский самостийник, вожак зажиточных крестьян Грабко, и какой-то Барсухин, неизвестно откуда взявшийся, называвший себя военспецом. Они договорились о едином фронте руководства и агитации, но командовать всеми вооруженными силами повстанцев стал бывший вахмистр коммунист Баржак, на второй день восстания прискакавший в село с конным отрядом.

Баржак командовал, Жидченко и Семко, прибывший с группой активистов Громовки, вели агитацию, но идейное направление и руководство восстание получило только на третий день, после того как в Чаплынку прибыл алешковский отряд подпольного укома во главе с Поповицким.

Этот скромный, болезненного вида, да и на самом деле больной человек, как мы потом узнали, лично мало еще кому известный организатор нашего партийного подполья в уезде, быстро и как-то незаметно для всех стал душой восстания. Когда он говорил своим удивительно ровным и тихим голосом, поглаживая и пощипывая свои черные усики, которые только и придавали ему солидность, даже неугомонно шумливый Жидченко умолкал.

Селяне отдавали своему сельскому фронту все, что могли,— лошадей, фураж и продовольствие. Непрерывно, день и ночь, вокруг села рылись окопы и сооружались блиндажи.

И вот наблюдатели, дежурившие на колокольне, увидели вражескую кавалерию. Чаплынский фронт пришел в движение — все огневые силы стягивались в ту сторону, куда шли немцы, устанавливались заранее заготовленные заграждения. Конница Баржака продвигалась к выходам из улиц в степь.

Подойдя к селу на расстояние ружейного выстрела, немецкая кавалерия ускорила движение. Фронт повстанцев замер в ожидании команды «огонь!». Но команды долго не было. Некоторые уже ворчали, требуя открытия огня. То тут, то там раздавались голоса:

— Выдержка, выдержка, товарищи!

Баржак в пожарной каске гарцевал на коне у выезда из села.

Кулик, командовавший пехотой, сидел на корточках за углом крайней хаты, молча поглядывал то на приближавшегося противника, то на Баржака.

Кавалерия немцев уже подходила к поясу заграждения. Когда она затопталась перед наваленными на ее пути боронами, плугами и телегами, Баржак взмахнул рукой, и Кулик передал команду:

— Огонь!

Так открылся Чаплынский фронт, и, хотя он весь, с правого до левого фланга, обозревался с сельской колокольни, немцы заметались перед нашим доморошенным фронтом из стороны в сторону. Немецкая артиллерия, шедшая сзади, бросилась вправо, развернула пушки для стрельбы, но успела сделать не больше десяти выстрелов, как на нее налетела своя же кавалерия, в беспорядке мчавшаяся назад. Выскочившая из крайней улицы конница повстанцев под командой Баржака довершила разгром оккупантов. Немецкие артиллеристы ускакали вместе со своей кавалерией, бросив в степи зарядные ящики.

Более тридцати лошадей с седлами, много винтовок и патронов попало в руки повстанцев. Этот успех воодушевил всех необычайно. Не только в штабе, а по всей Чаплынке — и в хатах и на улицах — шли возбужденные, шумные разговоры о том, как здорово мы разбили немцев за какой-нибудь один час, теперь они подождут хвост, не посмеют больше сунуться.

Однако Поповицкий продолжал стягивать к Чаплынке повстанческие силы уезда. Форсированно создавалась вторая линия обороны, на которой располагались новые, прибывшие в Чаплынку и возникавшие в ней повстанческие группы. Те, кто еще недавно на сходках бросался друг на друга с кулаками, сейчас шагали бок о бок в общем строю — и земельные и безземельные, будто забывшие о своей вечной вражде.

Прошло два дня, и наши наблюдатели на колокольне снова увидели немцев, двигавшихся с востока полукольцом. На этот раз немцы развернули свои силы далеко от Чаплынки.

В центре шла пехота, на флангах топталась конница, а сзади стала на позиции артиллерия. Она уже вела огонь, но повстанцы и пехотинцы, сидевшие в окопах, и конники, собравшиеся для контратаки на крайних улицах села под укрытием хат, не показывали признаков жизни.

Вражеская пехота шла двумя цепями. Уже заметно было, что немцы по мере приближения к селу ускоряли шаг, справа и слева застрекотали их пулеметы. Немецкая артиллерия, сначала бившая по окраинам села, теперь била по центру. Топтавшаяся на флангах артиллерия стала быстро продвигаться вперед, а повстанцы все еще ждали команды на открытие огня. Ожидание становилось все напряженнее. Опять то тут, то там слышались голоса:

— Выдержка, выдержка, товарищи!

Командиры боялись, что не хватит у людей выдержки — ведь первый раз в бою, а иные и оружие первый раз в руки взяли, — но позади залегших в обороне мужиков были их родные хаты, семьи, сидевшие в подполах и погребах: не удержишь оборону,

и немцы спалят село, не пощадят ни женщин, ни детей... Нет, одно спасение в выдержке. И повстанческий фронт выдержал.

Когда застрочили наши пулеметы, немецкие цепи залегли, попытались подняться и снова залегли, а кавалерия сразу поспешила отойти из зоны поражения. Примерно через час снова все повторилось, потом еще и еще, однако немецкие цепи залегали все ближе и ближе к селу. Под конец дня противник пошел на штурм. Один бросок отбит, другой отбит, но третьим броском немцы приблизились почти вплотную к переднему краю повстанцев. И в этот момент Баржак бросил в контратаку свою застоявшуюся кавалерию, и она опять решила исход боя — смяла фланги немцев и захватила их пушки.

До конца ноября мы держали фронт под Чаплынккой, потом немцы ушли из нашего уезда за Днепр, а вскоре и вовсе убралась с Украины.

2

Уже наступило время зимы — началом ее в наших краях принято считать декабрь, — но еще шли теплые осенние дожди, и белые акации еще не сбросили своей листвы. И бордово-золотистый бурьян, и бродившие в степи отары, и скворцы, юрко прыгавшие по спине овец, — все было как осенью. Только ветры были зимние, и дожди становились все продолжительнее.

К этому времени плавни, овраги, кучугуры и кукурузные поля, не всюду еще убранные, в которых скрывались повстанцы, опустели. К зиме восставший народ перебрался в свои села. Немцы ушли, и снова встали жгучие вопросы о земле и власти. Сложившееся было на время борьбы с оккупантами единство селян распалось.

Как только Поповицкий с отрядом укома вернулся в Алешки, в Чаплынке начались распри. Мutil воду самостийник Гробко. Он говорил: мы не против Советской власти, но вот беда — в Крыму засело много белых, их Антанта поддерживает, и Чаплынке не устоять, если белые пойдут войной против нее, а поэтому лучше всего организовать нейтральную крестьянскую республику. Был у нас свой Чаплынский фронт, пусть будет своя независимая Чаплынская республика. Объявили же свою республику в Гуляй-Поле, в Высуни под Херсоном, в Баштановке под Николаевом...

Богатым мужикам понравилась эта мысль — отсидеться от гражданской войны под нейтральным флагом своей сельской республики: ни поборов, ни мобилизаций никаких, деньги свои печатай, торгуй с кем хочешь, а потом посмотрим, как дело обернется...

Турки прослышали про эти хитрые разговоры наших мужиков-самостийников и прислали в Чаплынку своего делегата для заключения с новой республикой торгового договора на вывозку хлеба. Вслед за турком в Чаплынку примчался из Хорлов матрос-большевик Гончаров и поднял в селе шум:

— Что вы тут с турками разговариваете? Эскадра Антанты появилась на Черном море. Новые гости пожаловали, высаживаются в Севастополе и Одессе.

— А что ей, Антанте, у нас надо? — не понимали мужики.

— Так это же паразиты, туняядцы, гады, — объяснял матрос. — Для них свободного человека не существует, они его не желают признавать. Они, эти господа, — англичане, французы, греки, турки, все равно кто, — они только себя считают за людей, а все остальные для них просто скот, который на них должен работать. Вот мы царя прогнали, а потом и помещиков с капиталистами, все в свои руки взяли — им это не нравится, хотят снова на колени поставить нас и какому-нибудь помазаннику божьему со всеми потрохами вручить... Так что, товарищи, не теряйте времени — немедленно выступайте к Перекопу, там теперь на побережье надо держать фронт против Антанты и крымских белогвардейцев.

Надвое раскололась Чаплынка: Гробко со своими самостийниками вел переговоры с турками, а конники Баржака точили копыя и сабли, седлали коней, торопясь к Перекопу.

3. КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ПОБЕРЕЖЬЕМ

1

Если ехать из Чалбасс на юг, к морю, то не миновать большого торгового села, раскинувшегося на приморской возвышенности и оттого, вероятно, названного Каланчаком: (Надо сказать, что эти названия — Чалбассы, Каланчак — остались от разоренных татарских поселений, на месте которых водворены были наши предки турбаевцы.)

Много дорог, пересекавших степи Северной Таврии, сходилось в Каланчаке — на Чалбассы, на Чаплынку, на Перекоп, на Хорлы. Его большие базары, славившиеся не меньше, чем ярмарки Армянска, связывали днепровских помещиков и кулаков с крымскими торговцами скотом.

Вот в этом издавна шумном селе в конце 1918 года, когда поднявшая голову беднота кипела яростью против своих угнетателей, появился вдруг долго отсутствовавший тут Прокофий Иванович Таран.

Дед его был из тех истинных турбаевцев, которые, прожив до ста лет, все еще вспоминали свои Турбаи на Полтавщине. Работал он чабаном у Фальц-Фейнов. Отец тоже был чабаном, лет тридцать батрачил на тех же помещиков. Пас фальц-фейновских овец и сам Прокофий, но недолго — ему и четырнадцати не стукнуло, когда он ушел в Хорлы и стал работать в малярно-кровельной мастерской. Там, в Хорлах, его на другой год жандармы высекали розгами за то, что распространял листовки против царя. А спустя три года за бунтарство выслали Прокофия из Хорлов с волчьим билетом. И с тех пор пошел он скитаться, сначала по России, а потом по всему земному шару. Побывал он в Англии, в Голландии, служил матросом на пассажирском пароходе, доехал до Америки, попал в Детройт, на завод Форда, а потом перебрался в Канаду: выслали за участие в стачке; и в Канаде не ужился — работая на заводе в городе Виннипеге, вывел рабочих на демонстрацию против империалистической войны, после чего пришлось скрываться, а затем и бежать: в газетах появилась его фотография с надписью: «Черная шляпа, по следам которой рыщут сыщики». Следы исчезли за океаном. А в февральские дни 1917 года Прокофий Иванович Таран в той же черной шляпе появился на уличных митингах в Петрограде. При Керенском его одели в шинель, отправили на фронт, там он сразу стал вожакom солдат, после Октябрьской революции, вернувшись с фронта, руководил Красной гвардией в Аleshках. Где он был потом, мы не знали. И вот вдруг появился в своем родном Каланчаке — высокий, статный, голубоглазый красавец с усиками и окладистой бородой от уха до уха. Говорили, что он прибыл из Белгорода по направлению ЦК большевиков Украины.

В ту пору в Каланчаке было два небольших красных отряда: один кавалерийский, Степана Тарана, брата Прокофия Ивановича, другой пехотный — Феодосия Харченко. Оба эти командира сразу признали Прокофия Ивановича за старшего и соединили свои отряды под его командованием. Влились в новый отряд со своими людьми и матрос Гончаров, и кавалерист Чепурко, и Амелин, и Неволик, и другие партизаны-большевики из Каланчака, Хорлов, Чалбасс, Бугаевки, Карги.

2

Шел дождь. Командиры приходили в штаб измокшие, шумно отряхивались и топтались у дверей, поглядывая на Тарана, сидевшего за столом спиной к ним. Таран не оборачивался — помечал что-то карандашом на разостланной по столу потрепанной карте, пока адъютант Амелин не доложил ему, что все в сборе. Тогда Прокофий Иванович поднялся и стал здороваться со всеми за руку.

Командиры расселись за столом.

— Ну, вот и хорошо — сказал Таран. — Давайте теперь обсудим, что я вам предложу. Сидеть нам в Каланчаке больше нечего, организацию будем продолжать в пути. Вот только с оружием у нас плохо, но и его тоже будем добывать не сидя. Понятно?

— Понятно, — последовал общий ответ.

— Значит, надо действовать — это главное, — продолжал Таран. — В уезде есть еще кое-где гетманская варта и белогвардейцы, надо их как можно скорее обезоружить — вот вам и вооружение будет. Офицеров переловить и ликвидировать — вот вам и обмундирование. Тебе, Федор, — он повернулся к командиру кавалерии Чепурко, — задание: вывести на белый свет всю эту контру, очистить от нее местность кругом на тридцать — сорок верст и далее по силе возможности. Тебе, Алексей, — он повернулся к командиру роты матросу Гончарову, — взять под охрану Хорлы и побережье, что вправо от них. Сам ты оттуда, и люди твои неплохо знают море — вот и хорошо. Феодосий Харченко со всей остальной пехотой пойдет на Перекоп — там белые из Крыма пакостят, да и чапынцам надо помочь. В Каланчаке оставим Неволика с небольшой командой. Он начальник хозяйства, носит красные штаны — пусть вот и добывает нам харч.

Таран встал, одернул свою синюю гимнастерку, сделал три шага вперед и три шага назад, затем спросил:

— Как вы, товарищи, считаете мой план, правильным или неправильным?

Командиры сидели молча, глядя перед собой на стол. Первым поднял голову командир пехоты Харченко, почесал затылок одной рукой, потом другой, посмотрел и вправо и влево...

— Ну, что скажешь, Феодосий Степанович? — спросил его Таран.

— Я вот что скажу, Прокофий Иванович, — начал наконец Харченко. — План ты предложил правильный, но Чепурко без пехоты только зря прогуляется. Надо дать ему человек двадцать пехотинцев, посадить их на подводы, пусть едут тоже. Толку будет больше... И план им тоже надо сделать, — добавил он, глянув на Чепурко.

— Против пехоты я не возражаю, а план мы сами придумаем, — обиженно отозвался Чепурко.

— Ты, Федор, не сбивай Феодосия Степановича, дай ему высказаться до конца, — оборвал кавалериста Амелин.

— Давай продолжай, Феодосий Степанович, — сказал Таран.

— Так вот, товарищи, я вот что скажу, — опять начал Харченко. — Надо трошки подумать. — И он замолк. Думал он долго, и все терпеливо ждали. Командир зашептал что-то на ухо адъютанту, и тот вытащил из ящика стола листок бумаги и взялся за перо. Собравшись с мыслями, Харченко продолжал: — На Перекоп надо идти — это правильно, но лопаты тоже нужно взять с собой. По Турецкому валу хат нету — значит, окопы и землянки рыть придется, и не только от дощу, но и от снарядив, бо воны, диаволы, там, в Крыму, и у их увсе есть. Чапынцы мени рассказували, як их, тих билых, вооружили твои, Прошка, земляки, — сострил Харченко, имея в виду, что командир был в эмиграции.

После этого он стал вытирать рукой свой вспотевший лоб, а слово взял Гончаров.

— Я, товарищи, хочу только одно замечание сделать, — низко надвинув на лоб бескозырку, заговорил он. — В Хорлы, на мою родину, прошу послать других, а я с ротой пойду на Перекоп.

— Это, Алексей, не пройдет, — перебил его Таран.

— Так зачем же нас сюда собрали, раз нельзя говорить свое мнение? — загорячился матрос.

— А ты говори — говорить тебе никто не запрещает... Говори, чего остановился?

— И буду говорить свое мнение! — запальчиво продолжал матрос. — Мне станут доказывать, что я и мои люди лучше других знаем местность и население — это верно. Но вот что не учитывается тут: у каждого из нас в Хорлах есть родные, у некоторых жены, дети. Их наличие не будет содействовать боеспособности и дисциплине. Поэтому я против посылки моей роты в Хорлы и это свое мнение буду отстаивать.

— Отстаивай — это тебе никто не запрещает, а я буду отстаивать свое, — не глядя на матроса, тихо сказал командир. Он уже диктовал адъютанту приказ.

Потом говорил брат командира — Степан Таран. Он поддержал Гончарова, сказал, что если бы его оставили в Каланчаке, то он тоже возражал бы, но доводы у него были совсем другие:

— Своего, местного, люди будут плохо слушать, запанибрата станут, а это не на пользу — у своего авторитет не тот, что у чужого.

И Неволику тоже не хотелось оставаться в Қаланчаке. Он говорил, что лучше бы ему расположиться в Преображенке, в имени Фальц-Фейн, поближе к отряду — удобнее будет снабжать его.

Прокофий Иванович, шепотом диктовавший адъютанту приказ, усмехнулся:

— Ты уж прямо скажи — боишься, чтобы кулаки вместе с красными штанами не содрали с тебя и шкуру на бубен. Не бойся — они теперь притихли.

Приказ был уже написан, и командир начал торопить выступавших.

— Дождь проходит. Правда, грязь непролазная, и у кого обувь плохая, неприятно ее месить, но не разговаривать же нам, пока грязь просохнет,— сказал он, давая знать, что разговор затянулся и пора его кончать. После этого он нетерпеливо спросил:— Ну как, есть у кого еще какие-нибудь предложения или замечания?

— Нет, все, что у кого было, уже сказали,— ответил за всех Харченко, тоже не любивший долгих разговоров.

— А я после всех вот что скажу,— продолжал командир.— Феодосий Степанович правильно говорил — я с ним согласен, а с Гончаровым и Неволиком я не согласен. А почему? Об этом много надо говорить, но я не буду — время дорого, так что вы, я думаю, не станете обижаться. И ты, Степан,— он обернулся к брату,— плохой адвокат, доводы твои неубедительны, поэтому и говорить о них нечего. На этом, товарищи, разговор кончим. А теперь слушайте приказ — Амелин его зачитает вам.

Адъютант зачитал приказ. Командир спросил, понятно ли он изложен. Все ответили, что понятно, и тогда он сказал:

— Значит, обсуждать больше нечего. Ступайте по местам и выполняйте... Ну пока, будьте здоровы!

Когда все стали расходиться, Прокофий Иванович заметил, что в хате накурено.

— Ох, эти мне курильщики! — Он покачал головой.— Из рукава втихомолку всю хату задымили. Вот проказники! Хуже ребятишек, а еще командиры.

Сам он не курил и не любил, чтобы в его присутствии курили.

3

Штаб Тарана перебрався в Преображенку. Дворец Фальц-Фейнов в Преображенке пустовал. Амелин хотел расположить в нем штаб, но Прокофий Иванович не разрешил.

— Там еще по углам пахнет этой старой крысой Софкой,— сказал он брезгливо и велел располагать штаб в рабочей казарме.

Партизанская пехота под командой Харченко разведывала и осваивала оборону по Турецкому валу. Левее ее стояла чаплынская кавалерия Баржака, и с ней у каланчаковцев завязывалась крепкая дружба.

Через несколько дней прибыли первые гонцы от Гончарова и Чепурко, сообщили, какие пункты они очистили от всякой контры и сколько взяли при этом винтовок. Неволик прислал из Қаланчака печеный хлеб, немного сала и десятка два трофейных сапог, переданных ему Чепурко. И только раздали сапоги,— некоторые не успели еще надеть их,— как началось первое боевое крещение: артиллерия белых на Перекопе открыла по партизанам огонь.

С артиллерийской стрельбой белых партизаны вскоре свыклись: после того как двух ухарей задело шрапнелью, все стали по команде прятаться в укрытия. А вот боевые корабли Антанты, нахально разгуливавшие у берегов, все больше беспокоили нас.

Гончаров каждый день передавал тревожные сообщения. Он очень опасался десанта, но ничего не мог предпринять против англо-французской эскадры, то появлявшейся на рейде у Хорлов и Скадовска, то вдруг куда-то исчезавшей.

После очередного тревожного сообщения Гончарова Прокофий Иванович решил направить часть эскадрона Чепурко в Хорлы, чтобы усилить наблюдение за морем. В ответ на это брат командира Степан сказал с горечью:

— Что это, Прокофий, за мера? Ну, пошлем двадцать—тридцать кавалеристов смотреть за морем, но в море-то ведь они не пойдут? Корабли Антанты как гуляли у наших берегов, так и будут гулять.

— А ты что предлагаешь, моряк?

— Я вот что предлагаю: первое — надо сделать вылазку за Турецкий вал и добыть у белых хотя бы пару пушек, второе — надо во что бы то ни стало добыть какой-нибудь катер и пушку. Вот тогда мы могли бы что-нибудь предпринять против Антанты.

— Ну, брат, катерок с одной пушечкой — это тоже полумера, — усмехнулся Прокофий Иванович. — Нам сегодня что важно? Не прохлопать высадки десанта, не дать интервентам вылезти на сушу — вот что важно. А если вылезут на сушу, то, я думаю, мы как-нибудь с ними справимся, только бы узнать сразу, вовремя, — для этого мы и посылаем в Хорлы конных. А насчет катеров и пушек мечтайте. И я мечтаю, и Харченко говорил мне, что он тоже мечтает о них. Почему не помечтать? Только давайте, ребята, и о деле не будем забывать. Вот рыжий Свыщ говорит, что капитан Шпехт задался целью уничтожить нас. Хочет вернуться из Крыма в свое имение, а мы ему поперек дороги стоим.

Бывший чалбасский помещик Шпехт командовал белогвардейским отрядом, стоявшим за Турецким валом. Наши разведчики, побывавшие там, докладывали, что он готовится к наступлению и ждет, пока мороз подсушит грязь, — хочет, уничтожив нас, быстро рвануться к Херсону на соединение с тамошними десантами интервентов, ну а заодно и в свое имение заглянуть.

Наши командиры, знавшие Шпехта, не принимали всерьез этого стратега и высмеивали его намерения.

В конце января подморозило. Это было кстати не только Шпехту, но и нам — надоело уже таскаться по грязи, рваной обуви, да и коням было тяжело.

А таскаться приходилось по всему уезду: то в Алешки — там самостийники собрали свой кулацкий конгресс и какой-то ротмистр Леснобродский грозился расправиться с большевиками, то в Копани — там эсеры Коваль и Василец организовали кулацкую самооборону и устроили засады против красных, то на Ищенские хутора — там кулачье зверски убило председателя уездного ревкома Птахова и Кожушенко из укома партии.

В первой половине февраля, когда крымские белогвардейцы начали наступление на Перекопе, силы наших отрядов оказались разбросанными на большой территории.

Пасмурной ночью Шпехт с отрядом в полторы тысячи штыков и сабель подошел к Максимовке и окружил батрацкие казармы, в которые незадолго до того переехал со своим штабом Таран. Считая, что Таран в его руках, Шпехт не торопился. Он не знал, что тот успел послать гонца в Каланчак и Бугаевку, где в ту ночь находились главные силы красных. На вооружении партизанского штаба было пять ручных пулеметов «Люис». Отстреливаясь из них, Таран со своими штабниками продержался некоторое время в казарме, а потом в темноте незаметно покинул ее и канавой выбрался из окружения. Тем временем подошли и Харченко с пехотой, и Чепурко со своим эскадроном, и Баржак с чапльнской кавалерией. Отряд Шпехта был разгромлен наголову. От него уцелело только несколько сот всадников, сумевших скрыться за Турецким валом. Сам Шпехт попал в плен и был расстрелян своими бывшими батраками.

Еще дважды пытались белогвардейцы прорваться из Крыма на соединение с интервентами в Херсоне, но и эти попытки были отбиты, после чего только артиллерия белых время от времени нарушала тишину, установившуюся на перешейке вдоль Турецкого вала.

4

Как же все-таки случилось, что корабли Антанты высадили десант у нас под боком, в Хорлах?

Многие обвиняли свой штаб в том, что он прохлопал высадку греков.

Особенно доставалось Амелину.

— Ты же адъютант, штабом заправляешь, должен был усилить охрану побережья, — говорил ему Степан, брат командира.

— А если бы белые из Крыма прорвались? — спрашивал Амелин.

— Штабу поворотливее надо быть, — наседали на него Степан. — Я это и Прокофию говорил и тебе напоминаю.

— А что ты предлагаешь-то?

— Предлагаю выспать тебе хорошо за то, что проморгал греков, и как можно скорее выбить их. Сами они отсюда не уйдут, им тут, говорят, нравится, а мы ничего не делаем, ждем, пока они укрепятся.

— Ты, Степа, спокойнее,— заговорил Алексей Гончаров.— В панику не надо браться. А твое излишнее беспокойство передается и другим. Не забывай, что греки в Хорлах в основном на воде сидят. Обмелевшая акватория не позволяет крупным военным судам входить в порт. Они на дальнем рейде стоят. Их без пушек не возьмешь. Так что нам с тобой надо хладнокровнее на все это реагировать. Не будем, Степа, зря трепать нервы адъютанту, подождем лучше, что скажет командир.

Четыре дня уже прошло, как греки высадились в Хорлах, а командир еще слова не сказал об этом, словно высадка интервентов его нисколько не тревожила, хотя со дня на день он становился все более угрюмым. Партизаны уже не раз спрашивали ездового командира:

— Прокофий Иванович чего говорит?

— Молчит все. Сильно не в духе,— отвечал ездовой.

И вот на пятый день Таран вдруг оказался в кругу наших стратегов, горячо обсуждавших положение, сложившееся в связи с высадкой в Хорлах греков.

— Ну, о чем у вас тут спор идет? — спросил он.

— Да все об этих самых греках,— сказал Алексей Гончаров.— Мало у нас заботы было, так вот еще гости на нашу шею пожаловали. Степан волнуется, как бы они не обосновались тут надолго и белые как бы с ними не сомкнулись — ведь расстояние-то не больше тридцати—сорока верст.

— Вот это и меня тоже беспокоит,— сказал Прокофий Иванович.— Видно, заставит нас Антанга стать моряками. Другого выхода не вижу. Раз центром нашего внимания становится море — значит, правы были наши мечтатели: надо нам занять свой какой-нибудь флот. Сухопутные силы наши растут, а на море мы что корабли в поле.

— Нам бы только было на чем плавать,— вздохнул Алексей Гончаров.

— Вот именно. Ты, я вижу, правильно подходишь к решению задачи,— продолжал Прокофий Иванович.— А раз общее мнение есть, нам остается только произвести удачную вылазку к причалам Хорлов. Крупные корабли стоят на рейде, а помельче — транспорты, катера — у причалов. Так почему бы нам их не захватить лихим налетом кавалерии и пехоты? Как думаете? Не осрамимся? Осуществим задачу?

— Конечно, раз нужно, осуществим, не подкачаем, Прокофий Иванович,— ответил Харченко.— Но вот только как-то не вяжется — кавалерия будет атаковать флот в море...

— А ты как думаешь, моряк? — Командир обернулся к Алексею Гончарову.

Матрос наморщил лоб и стал рассуждать:

— Задача, конечно, не простая, что и говорить, сложная, трудная задача, можно сказать даже загадка, ее еще надо разгадать...

— Да ты не юли,— перебил его командир.— Разгадывать тут нечего. Отвечай прямо: увяжется или нет?

— Прокофий Иванович, да к лицу ли нам духом падать?! — воскликнул матрос.— Конечно, увяжется, да еще как! Надо только смело рвануть. Если захотим, все сбудется, как сказал товарищ Ленин. А без флота нам никак нельзя с греками воевать.

— Ну, в таком случае не теряйте времени,— сказал командир,— готовьте канаты, багры, топоры, подбирайте людей, знающих морское дело,— механиков, рулевых,— выявляйте артиллеристов...

5

— Это вам не гайдамаков по клуням ловить,— говорил командир, давая своим помощникам задание разведать силы и расположение греков в Хорлах.— Все-таки как-никак командующий Антанты — сам адмирал Яникоста. Говорят, Софка с ним приехала, его в гости пригласила. Надо все до мелочей разузнать — и дислокацию, и как перегруппировывают корабли на ночь, особо выяснить состав морской пехоты...

После двукратных перекрестных разведок, проведенных в Хорлах и его окрестностях, штаб разработал план атаки порта.

Отряд перебазировался поближе к Хорлам, расположился в балке, уже по-весеннему зазеленевшей, и поджидал тут разведчиков, чтобы внести последние поправки в план. Командиры, расположившись у штабной тачанки, обсуждали поступившее от чаплынцева предложение о помощи.

— Людей у нас достаточно. Вот если бы пушки дали! — сказал Степан, брат командира.

— Но ведь их, этих пушек, и у чаплынцева нет, — заметил Амелин.

— Как же нет, если они всю зиму палят по колокольне Перекопа?

— А что толку? Разве это пушки? Они же бесприцельные. Знают, что на колокольне артиллерийские корректировщики белых сидят, вот и палят, да без прицелов ничего у них не получается.

— Ну что ж, обойдемся без пушек. Вот, может, кавалерию Баржака попросить на помощь? — сказал Харченко.

— Ладно, как-нибудь сами управимся, — решил командир. — Своих пехотинцев посадим на коней. А седел, пожалуй, надо попросить — не хватит на всех.

В это время кто-то сказал:

— А вот и рыжий Свыщ вернулся из разведки.

Свыщ проталкивался сквозь толпу бойцов, собравшихся у кухни. Следом за ним спешил молодой разведчик Клименко. Подойдя к командиру, Свыщ пытался что-то сказать, но не мог — сильно запыхался.

— А ты прежде отдышись, а потом говори, — сказал Прокофий Иванович.

— Всю дорогу гнали, коней взмылили, чтобы скорее доложить...

— Ну давай выкладывай, что там стряслось.

— Два корабля развернулись на рейде и взяли курс в море, — чуть не задохнувшись, выпалил Свыщ.

— И это все? — спросил командир.

— Нет, еще вот что: жители говорят, что греки собираются все суда из бухты выеодить — часть к южному краю причала, а часть на рейд.

— А с чем это связано, что они замышляют, узнали?

Свыщ обернулся к Клименко.

— В городе он только один был, видел там этих греков, которые в татарских красных шапочках ходят, слышал их разговор, но ничего не понял.

— Они по-своему лопочут, — объяснил Клименко.

— А жители говорят, — продолжал Свыщ, — что те два корабля, которые ушли в море, — французские. Вроде у них с греками какое-то несогласие. Греческие солдаты патрулируют в городе, а французозв сняли с патрулирования. Разговоры ходят, будто они не хотят воевать за капиталистов. Так что, товарищ командир, самое время сейчас ударить по этим грекам, пока они не увели весь свой флот на рейд. Потому мы с Клименко и торопились. Всю дорогу гнали коней, чтобы не упустить Антанту.

Вечером основные силы отряда были разбиты на три группы. Разведчики еще раньше, немного отдохнув, снова ушли вперед, чтобы заняться «расчисткой» дороги. С ними ушел один взвод из эскадрона Чепурко. Ему было приказано зорко наблюдать за берегом.

В два часа ночи все три ударные группы должны были приблизиться к Хорлам для одновременного броска с разных сторон.

Густая пелена тумана затягивала балку, в которой расположились ожидавшие приказа партизаны. На темневшем небосводе уже замигали звезды. Сидевшие и лежавшие на земле бойцы увидели вдруг выступившего из тумана командира.

— Ну, теперь, хлопцы, уже почти все ясно, пора начинать. Собирайтесь, — сказал он. — Медлить нельзя. Путь не близкий, и в пути все возможно. Имейте в виду, не обнаруживать себя в дороге ни в коем случае, так как это будет означать провал. Вражеские посты снимать бесшумно и лучше брать живыми, чтобы с их помощью уточнить обстановку.

Кто-то спросил:

— А как будем уточнять, если не знаем языка этих иродов?

— Ничего, я по-английски как-нибудь договорюсь с ними,— ответил Таран.

Партизанские колонны стали вытягиваться из балки. Сначала все три группы двинулись сообща. Затем командир велел остановиться. В чем дело — никто не знал. Вероятно, подошли раньше назначенного часа — надо было выждать.

Бойцы прислушивались и вглядывались в темноту с таким напряжением, словно надеялись увидеть впереди, что их ждет там. Темная дымка облаков уже закрыла звезды. Из непроницаемого мрака текли холодные потоки воздуха. Чуть-чуть поддувал еще не выбравший направления предрассветный весенний ветерок. Осимь и сухая прошлогодняя трава покрывались росой. Время тянулось невероятно долго, минута казалась часом.

Вдруг позади раздался конский топот. Это посланцы Баржака примчались на мокрых конях. Вскоре прискакал и сам Баржак в своей блестящей, как самовар, пожарной каске. Хотя наш командир в ответ на предложение чапынцев заявил, что не нуждается в помощи, Баржак все же решил помочь. Тарану пришлось изменить свой план. При этом он поспорил с Баржаком — кому куда идти. Более покладистый Баржак уступил.

— Ладно, Прокофий Иванович, тебе видней,— сказал он.

Таран оставил за собой порт, а Баржак взял на себя устричный завод.

Для прикрытия флангов решено было выделить два взвода. Один — из роты Гончарова. Услышав об этом, Гончаров всполошился: как же это так — его моряки останутся как бы в стороне, да это же позор для них!

— Товарищ командир, разрешите всем нам, морякам, идти в атаку на этих греков. Очень прошу вас — уважьте моих землячков, иначе им стыдно будет в свой город зайти.

Таран угрюмо молчал — не любил он менять свои решения. Тем более не хотелось ему это делать в присутствии Баржака, своего уважаемого боевого соседа.

Баржак посочувствовал морякам.

— Эту просьбу, Прокофий Иванович, нужно бы удовлетворить,— сказал он.— Просьба основательная. Разрешите, я пошлю на ваш фланг свой взвод, а моряки пусть бьют греков с фронта, им действительно обидно торчать на фланге.

— Ну, если так, я согласен,— снисходительно уступил просьбе соседа Таран.

На радостях кое-кто из моряков Гончарова затынул: «Эх ты, яблочко, куда ты катишься...»

— Отставить! — приказал Таран.— Вывести из строя тех, кто запел. Раз забываются, обнаруживают себя до атаки,— в атаку не пойдут, пусть здесь, на пригорке, сидят и приучаются к выдержке.

Через несколько минут он скомандовал:

— По коням, за мной, вперед!

За ним первой двинулась группа конных моряков, отобранных Гончаровым для захвата греческого флота.

6

— Вот здесь, в укрытии, и будем ждать,— сказал Прокофий Иванович, останавливая коня на подъеме из ложбинки. Своему брату командир приказал выдвинуться с ротой вперед.— А мы, остальные,— пояснил он,— будем пока резервом, на случай какой-нибудь невыдержки.

Уже наступило время, установленное для общего удара,— с востока началось чуть заметное посветление,— а от ударных групп пока никаких сигналов не было. Адъютант нервничал.

— Уж больно много наговорили мы об осторожности, Прокофий Иванович,— сказал он.— Будут они теперь не на конях скакать, а на карачках ползти.

— А может быть, уже попали в беду,— сказал кто-то.

Высказывались всякие предположения. Один командир невозмутимо молчал.

Вокруг все еще было завешено тьмой, и в немой тишине ничто не возвещало о том, что атака началась. Казалось, что и на востоке прояснение почему-то задерживается.

Становилось все прохладнее. Кое-кто продрог и приплясывал на месте, держа на поводу своего коня.

Наконец командир заговорил. Он приказал послать в головную ударную группу двух самых отважных и хорошо знающих город бойцов.

— Пусть один возьмет ручной пулемет, а другой — побольше гранат, — сказал он. — И пусть во что бы то ни стало узнают, что там с этими моряками? Почему не дают о себе знать?

Не успели эти двое выехать, как донеслось далекое «ура». Вспыхнувшая затем беспорядочная стрельба продолжалась минут двадцать, после чего снова воцарилась тишина.

Командир велел выслать разъезд на окраину города, а остальным следовать за ним к бухте. Уже почти рассвело.

Только выехали мы из ложины — навстречу скачут трое конных. Они доложили, что все совершилось так, как было задумано; Хорлы в наших руках, захвачены пленные, трофеи и в числе их три катера.

— Хорошо, организованно все получилось, без горячки, товарищ командир. Один катер взяли прямо на ходу. Греки завели его, но не успели отшвартовать, как наша братва оказалась уже на палубе. Они и чехлы не успели снять со своих пулеметов.

— А почему долго ничего не сообщали?

— Да вот, товарищ командир, провозились с миноносцем, пока заставили его уйти из порта. Сначала, гад, не хотел, грозил открыть огонь, но мы взяли за гранаты, и тогда он, дав задний ход, ушел.

— А чего было канителиться? Сразу надо было захватывать.

— Да он, товарищ командир, миноносец этот, — незавидный кораблик, какой-то ободранный.

— А пулеметов и пушек на нем много?

— Вот в том-то и дело, товарищ командир, что не сочтешь сколько, и все наготове.

Расспросив прискакавших из порта всадников, командир отдал новое распоряжение:

— Всем идти в город, тачанки с пулеметами держать сзади, в прикрытии.

7

На восходе солнца Хорлы приветствовали своих освободителей. Почти в каждом доме жители готовили нам угощение. Исключение составляли немногие. Эти осторожно поглядывали на нас, а потом с недоумением смотрели на военные корабли Антанты, стоявшие на рейде в трех-четыре километра от берега, на шаланды и баркасы, на которых подплывали к кораблям сбежавшие из города интервенты.

Между тем Таран уже наводил порядок в порту. Взятых в плен греков он велел отпустить.

— С греками мы не воюем, а непрошенных гостей знать не хотим, — сказал он. — Пусть догоняют своих в море на лодках, оставить только тех, кто издевался над жителями города: эти пусть сначала рассчитаются.

По указанию населения было отобрано семнадцать греков, под конвоем пяти партизан их отправили в Херсон.

Тут же, в порту, командир решил вопрос о трофеях:

— Катера зачислить в партизанский флот, командующим его назначим матроса Алексея Гончарова... Брошенное греками оружие свезти к штабу, а шерсть и зерно на захваченных баржах раздать беднейшему населению Хорлов, Каланчака и Чаплынки... Ну, а теперь давайте будем расквартировываться, — сказал Прокофий Иванович, закончив все дела в порту.

У нашего командира и следа не осталось от той угрюмой озабоченности, которая не покидала его все последние дни. Вечером, собрав в штабе своих помощников, он говорил:

— Ну, друзья мои, есть теперь у нас и флот! Ты, Степан, мечтал о каком-нибудь суденышке, а у нас теперь целых три. Правда, вооружены они только пулеметами, но зато везде могут ходить, даже у самого берега. Плоскодонные, мелкосидящие, они будут малоуязвимы для больших кораблей, всюду легко могут укрыться... Смотрите же, как у нас теперь получается: пехота атакует на суше, кавалерия ловит убегающих, совершает налеты по тылам противника, а флот атакует на море. Теперь мы сила что твоя республика, теперь Антанта и на море будет оглядываться, теперь мы ей покажем, где раки зимуют! Только вот артиллерии нам еще недостает.— Сказав это, Прокофий Иванович громко рассмеялся.

Все были веселы, уходя из штаба, шутили:

— Теперь нам и море по колено.

Выйдя на улицу, мы натолкнулись на двух партизан, конвоировавших в штаб греческого моряка.

— Смотрите!— воскликнул Алексей Гончаров.— Где-то еще одного грека раздобыли. Значит, не всех переловили.

Но оказалось, что этот грек — парламентар, только что приплыл на катере с каким-то пакетом от адмирала Яникосты.

Мы решили вернуться в штаб — может быть, будут новые указания.

Взяв пакет, Таран предложил парламентару присесть, указав рукой куда. Парламентар козырнул, четко повернулся через левое плечо и сел на указанный ему стул.

Командир не спешил открывать пакет. Он прочел надпись на конверте, показал ее адъютанту, потом повертел пакет в руке, поднял на свет, чтобы посмотреть, с какого края лучше надрывать, и только после этого надорвал конверт. Прочитав послание — оно было написано на русском языке, — командир передал его Амелину и, после того как тот прочел, сказал:

— Давай, Николай, созывай старшину — в трудную минуту так поступал и Богдан Хмельницкий.

Посыльные помчались собирать командиров, и минут через пятнадцать, когда все были в сборе, Прокофий Иванович прочел послание греческого адмирала, в котором тот требовал немедленно освободить порт и всех пленных, угрожая в противном случае открыть огонь со всех своих кораблей.

Отложив послание в сторону, Таран сказал:

— Угроз мы не боимся и в нашем доме распоряжаться никому не позволим, а поэтому требование адмирала Яникосты отклоним. Пиши, адъютант, то, что я буду говорить. Не возражаете, товарищи? Потом обсудим, если что будет неясно кому.

Возражений не последовало, и Прокофий Иванович стал диктовать: «Ответ командующему флотилией Антанты на Черном море Яникосте. На полученный от вас ультиматум я вам предлагаю немедленно уйти, в противном случае путем установки артиллерии на косе Джаларгач закрою выход в море завтра в семь часов утра... Вы непрошенно пришли в нашу страну и поддерживали бандитов и белогвардейцев, которые ненавистны рабочим и крестьянам... занялись грабежом... предлагаю вам убраться... завтра уже будет поздно.

Командир партизанского отряда Таран П. И.».

— Ну как, будем обсуждать или всем все ясно? — спросил командир.

— Все ясно, — сказал Харченко, — одного только не пойму, откуда мы артиллерию возьмем, чтобы установить ее на косе Джаларгач.

— Ты же, Феодосий Степанович, известный тугодум, — ответил Таран, и все рассмеялись.

Адъютант запечатал пакет, вручил его парламентару и велел дежурному проводить того на катер.

Парламентера увели, но собравшиеся в штабе командиры еще долго не расходились, ведя разговор об ультиматуме адмирала Яникосты. Ультиматум не испортил наших победных настроений, а ответ Тарана еще больше подогрел их.

Между тем вернулся дежурный, провожавший парламентера, и сообщил, что все захваченные катера уже на ходу, на одном даже сооружена пушка из... трехдюймового резинового шланга.

— А толк какой от этого будет? — спросил Харченко.

— Ничего, ничего, молодцы ребята — не так заметна будет наша слабинка в артиллерии, — сказал командир и поинтересовался: — А парламентар видел это орудие?

— Мы его туда близко не подводили, — ответил дежурный, — а издали он видел. Издали, товарищ командир, это чучело и вправду похоже на трехдюймовое орудие.

Когда начало темнеть, Таран предложил всем командирам отправиться по своим местам и зорко следить за берегом.

— А сам я, — сказал он с улыбкой, — побреду на базу флота, к катерам.

Поздно вечером Прокофий Иванович вернулся в штаб.

И все командиры, проверявшие охрану побережья, вернулись. Таран приказал подать чего-нибудь поесть. За столом шел разговор о событиях минувшего дня, о том, что денек выдался на редкость хороший.

Было за полночь, и первые петухи уже пропели, как вдруг в штаб ворвались два партизана и с ними опять тот же грек парламентар. Сначала мы подумали, что парламентар до сих пор еще не уехал с нашим ответом, но оказалось, что он уже успел съездить к своему адмиралу и привез от него новый пакет.

Приближался час, когда во исполнение своей угрозы мы должны были открыть артиллерийский огонь с косы Джаларгач. Командир, естественно, начал нервничать. Это видно было по тому, что он приказал дежурному увести парламентаря в другую комнату, и по тому, что сразу же вслух стал читать новое послание Яникосты.

Послание это гласило:

«Милостивый государь господин Таран! Я не согласен с Вашим мнением. Я пришел сюда не как враг, ничего не позволяя брать без разрешения. Вы напали без всяких причин на людей, которые находятся под защитой моего флота. Без всякого с моей стороны повода Вы имели смелость бросить мне вызов. Я принимаю Ваш вызов и готов защищать свой флаг, который Вы оскорбили. Своими пушками, гидропланами я разрушу все те деревни, над которыми Вы командуете. Я никому не хочу делать зла, особенно крестьянам и рабочим, которых считаю очень полезным элементом для страны. Поэтому я предлагаю, если желаете сохранить добрые отношения со мной, очистить порт и возвратить пленных, которых Вы взяли и которые находятся под защитой моего флота. Я жду Вашего ответа до завтрашнего утра, до семи часов, в Бакале.

Командующий Яникоста».

Обсуждение новой ноты Яникосты продолжалось до трех часов ночи.

Командир не торопил, хотел, чтобы все высказали свое мнение. Наконец решено было никакого ответа не посылать, а парламентаря проводить до пристани, чтобы он поскорее убирался туда, откуда явился.

— Ну и нахал же этот адмирал Яникоста! — долго еще возмущался наш флотовец Алексей Гончаров. — Пусть бы еще говорил о пленных. Об этом можно было бы вести речь, но его требование оставить порт — это уже по меньшей мере хамство. Как это так? Мы пришли к себе домой, а нам говорят: освободите помещение, уберите вон. Как будто мы незаконно проживаем у себя дома. Эта адмиральская наглость превосходит всякие границы.

Утром в воздух поднялись гидропланы интервентов, загремели залпы с их кораблей. Туман еще не совсем рассеялся. Солнце то показывало свой безлучный диск, то скрывалось в ватной пелене. Но на морском горизонте было уже светло. Мы четко видели стоявшие на рейде корабли, вспышки выстрелов.

Стрельба продолжалась недолго, и урон она причинила нам небольшой: было ранено несколько бойцов и убита одна лошадь. Вскоре из труб вражеских кораблей повалил густой бурый дым, возвещавший о том, что греки вслед за французами решили покинуть наши воды. Первыми взяли курс в море крейсер и миноносцы, за ним транспорт и вся прочая мелкота. Позади всех тащилась какая-то баржа. Алексей Гончаров на своей флагманской «Пчелке», сопровождаемой двумя другими трофейными катерами, устремился за ней, и на глазах уходящих в море интервентов баржа вынуждена была повернуть назад. Хорловским буржуям, пытавшимся ударить вслед за греками, пришлось вытаскивать на берег свои чемоданы с золотом и разными драгоценностями, которые Таран потом сдал в советскую казну.

8

Попала в руки партизан и София Богдановна Фальц-Фейн — некоронованная царица Хорлов, Перекопа и всех земель до Аскании-Новы. Во избежание самосуда, который грозил этой ненавистой народу старой злой барыне от рук ее бывших батраков, Таран велел взять ее под арест и посадить в караулку при штабе.

Когда конвойные, едва отбившись от наседавшей на них толпы, привели Фальц-Фейншу в караулку, начальник караула Петро Колтун, тоже бывший ее батрак, закричал:

— Ну, чего притащили сюда эту крысу? Караулку поганить?

Старший конвойный стал его урезонивать:

— Ты, я вижу, в политике плохо разбираешься... Командир велел беречь ее. Не иначе как заложницей будет она теперь у нас. Антанта и Эдуард, сын ее,— ведь он там где-то у них — будут с нами о ней торговаться.

— Да на кой черт она им нужна? Будут они из-за нее в такое время с переговорами возиться? Сам знаешь, как их адмирал Яникоста на нас рассерчал за то, что мы отклонили его ультиматум.

— Нет, ты, друг, неправ. Она ведь сюда пригласила этих греков, и как же им о своей хозяйке не позаботиться. Да быть этого не может!

— В расход ее, стерву, пустить! — требовали караульные.

— Да что вы, хлопцы! За это судить будут. Вот вы распишитесь, что получили, а потом что хотите, то и делайте с ней,— говорили конвойные.

— Вот еще, расписываться буду я за эту гадюку! — возмутился Петро Колтун. — Сколько она вам платила за сезон? По восемь—десять целковых, да из них еще рубля по два штрафных удерживала. А приказчики ее сколько нас угощали плетьюми да пинками под бока? Да что говорить, сами вы отлично все знаете. Поэтому заложницей она не может быть. Это чья-то глупая выдумка или кто-нибудь в шутку сказал, а вы, дураки, и поверили... Тьфу! Заложница! Да у всей вашей Антанты золота не хватит на ее выкуп — уж очень много она с нас высосала, ее долга даже не сосчитать, настолько он велик. Мало ли людей отправила эта тиранка на казнь и каторгу в пятом году? А убытки, которые эта хищница понесла в ту революцию, как она их выколачивала нагайками? Я сам видел, как стражники пороли мужиков за выпитую в ее колодцах воду. А помните, как на виноградниках намордники на батрачек надевали, чтобы они виноград не ели?

— Хватит тебе, Петро, счета с этой барыней сводить. Знаем, что она тебе здорово насолила, да и всем нам не меньше, но не надо, товарищи, пачкаться, имейте уважение к себе,— сказал заглянувший в караулку на шум наш почтенный Степан Задырко, такой же фальц-фейновский батрак, как и все наши турбаевцы, но уже человек партийный.

В караулке затихло, и Фальцфейнша, молча сидевшая на лавке в углу в своих изодранных толпой шелках, осмелела — потребовала разговора наедине с командиром. Таран пошел. Вернувшись, плюнул и сказал:

— Вот ведь, гадина, что придумала! Говорит мне: «Я вижу, Прошка, что ты умеешь управляться с людьми, иди служить ко мне — будешь управляющим всеми моими имениями, спасу тебя от петли, а то не минуешь ее, когда вернется порядок».

Несколько дней, пока мы были в Хорлах, Фальцфейнша сидела в караулке, а потом, уходя обратно на Перекоп, Таран не захотел тащить ее с собой, велел выпустить, и вскоре до нас дошел слух, что какие-то конники, прискакавшие в Хорлы после нашего ухода оттуда, зарубили Фальцфейншу шашками. Может быть, это были и наши турбаевцы, потихоньку отставшие в пути и вернувшиеся в Хорлы, чтобы свершить суд над своей бывшей барыней. Расследованием этого дела тогда заниматься некому было.

9

Отряд наш снова занял свои старые позиции на Перекопе рядом с чапльницами. В конце марта подошли красные войска из группы Дыбенко. Общими силами был предпринят штурм укрепленного французскими инженерами перешейка, но не хватало артиллерии — и толку не получилось, только напрасно жертвы понесли.

Неудачные бои привели Тарана к мысли, что удар с фронта следует подкрепить ударом с тыла, и катер «Пчелка», которым командовал Алексей Гончаров, не доходя пристани Сарабулат, высадил десант — всего двенадцать человек во главе с самим Тараном. Уничтожив охрану пристани, партизаны овладели телефоном, и Прокофий Иванович объявил по телефону:

— Я, Таран, командующий Черноморским побережьем, заявляю вам, белая сволочь и разные паразиты, что многочисленные корабли Красного флота высадили у вас в тылу мощный десант с сильной артиллерией и к утру от вас мокрого места не останется — все будете уничтожены, если не сдадитесь сейчас же.

В соседнем Бакале загремели тяжелые орудия. Однако снаряды летели не в Сарабулат, а в направлении Перекопа: в панике, не разобрав, где красные, артиллеристы белых стали бить по своим передовым позициям.

— Не верили, что у нас сильная артиллерия, так вот вам доказательство,— сказал Таран, заканчивая разговор по телефону.

С этого началось наше совместное с Дыбенко наступление, закончившееся освобождением большей части Крыма: с Перекопа белогвардейцы были отброшены на Керченский полуостров.

4. КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЛК

1

Давно уже ветры замели следы, которые, уходя из наших степей, оставили на дюрогах немецкие оккупанты, но корабли Антанты все еще качались на черноморских волнах, и это обязывало партизан побережья быть начеку.

В селах Днепровщины бурно росла активность Советов. Крестьяне выходили на первую советскую весеннюю посевную страду. Уком и уревком готовились к предстоящему уездному съезду Советов.

Между тем справа от нашего уезда, за Днепром, разгуливали кулацкие банды, свирепствовали изменившие Советской власти григорьевцы, а слева надвигались полки Деникина.

Весной и летом деникинцы много раз пытались прорвать наш фронт на Керченском полуострове, но им не удавалось выйти на степные просторы Крыма, пока Махно, державший фронт против Деникина в Приазовье, не открыл белым ворота, предательски сняв свои отряды с позиций. После этого тавричане вынуждены были отойти из-под Керчи и Феодосии, так как белые с Приазовья выходили им в тыл. С этого и началось наше общее отступление.

Штабники Дыбенко, размахивая маузерами и крича до хрипоты, тщетно пытались восстановить положение.

Под давлением превосходящих сил Деникина наш фронт все уходил и уходил на север и на запад. А в это время махновцы, создавшие свою столицу в Гуляй-Поле, носились по нашим тылам, мутили воду и в городах и в селах, собирая под свои черные знамена кулаков, уголовников и всякое жулье. Эти бандиты терроризировали все правобережье Днепра от Херсона до Екатеринослава. В Херсоне они пытались даже созвать съезд повстанческих отрядов Юга и поднять их против Советов.

В начале июня Таран отправил к Днепру обозы хозяйственной части отряда, а через неделю двинулись к Алешкам и наши боевые подразделения. Шли организованно, но очень невесело. К этому времени зеленый ковер степей уже становился золотистым — поспевала пшеница. В тот год многие впервые посеяли ее на земле, только что полученной от Советов. Кому-то достанется зреющий на ней урожай?

Опять все так, как это уже было весной прошлого года, во время нашествия немцев, только уходили мы теперь в другую сторону, но и на этот раз через свои родные села.

Маршруты боевых групп были составлены так, чтобы весь отряд пришел в Каланчак одновременно.

В селе на площади был проведен короткий митинг. Наступили тяжкие минуты. Женщины рыдали в голос, мужчины сдерживались, но и у них на глаза набегали слезы.

Как-то незаметно, без всякой команды, партизаны в общей массе с провожавшими двинулись широкой дорогой, идущей к Днепру. Далеко в степь вытянулось шествие. Кажалось, что все жители уходили вместе с нами. Но вот раздалась запоздавшая команда «По местам!». Шествие остановилось. Бойцы, протрившись с родными, стали разбираться по своим подразделениям.

Таран низко поклонился провожавшим и крикнул.

— В путь, друзья! Прощайте, дорогие земляки!

Матери и жены запричитали:

— Та куда ж вы, наши ясны соколы, летить зибрались?!

Верховые, высоко держа на древке красное знамя, поскакали вперед. За ними нескончаемой вереницей потянулись подводы с партизанской пехотой.

Чтобы скорее уйти от терзавших душу воплей, ездовые подергивали вожжи, подстегивали лошадей кнутами.

Колонну замыкали тачанки с пулеметами. Запряженные в них лошади, с гривами, украшенными красными лентами, тоже норовили вырваться вперед. На бричках везли трофейные, захваченные в Хорлах, бомбометы. И над ними развевалось красное знамя с надписью: «За власть Советов!»

Жарко светило июньское солнце. Легкий ветерок поднимал вдоль дороги пыль длинной рыжей полосой. В пыли утонули огороды, сады, плетни и хаты, лишь огромные зеленые шапки акаций в белых цветах выглядывали из-за кровель домов. Но вот и они окутались мглой, а потом и вовсе скрылись в мигающем мареве. В тяжелой тишине запели:

Де ти бродиш, моя доле,
Не докличусь я тебе...

— Ничего, братва, не унывайте. Разобьем врага и снова будем дома! — крикнул кто-то в ответ на унылую песню.

Партийцы, присаживаясь на подводу к притихшим бойцам, говорили:

— Да что вы, хлопцы, как обманутые девки, сидите? — И, чтобы отвлечь бойцов от грустных мыслей, сообщали им последнюю новость о решении укома партии создать на базе наших отрядов Днепровский крестьянский полк.

Известие об этом вызвало много толков. Пригорюнившиеся люди подбодрились. Но вот подошли мы к бывшему имению Духвино, в котором была уже создана сельскохозяйственная коммуна, встретились с коммунарами и — опять огорчение и слезы. Молодежь коммуны уходила с нами, а старики, женщины, дети — куда им деваться? Придут белые, учинят расправу и никого тут не пощадят.

Дойдя до развилки дороги, где у развалившегося колодца стоял подгнивший крест, отряд разделился и пошел по двум дорогам: одни пошли на Брилевку, другие — на Чалбассы. На Чалбассы направилась и присоединившаяся к нам в пути чапльнская кавалерия Баржака.

Вскоре разведчики Баржака примчались к нашему штабу, двигавшемуся на Чалбассы, и доложили, что у Ищенских хуторов гуляют какие-то белые банды. Таран приказал уничтожить их, и часа через два, после короткого боя, белые, испугавшись кавалерии Баржака, выходящей им в тыл, побежали к Скадовску.

Вторая наша колонна, которая шла на Брилевку под командой Чепурко, обнаружилась на своем пути передовые части деникинцев, рассчитывавших отрезать нам пути отхода на Херсон. Завязав с ними перестрелку, Чепурко послал гонцов в штаб Тарана. Прокофий Иванович принял решение: пусть Чепурко отходит на Копани — там белых будет ожидать засада.

В это время наша колонна уже подошла к Чалбассам и расположилась здесь на привал.

Пока дежурные ходили к кухням за горячей пищей, люди толпились у колодцев. Помылись, пообедали, и захотелось поразмяться — на площадке у плетня баянист уже наигрывал бесенные мотивы. Пришли сюда и чалбасские девчата. Алексей Гончаров попросил баяниста сменить песню на плясовую и тут же сам первым пошел отбивать «цыганочку», за ним другие пошли в пляс, и пыль столбом поднялась.

— Давай новую! — кричал шумливый разведчик Клименко.

Часа полтора длился веселый отдых на привале. А в это время конница Баржака, выступившая в Копани, поджидала там в засаде белых. О том, что эта засада удалась и с белыми, попавшими в нее, покончено, мы узнали от сигналиста, проигравшего сбор.

— Теперь до Алешек привала больше не будет, — радостно говорили и командиры и бойцы. — Путь свободен.

Опять потянулась скучная дорога — скрипели колеса, фыркали лошадки. Начались знаменитые чалбасские кучугуры — песчаное море с сосновой рощей на песке. Колеса тонули по ступицу, лошади вязли по колено, тужились, выбивались из сил. Сверху жгло солнце, а снизу — раскалившийся песок. Кое-кто пробовал идти босиком, но тут же обувался, так как песок обжигал ноги до волдырей.

В Копанях попили лошадей в тени вишневых зарослей — здесь все изгороди живые, из вишневых кустов, — отряхнулись от песка, поехали дальше, и вскоре колеса загрохотали по булыжнику так называемого Алешковского шоссе. Что это было за шоссе! На ухабах дышла бросало от лошади к лошади, партизаны в телгах валились с боку на бок.

К вечеру проехали полосатый шлагбаум с будкой, где раньше взимали с пустой подводы по десяти копеек, с груженой — по двадцати.

Отсюда начинались Алешки. Благоустройством наш городок не блистал: лишь базарная площадь с многоглавой церковью да подъезд к ней были вымощены булыжником. На остальных улицах можно было увязнуть в песках. Правда, кое-где хозяева богаче выложили у своих изгородей тротуарчики из глины. И все же городок наш имел свою прелесть. Ее создавали сады и виноградники — неременная принадлежность каждого дома, — цветущие розы, заросли сирени, туи, барбариса, ну и, конечно, белые акации.

Тихий был городок — с базарными завсегдатаями, сидевшими на скамейках в ожидании случая выпить водочки за чужой счет, с тюрьмой за высокой оградой из темно-красного кирпича, с женским монастырем на красивом берегу речки и с мужским невдалеке.

Но в эти дни в Алешках было многолюдно и шумно. С оркестром встречали уездные советские и партийные организации стекавшихся в город партизан.

У военкомата нас поджидал артиллерист Гирский — тот, что прошлой весной при нашествии немцев снял крепостную артиллерию с Кинбургской косы и привел ее на Перекоп к Матвееву. Он совершил поход с Таманской армией, вернулся в Алешки и теперь был тут военкомом.

Гирский расположил нас на ночевку — кого в военкомате, кого в школе. Некоторые заночевали у знакомых горожан.

На другой день утром наши квартирьеры поехали в Херсон. По всем улицам Алешек уже тянулись к пристани многочисленные воинские обозы. Началась погрузка имущества на баржи — эвакуация Алешек. Она происходила без особой торопливости, хотя группы прикрытия уже вели бои с белыми, пытавшимися ворваться в город с ходу. Вечером, после того как были отбиты две вражеские атаки, стали грузиться на пароходы основные силы будущего Днепровского крестьянского полка. Формирование его должно было происходить уже в Херсоне.

У пристани собралось множество провожающих. Пароходы отходили, переполненные бойцами. Люди стояли на палубах плечом к плечу. И толпа на берегу стояла плотная. Уезжавшие и провожающие молча глядели друг на друга, пока не загудели прощальные душераздирающие гудки. Тогда женщины и дети на берегу подняли плач. С пароходов закричали и замахали руками.

Уже далеко за полночь отчалил небольшой пароходишко с последней группой прикрытия, которую возглавлял председатель уездной Чека Степанов.

Когда из Алешек уходили последние бойцы, улицы были безмолвны и пусты. И на пристани никого уже не было. Казалось, что город опустошен пронесшимся через него ураганом.

2

Пусто было и в Херсонском порту. Грузчики, невесело бродившие у причалов, раскуривая последние щепотки табаку, показали нам остатки пакгауза, в котором интервенты перед своим уходом из Херсона сожгли более тысячи жителей города.

Их пьяные патрули хватали на улицах прохожих, всех без разбору, мужчин, женщин, детей и стариков, хватали и загоняли в этот пакгауз — пристанский перевалочный склад. Согнанные сюда горожане думали, что произошло какое-то недоразумение, скоро все разъяснится и их, конечно, выпустят. Уверенность в этом не покидала людей, пока в облитый керосином и подожженный факелами пакгауз не стал проникать дым. Пламя в один миг охватило длинное деревянное здание. Затрещали стены, крыша, и только тогда заключенные поняли, что они осуждены быть живо сожженными.

Херсонские грузчики, рассказавшие нам об этом, своими ушами слышали доносившиеся из пакгауза вопли ужаса и проклятия. Несчастные молили о помощи, но пулеметный огонь с кораблей интервентов не позволял подойти к горевшему зданию.

Теперь тут, на берегу, было безлюдно. Даже июньский зной не мог соблазнить людей выйти на берег подышать веявшей с моря прохладой. Пустовала и заводь, где всегда было много рыбачьих каюков, баркасов и разных морских парусников.

Штаб формирующегося полка разместился в бывшей женской гимназии. Здесь, у входа во двор, с утра до вечера стояла толпа людей, осаждавших часового просьбами пропустить их к командиру по неотложному делу. Часовой, разумеется, знал, что это за неотложное дело, и время от времени выкликал через ворота караульного начальника, а тот вызывал из штаба старика Диденко — «доверенное лицо по мало важным вопросам», как Диденко называл себя, а был он просто посыльным при штабе.

Выходя за ворота, Диденко по очереди оглядывал всех с ног до головы, особенное внимание он обращал на ноги. Плохо было в полку с оружием, обмундированием, тяжелее всего с обувью, а люди приходили в полк, обутое кто во что горазд: в постолах, в парусиновых туфлях, в старых калошах, а иные и вовсе босиком, редко кто в сапогах, и то износившихся до крайности.

Оглядев плохонькую одежку и обувку толпившихся у ворот людей, Диденко горестно декламировал:

Пид плач дошу, пид регит бури
Родився в темний я конури...

А потом говорил:

— Все это, хлопцы, истинная правда. Сам знаю — и у меня такая же биография. Но больше этому не бывать. За это мы и ведем борьбу. Ясно вам?

Из толпы отвечали:

— Ясно, папаша, ясно, иначе мы не пришли бы сюда добровольцами — мы ведь тоже голода.

После этого Диденко вел толпу добровольцев в штаб, продолжая по дороге объяснять им, за что мы боремся и почему командиры рот, которых они уже осаждали, всячески отговариваются от добровольцев.

— Бедность нас заедает. Разорила царская война. Обуток и тех не достать, — говорил он и добавлял: — Но это, конечно, не причина, чтобы отказывать людям.

Все подразделения полка были уже укомплектованы, а добровольцы все шли и шли, и штаб редко кому отказывал.

Наш командир полка, а им был назначен Советом обороны Херсона Прокофий Иванович Таран, не считался с формальностями. Не любил он и писанины. Когда его новый, только что родившийся штаб начал плодить бумаги, он вышел из себя:

— Что вы там строчите и строчите? Дайте мне приказ о том, какие подразделения должны быть в полку и кто ими будет командовать, — вот и все, что от вас требуется.

После этого начальник штаба Николай Кулиш и адъютант Иван Фурсенко закрепили за составление проекта приказа.

— Ну давай, Ваня, подумаем, каким должен быть наш полк. Сколько в нем будет батальонов — три или четыре?

— Надо бы три, но фактически у нас уже четыре.

— Значит, придется оформлять приказом четыре. Так и пиши: полк в составе четырех батальонов.

— А кого будем ставить командирами батальонов?

— Давай так: кто фактически уже стоит на деле, того и будем ставить на это дело. Пиши: Харченко, Владченко, Киселев...

— А сколько в батальоне стрелковых рот должно быть?

— Надо бы три, а у нас фактически везде по четыре.

— Значит, придется так и написать.

— А не получится у нас, Ваня, очень громоздкий полк?

— Пусть будет громоздкий, но зато революционным сознанием крепок.

— Вот это верно — дело не в количестве состава, а в его качестве. А состав у нас боеспособный, так что это ничего, что громоздкий. Пиши...

Таким образом, в проекте приказа предлагалось узаконить все подразделения, сами собой сложившиеся в ходе формирования: четыре батальона по четыре роты в каждом, кавдивизион, артбатарею, команды разведчиков, конных и пеших, пулеметную, связи; начальником последней назначили меня, как солдата, служившего в старой армии телефонистом.

Оформили комендантскую команду, музыкальную, санчасть, оставалось еще оформить сложившуюся в походе группу агитаторов из нашего уездного партийного актива во главе с секретарем укома Поповицким. Кулиш и Фурсенко долго ломали себе голову, думая, как ее наименовать в приказе, пока не вспомнили, что старейший наш агитатор, бородач Чуприна, собрал библиотеку и оборудовал для нее походный фургон. Вспомнив про это, они решили, что Чуприну надо назначить начальником клуба и группу агитаторов числить при клубе.

Прочитав проект приказа, Прокофий Иванович долго вертел его в руках, поглядывал на бумажку с сомнением, потом показал комиссару.

— Как думаешь, Василий, комар носа не подточит?

Комиссаром полка был назначен Василий Лысенко. На другой день после того, как он пришел к нам в полк, мы увидели у ворот штаба среди людей, жаждавших попасть в полк, очень взволнованную на вид девушку. Когда ее спросили, в чем дело, она сказала, чуть не плача:

— Мне надо обязательно повидать Васю.

— Какого Васю?

— Васю Лысенко, я — Нина, его жена.

Василий Лысенко тоже был молод. Мы знали его раньше — он работал в Днепропетровском уезде партии, одорукий парень с протезом, бывший студент. Он и в полк пришел в студенческой фуражке.

Комиссар прочел приказ, но он тоже был слаб в штабных делах.

— Надо с кем-нибудь посоветоваться, — сказал он.

Таран посоветовался с Поповицким, а потом еще дня два протаскал приказ в кармане, прежде чем вывел под ним своим мелким почерком: «П. Таран».

Берея в руки какую-нибудь бумагу, поданную ему на подпись, Прокофий Иванович сразу терял всю свою решительность. Зная это, его бывший адъютант Амелин не заводил канцелярии, приказы и распоряжения передавал на словах и все, что нужно, надежно хранил в памяти. Незаменимый это был человек при Таране, и никогда бы они, наверно, не расстались, если бы не случилось так, что оба они женились — и почти одновременно, после налета на греческий флот в Хорлах, — на сестрах-красавицах, служивших у Фальцфейнши горничными, а потом устроившихся у нас в санчасти. Только потому Таран и отставил Амелина от себя — считал невозможным, чтобы адъютантом у него был свояк.

5. ДЕСАНТ В АЛЕШКАХ

1

Деникинцы готовились к переправе через Днепр, чтобы атаковать Херсон, а мы готовились к десанту, чтобы атаковать белых в Алешках.

Шли разговоры: для чего это нужно? Одни говорили, что эта вылазка должна показать белым нашу силу, другие считали, что главная цель — захватить оружие, которого в полку очень не хватает, особенно пушек (их было всего две, захваченных чаплынцами у немцев, и те без прицелов). А кое-кто из новых людей считал, что все дело в нашей привычке к партизанским налетам, и поругивал командира за то, что он не хочет кончать с партизанщиной.

Ночью десантники на шлюпках и баркасах местных рыбаков переправились на остров Перебойня. Следующий день они провели в его ивовых и берестовых зарослях, не выходя на берег, чтобы сохранить в тайне свое пребывание здесь. Когда стало темно, Таран, собрав командиров и политработников, еще раз предупредил, что двигаться надо бесшумно, ударить по врагу внезапно, и в заключение сказал:

— А теперь, друзья, в добрый путь! Завтра ждите меня в Алешках.

Бойцы начали рассаживаться по лодкам. Возле одной лодки возник жаркий спор между стрелковым взводом и разведчиками. Спорили о том, кто должен плыть первым. Разведчики решительно отстаивали свое право. Подошел Таран и поддержал их. Стрелки обиделись, и Прокофий Иванович стал втолковывать им, что разведка указывает путь остальным. Но оказалось, что среди десантников много местных, алешковских и збурьевских, рыбаков, которые сами отлично знают дорогу.

Оставляя позади Днепр, лодки подымались вверх по течению Конки. Далеко уже растянулся караван, а на Перебойне все еще продолжалась посадка на шлюпки и баркасы. В десанте участвовало два батальона, больше тысячи бойцов.

— А что, хлопцы, могучий флот! — говорил Таран, расхаживая со своей свитой по берегу. — А у противника одни байдарки с копытами. Беда только, что эти казацкие байдарки на abordаж не возьмешь: брыкаться будут.

Когда укрытый старыми ивами остров Перебойня опустел — тут остались только те, кто был в заставе, — командир, комиссар и мы, сопровождавшие их, вернулись на катере в Херсон.

2

Утром, солнце еще только выползло на край света, мы снова были на пристани. Никто еще не знал, успел ли наш десант высадиться до рассвета и что там происходит, в Алешках.

Катер готов уже был выйти из Херсона, наш командир стоял у рубки, когда на бугре за пристанью появился невысокий светлорусый паренек. Он бежал, махал черной шапкой и что-то кричал.

Спустя минуту паренек стоял уже на трапе.

— Товарищи, прошу вас, возьмите меня в Алешки, — сказал он, отдышавшись.

— А чего тебе туда? — спросил Таран у этого запоздавшего пассажира.

— А я из Таманской армии, — ответил тот. — Вы же знаете Матвеева — мы ушли с ним в Крым, потом держали фронт на Таманском полуострове, а потом на реке Лабе вели бои. Там много наших днепровцев погибло, а я, как видите, уцелел. Отходил через калмыцкие пустыни в Астрахань. Там многие померли от тифа. И я болел, но выздоровел и попал в Одиннадцатую армию, был ранен, лечился в Саратове. После излечения комиссия мне дала два месяца отпуска домой. Хотел добраться, да не мог: белые опять появились. Вот я и вступил в ваш полк добровольцем и буду с вами, пока всех белых не уничтожим. Прошу вас, возьмите меня, пожалуйста, товарищи.

Это был наш веселый и неутомимый искатель счастья Митя Целинко, с которым мы простились в Севастопольском порту.

— Прошу вас, хлопцы, возьмите своего земляка! — взмолился Митя, когда мы с ним поздоровались.

— Ручаетесь за него? — спросил Прокофий Иванович.

— Ручаемся.

— Ладно, — сказал Прокофий Иванович. — Винтовку достанешь себе в Алешках. Садись, да будем отчаливать.

И катер двинулся к Перебойне. На этом острове он стоял у причала минут двадцать, и все это время Прокофий Иванович расхаживал по берегу, разговаривал с начальником заставы Гришей Мендусом и часто к чему-то прислушивался, поглядывая в сторону плавней.

Мы ждали его на палубе. Команда катера не сходила на берег. Где-то далеко раздавался орудийный выстрел. Раскат его прошел по плавням. После небольшой паузы прокатился второй выстрел, еще и еще.

Прокофий Иванович быстро взбежал по трапу на катер и приказал немедленно идти на Алешки.

Минут через сорок из-за поворота показались Алешки со своими монастырями и многоглавой церковью. Вскоре не только в бинокль, но и простым глазом стало видно оживление на пристани, но кто там — наши или белые — не разберешь.

Артиллерийская стрельба уже затихла. Где-то в отдалении щелкали только ружейные выстрелы.

Командир полка приказал дать полный ход к пристани. Мы взяли ружья на изготовку. Прокофий Иванович вопросительно взглянул на нас и сказал:

— Чего это вы? На пристани наши!

3

Десантники потом рассказывали: чем выше поднимались лодки вверх по речке, извилисто тянувшейся в густых зарослях камыша и ивняка, тем более досаждали им комары и гнус.

— Ох и стервы! Хоть в воду кидайся. Хорошо, у кого шкура толстая, а если тонкая, так эта дрянь до костей своим длинным жалом просверлит.

Когда рассвело, многие лодки вышли уже в лиман, а с некоторых бойцы уже сходили на берег. Через несколько минут разведчики привели пленных — застава белых была снята ими без единого звука. Рассвет подгонял всех: до восхода солнца надо было дойти до батареи белых, захватить орудия и открыть из них огонь — условный, — сигнал, в ожидании которого в штабе никто не находил себе места.

Один батальон, которым командовал Фурсенко, пошел в город, а другой — Владыченко — топтался на берегу, ожидая своего вдруг исчезнувшего куда-то командира: нырнул в кусты и пропал. Больше мы его не видели — сбежал, трус. Говорили, что он еще в лодке жаловался, что у него живот болит. Немного подождав, командиры рот Луппа и Подвойский стали решать, кому из них командовать батальоном, поспорили и решили, что комбатом будет Луппа. Под его командой батальон двинулся к монастырю. Потом разделились: Луппа с одной ротой пошел на батарею, стоящую в кустах возле монастырской ограды, а рота Подвойского устремилась к монастырю. Там, как сообщали наши разведчики, деникинские офицеры коротали ночи в гостях у монашек.

Ворвавшись в монастырь, бойцы Подвойского вытаскивали из келий офицеров в одном нижнем белье. Монашек они поносили на чем свет стоит: вот так-то вы, такие-сякие, замаливаете свои старые грехи! А наши бабы-дуры молятся на вашу кротость!

Набожный пожилой боец Крамаренко закатил одной монашке оплеуху за блуд: из ее кельи он вытащил командира деникинской батареи.

Эта батарея была взята Луппой без выстрела. Наши артиллеристы под командой Гирского, неотступно следовавшие за пехотинцами, наконец дорвались до пушек. Захвачено было два шестидюймовых орудия русского образца и два английских в четыре с половиной дюйма калибром, с большим запасом снарядов. Все орудия немедленно были развернуты в сторону города.

А там с каждой минутой усиливалась ружейная стрельба. Это первый батальон, захватив тюрьму, завязал бой с белыми, отходившими вдоль шоссе. Ушел туда и Луппа, а за ним вскоре и Подвойский со своими бойцами.

Крамаренко шел в цепи роты, как слепой, с невидящими глазами. Он был в шоке — не мог забыть, как захваченный им у монашки капитан умолял пощадить его ради жены и ребенка и сулил ему за это отдать все, что у него есть.

— Какой мерзавец! — говорил Крамаренко сам себе, идя в цепи. — Хотел меня купить. Было время, когда я продавал себя кулакам, но тогда у меня другого выхода не было. А теперь выход мы нашли и ведем борьбу за свое будущее. Нет, барин, я не продаюсь больше!

Он не слышал передававшихся по цепи команд. Товарищи его тормошили, он на минутку приходил в себя, а потом снова глаза его становились невидящими, и он опять начинал разговаривать сам с собой.

4

Когда мы сошли с катера на пристань, Алешки уже полностью были в руках наших десантников. На берегу стояло несколько подвод с ранеными и трофейным оружием. На одной из подвод лежал без сознания тяжело раненный в голову командир хорловской роты Алексей Гончаров. Вскоре подбежали Луппа и Подвойский, как-то уже узнавшие, что у причала пришвартовался командирский катер; стали возбужденно докладывать командиру обстановку. Видно было, что они очень довольны ходом операции и захваченными трофеями.

Выслушав их, Таран сказал:

— Все зависит от того, как кончим. Если кончим хорошо, значит и начало было неплохим.

Прискакал на лошади связной от Фурсенко, доложил, что батальон преследует белых, отступающих по шоссе, и спросил:

— Какие будут ваши указания?

Командир велел прекратить преследование и немедленно отправлять на пристань трофеи, раненых, пленных.

Подъехала еще одна подвода — бойцы везли труп своего убитого товарища. Увидев командира, они обратились к нему с просьбой разрешить им отвезти убитого в Херсон, чтобы похоронить его там со всеми почестями.

— Хорошо, раз товарищ заслужил почет, я это одобряю, — сказал Таран. — Кладите его тело на пристани и с первым транспортом везите в Херсон вместе с ранеными. Присмотрите за Гончаровым, чтобы он жив был. Отвечаете мне за него.

Затем, чуть не на галопе, подкатил к пристани легковой извозчик. Из экипажа вылезли двое раненых и сопровождавший их боец. Сопровождавший поблагодарил извозчика:

— Спасибо, дяденька, за любезность. — И пояснил стоявшим тут командирам: — Сочувствует Советам, сознательный человек — сам предложил отвезти раненых.

Потом подъезжало много легковых извозчиков, но это уже были мобилизованные по приказу Тарана: надо было ускорить вывозку раненых и трофеев к пристани — две баржи на буксире уже шли из Херсона. Их вел комиссар.

— К вечеру мы все должны вывезти и уйти, — сказал Прокофий Иванович начальнику штаба. — А пока обеспечьте круговую охрану — всюду выставить заставы с караулами, чтобы не было ни одной щели, где противник мог бы просочиться в город.

Для кругового охранения, вывозки и погрузки трофеев не хватало людей, и мы с Алексеем Часныком и Митей Целинко, уже успевшим вооружиться трофейной винтовкой, вызвались пойти в караул.

Нам пришлось стоять в сосновой роще за городским парком, возле дороги на Голую Пристань.

На улицах жители кучками собирались вокруг красноармейцев, угощали их ранними плодами своих садов. Но вот горожане как-то почувствовали, что мы пришли временно и, вероятно уже сегодня, уйдем, и их отношение к нам сразу изменилось. Люди засели в своих укрытых садами домишках, и только иногда кто-нибудь выглянет из калитки посмотреть, что делается на улице, увидитдвигающиеся к пристани подводы с оружием, снаряжением и разным имуществом, шагающих рядом

бойцов, таких же мокрых от пота, как их лошади, повернется и скроется, словно в знак протеста против этой вторичной эвакуации.

На дороге к Голой Пристани, которую мы втроем караулили, стоя под росшими на песке соснами, вовсе не видно было какого-либо движения.

Алеша Часнык грустно поглядывал на проходивший в стороне отсюда большак на Копани: недалеко до дому, а когда еще вернешься домой? Этот высокий неуклюжий парень, племянник кондуктора Часныка, расстрелянного вместе с лейтенантом Шмидтом на острове Березань, по своему здоровью не приспособлен был к тяготам боевых походов, но изо всех сил крепился, чтобы не ударить лицом в грязь перед своими земляками, чтившими память его дяди.

А Митя Целинко, которому походы были не в тяготу, рассказывал, как он воевал в Таманской армии, и не мог нарадоваться, что встретил свой земляческий полк.

— Подумать только — опять попал в Алешки! — говорил он, непрерывно крутя головой: все поглядывал вокруг и удивлялся, что в Алешках не видно девчат ни на улицах, ни в парке. — Всю Россию обошел, а невесты еще не высмотрел, — смеялся он. — Хотя чего торопиться, когда корабли Антанты еще дымят на Черном море?

Мы не заметили, как быстро стемнело. В темноте появились вдруг рядом фигуры каких-то людей. Мы окликнули их. Оказалось — местные рыбаки.

— А вы кто будете? Похоже — красные? — спросил один из них.

— А почему вы спрашиваете?

— Как почему? Ваши ведь ушли уже на Херсон.

— Как ушли?

— Подошел буксир с двумя большими баржами, на них погрузились с артиллерией и сразу же отшвартовались.

— Шутите?

— Какие тут шутки, когда у пристани казаки разъезжают. Белые по всему городу шныряют.

Видимо, в спешке наше командование забыло о нас. Что делать?

Рыбаки стали поучать нас, как безопаснее добраться до переправы. А затем один из них, самый пожилой, подумав, сказал:

— Да ладно, хлопцы! Хоть брезент мой шумит немного (на нем был костюм из брезента), но я пойду вас провожу. А ну давайте быстрее пошли, а то белые могут весь берег оккупировать, и тогда беда!

Широкоплечий рыбак шел впереди и как бы на буксире тащил нас за собой.

На улицах и в переулках, которыми мы проходили, было темно и тихо. Может быть, где-нибудь недалеко и проезжали казаки, но Алешки лежат в глубоких песках, и поэтому топота коней не было слышно.

Проводник провел нас к реке, правее монастыря, и остановился в кустах.

— Теперь спуститесь немного вниз, и там будет лодка, вот вы на ней и давайте на ту сторону, в плавни, а там — ница ветра в поле. Я уж спустаться с вами не буду, побреду обратно, — сказал он, добродушно усмехаясь.

На лодке весел не было. Митя Целинко взял вместо них доску, служившую в лодке сиденьем. Он греб этой доской, а я с Часныком, как могли, помогали ему ладонями. Река тут неширокая. Мы уже подплывали к камышам, когда с покинутого нами берега донеслись чьи-то голоса, там забегали люди, загремели выстрелы.

Пули просвистели мимо. Мы скрылись в камышах.

— Эх, хлопцы! — чуть ли не в полный голос воскликнул вдруг Митя Целинко и быстро заговорил: — Давно уж, как под Царицыном был ранен, не стрелял. Давайте дадим по ним пару залпов. Пусть подумают, переправляться за нами или нет. А ну, приготовьтесь!

И мы с Алешей, невольно поддавшись его боевому настроению, в один голос ответили:

— Готово!

— На мушку гадов — пли!.. Еще раз — пли!

Дали и третий залп, но уже вразброд. Как это ни странно, наши залпы подействовали — белые прекратили стрельбу и не стали нас преследовать.

Всю ночь мы шлепали по засасывающей болотной жиже плавней и к утру добрались до своей заставы мокрые, грязные, оборванные, босые. Мы с Алешей обувь свою по дороге бросили, так как она расползлась, а Митя Целинко принес свои сапоги в полной сохранности: они у него, как всегда в походе, висели связанные на шее.

Митю издали можно было узнать: шагает солдат, за плечом — винтовка, на спине — мешок, а на груди сапоги болтаются.

6. ДАН ПРИКАЗ ИДТИ НА СЕВЕР

1

За удачный десант Херсонский губисполком наградил нас Красным знаменем. Вооружившись алешкинскими трофеями, полк стал хорошо оснащенной военной частью.

Все командиры оживились, шагали и разговаривали быстрее — забот стало больше.

Появилась артиллерия, телефонная связь, усилилась пулеметная команда, в рогах увеличилось число ручных пулеметов, гранат. Все конники кавдивизиона заимели седла. Даже духовой оркестр доукомплектовался инструментами. Солидное стала и обозная часть. Правда, ее хозяйство — разные брички, лошади, верблюды, быки и стада овец для продовольствия полка — все это в основном было приобретено раньше, за счет помещиков и кулаков Таврии, так же как легкие пулеметные тачанки, на которых еще недавно, важно покачиваясь на рессорах, разъезжала по ярмаркам и базарам кулацкая знать нашего уезда, — этих тачанок в полку было особенно много.

Гирский, получивший на вооружение своей батареей шестидюймовые пушки, похаживая вокруг них гоголем, говорил:

— Теперь держись, Антанта!

Это было общим настроением в полку, но продержалось такое настроение недолго. Затишье на нашем участке становилось тревожным. Вскоре было получено известие, что деникинцы, переправившиеся через Днепр севернее Херсона, захватили Кривой Рог и рвутся к Херсону со стороны Снегиревки.

Соседняя часть, стоявшая выше нас по Днепру, начала отход и этим обнажила наш левый фланг. В ночь на двенадцатое августа наш полк вступил на своем левом фланге в тяжелый бой с противником, который частью своих сил быстро обтекал Херсон с севера. На другой день вечером Совет пяти приказал нам на рассвете оставить город и форсированным маршем идти на Николаев.

Наши люди хоть и с горем на душе, но всегда что-нибудь напевали — и на отдыхе и в походе. Ох, как разрывали сердца песни расставаний, с которыми полк уходил из Херсона! Растревожили всех думы о близких, оставшихся дома, за Днепром: до последнего дня жила надежда, что мы удержимся в Херсоне и скоро вернемся в родной уезд. Поповицкий, стараясь отвлечь людей от тяжких дум, говорил:

— Что же это вы, турбаевцы, песнями навеваете на себя грусть? Небось дома внушали своим родным не горевать, а сами нюни разводите. Не похоже это на вас.

Полк отходил на Николаев расстроенными колоннами. По пятам шли белоказачки Слащева. Донесения арьергардной разведки, следившей за ними, держались штабом полка в строгом секрете, чтобы не возбуждать и без того возбужденных бойцов.

Прошли полпути до Николаева, сделали короткий привал, кухни раздали бойцам обед — и снова ускоренный марш.

Командиры поминутно требовали прибавить шагу, а тех, кто побил ноги, усаживали на подводы, чтобы они не задерживали всех.

К Николаеву подходили утром. Тихо лежал впереди город. Вдруг оттуда донеслись взрывы. Они следовали один за другим. На наших глазах вся левая часть города, прилегающая к Бугу, покрылась густыми черными клубами дымных облаков. Головные подразделения полка остановились. Бойцы окружили комиссара, стоявшего посреди дороги в своей студенческой фуражке, с карабином за плечом.

— Что же это, товарищ комиссар? Разве и в Николаеве уже белые? Куда же мы теперь?

Лысенко и сам был взволнован, он часто вытирал рукой пот со лба. Повисший протез левой руки придавал ему беспомощный вид, а какой он на самом деле, бойцы еще не знали — не были с ним в бсю.

Несколько минут полк стоял в оцепнении, глядя на клубящийся в городе дым.

Таран приказал послать в Николаев вторую группу конных разведчиков и, когда они ускакали, велел батальонам двигаться дальше, не меняя маршрута. Это внесло в колонны некоторое успокоение. Полк продолжал марш, хотя и замедленным ходом. Вперед на всякий случай было выслано несколько пулеметных тачанок, а артиллерию немного оттянули назад, чтобы отразить возможные наскоки белых со стороны Херсона.

Впереди слева уже видны были водный плес Южного Буга, высокие башни заводских кранов, крытый док судоверфи, элеватор и болтавшаяся у верфи на волнах коробка недостроенного большого корабля. Была видна и башня вокзальной водоканчки, возле ксторой бурлили черные клубы дыма.

Самого города, расположенного в котловине и окруженного садами предместных слободок, не было видно.

Мы уже подходили к окраинам Николаева, когда вернулась первая разведка и доложила, что в городе разгуливают махновцы, рыскают по квартирам, на вокзале взрывают склады и вагоны с боеприпасами.

По приказу Тарана один эскадрон кавдивизиона Баржака помчался в город, чтобы очистить его от бандитов, и полк стал занимать позиции на городских окраинах. В район, где расположились наши тыловые обозы и резервный батальон, вскоре прискакала группа конных махновцев и устроила митинг, пытаясь привлечь наших бойцов на свою сторону. Махновцы кричали, что «московские большевики» не хотят воевать с деникинцами, продали Украину и уходят к себе в Московию, а «настоящие большевики», объединившись с анархистами, создадут «настоящие советы» и спасут Украину. Наши резервники послушали-послушали, а потом, поняв, с кем имеют дело, как по команде защелкали затворами. Бандиты мигом ускакали.

Постепенно положение стало проясняться. Оказалось, что за два дня до нас в городе побывал Фedyкo с двумя полками пехоты. По его приказанию на судостроительном заводе «Наваль» были взорваны четыре недостроенных бронепоезда, так как вывести их из Николаева было невозможно: все железнодорожные узлы как на пути к Харькову, так и на пути к Киеву уже перешли в руки деникинцев, а у самого Николаева подняли восстание немецкие кулаки-колонисты, которым была поставлена задача не выпускать советские войска из города. Федько бросил против них свои два полка. Эти полки более двух суток уже дрались за Варваровкой с хорошо вооруженными немецкими колонистами. Через несколько часов после нашего прихода в Николаев к Тарану прибыли гонцы от Федько с просьбой помочь добить немцев ударом конницы. Таран послал на подмогу кавдивизион Баржака.

Батальоны, между тем, торопливо заканчивали рытье окопов.

Сухопутные подступы к Николаеву ограничены двумя реками — Южным Бугом и Ингулом, полукольцом ооясывающими город. В этом проходе между Бугом и Ингулом полк и строил оборону.

К вечеру взрывы в городе прекратились, но в нескольких местах еще клубился дым. Окончив основные работы по укреплению своих рубежей, бойцы получили передышку и приводили в порядок оружие.

Только солнце село за высокий берег Буга, как с противоположной стороны, из-за бугра, показался казачий разъезд. Он двигался прямо на кладбище, где занимали позиции роты первого батальона.

Покрутившись перед кладбищем, разъезд повернул назад и скрылся за бугром, а минут через двадцать из-за бугра стали выплывать эскадроны казаков. Сначала они шли шагом, а затем, обнажив шашки, пошли рысью, однако их колонны не развертывались в цепи.

Михаил Бондаренко, лежавший у пулемета в паре со своим младшим братом Василием, погрозил казакам пальцем — непорядок, мол, нужно бы уже развертываться. Он всегда грозил пальцем и бурчал себе под нос, когда замечал, что кто-нибудь, будь то свой товарищ, будь то противник, ведет себя не так, как это положено. Ругал он и своего неудержимого и слишком злого в бою брата, но это нисколько не мешало им жить и воевать дружно.

Рядом с ними в окопе лежал наш молодой комиссар, своей единственной рукой все теснее и теснее прижимавший к себе карабин. Они в тот день только познакомились и сразу подружились: потом комиссара часто можно было увидеть в бою возле пулемета братьев Бондаренко, с карабином под боком или на протезе, который он при стрельбе использовал в качестве упора. Словно вместо двух братьев стало трое.

— Комиссар, а волосы как у неряшливого попа,— ворчал старший Бондаренко.

Был такой недостаток у нашего комиссара: его буйная черная шевелюра не укладывалась под фуражку.

Ретивая атака казаков Слащева не принесла им славы. Развернувшиеся под нашим огнем цепи их быстро смешались. Одни всадники валились на землю, другие крутились на месте, а потом все эскадроны беспорядочно покатались назад и скрылись в тучах полевой пыли и надвигающихся сумерках.

Но это было только началом тяжелых боев за Николаев.

На другой день еще до восхода солнца артиллерия белых, обрушившись на кладбище, превратила тут наши позиции в огненный ад. В самом пекле оказалась вторая рота, решившая, что незачем рыть окопы, когда можно использовать каменную ограду кладбища, проделав в ней бойницы. Много крови стоила роте эта ошибка: разлетавшиеся на куски кирпичи причиняли больший урон, чем снаряды, и раны от них были тяжелее, чем от осколков снарядов.

Маруся, синеглазая, юркая медсестра, которую называли Марусей-маленькой, хотя ее следовало бы называть Марусей-бесстрашной, не успевала оказывать помощь раненым. На их крики, разносившиеся из этого пекла по позициям всего батальона, прибежали начштаба полка Кулиш и комбат Луппа. Они пытались что-то предпринять, но все было бесполезно — обстрел усиливался, раненых и убитых становилось все больше, и в конце концов комбату пришлось успокаивать начштаба, потерявшего в этом аду душевное равновесие. Кулиш вытаскивал из своей полевой сумки какие-то бумаги, рвал их и раскидывал клочки в разные стороны, а Луппа хватал его за руку и в чем-то убеждал.

Растерянность начштаба можно было понять. Он рассчитывал, что белым потребуется не менее двух суток, чтобы подтянуть к Николаеву свою пехоту и артиллерию, а они сделали это за одни сутки. Если белые наступают с такой стремительностью, то не оказались ли мы уже в ловушке, плотно окруженные врагом?

Дрогнут турбаевцы или нет? От этого зависела судьба и жизнь всего полка. Нужно было продержаться, чего бы это ни стоило, пока части Федько и конники Буржака раскидают банды мятежников, преграждавших нам путь на север,— продержаться или умереть.

После артподготовки из-за бугра вывалилась пехота белых. На полпути до кладбища наша артиллерия накрыла ее цепи. Белые залегли и начали групповые перебежки. Артиллерия их возобновила огонь, чтобы прижать нас к земле, но ей это не удалось. Когда пехота противника поднялась для последнего броска, наши позиции ошетились, даже раненые, только что кричавшие от боли, вставали с оружием за полуразрушенную кладбищенскую стенку, и атака белых захлебнулась во встречном огне.

Вражеские атаки повторялись, полк истекал кровью, но удерживал свои позиции, пока белые не потеснили соседнюю с нами часть, упирающуюся правым флангом в Буг. Военные корабли интервентов, войдя в форватер Буга, стали демонстративно разворачиваться против нас. Но к этому времени наши обозы и санитарные повозки с ранеными уже заканчивали переправу через Буг — путь через Варваровку на север был расчищен.

Когда белые ворвались на кладбище, там уже было пусто — последние бойцы, прикрывавшие отход своей роты, перебирались через ограды. Среди них были и раненые. Им помогала Маруся-маленькая.

Все уже перебрались, только один контуженный Петро Биленко оставался еще на вражеской стороне, под каменной оградой. Сам он, без помощи, перебраться через нее не мог, лежал и думал, что товарищи забыли его. И вдруг слышит сверху:

— Петро, давай скорее!

На стенке сидела Маруся-маленькая, протягивала руку. На глазах белых, под их пулями, она перетащила Биленко через высокую ограду. Он только кричал и приговаривал:

— Спасительница ты моя, милая.

2

На улицах было пыльно, душно, нещадно жгло солнце. Провожавшие нас жители рабочих предместий выставили у своих домов ведра с водой. Измученные жарой, мы утоляли жажду у каждого дома, и у каждого дома люди желали нам счастливого пути и скорого возвращения.

Единственным свободным выходом из города был разводной мост через Буг. Противник обстреливал его из артиллерии, но снаряды рвались в реке, и полк перешел на правый берег без потерь. Только командир кавдивизиона Баржак потерял свою знаменитую каску. Она упала с головы и свалилась в воду, когда его лошадь вздыбилась, испугавшись близкого разрыва снаряда. При этом вывалилась и разлетелась куча керенок, которую Баржак хранил на голове под каской. Ветер понес их над светлыми водами Буга.

Конники проходили мост последними. Когда они сошли с моста и стали обгонять взбиравшиеся в гору пулеметные тачанки, был дан приказ взорвать мост и перегнать на правый берег все баркасы и лодки.

Мы укрылись от противника за Бугом, но занятые нами позиции на его высоком берегу оказались хорошей мишенью для корабельных орудий интервентов. Наша пехота еще не успела вырыть окопы, а вражеские миноносцы уже начали пристрелку.

Вскоре снаряды стали рваться на наших позициях, сразу появились раненые и убитые. На следующий день обстрел усилился — к Николаеву подошли новые вражеские корабли. Таран приказал своей артиллерии открыть ответный огонь. Батарея Гирского быстро израсходовала весь запас снарядов английских трофейных пушек, захваченных в Алешках, и эта стрельба, сначала казавшаяся пустой тратой снарядов, все же возымела некоторое действие: корабли интервентов отошли вниз по реке, после чего их огонь как будто ослаб. Однако на другой день он снова усилился, заставил нас метаться, ища укрытий, а укрыться на высоком берегу негде было. Раненые оставались лежать под огнем. Полк нес тяжелые потери. Ответный огонь нашей батареи теперь уже не достигал цели: дальнобойность русских полевых пушек была меньше английских морских. Враг безнаказанно опустошал наши ряды. А тут еще пронесся слух, что деникинцы опять, как это было под Херсоном, обходят нас с севера.

Таран и Лысенко, поехавшие в штаб Федько, надеясь там прояснить обстановку, вернулись вечером, когда уже начало темнеть. К этому времени артиллерийский обстрел с кораблей прекратился, и санитары с выделенными им на помощь музыкантами полкового оркестра приступили к уборке трупов — днем под обстрелом их не убрали, и на жаре, которая в те дни и к вечеру не спадала, они начали уже разлагаться.

Это было 20 августа 1919 года — памятный день! Вернувшись от Федько, Таран, ничего не объясняя, приказал сниматься с позиций и уничтожить трофейные пушки, оставшиеся без снарядов. А Лысенко послал связных в роты оповестить коммунистов, чтобы сейчас же шли в балку на партийное собрание.

Многие недоумевали:

— Время ли сейчас для собрания? А вдруг с кораблей снова откроют огонь? Надо сначала вывести полк из зоны артиллерийского обстрела, а потом уж созывать собрание. И что это за неотложные вопросы вдруг появились?

Коммунисты медленно собирались в балке. Командиры и политруки были заняты — отводили с позиций свои подразделения, разыскивали куда-то пропавшие кухни, чтобы скорее накормить бойцов, которые уже сутки ничего не ели. Потом выяснилось, что кухни увлек за собой поток обозов частей Федыко, хлынувший в тот день через тылы нашего полка.

Комиссары батальонов, вызванные Лысенко в штаб (тачанки его стояли в той же балке), ссылаясь на то, что люди измучены и голодны, просили отложить собрание — провести его после того, как полк отойдет в тыл.

— Это невозможно, — сказал Лысенко, — потому что никакого тыла у нас больше нет. Всюду фронт, и позади и впереди, кругом. Придется с боями пробиваться на север, под Киев. Приказ получен из Двенадцатой армии по радио. Наш полк входит в состав Пятьдесят восьмой дивизии Федыко¹.

— А чего обсуждать — приказ ведь дан? — перебил комиссара Таран. Он тоже считал, что вряд ли нужно сейчас созывать коммунистов на собрание.

— Мы не собираемся обсуждать, — ответил комиссар. — Но коммунисты должны знать обстановку. Надо откровенно сказать народу, что все пути нашего отхода отрезаны. Если окажутся трусы и малoverы...

Прокофий Иванович опять перебил.

— Ладно, — сказал он. — Если окажутся трусы и малoverы, я не буду чинить им препятствий — пусть уходят и не мешают нам бороться... Ладно, — повторил он. — Скорее идите и торопите коммунистов на собрание.

Взошла луна, и при ее свете было видно, как со всех сторон степи стекались в балку кучки вооруженных людей.

Около трехсот коммунистов состоялось в полку — членов партии, кандидатов и сочувствующих, — и все они были из одного уезда: наша уездная партийная организация почти целиком влилась в полк. Уездное землячество делилось на сельские, и эти сельские землячества первое время представляли собой крепкие ядрышки. При формировании полка само собой получилось так, что в одной роте оказались сплошь каланчане, в другой — збурьевцы, в третьей — чалбассцы, в четвертой — чаплынцы.

И на партийное собрание коммунисты приходили и рассаживались по склону балки своими сельскими землячествами.

Сразу узнаешь збурьевцев. Вожак их, Луппа, в черной кубанке, с бородой — он под казака рядится. Френч на нем из шинельного сукна с большими карманами наверху и внизу, по бокам, на груди — бинокль, с которым он не расстается ни днем, ни ночью. Идет он спокойно, не торопясь, будто командующий по фронту расхаживает со свитой. А человек он чрезвычайно осторожный и притом отчаянный флегматик.

За ним братья Биленко шагают вразвалку, щелкая семечки и поплеывая скорлупками. Их трое в полку, но на собрание идут двое — третий, старший, лежит в обозе санчасти раненый.

Чаплынцев тоже издалека видно. Баржак хотя и потерял свою каску на переправе через Буг, но его не спутаешь ни с кем — выделяется своей горделивой осанкой. Между тем человек он весьма скромный, в споры ни с кем не вступал, говорил, что его дело не рассуждать, а воевать. А воевал он храбро: ему только прикажи пойти в атаку, и он сразу шашку вон и — «Эскадрон, вперед, за мной!» Одна у него была слабость — любил яркую одежду. Теперь и он щеголял в таких же красных штанах, какие раньше у нас носил один Неволик.

Баржак со своими конниками спускается в балку, усаживается на пожухшую уже травку, и все чаплынские пехотинцы сразу же начинают группироваться вокруг него. Кто располагается лежа, кто сидя. Один маленький Кулик стоит, зорко поглядывая по сторонам — то ли это у него привычка разведчика, то ли он высматривает, кто еще из односельчан пришел на собрание. Вон идет, чтобы присоединиться к своим чаплынцам, и дед Чуприна — «партийный апостол», как его называли в полку и за степенную бороду и за проповеди о партийной чести, которые он любил читать молодым партийцам.

¹ Эта дивизия объединила все разрозненные части и отряды, отходившие из Крыма, — Таврический полк Моисеенко, Заднепровский Лунева, полки Федыко, отряды Шишкина, Мокроусова и Днепровский полк Тарана.

Немного в стороне от чаплынцев рассаживаются по склону балки каланчане. В центре их — Харченко и два Тарана: Степан, брат командира, и Семен, брат однофамилец. Над всеми маячит голова Семена — непомерно высокого он роста. На его румяных щеках ямочки играют, как у девушки. Разговаривает он какой-то несвязной скороговоркой, но с приветливой улыбкой.

А вот и маячковцы пожаловали на собрание — слышен громкий голос Подвойского. Он слыл всезнайкой и был ужасный спорщик в военных делах, любил, чтобы с ним считалось командование полка, часто приходил в штаб — или с каким-нибудь предложением, или просто повидаться и поспорить со своим земляком, адъютантом Фурсенко. И, придя на собрание, он сразу же вцепился в него.

Слышен только голос Подвойского. Фурсенко отвечает ему тихо. Говорит он немного, в нос и с очень серьезным видом. Адъютант всегда чем-нибудь озабочен — дел у него много: надо и в батальонах проверить наличие людей, и запасы обозреть в обозах, и у соседей, что слева, узнать, как идут дела, и у тех, что справа, осведомиться. И Фурсенко все успевал. Мог он и в бою подать пример, подняв в атаку роту, и в штабе, диктуя какую-нибудь бумажку, невзначай одарить своей лаской машинистку. Порядок в его штабной конторе был строгий, пока не появилась эта машинистка, которой он лично стал диктовать все бумажки.

Тут же присаживаются два старика, земляки из Алешек, — Савенков и Диденко, — посыльные штаба, подручные адъютанта. Они всегда при нем и так его изучили, со всеми манерами и капризами, что по одному взгляду все понимали. Особенно отличался этим чутьем Савенков. Приказ он с лету ловил, однако с исполнением его — нет, тут уж не взыщите, бегом не победит. Старик он был не дряхлый, но все же ему перевалило за шестьдесят, и ноги свои он берег, вообще уважал себя как самого старого по возрасту партийца в полку.

Оба старика были хорошими агитаторами, а вот в личной жизни по некоторым вопросам они придерживались разных мнений. Решительно расходились они по вопросу об отношении к врагу. Савенков считал, что наша партия мягка к врагам.

— Раз враг, — говорил он, — так его надо, безусловно, извести, пленный он или не пленный, но раз враг, место его, безусловно, в яме.

Диденко не желал слушать таких речей, сердито отворачивался, и это бесило Савенкова. Стараясь вывести своего земляка из себя, он продолжал, обращаясь уже не к нему, а к мальчику Яше, третьему посыльному штаба:

— А лучше всего прах его, злодея, по ветру пустить. Правда, Яшка?

И на собраниях Савенков все время зудил о чем-то на ухо Диденко, а тот отворачивался.

К ним вскоре подсели и наши неразлучные чалбасские коммунары — Моисей Ганоцкий и Гавриил Соценко, тоже люди пожилые и тоже агитаторы. Кузнец Ганоцкий, уходя в полк, оставил дома семью в шесть человек, а Соценко — бобыль, «босьявка», как его звали кулаки. Ему было за пятьдесят, а он еще только мечтал жениться. Всю жизнь он скитался в поисках работы: то в городе у ворот завода околачивался, то на черном дворе помещика — авось позовут уголь или соль разгрузить или дадут какую-нибудь работу в конюшне. Оба они считались специалистами «по ужасам классовой эксплуатации», примеры которых приводили из собственной жизни, а скиталец Соценко любил еще поговорить относительно «идиотизма деревенской жизни» — это тоже был его конек.

Надо уже собрание открывать — пришел Таран с Лысенко и стоят наверху, над балкой, как на горе. Кто-то кричит:

— А ну давай, подходи поближе! Дружней, дружней подходи!

Идут Гриша Мендус и Роман Головачев. Оба они из Складовска, старые дружки. Гриша шагает босиком, в штанах, подвязанных внизу тесемкой, в серой измятой кепке. Роман — в сапогах, в черной морской фуражке. Они о чем-то горячо рассуждают. Роман то и дело подкручивает свои ржавые усы.

Навстречу им идет Василий Коваленко, начальник пулеметной команды. Он давно уже тут, ввязался в спор с кем-то, но, увидев своих земляков, поспешил к ним. Обнимает

Гришу, потом Романа, хлопает по плечу одного и другого — всячески выражает радость встречи с ними.

— А что же ты, Гриша, обувки до сих пор не достал? — спрашивает он, глядя на босые ноги Мендуса.

— А на что она? И без нее жарко, — отвечает Мендус.

— Ты же, Гриша, командир, неудобно все-таки босиком — культурности не видно, — говорит Коваленко.

— Нашел о чем разговор вести! — пренебрежительно отмахивается Мендус.

Он считает обувку недостойным предметом для разговора коммунистов.

Кажется, все уже собрались. Нет, вон хорловцы еще идут, несут на носилках своего вожака Алексея Гончарова. В Алешках деникинский офицер всадил ему в голову пулю из револьвера. Его везли на катере, в Херсоне положили на санитарную двуколку, довели до Николаева, а он все не приходил в сознание. Думали уже, что не выживет, но, когда уходили из Николаева, на мосту через Буг под артиллерийским обстрелом Алексей вдруг очнулся и сразу заволновался, узнав, как далеко отступили мы, пока он лежал в забытии. Его все беспокоило: и почему оставили в Херсоне семьи ревкомовцев, и зачем было взрывать трофейные пушки. Услышав о партийном собрании, он послал кого-то за своими товарищами и велел им нести его на носилках.

Хорловские моряки положили Алексея Гончарова на краю балки, так, чтобы он, не поворачивая забинтованной головы, мог видеть всех, и тотчас раздался чей-то нетерпеливый возглас:

— Ну чего же не начинаем? Все живые партийцы уже собрались.

— Отсутствуют только мертвые, — добавил кто-то.

Поповицкий шагнул вперед и, подняв руку, сказал:

— Товарищи! По предварительным данным, за последние дни погибло в боях двадцать три члена нашей партийной организации. Предлагаю почтить их память вставанием. — И, взяв под козырек, он встал в положение «смирно».

Собрание поднялось. Триста человек стояли с обнаженными головами на затененном склоне балки. Луна, еще не высоко взобравшаяся на небосклон, освещала только стоявших наверху Тарана, Лысенко, Поповицкого и лежавшего чуть пониже на носилках Алексея Гончарова.

Таран вдруг шагнул к Поповицкому и тронул его за плечо — должно быть, решил, что церемония излишне затягивается. И Поповицкий сказал, что слово для информации по текущему моменту предоставляется комиссару полка товарищу Лысенко.

Информация комиссара была короткой и торопливой.

— Товарищи, собрание необходимо было созвать, — начал он, словно оправдываясь. — Положение чрезвычайно трудное. Коммунисты должны это знать. Антанта давит нас со всех сторон. С востока идут наперерез нам деникинцы, с запада — петлюровцы. Путь на север закрывают банды Махно, Тютюнника, Ангела и Зеленого. Но мы должны идти на север. Другого выхода нет. Нам приказано пробиваться к Киеву, и мы обязаны пробиться. Там собираются все силы Украинского фронта. Там нас ждет помощь из России. Политотдел дивизии обязал меня известить об этом коммунистов, чтобы мобилизовать всех бойцов и не допустить какой-либо паники.

Таран, присевший рядом на откос небольшого оврага, спускавшегося в балку, потирая лоб руками, смотрел на комиссара своими нетерпеливыми взглядами. Когда Лысенко закончил призывом к коммунистам теснее сплотить свои ряды и Поповицкий спросил: «Кто еще хочет выступить по текущему моменту?» — Таран поднялся и сказал:

— Чего мы будем тут обсуждать? Приказ дан идти на север. А кому это не по душе или кто в труса верует, тем мы должны сказать: убирайтесь от нас на все четыре стороны, мы обойдемся без вас. Так, товарищи, и передайте в ротах. Без трусов и паникеров нам будет легче идти... Я все сказал, и давайте быстрее кончать собрание.

Никто не просил слова. Далекий, опасный предстоял нам поход — перед глазами вставали родные хаты, семьи, детишки. Еще раз мысленно прощаясь с ними, все сидели молча, удрученно, искоса поглядывали друг на друга. Только начальник пешей разведки Алехин завел какой-то разговор со своими земляками. Разговор шел вполголоса, но сопровождался энергичной жестикующей.

— А ну, Алехин, о чем ты там толкуешь? Выкладывай нам всем свои суждения! — крикнул Поповицкий.

Алехина мы считали честным и преданным партии товарищем и поэтому снисходительно относились к некоторым его смешным претензиям. Одной из его претензий было желание иметь собственное суждение решительно по всем вопросам. Ко всему, что говорили командиры, он относился с какой-то странной подозрительностью и недоверием и в то же время страдал удивительной восприимчивостью ко всяким слухам и толкам. Когда Поповицкий предложил ему выступить, Алехин заерзал и, поднявшись на колени, сказал:

— Я обожду — пусть сначала другие выскажутся.

Однако никто не желал выступать, общее настроение было за то, чтобы скорее кончать собрание. Вражеские корабли, стоявшие ниже Николаева, в любой момент могли обогнуть город и подойти вплотную к расположению полка, а наша артиллерия уже снялась с позиций. И Поповицкий объявил:

— Слово предоставляется Алехину.

Алехин нехотя поднялся на ноги. В кругу своих приятелей он был боек на слово, и руками размахивал, и бил себя кулаком в грудь, но на собраниях не любил выступать; если выступал, то последним, чтобы обругать всех ораторов: один, мол, говорит одно, другой другое — не собрание, а каша какая-то, а что он сам хочет сказать, понять было невозможно. И на этот раз он начал крутить.

— Я так думаю, товарищи: а куда смотрели командиры раньше? — говорил он, ероша волосы на голове и озираясь по сторонам. — Я так думаю, что если уходить на север, то надо было уходить раньше, пока все дороги были свободны, а теперь, когда все дороги перерезаны, уже поздно — противник сотрет нас в порошок.

Собрание недовольно загудело и громко прозвучал насмешливый голос командира:

— Мы знаем, что тебе, Алехин, как начальнику разведки, всегда известны планы противника, так вот ты и подсказки-ка нам, что делать.

Набравшись духу, Алехин снова заговорил:

— Я так полагаю, что уходить на север нам не надо. Что там делать, неизвестно. Местность там незнакомая нам... Я полагаю, что надо разбиться на мелкие группы и вернуться к себе в плавни и кучугуры, там и партизанить, как при немцах партизанили.

Песнь была не новая. Две реки — Днепр и Буг — отделяли уже нас от своих родных сел, где мы около года держали свой, партизанский, воистину доморощенный фронт, а надо идти еще куда-то дальше, на север, под Киев. Дойдем ли? И что нас ждет? Деникин уже под Курском и к Киеву подходит, с каждым днем все быстрее прет. Как бы не попасть нам в такую же ловушку, как Иван Матвеев на Северном Кавказе прошлым летом. Многие ли вернулись из тех, кто ушел с ним? Может быть, и верно, лучше пойти опять партизанить в своих обжитых уже плавнях и кучугурах. Разве плохо тогда получилось? Начинали в одиночку, кучками, а потом чуть ли не свою республику объявили, флот свой уже завели, артиллерии не было, а все же адмирала Яникосту с его антантовекой эскадрой заставили убраться подальше от нашего побережья...

Как только Алехин заговорил о плавнях и кучугурах, Таран вскочил, как на пружинах, раздвинул стоявших рядом Поповицкого и Лысенко в разные стороны и вышел вперед, словно он своей командирской властью отстранял их от ведения собрания за то, что они допустили такое возмутительное выступление.

— Кто тебе это подсказал, как погубить полк? — гневно закричал он, устремив на Алехина взгляд, под которым тот стал медленно оседать на колени. — Или сам умный такой, додумался до этого?

— Я так думаю... Это только мое предложение... чтобы не погубить, а спасти полк... — бормотал Алехин, уже сидя на коленях в тени, покрывавшей склон балки.

— Шкуру свою спасти хочешь, а не полк, — тихо и с грустью сказал Алексей Гончаров, не подымая головы с носилок.

Кто-то вспомнил о раненых — в обозе полка их было более двухсот — и крикнул с отчаянной досадой:

— Да что его, Алехина, слушать! В плавни уйдем, а раненых бросим в степи, чтобы белые их порубали,— так, что ли?

Негодующий шум пошел по собранию. Поповицкий снова шагнул вперед, призывая людей к порядку. Шум долго не унимался. После того как он стих, Поповицкий спросил:

— Кто еще желает говорить?

Поднялось сразу много рук. Таран тоже поднял руку и сказал, что вносит предложение ввиду чрезвычайной обстановки прекратить собрание.

— Приказ ясен, и разговаривать больше нечего.

Старик Чуприна запротестовал:

— Нет, это неправильно, не по-партийному. Надо высказаться всем, кто хочет.

— Проголосуем,— сказал Поповицкий.

Настроение людей изменилось, и большинство проголосовало за продолжение собрания: чрезвычайная обстановка не была принята во внимание. Таран молча сел на откос овражка рядом с начальником штаба и адъютантом, и собрание продолжалось, невзирая на то, что корабли Антанты могли в любой момент накрыть балку ураганным огнем.

Ораторы один за другим подымались, кто на колени, кто во весь рост, ругали Алехина, говорили, что если он не хочет идти со всей дивизией на север, то пусть идет в свои плавни и отлеживается там до нашего возвращения. А под конец выступил Харченко, по обыкновению своему начал с того, что почесал голову одной рукой, затем другой, а потом уже заговорил не торопясь:

— Я вот что скажу — как же это у нас с вами получается? Два десятка человек выступило, и все ругали Алехина, правильно его ругали, а сами товарищи, которые его ругали, тоже делают не так, как надо партийцам, очень нехорошо поступают. Нужно было нам произвести перестановку партийцев по ротам? Нужно было, а то в одной роте пусто, а в другой густо. А что с того получилось? Трех дней не прошло после перестановки, и некоторые партийцы уже опять каким-то образом очутились на своих ридных местах: каланчане — в каланчакской роте, чаплынцы — в чаплынской. За Интернационал боремся, а без своих односельчан жить не можем. Дисциплина у нас оттого нарушается. С этим надо покончить. Это я до вас, товарищи командир и комиссар, обращаюсь.

— Не беспокойся, Феодосий Степанович, покончим раз и навсегда,— пообещал ему с места Таран и, поднявшись, сказал: — Довожу до всеобщего сведения, что с сегодняшнего дня наш полк получил номер пятьсот семнадцатый, и, значит, он больше не именуется Днепровским. Это слово должно быть вычеркнуто... Понятно всем?

Сначала люди в недоумении переглядывались, пожимали плечами, потом стали раздаваться голоса:

— Непонятно.

— Зачем вычеркивать?

— Просим разъяснить.

— Чего тут непонятного? Все ясно,— кинул в ответ начштаба Кулиш.— Мы теперь регулярная часть Красной Армии, а частям Красной Армии не положено других наименований, кроме присвоенных им номеров.

Но и это разъяснение мало кого удовлетворило. Когда коммунисты расходились с собрания по своим ротам, многие говорили, что тут что-то не то.

— Тут, очевидно, кто-то загнул,— горячился брат командира Степан.— Не помирится наш народ, чтобы вычеркивали память о его родной земле. Не может такого закона быть в Красной Армии. Надо, чтобы комиссар попросил разъяснения в политотделе дивизии... Что ж из того, что пятьсот семнадцатый, а все-таки наш родной, Днепровский.

(Окончание следует)



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ЗАМЕТКИ С АНГАРЫ

Неверно, конечно, что писатель смотрит, изучает или знакомится с чем бы то ни было с непременной задней мыслью все это описать, использовать, обратить в дело, а иначе будто бы и смотреть ему незачем, да и некогда.

Ему бывает очень интересно многое, что вовсе не входит в его ближайшие писательские планы: встречи, события, книги, зрелища каждодневной жизни, свои и чужие воспоминания и самые далекие от нынешней его работы мысли и соображения. Более того, если уж и есть такие писатели, что каждый свой шаг, каждое соприкосновение с жизнью соизмеряют с практической задачей тотчас или потом когда-нибудь, но обязательно «ввести», «дать» это в своих писаниях, а не просто по-человечески заинтересованы этим, то здесь вообще, по-моему, добра ждать не приходится.

С этого не претендующего на новизну утверждения, что писатель тоже человек, я неспроста начинаю свой рассказ о нынешнем моем заезде на Братскгидрострой в дни перекрытия Ангары. Это был именно заезд, а не специальная поездка. Я как раз давно уже собирался и наконец собрался поехать на Дальний Восток, в Приморье, где никогда не бывал в жизни. В Братске же я был, видел эту знаменитую стройку — пусть еще в самом ее зачине, — и, кроме того, перекрытие Ангары, первое ее перекрытие у Иркутска, я от начала до завершения во всех подробностях видел в пятьдесят шестом году и даже описал в книге «За далью — даль». И хотя я отнюдь не имел теперь в виду описывать еще одно перекрытие великой сибирской реки, мне просто захотелось увидеть и эту картину, и я с радостью воспользовался возможностью вернуться туда с моей дороги.

Перекрытие должно было начаться двадцатого июня, как указывалось в телеграмме, приглашавшей прибыть к этому дню в Братск. Уже с десятых чисел месяца газеты ежедневно сообщали о ходе работ, непосредственно предшествующих перекрытию, — отсыпка той части верхней перемычки левобережного котлована, которая вела к настилу моста на железобетонных сваях, сооруженного еще зимой. С этого моста строителям предстояло перекрывать Ангару, то есть загружать ее на всю глубину в проране шириной в сто десять метров камнем, щебенкой, гравием, песком.

Я сел в самолет «ТУ-104» во Внукове около шести часов вечера восемнадцатого июня и в Иркутске был к утру девятнадцатого, наступающему там на шесть часов ранее московского. Мне посчастливилось сразу получить место в иркутском самолете, отправлявшемся в Братск, от которого меня теперь отделяли какие-нибудь полтора часа полета. Еще в самолете я узнал от секретаря обкома партии Б. Е. Щербины,

что прилечу, как говорится, к шапочному разбору: намечавшееся на двадцатое число перекрытие началось уже вчера. А по пути с аэропорта от самого начальника строительства, усталого, но празднично довольного И. И. Наймушина, уже услышал, что камни отгружаемой гряды «банкета» скоро должны показаться на поверхности. И хотя я испытывал чувство некоторого сожаления, что опоздал к началу операции, но не видел в этом для себя большой беды, так как не был на этот раз связан обязательствами «оперативного отражения» событий. Однако же, как все, был взволнован этим необычайным их ускорением, которое как бы связывалось в какой-то мере с разницей в московском и иркутском времени, и, как все, нетерпеливо спешил на место действия. Как и почему все это получилось, мне еще не было известно, я еще мог думать, как и думали тогда многие приезжие, что это просто «сюрприз», сделанный строителями в канун предстоявшего Пленума ЦК. Обо всем в точности я узнал только часом позже в штабе перекрытия, откуда успел еще увидеть завершение операции, живо пробудившее во мне впечатления сходных, хотя вовсе не точно таких же моментов одоления Ангары под Иркутском.

Штаб помещался в специальном тесовом павильончике, сооруженном не без претензий на изящество в виде остекленного теремка, на круче насыпного «острова», послужившего первоначальной опорой строителей на реке в Падунском сужении. К самому подножию теремка примыкал правым своим въездом мост, на который непрерывно, хотя неторопливо и как бы даже мешкотно, въезжали двадцатипятитонные самосвалы, разворачивались кузовами против течения и сбрасывали свой груз в ревущую и кипящую воду.

Я видел Ангару в этом месте ее сужения между левобережной горой Пурсей и правобережной Журавлиной грудью (снимки этих гор, называемых также то скалами, то утесами, теперь густо мелькали в печати, на киноэкранах, в телевизионных передачах), когда река еще бестревожно пронесла в этих воротах свои быстрые воды с каемками пены, добежавшей с Падуна, и все мне здесь было теперь в новизне. Все — и этот «остров» на середине реки, целая насыпная гора, оплетенная, как корзиной, венцами выступающих из воды «ряжей», и правобережный котлован со всеми строительными нагромождениями в нем, и гигантская выемка в диабазовой круче Пурсей, в которую впущена будет левобережная оконечность плотины, и этот мост на сваях, вогнанных в дно еще зимой, со льда, и тяжело провисающие над рекой, над стройкой, со скалы на скалу тросы, кабели и провода, и часть бетонного фундамента самой плотины, у правого берега...

Вода гремела, пенилась, выгибалась и завивалась туго натяженными, толстыми, как поток из огромной трубы, и совсем тонкими жгутами-фонтанами перед самым мостом, под мостом и за ним, в нижнем бьефе. Но она также гремела, редела, пенилась и там, где ее не удерживали, а, наоборот, давали выход, — в водосливных бетонных рукавах фундамента плотины в правобережной части русла. Фундамент был впущен, уже навечно, в скальное дно реки под защитой такой же, как возводимая нынче, временной перемычки, подорванной строителями только вчера.

А я был здесь, когда еще к этому месту прокладывали в полувыемках горы над водой «бечевники», подъездные пути, и «сверлили» дно, видел только что извлеченные из многометровой глубины каменные кругляши — керны — толщиной до двух обхватов. Тогда с берега на берег здесь можно было попасть только паромом или катером...

Все навороженное и нагроможденное здесь для меня ново, хотя и знакомое, похоже и привычно по фотографиям и кадрам кино-

хроники, по многочисленным описаниям стройки за эти годы, а главное, по впечатлениям, памятным мне с Ангары под Иркутском.

Знакомыми тяжелыми и звучными ударами камня о камень отзывался каждый новый сброс с моста. Мгновенные столбообразные, в белой осыпи, выбросы воды, радуга от этой осыпи, почти не потухающая, в непрерывности отгрузки, от края до края прорана. Перекрещения изгибающихся тугих струй придавленной камнями воды. Поистине непередаваемые и немислимые по разнообразию тона ее расцветки: тут и нежнейшая зелень весенней лиственницы, и золотистая голубизна неба, и вдруг темная, гущенная вишневость — и еще бог весть что! Запах воды, свежий, насыщенный мельчайшей водяной пылью, как вблизи больших водопадов или на морском побережье в часы штормового прилива, — только запах не тот, солено-йодистый, а речной, пресный, близкий запах летнего дождя, земли, травы, мокрого песка...

Все, все это было знакомым, все было так, как уже запечатлелось в памяти, и все-таки то, что делалось теперь, — делалось по-другому.

«Все так, и все не так», — отмечал я тогда же, сидя в теремке штаба и жадно всматриваясь, вслушиваясь и вникая во все, чтобы не пропустить, не проронить ничего.

Все эти впечатления похожести были, понятно, отрывочными, разрозненными, и только нынче я могу примерно свести их к некоторым объясненным мне и усвоенным в наглядности моментам и обстоятельствам.

Первое, что здесь нужно было увидеть, в отличие от Иркутского перекрытия, — это мост, с которого шла отгрузка банкета. Отгрузка шла с твердого моста на опорах — металлических трубах, залитых бетоном: он не плясал и не прогибался, как тот наплавной, или понтонный, мост под Иркутском, на который не могли взойти такие большегрузные самосвалы. Это позволяло здесь подвозить и сбрасывать в три, в четыре, в пять раз более тяжелые скальные глыбы, чем формованные бетонные «кубы», или «сундуки», что подвозились и сбрасывались с того понтонного моста. Заградительная мощь здешнего материала отгрузки определялась еще и тем, что вес диабазовой глыбы при равном объеме с бетонным «кубом» превышает вес его больше чем вдвое. Но и объем их был на иных заездах таков, что эти глыбы, в шутку и не в шутку, сравнивались приезжими зрителями с тем камнем, на котором возвышается в Ленинграде фальконетовский Петр.

Такие глыбы со впущенными в них заранее стальными петлями толщиной в руку, для зацепления их крюком подъемных кранов, и даже нанесенными на их более ровных боковинах лозунгами: «Перекроем Ангару», «Миру — мир» и т. п. — подвозились и сбрасывались поодиночке. Каждый такой сброс вызывал восторженные вскрики и одобрительные возгласы, как это бывает при удачной стрельбе, и дружные, хотя и слабо слышимые здесь аплодисменты из «ложи» и «ярусов» штабного теремка, с моста, с берега и даже с «галерки» — вершины Пурсея, где теснились, оберегаемые металлической оградкой над самым обрывом, зрители — местные, окрестные и приезжие. Все напряженно следили за тем, как встанет или повернется такая штука на гребне банкета, через который, пружинисто выгибаясь, неслась вода, — устоит ли на месте, подастся ли под напором и скатится вниз к сваям моста, защищенным специальными кожухами — «подушками» из листовой стали с гравийной засыпкой.

Глыбы поменьше доставлялись самосвалами по две и по три зараз, иногда перевязанные тросом наподобие переметных сум, — перекинуть их через плечо вряд ли было бы под силу и самому Илье Муромцу. Это

было опять же новшество и делалось для того, чтобы камни при сбросе ложились кучнее, не скатывались вниз, а сцеплялись и переплетались на гребне каменной гряды, которая все отчетливее выступала на поверхности рваных, пенящихся волн. Можно было видеть, как иногда такая связка от удара камнем о камень раскатывалась врозь: стальной трос, угодив на какой-нибудь заостренный край, разрывался, как бумажная бечевка.

Вслед за глыбами еще поменьше, что шли уже по пятку на кузов, прибывал и отгружался просто крупный бут, иногда пополам со щебенкой, и щебенка с гравием, и просто гравий или песок с более крупной примесью.

Дежурный инженер штаба или главный инженер стройки А. М. Гиндин, бесшумно находившийся в теремке, направляли этот разнообразный поток отгрузочного материала подобно тому, как управляют в бою огнем различной мощности и назначения.

Эти короткие и точные задания и распоряжения штаба передавались на мост через радиорепродукторы.

— На третий пролет самую крупную фракцию!

И можно было видеть, как очередная машина с одиночной глыбой или связкой разворачивалась и сбрасывала свой груз на третий пролет.

— Не давать мелкую фракцию на третий и второй пролеты!

Вслед за приказанием всходившие на мост машины со щебенкой и гравием разворачивались к другим пролетам.

— Еще на третий пролет крупную фракцию, самую крупную!

Слух, привычный уже к словам вроде «банкета», имеющим здесь до странности далекое от их другого значения — значение гидротехнических терминов, воспринимал еще и эту «фракцию».

Время от времени, впрочем редко, репродукторы оглашали замечания и иного характера.

— Машина 25-27! Товарищ водитель, вам не стыдно?

Может быть, тот водитель еще и знать не знает, отчего ему должно быть стыдно, но переспросить он не может, а разъяснение уже гремит, и все, сколько есть людей на этом главном и решающем сегодня участке стройки, слышат тот же покрывающий все шумы и звуки голос надзидания и упрека:

— Вам не стыдно на мост въезжать с такой загрузкой? Вы бы уж просто порожняком катались взад-вперед.

Все пишущие торопливо заносят эту реплику в свои блокноты, и, наверно, она уже записана на пленку и все это будет напечатано в газетах, и передаваться по радио, и греметь в кинохронике — все, и номер машины. Хотя, право же, вполне можно предположить, что водитель ее проштрафился как-нибудь ненароком, и парень он не хуже всех других, что работают здесь с восьми часов вчерашнего вечера, отказываясь уступить место смене. Впрочем, может быть, и со стороны штабного руководства немногие такие реплики были отчасти данью шегольству, опять же простительному в обстановке, когда все идет так хорошо и здорово. Есть такие дни, часы всеобщего душевного подъема, единства радостного возбуждения в труде, когда невозможно представить себе чье-нибудь нарочитое уклонение от коллективных усилий, стремление только показать, что он держится за общий гуж, но не тянуть его на деле. А это были именно такие часы на стройке Братской ГЭС к середине дня девятнадцатого июня, когда завершалось, по общепринятым технологическим показателям, перекрытие Ангары в ее Падунском сужении.

Как же получилось, что это событие произошло на сутки ранее срока, назначенного для начала его? Отвечая на этот вопрос, нам, группе литераторов и журналистов, А. М. Гиндин сказал:

— Ангара сама позаботилась о досрочном ее перекрытии...

Дело было в том, что строителей поторопила большая прибыль воды в верховье реки и в самом Байкале в связи с таянием снегов в Восточных Саянах. Эту воду по-местному называют «большой» и еще «черной» водой, потому что она, заполняя большие площади, как и наша весенняя полая вода, мутна, окрашена смытым ею грунтом, несет мусор лесов, полей и затопленных поселений. Эта нынешняя «черная вода» дала о себе знать ранее ее обычных сроков, в часы, когда строители, завершив все подготовительные к перекрытию реки работы, приступили к пробной отгрузке банкета. Это было в восемь часов вечера восемнадцатого июня, все шло нормальным ходом, а через два часа метеорологическая служба сообщила о надвигающейся с верховья угрозе. Прибытие «черной воды» к Падунским воротам совпадало со сроком, назначенным для перекрытия реки, и начинать операцию двадцатого июня уже было бы безрассудным риском. Ожидать же спада воды — это означало бы срыв графика всех работ и такую потерю времени, которая вообще исключила бы возможность перекрытия в нынешнем году.

Штаб принял решение считать пробную отгрузку камня началом самого перекрытия. Для продолжения работ ночью все было наготове, и, таким образом, по принятому теперь на стройке выражению, «генеральная репетиция превратилась в постановку».

Так обстояло дело, завершившееся на мосту, на берегу и на «острове» праздником большой, веселой победы.

Праздник так же был похож и не похож на торжество иркутских строителей. Так же, как КП иркутского перекрытия размещался не в специально отстроенном павильоне, а в будке сторожа у моста, и митинг там проводился не с трибуны, а с большого самосвала «МАЗ», взошедшего порожняком на наплавной мост. Здесь все было, как говорится, на другом уровне, и, может быть, не совсем случайно даже эти названия групп управления операций в одном случае более скромным КП, а в другом — штабом. И время суток было разное, что для меня было еще одним памятным оттенком различия этих торжеств по столь сходному поводу. Там, под Иркутском, это произошло ранним утром, солнце только что показывалось, все лица были бледны, на них вместе с радостью завершения трудного и необычного дела были виднее следы бессонной ночи, и самый митинг был немногочислен: в нем участвовала только ночная смена да немногие энтузиасты из зрителей — «представителей», в частности корреспонденты. Здесь торжество состоялось в середине дня и было актом, гораздо лучше подготовленным и обставленным, ожидаемым уже с утра; и музыки, и речей, и гостей по такому дневному, обеденному времени было много больше.

Среди гостей был прилетевший специальным самолетом видный американец, миллионер и политический деятель, посол США в СССР во время минувшей войны Аверелл Гарриман со своими спутниками. Это не могло не быть лестным чувством строителей, и оно выразилось в веселых и дружественных приветствиях, обращенных к знатному заокеанскому гостю.

Я дважды мельком видел Гарримана на стройке и мало чего могу сказать об этом почтенном человеке, несмотря на порядочный возраст предпринявшем свою поездку в глубину Сибири. Первый раз — когда он неторопливо поднимался по двум-трем маршам узкой дощатой лесенки в помещение штаба, высокий, прямой, сухощавый, в светло-сером костюме, обтягивавшем небольшую сутулость его плеч,—

никак не сказать — старик, — пожилой, подтянутый мужчина. По правде сказать, не одному мне тогда не очень понравилось, что, едва поздоровавшись с нами, поднявшимися с виду навстречу, он устремился самолично открывать фрамугу окна с видом человека, которому нечем дышать в такой прокуренной клетушке. И когда он сходил по той же лесенке к машине, тесно окруженный людьми с чисто русской готовностью чуть ли не качать его, было жаль, что он так-таки только помахал рукой, не сказав двух-трех слов обычного в таких случаях приветствия. «Хоть бы поздравил все-таки, — говорили потом иные, — ведь не обязательно ему было тут же признавать коммунизм, но хоть бы поздравить с праздником...» Другие, правда, объясняли это усталостью немолодого человека с дороги, занятостью, разницей во времени, сказывавшейся и на всех нас, приезжих, словом, оценивали его сдержанность снисходительнее.

Между тем праздник не обошелся и без тревоги, призвавшей участников его, как бы по команде «в ружье», занять свои рабочие места и еще и еще добавить камня в перемышку, возвышавшуюся уже над водой почти вровень с мостом. «Большая вода» знала свой час и не замедлила прибыть к Падунским воротам, устремляясь на новую перемышку и все сооружения, загромаждая верхний бьеф плавником — бревнами, досками, хворостом, всем своим попутным «сносом» с верховья. Но дело уже было сделано, и хотя были тревожные распоряжения, телефонные звонки, короткое возбуждение, вызванное возможной опасностью, но никаких изменений совершившегося это уже не принесло.

Иная картина была, невольно вспоминая я, когда еще в ходе самого перекрытия под Иркутском возникла угроза обрушения исподволь подмытого насыпного берега, — и средства борьбы были скромнее, и опыт куда меньший...

Все было так и уже совсем по-другому, и мне, по отдаленнейшей связи, приходило на ум, несмотря на несоизмеримость масштабов событий, что нельзя, например, значение самых блистательных наших побед во втором периоде Великой войны равнять со значением и отзвуком в человеческих сердцах разгрома войск противника, скажем, в Подмосковье или даже где-нибудь под Ельней в сорок первом году...

В представлении читателя, знакомого с делом лишь по газетным лирико-патетическим описаниям работ по перекрытию рек при строительстве гидроэлектростанций, эта операция означает как бы завершающий, итоговый момент стройки. Река перекрыта, стихия покорилась человеку — останется там кое-какая мелочь, доделки. Вроде как это и было главной задачей. Это далеко не так на самом деле.

Прежде всего перекрытие — это совсем не всегда одно и то же не только в отношении различных рек, но даже одной реки, как в нашем случае в отношении двух строек Ангарского каскада.

Перекрытие реки — это только первое, необходимое условие проведения всего сложнейшего комплекса работ по сооружению плотины, не говоря уже о станции; хотя бывает и так, как, например, при постройке Иркутской ГЭС, где перекрытие происходило, когда здание станции было уже возведено и через нее, хотя и «вхолостую» были направлены поднятые перемышкой воды.

Перекрытие, отсыпка банкета, сооружение перемышки — это еще не плотина. Это обычно лишь ограждение места, где будет возведена известная часть, отрезок плотины. Правда, в скобках сказать, в иных случаях и отсыпка банкета означает возведение самого, так сказать, корпуса плотины, как это было на строительстве Волжской ГЭС.

В Братске, после того как в правобережной части реки был ограж-

ден поперечной перемычкой (от берега до продольной перемычки — нынешнего «острова») необходимый участок, создано мелководье и откачана вода, в котловане был возведен фундамент будущей плотины. К началу нынешнего перекрытия, как я уже упоминал, эта поперечная перемычка была взорвана, и вода бросилась в специально оставленные проемы, или «прорези», в фундаменте — для водослива (впоследствии они будут закрыты и сольются с монолитом железобетонной плотины). Без этого отвода, пропуска воды у правого берега немислимо было вообще приступить к перекрытию реки в левобережье. Тот участок реки, что огражден нынешним перекрытием ее, — это место котлована, где будет уложен фундамент плотины и здания будущей Братской ГЭС.

Словом, перекрытие перекрытию рознь. Я с готовностью допускаю, что эти мои пояснения подобны тем чертежам или схемам, что люди чертят спичкой на папиросных коробках, щепочкой на земле или каким-нибудь прутиком на снегу, обсуждая запросто вопросы стратегии и тактики на войне или рассказывая, как, по каким улицам и переулкам, пройти по данному адресу. Но для меня, как свидетеля таких значительных моментов на двух ангарских стройках, вся эта сторона попросту была очень интересна.

Я сказал, что перекрытие — это лишь первое условие многосложных работ на гидростройке. Но, конечно, это такое условие, которое означает и завершение известного этапа строительства и, в сущности, является решающим. Так это было на строительстве Иркутской ГЭС, где перекрытию Ангары предшествовала почти завершенная постройка плотины и здания станции, и в Братске, где перекрытие явилось подступом к возведению плотины и станции. Как бы ни были сложны и многообразны эти работы, в дальнейшем у них уже характер как бы нормального строительства «на суше». Непрерывное воздействие титанической силы воды, не позволяющей располагаться на ее пути с такими затеями, устранено до известной степени.

До известной степени — это необходимо подчеркнуть. Когда на обратном пути из Братска я побывал на ныне действующей Иркутской ГЭС, где строителями уже сдавались эксплуатационникам последние отделочные работы, мне показали главный машинный зал, зал пульта управления и все другие помещения станции, уходящие несколькими этажами глубоко вниз, — иные на много метров ниже дна реки. И, осматривая эти подземные галереи и камеры различного назначения, так называемые «потерны», я впервые почувствовал всю значительность того известного мне и ранее факта, что покоренная река никогда не смиряется окончательно, на какие бы прочные запоры ее ни взяли. Я видел эти крепостной мощности бетонные стены и перекрытия со следами тесовой опалубки на них, этот темно-серый, навечно уложенный здесь камень, все время потеющий, с отметинами в местах недавней «инъекции» крепчайшего раствора, вводимой в малейших случаях просачивания. Мне во всей наглядности было разъяснено моими спутниками, что угроза со стороны реки, мирно и трудолюбиво несущей свою нагрузку где-то там вверху, вращающей турбины и подобные гигантским стволам мачтовых сосен турбинные валы, — угроза эта не прекращается ни на один час в течение всей жизни электростанции как сооружения...

Посещение этой станции (между прочим давно уже снабжающей своим током строительство Братской ГЭС), этой стройки в ее завершении, особые оттенки настроения людей, чьих рук делом она является, и людей, в чьи руки переходит, стоили бы того, чтобы рассказать обо всем подробнее. Но я и так несколько отвлекся и нарушил и без того весьма условную последовательность своего изложения.

В большинстве мы, люди, так или иначе пишушие о великих стройках, победах человека над природой и многим другим, требующем серьезного знания предмета, знаем страшно мало, поверхностно и с необыкновенной отвагой беремся рассказывать о любых делах и событиях, не затрудняясь не только что углубленным изучением, но хотя бы усвоением для себя в основных чертах сути дела.

Я забыть не могу, как однажды, в этот мой заезд в Братск, вынужден был слышать из соседней комнаты передачу по телефону в Москву информации одного корреспондента. Сколько здесь было готовых не только слов и оборотов, но целых периодов повествовательной речи, картинок будто бы с натуры, обязательных в своей однотипности диалогов. Тут и «наступившие горячие дни строителей Братска», и «непокорная красавица Ангара», и крикливо-ораторское единоначатие фраз, посвященных строителям: «Это они... Это они...», и «задорный смех курносой крановщицы», и явная путаница понятий перемычки и плотины, и пр., и т. п. И ни одного живого слова, подсказанного тем, что сам увидел на месте и чем был действительно поражен или растроган, ни слова, свидетельствующего о том, что человек мало-мальски разбирается в особом характере данной стройки, данного перекрытия реки. Боже мой, думалось мне, зачем он, бедняга, летел такую даль, спешил на место, перебивался кое-как в смысле ночлега и стола в переполненном приезжими поселке, когда все то, чем он занимал теперь телефонную линию протяжением около шести тысяч километров, — все это, за исключением разве что нескольких цифр и случайных имен собственных из его блокнота, он мог претличнейшим образом написать, не выезжая из Москвы. Нет сомнений, что такой парень не откажется одним из самых первых корреспондентов отправиться на Луну или какую другую планету и со всей оперативностью даст оттуда свою информацию, но боюсь, что и она будет подобна его корреспонденции из Братска.

Один из руководителей строительства, инженер, крупнейший специалист по гидростроению, показывал на правом берегу нам, людям печати, на другой день после перекрытия «подсобные хозяйства» стройки.

Между прочим, он сказал, что из двадцати двух тысяч людей различной квалификации и просто разнорабочих, занятых теперь на строительстве, только полторы тысячи работают в самом Падунском сужении — на сооружении плотины и станции или проведении подготовительных работ на месте. Все остальные двадцать с лишним тысяч работают на них, на эти полторы тысячи. Они рубят в тайге и распиливают на лесозаводах лес, добывают камень, песок и гравий в карьерах, сортируют его, вяжут арматуру, изготавливают бетон, бетонные блоки, балки, детали всех форм и размеров, строят дороги, жилые дома и общественные здания, электрическую и водоканализационную сеть, расчищают необозримую, протяжением почти что до Иркутска, котловину будущего водохранилища — моря, строят дороги и даже поливают их¹.

— Вот бы вчера нам знать эту цифру, — сказал один наш товарищ (он имел в виду переданные вчера по телефону и телеграфу итоговые корреспонденции о перекрытии).

И вдруг инженера, этого в высшей степени интеллигентного, выдержанного и благообразного, далеко не молодого уже человека, вряд ли за все годы на этой стройке выругавшегося грубым словом, — вдруг его, как говорится, прорвало.

¹ Дороги здесь проложены в каменистом и сыпучем грунте, они хороши и без покрытия асфальтом или бетоном, но в сухое время пыль просто не давала жить, отражалась на работе транспорта. На поливке занято свыше двадцати машин.

— А надо, батенька, интересоваться, знать, а не знаешь — спросить, допытаться, а не бежать без головы на телеграф, потолкавшись полчаса на котловане, подхватив какую-нибудь случайную хреновину! — И пошел, и пошел, неожиданно скрепляя речь прямо-таки немислимыми в его устах словечками. — Это вам не «Ангара, Ангара — перелив серебра», — процитировал он, передразнивая меланхолический тон каких-то стишков, сгоряча путая уже неповинного корреспондента с их никому не известным автором и кипятясь все больше. — «Волны с тихим ропотом ударяются в грудь железобетонного тела плотины», — опять, дразнясь, привел он образчик уже некоей художественной прозы. — Вы что думаете, это я сам придумал? — обратился он уже ко всем нам. — Это я собственными глазами прочел в очерке об Иркутской стройке. Но я-то знаю, что Иркутская плотина — насыпная, гравийно-песчаная. А? А вы — «железобетонное тело». Вот где будет действительно железобетонное тело, — он показал на весь проем Падунских ворот, будущую плотину, — а там — извините!

В нем прямо-таки кипела обида, раздражение и негодование человека, знающего и любящего свое сложное и трудное дело, о котором так — с налету, поверхностно и порой безграмотно — информируют страну и весь мир. Но вскоре он внезапно перешел на свой обычный вежливый, располагающий тон и, дружески коснувшись плеча злополучного журналиста, извинился:

— Вы меня, голубчик, простите, я не о вас лично, но вообще-то бывает еще, к сожалению, так. Простите.

Мы все смеялись при этом горячем выпад против нашей корпорации, смеялись с тем большей готовностью, что никто из нас, в том числе и попавший под удар корреспондент, даже и без заключительной оговорки инженера не принимал его слов на себя лично...

Должно быть, у каждого из нас, кто бывал на больших стройках, на целине, в отдаленных краях страны, как в былую пору на разных фронтах, возникает особое чувство при встречах с уроженцами той же местности, что и ты, занесенными разными судьбами в эти далекие края, на эти участки фронта, на площадки этих строек. Такое чувство не обязательно дань сентиментальным склонностям души, воспоминаниям юности, волнующей памяти давно покинутых родных мест, хотя, конечно, и это не исключается начисто. Но дело в том, что при этих встречах все расстояния и масштабы, вся значительность пройденного народом пути и всего прожитого тобой выявляются вдруг с особой отчетливостью и наглядностью.

Я люблю эти встречи с земляками и всегда запоминаю их с благодарным чувством. Они помогают мне скорее «осваивать» душой любые далекие края родной земли с их новизной и непривычностью, воспринимать их как вовсе не такие уж и далекие, раз и тут есть наши «смоленские рожки». И такие встречи готовит мне каждая моя поездка, — я затрудняюсь вспомнить хотя бы одну, когда бы их не случилось. Похоже, что земляков моих, уроженцев Смоленщины, так уж много, что хватает для представительства во всех обширных краях родной земли, на всех знаменитых стройках, как хватало их на все участки огромного фронта Отечественной войны, а также для заграницы и, само собою, для Москвы, Ленинграда и других больших городов. Конечно, так же дело обстоит и в отношении всех других земляков, помимо моих; и это так знаменательно для времени, для нашего века невиданных потрясений, перемен, многообразных перемещений людских масс, сближения краев и местностей, севера и юга, запада и востока, вовлечения в этот необо-

зримый поток всех слоев, языков, профессий и возрастов двухсотмиллионного населения страны.

И нынешний мой заезд в Братск, по пути на Дальний Восток, опять-таки не обошелся без встречи с еще одним земляком-смоленцем.

Ранним июньским утром я, по излюбленной привычке к таким прогулкам в новых местах, вышел из коттеджа, как здесь принято называть эти полуторазтажные особнячки, где ночевал, пользуясь гостеприимством его хозяев, на улицу Набережную поселка Постоянного. Это название улицы, здесь уже привычное, во всех очерках и корреспонденциях неизменно сопровождается пояснением, что до берега Ангары отсюда еще далеко и что расположена улица на берегу будущего Братского моря, на горе, выходящей знаменитым Пурсеем к реке и строящейся гидростанции. По склону этой горы, вправо к Ангаре, в разреженной и точно буреломом захламленной порубками тайге, располагается «дикий» поселок — избушки-временки, большей частью индивидуальной постройки, — ныне снимающийся с места, как все в этой зоне предстоящего затопления. А еще ниже, в неширокой долине реки, по левому берегу самого Падунского порога, лежал палаточный городок — первый поселок, вернее сказать, лагерь строителей, разбитый там, когда еще здесь не было деревянных строений, если не считать расположенной выше по течению старинной сибирской дереvушки. Я еще застал этот городок летом пятьдесят шестого года — с самостоятельными кухонками возле палаток и лепившимся здесь уже семейным бытом при всех неудобствах и неуютности этого временного поселения. Там давно уже не осталось ни одной палатки, люди перебрались в поселок, в двухэтажные многоквартирные дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и даже горячей водой, хотя и не на всех еще улицах. Правда, на пути из палаток в этот поселок Постоянный для некоторых жителей, главным образом семейных, был еще «дикий» поселок, но и в тех избушках-временках жизнь была уже несравненно терпимее, чем в палатках, особенно в суровые зимние месяцы.

Первым моим земляком в Братске был старик плотник, приехавший погостить к сыну, невестке и дочери, жившим в одной из тех палаток на десять—двадцать человек, и задержавшийся, чтобы срубить для молодых избу. Приехал он сюда из Читинской области, куда переселился в самом начале века, и собирався вернуться домой к старухе, в забайкальские места, привычно считая уже их своей родиной.

И вот теперь я встретился еще с Иваном Евдокимовичем Матвеевым, тоже плотником из той же бывшей Бизюковской волости на Смоленщине, только покинувшим родные места в иную пору — в конце двадцатых годов.

Я заговорил с ним в это утро у самого обрыва скалы Пурсей. По раннему часу нас только двое и было здесь у новенькой железной оградки, побеленной, но уже заметно позахвтанной. Оградка предусмотрительно была наведена здесь на металлических трубчатых столбиках, впущенных в скалу по самому краю обрыва двадцатиметровой высоты. Отсюда жители Братска и все дальние и ближние приезжие люди смотрели, как шло перекрытие реки, смотрели все время, даже ночью — при свете прожекторов.

Теперь перемычка, вчера только приостановившая воды Ангары в проране между левым берегом и насыпным «островом» посредине реки, засыпалась поверх загородивших реку многотонных глыб диабазы «мелкой фракцией». Косая гряда насыпи верхним краем уже подпирала настил моста, с которого вчера самосвалы сбрасывали свой груз, и уже бульдозеры с обоих берегов своими тяжеловесными лемехами-отвалами

распихивали, разгребали, ровняли эту гряду, исподволь развертывая ее в ширину, превращая в проезжее полотно гребли.

— Сделано дело, ничего не скажешь, — сказал этот еще не знакомый мне пожилой человек в рабочих штанах и куртке, не оборачиваясь ко мне, не отрываясь, как и я, от картины завершения операции. — Сделано. Ни один Гарриман ничего не возразит...

Мне понравился выразительный оборот речи, в котором имя Гарримана, упомянутое по связи с его вчерашним посещением стройки, уже как бы не означало имени собственного, а лишь сторонний взыскательный суд содеянному в эти дни на Ангаре — суд, который, может быть, и хотел бы придрататься к чему-нибудь, да не сможет. И еще мне послышалось что-то неуловимо знакомое в интонации или выговоре этих слов, позволившее мне предположить в этом человеке своего земляка.

Так и завязалась наша беседа, которая тем и хороша была, что можно было говорить, спрашивать что-нибудь или самому отзываться на замечание собеседника без особой последовательности, с перерывами, паузами и стоять, опираясь на перильца железной оградки, высоко над развернутой внизу картиной. Эта нынешняя картина Падунских ворот Ангары в дымке, пронизываемой ранним, но уже горячим сибирским солнцем, по отдаленности казалась спокойной, как панорама какого-нибудь городского привокзального района или завода в летний утренний час. Доносилось только погромыхивание кузовов самосвалов и бульдозерных лемехов, почти такое же будничное и привычное слуху, как работа снегоуборочных машин. И эта дымка, стоявшая над Ангарой, над «островом» с веселеньким теремком, над мостом и перемычкой и двигавшимися по ним машинами, не понять из чего состояла: из речного тумана, строительной пыли, выхлопных дымов или мельчайшей осыпи брызг от кипящей у правого берега Ангары.

Так мы стояли, смотрели, переговариваясь, покуривая для защиты от мошки. Я не вытаскивал блокнота и авторучки, не спешил спросить и записать фамилию, профессию, должность — словом, не намечал в моем случайном собеседнике того «пожилого рабочего», без которого не обходится почти ни один так называемый производственно-строительный очерк. И, поддерживая нашу неторопливую и необязательную беседу, я был еще занят разными другими соображениями и отвлечен одним своим воспоминанием.

Я точно вновь видел перед собой эту картину более чем двухлетней давности. Там, внизу, у подножия отвесной диабазовой стены Пурсея, где едва можно было пройти у самой воды, мы с товарищем вдруг оказались лицом к лицу с маленькой девочкой, лет двенадцати, державшей в обнимку огромный, как сноп, букет длинных и крупных лесных цветов. «Откуда ты, прелестное дитя?» — обратился к ней мой спутник, журналист и в меру начитанный человек. Она улыбнулась, кивнув головой вверх, и просто ответила: «Оттуда». Мы увидели только страшную крутизну за выступом скалы и не могли поверить, что девочка спустилась оттуда. Но больше ей откуда же было взяться? Я и теперь как бы раздумывал об этом...

Словом, для моего собеседника я был одним из множества столичных и других приезжих, прибывших на популярнейшую в стране стройку, и разговор наш, чего бы он ни касался, носил свободный, непреднамеренный характер.

— Нет, — возразил Иван Евдокимович на мои слова о том, что уж очень много этой мошки, — нет, вы бы приезжали сюда в пятьдесят шестом году. Вот то была мошка. А это что! — Он только изредка неторопливо обводил рукой с дымившейся в ней папироской вокруг лица и за

ушами, тогда как я еще и кепкой отмахивался. Я не сказал, что именно в пятьдесят шестом году был здесь и, при всех других отмеченных мной переменах, в отношении мошки не вижу большой разницы.

— Нету даже сравнения,— продолжал он, исполненный презрения к нынешней мошкѣ.— Куда! Как-никак — целый город вырос, тайга отодвинулась, столько машин, движения. А она не любит всего такого. И потом, с ней же борьба ведется большая.

Я деликатно выразил сомнение в эффективности этой борьбы. Когда я начал свою сегодняшнюю прогулку с улицы Набережной, в воздухе вместе с чудесной хвойной свежестью все еще держался до вчерашнего вечера запах дуста с солярккой и еще чего-то, чем окуривают здесь улицы со специальных автомашин. Иван Евдокимович сказал, что мошкѣ больше набрасывается на новых людей, и я вспомнил про себя одну девушку, с которой встретился на правом берегу в том же пятьдесят шестом году. Девушка была техником-строителем, она делала свои пометки и записи в тетрадке, держа в левой руке маленькую, вроде цветка, веточку, изредка обмахиваясь ею, тогда как большинство людей, работавших мастерком или топором, держало под рукой целые веники и то и дело стегалось ими с раздражением и яростью. Были действительно ужасные дни, когда нормы выработки недовыполнялись против обычного на тридцать и сорок процентов, и это учитывалось при исчислении заработка. Тогда не мудрено было, как говорили строители из новоприбывших, в забывчивости крайнего раздражения и пораниться топором, не то что другое. И эта милая девушка, со своей отчасти даже кокетливой веточкой, на мое замечание о такой малой ее озабоченности самозащитой с улыбкой сказала, что она сибирячка, а «мошкѣ своих знает». Я подумал тогда, что ее начальственное положение и авторитет специалиста могли в значительной степени опираться на эту завидную даже для мужчин неуязвимость.

Видя в Иване Евдокимовиче человека, приобвыкшего в этих местах, я, между прочим, спросил его, не собирается ли он построить себе здесь дом, раз уж и дело в своих руках и лесу кругом пропасть.

— Нет.— Он с грустным пренебрежением покачал головой.— Устал...

И я услышал от него краткую, но такую емкую историю его жизни, помеченной, как памятными рубежами, домами, построенными им для себя и своей семьи собственноручно в столь различных и далеко отстоящих одно от другого местах страны.

— Последний поставил в Свердловской области, в леспромхозе работал. А леспромхоз, смотришь, лес вырубил и подался на новый участок. Пришлось за четверть цены продать. А то еще я в Заполярье — Верхоянск знаете? — лет пятнадцать проработал. И там дом оставил. Ну и на родине — само собой, хоть и немудрящий, правда, был домишко, скорей сказать, изба наша смоленская. Так что строиться еще раз — нет уж... Квартира хорошая, три комнаты, кухня,— чего еще?

Я подивился, что у него такая квартира в поселке, где, как я знал, каждый метр жилой площади учтен и предназначен с не меньшей точностью, чем в Москве. Это он понял как недоверие к его словам и, кивнув вполборота к поселку, коротко предложил:

— Зайдите посмотрите — может, вру.— Так же, кивком головы, он дважды показал в сторону стройки, когда называл своих сыновей — слесаря-монтажника и шофера. Он точно видел их там, внизу, на своих местах. Оказалось, что живут они все вместе: отец, мать и сыновья с женами и двумя маленькими детьми. Но квартира от этого не теряла в его оценке — хорошая, отдельная, трехкомнатная,— и на мое замечание о том, что, пожалуй, она уже тесновата на три семьи, возразил:

— А почему? Теплей.

— Значит, топят слабо?

— Зачем слабо,— как полагается топят, градусник в каждой квартире.

— Да, но дома-то деревянные, тонкостенные, из бруса? — Я допытывался. Меня уж как бы задевало это неукоснительное довольство всем, о чем бы ни зашла речь.

— Это мужик наш смоленский так считал, что чем толще бревно закатыть, тем лучше. А я вам скажу,— при этом он легонько ткнул себя большим пальцем правой руки в грудь,— я вам скажу, что дом из бруса — самое лучшее дело. Пригнано все, как сундучок. Опять же штукатурка изнутри. Откуда же будет холод?

Я не мог не посчитаться с тем, что это говорит уже не просто житель, а мастер, хотя мастер этот отчасти еще оставался смоленским мужиком, полагающим по старозаветным навыкам быта, что теснота жилья — неоспоримое благо. На нашей с ним родине так и говорилось о большой избе при малой семье: «Волков там гонять — только!»

Любопытно, что в Бизюковской волости, откуда был родом Иван Евдокимович, волости, издавна знаменитой далеко за пределами не только Дорогобужского уезда, но и всей Смоленской губернии, собственные постройки бизюков, как их называли, вовсе не отличались особой справностью или красотой отделки. Этим мастерам, строившим двухэтажные городские дома, школы, выводящим двух- и трехъярусные срубы деревянных церквей, купеческих дач со всевозможными затеями,— им просто некогда было заняться с душой своими домами, а главное, жить в них было некогда. Уходили они на заработки ранней весной и до глубокой зимы — «с поста до рождества». Со святок до конца масленицы отдыхали, прилаживали что-нибудь по дому, гуляли, играли свадьбы и, лихо отгуляв масляную, опять отправлялись в отход. И только что женившийся парень, уходя с артелью, покидал до нового рождества молодую жену — представить себе нельзя было, чтобы он остался с бабами дома. Дома оставались женщины с детьми и стариками глядеть за хозяйством, пахать и засеивать какой ни есть надельчик. Они делали всю мужскую работу, даже косили, хотя вообще это было у нас в довоенные времена не принято, городили изгороди, покрывали крыши. И крыши были большей частью неказистые, соломенные — колосом вниз, а не «под гребенку». Все у бизюков уходило на главное в жизни — заработок на стороне. Понятия профессиональной славы, мастерства у них были очень высокие, ревнивые. А привязанность к дому, к крестьянствованию много меньше, чем у людей, живших только с земли. Наверно, и это способствовало массовому уходу таких мастеров из деревни в города и на далекие стройки в пору первой пятилетки — уходу уже с семьями, с полным отрывом от земли и оседлости в родных местах,— и, наверно, делало этот отрыв менее болезненным, чем в других случаях.

Иван Евдокимович в двадцать восьмом году вместе с отцом, с которым уже не первый год ходил на заработки, отказался от деревенского надела, получил нужные справки в сельсовете и с тех пор навсегда распростился со своей бизюковщиной. Закончив свой неторопливый и немногословный рассказ, он вздыхает, еще раз с убежденностью отклоняя идею собственного дома в Братске.

— Устал. Годы не те. Хватит.

— А что за годы? — спросил я, предполагая, что он намного старше меня, и не без грустного удивления узнал, что совсем не намного — ему едва перевалило за пятьдесят.

— Какие же это еще годы? — заметил я, как бы ободряя только его, земляка и почти что сверстника.

— Да годы не годы, а так скажу: помахал топором порядочно. С четырнадцати годков как пошел, так и пошел. На одной той войне сколько чего понастроил, хотя оно и невидное теперь. Опять же — переживания большие.

О своих переживаниях он сказал так же просто, как говорят о своей специальности или местожительстве, ничуть не кичась ими, а лишь отмечая как факт: переживания были большие. Но за этими простыми и такими обычными, расходными в изустной речи словами громоздились в одной человеческой судьбе десятилетия непрерывного и нелегкого труда, переезды из конца в конец огромной страны, перемены климатов, всего бытового уклада, вокзальные ночевки, фронтовые ночи и дни, землянки, бараки, случайные очаги, потери близких, множество испытаний. И сверх всего — бесчисленное количество лесу: сырого, из воды, и сухого, как кость, круглого и пиленого, бруса и досок, тесу и горбыля; лесу, перекатанного, переняченного руками, обработанного топором, пилой и рубанком. Где тот Смоленск, а где Верхоянск, где Литва или Подмосковье, и где этот Братск в глубине Сибири! И везде что-то делано этими самыми руками, везде дерево, побывавшее в них и легшее на место.

Мне врубилось в память, как Иван Евдокимович сказал, хоть я не от него первого услышал это выражение:

— Шея тоньшает...

Я присмотрелся к нему, опиравшемуся рядом со мной на оградку. В негустых русых, отчасти бронзоватых волосах седины было немного, только на висках да за ушами. В неподстриженных рыжеватых усах вовсе ни седины, а подбородок был со свежего бритья чист и гладок. Но затылок, который больше всего был у меня перед глазами, — Иван Евдокимович только изредка оборачивался ко мне, — затылок был сухощавый, разделенный глубоким ровком надвое вдоль, в перекрестных морщинах загорелой и подвижной кожи на двух как бы жгутиках в палец толщины. Я невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки...

«Шея тоньшает» — так именно определяется возраст много потрудившегося человека. И вообще в народном, трудовом представлении шея — главный показатель силы, выносливости и — смотря какой затылок — благополучия, зажитка, сытости. «А что ему, когда у него загривок — во!» При этом показывают рукой как бы бугор на затылке. «Куда ему, шея уже во — вытянулась», — и свешивают голову, наподобие вялого цветка на стебле.

Но и говоря, что у него шея тоньшает, Иван Евдокимович не видно было, чтобы жаловался или пенял на судьбу. Пожалуй, здесь больше было горделивой независимости человека сильного, не нуждающегося в самообоьщении. Но отчасти было уже и стариковское хвастовство, когда о нынешней своей данности говорят с заведомым понижением, чтобы еще больше оттенить былую незаурядность удали и силы.

Коснулись мы и житья-бытья, заработков, снабжения, поселкового транспорта — всего того, с чем человек, будь он самым возвышенным энтузиастом, сталкивается каждодневно и постоянно, по крайней мере его семья, его жена или мать, всякая женщина, ведущая дом, хозяйство. За первые сутки моего гостевания в Братске я не мог не убедиться, что в столовых пища неважная, заправляемая по преимуществу консервами, в магазинах те же консервы, а если что другое — так очереди; что кое-какой рынок есть лишь в старом Братске, в тридцати километрах. Я видел, что в цветочных ящиках на балконах новых домов Постоянного произрастает большею частью узкоперый лучок, вряд ли имеющий деко-

ративное значение. От мальчика, несшего сегодня с Ангары с нарочитой горделивой небрежностью кулан, густо унизанный тоненькими, как колоски, плотвичками, я узнал, что его выходы в такую недетскую рань на рыбалку, кроме чисто спортивного, носят и практический интерес как добавка к однообразному и небогатому столу семьи. Вчера еще я наблюдал, как разбирали строители знаменитой гидроэлектростанции скверное бочковое пиво, прибывшее на площадку по случаю торжества открытия Ангары...

Но Иван Евдокимович и тут держался неподступно, с неохотой соглашался, что да, трудности еще есть, но не такие уж серьезные, а главное, их куда меньше, чем прежде, в недавние времена стройки. И даже раза два посмотрел на меня спокойными и чуть насмешливыми светло-синими глазами. Я усмехнулся про себя, в шутку предположив, что по странности, хоть мы и оказались уже с ним земляками, не принимает ли он меня за Аверелла Гарримана или кого-нибудь из сопровождавших его лиц. Но в этих светло-синих, блеклого василькового цвета глазах мелькала какая-то своя, отдельная, далекая от нашего разговора мысль, может быть, воспоминание или соображение с оттенком грусти...

Свой заработок Иван Евдокимович определил в тысячу семьсот-восемьсот рублей и, подумав, сказал, что иной месяц и до двух тысяч. Я знал, что заработки здесь большие, но две тысячи для плотника мне показались некоторым преувеличением, что, кстати, вполне согласовалось с позицией моего собеседника в отношении местной жизни. Он не выказал свойственной мастерам, знающим себе цену, склонности пожаловаться на низкие расценки или недостаток работы по специальности.

Это была та самая, всегда трогательная и, в сущности, замечательнейшая черта наших хороших людей, которая западала мне в сердце и ранее, до встречи с Иваном Евдокимовичем, и после нее, в продолжение всей моей поездки по новым для меня местам. Она выражается в том, что люди, подобно добрым и гордым хозяевам, не хотят говорить гостю с первых же слов о всяких мелочных неурядицах и недочетах в их дому, а ревниво и настойчиво обращают его внимание на то, что составляет главный их жизненный интерес и предмет их чести. Они готовы даже чуточку прихвастнуть, преувеличить благополучие своего дома, чтобы только не показаться перед гостем людьми незадачливыми, достойными жалостливого участия. В Иване Евдокимовиче я узнавал именно эту манеру, это стремление хозяина показать свой дом с лучшей, завидной его стороны, отнюдь, впрочем, не впадая в пустое хвастовство и заносчивость. Его домом, городом, местожительством и делом жизни его, как и его сыновей и всей семьи, был теперь Братск, эта стройка, этот поселок Постоянный. И пусть приезжий столичный человек не подумает о нем, своем земляке, Иване Евдокимовиче Матвееве, что он живет здесь уныло и скудно, что город еще вовсе не город, что все тут не дай бог как плохо, неприманчиво и буднично, и что только в Москве могут жить умные и удачливые люди. Нет, он, Иван Евдокимович, между прочим, не так прост, не так себя дешево ценит, чтобы окреститься надолго в местах незавидных, второстепенных, не сулящих ничего значительного. Он мог бы поискать по себе другие, более подходящие и интересные,— он человек бывалый, сведущий и блюдуший свой интерес отлично. Так примерно, приблизительно можно было толковать эту черту, манеру поведения таких людей, каким предстал мне в нашей утренней беседе Иван Евдокимович.

Иван Евдокимович сообщил, что здесь, на строительстве, он работает не плотником, а столяром-инструментальщиком. Я не знал в точности, что это за квалификация, и он пояснил с терпеливой назидательностью и даже чуть заметным упреком:

— Все, что из дерева относится к рабочему инструменту, делает столяр-инструментальщик. Возьмем, например, самую простую вещь.— Он помедлил, как бы подыскивая, какую назвать самую простую вещь, доступную пониманию слушателя.— Топорище. Да,— подтвердил он,— самое простое топорище. Что такое топорище? Полено, затесанное в виде рукоятки для топора.— Он уже обернулся и, стоя спиной к оградке, выбросил вперед правую руку, как бы обхватившую топорище.— Конечно, вы скажете: плевое дело. А поработайте денек, узнаете, что такое топорище. Можно и руки набить, и мозоли вот такие нагнуть, и дела вполовину не сделать.— Он развел руками и презрительно выпятил губу, показывая горесть и срам такого положения.— Это топорище? Нет. Это и есть полено дров. А то — топорище, когда оно твое в руке и топор сам в ход просится, и пустишь его — куда надо влипают. Вот так, в струнку! — Поднятая ребром правая ладонь наметила в воздухе некую единственно мыслимой точности линию.— Вот что такое топорище.— Последние слова были сказаны самым победительным и непререкаемым тоном, исключаящим всякое иное понимание предмета.— А что такое топор? — с внезапным ехидством в голосе тихо спросил Иван Евдокимович и тотчас ответил на вопрос уже с другой, строгой, интонацией преподавателя: — Топор — начало всему на любой стройке. Как говорится, самый первый колышек топором затесывается и забивается...

И далее, если бы я не знал этого ранее, то узнал бы, так сказать, из первых уст знатока дела, что никакая механизация не исключает топора, что без него ни за что не обойтись ни при постройке сарая, ни при возведении дворца и что топор — этот незаменимый инструмент — без топорика просто заостренный кусок металла, как и заостренный камень дикаря тогда лишь стал каменным топором, когда был впервые закреплен в расщепе дубины.

— Вот что такое топорище,— заключил Иван Евдокимович.— И все другое так...

Эта энергия и даже горячность пояснения, предполагающая чью-то обидную недооценку топорика, могла бы показаться смешной, не будь она выражением глубокой убежденности, добытой сорока годами непрерывного опыта собственных рук...

— Пора и мне,— сказал Иван Евдокимович, заметив, что я взглянул на часы.— Будьте здоровы! Надолго к нам?

И мы еще прошли вместе, поговорили и еще раз приостановились на шоссе, где оно идет с горы под уклон, к Ангаре, и берегом поворачивает влево, к подножию Пурсея.

Я сказал Ивану Евдокимовичу, что из него мог быть отличный лектор по столярной и плотничьей части, и он, не скромничая, согласился.

— А как же! Приходится. Вы моих «студентов» не только здесь найдете,— по всей Сибири и там у вас, на Западе. Сколько угодно.

Он так и сказал: «У вас на Западе», как там говорят обо всем, лежащем по ту сторону Урала, и это звучало немного странно в устах земляка.

И вдруг он спросил:

— А что, рожь уже, наверно, белеет там?

— Белеет,— сказал я.

— Белеет,— мечтательно повторил он.— Да. Родная сторона, как ни хотите...

И мне показалось, что я разгадал ту затаенную мысль, что держалась в его глазах почти все время: встреча со мной, должно быть, навела его

на воспоминания о давно покинутых местах, о детстве и ранней своей деревенской юности.

— А что, Иван Евдокимович, тянет?

— Тянет, — просто признался он. — Иной раз — вот как...

— А почему бы не собраться да съездить однажды?

— Да ездил. Вернее сказать, заезжал, как на курорт ездил — путевка была в Сочи. В пятьдесят первом году. Но как-то не то! — Он махнул рукой, показывая, что говорить об этом сейчас не стоит, да и не скажешь в малых словах.

— А все же, что не то, Иван Евдокимович?

— Все не то получилось. Во-первых, погода не та — осень. А еще, хоть я и не думал там застать кого из своих, из родни или так просто, но все же одна местность без тех людей, хоть и родная... Не то. И потом, сказать откровенно, очень уж там плохие дела были в колхозе. Большое уныние... Теперь-то, может, получше стало, а тогда — нет, невозможная картина. Это моих бы ребят туда, так они б узнали, какая бывает жизнь. Да! Ну, все-таки до свидания.

Ему нужно было вправо, к поселку, а мне влево — к реке. «Вот, — подумал я, прощаясь с ним, — час назад я знать не знал, что есть такой человек на свете со всеми его делами и думами, семьей, профессией, прошлым и настоящим, и уже час целый говорил с ним, как с давним знакомым. И не обязательно он должен был оказаться моим земляком, он мог быть уроженцем любой другой местности. Собственно земляческое, смоленское сказалося в нем только под самый конец беседы, когда я разгадал, как мне подумалось, что было в грустноватом взгляде его блеклосиних, точно выгоревших от солнца глаз. Но и до того еще, до этих его слов о белеющей ржи, мне казалось, что я уже его, как говорится, постиг во всей полноте и давным-давно знаю. А выходит, еще не знал, не увидел такой стороны души этого сдержанного и не склонного к особым излияниям человека, как нежная и печальная дума о родных местах».

Но едва я успел так подумать и мысленно остановиться на том, что теперь-то уж он мне ясен и виден вполне и все это можно будет так и записать, как Иван Евдокимович вновь удивил меня.

— Я все-таки, — сказал он уже совсем на прощанье, — думаю, все-таки опять на Север податься.

— Как так, с чего вдруг?

— А так. Надо еще поработать на Севере. Что мне? Семеро меня не обсело, как говорится. Детей взрастил, на путь вышли — они уже сами по себе. И я опять сам по себе — вольный казак. А что?

— Да так — почему же Север? Все-таки и годы не те ваши. — Теперь уже я ему напоминал об этом и сказал, что более понятным было бы его намерение податься на родину. Все же, мол, климат здешний суров, там помягче, опять же память...

— Нет, про здешний климат вы говорите напрасно. Климат неплохой, зима сухая, бодрая, никакой простуды. Но Север все-таки. Ого! — с каким-то затаенным восхищением протянул он. — Север — превыше!

— Превыше — чего?

— Всего.

«Север зовет» — вспомнил я название какого-то давнего произведения полярной беллетристики.

— Превыше всего: Разве я говорю, что здесь плохо? Но поработать можно еще и там. Годика три еще или пяток поработать, а потом, конечно, можно махнуть и туда. Когда уже старость подберется поближе...

Тут мы простились, и я так-таки не мог с уверенностью отдать себе отчет, говорил ли он о Севере как о деле решенном или так только, на

словах помечтал: а что, мол, если махнуть... И не мог бы я сказать, чем его манил этот Север: красотой ли своих снегов и полярных сияний, или большими заработками, или же просто памятью трудных, но славных лет, выпавших на лучшую часть жизни. Известно, что солдат с гордостью и отрадой удовлетворения вспоминает не только подвиги, но и тяжкие лишения, пережитые им.

Во всяком случае, мой земляк был уже совсем не тот плотник-отходник, скорее крестьянин, чем рабочий, а кадровик из той строительной гвардии, что, перемещаясь из конца в конец страны, отстраивает и оживляет новые города и поселки и передвигается дальше, чтобы вновь начинать с «первого колышка». И, конечно, здесь было стремление по-дольше задержаться на позициях не молодого, но и не столь старого возраста: дом, прочный причал, окончательная оседлость для иных людей предстает, как сама старость...

Я спустился к Падуну, повернул налево по широкому шоссе, заполненному почти непрерывным потоком машин и вскоре был в том самом месте у подножия Пурсея, где два года назад встретил маленькую сибирячку с огромным букетом таежных цветов. Когда я здесь дважды уже проезжал на машине, мне и на память не пришла эта девочка — до того все было непохоже и ново: шоссе, движение, в стороне — краны со стрелами, склонявшимися к заготовленным глыбам «самой крупной фракции». Теперь, проходя пешком, я не только с точностью определил это место, но, взойдя на мост и обернувшись, хорошо рассмотрел оттуда, с середины реки, и ту расселину в скале, по которой, хоть и с трудом, человек мог спуститься к подножию Пурсея. Это было приятно, как бывает приятно с некоторым напряжением вдруг восстановить в памяти досадно затерявшуюся куда-то строчку стихов, какое-нибудь имя или дату.

Но после мне стало ясно, что и эта маленькая, мимолетная радость возобновления в памяти на время утраченной картинки, виденной здесь ранее, была лишь частицей куда более сложного радостного чувства «узнавания», которым я был полон в эти дни в Братске. Ни одна местность или край, город, стройка, словом, тот или иной новый участок жизни, не дается мне, так сказать, с одного разу. Это подобно тому, как многие из нас вполне воспринимают музыку лишь при повторном ее звучании.

А для меня еще тем было дорого это чувство, что оно дополняло собой мое уже многолетнее, сознательно накапливаемое в душе «узнавание» всех этих краев страны на восток от Урала.

Как-то в машину, с которой я на полминуты застрял на мосту еще в часы перекрытия реки, быстро заглянул молодой человек в белом — по-праздничному — воротничке и в галстук, с красной повязкой на рукаве пиджака. Перекинув флажок из правой в левую руку и что-то по-свойски сказав шоферу, он поздоровался со мной — должно быть, узнал по пятидесяти шестому году. И, уже отпрянув от нашей машины и взмахнув флажком, давая дорогу встречному потоку, přátельски подмигнул мне и не то спросил — ответить я бы уже не мог, мы уже тронулись, — не то просто выкрикнул:

— Значит, за далью — даль? За Иркутском — Братск?..

Что слова «за далью — даль» означали название моей книги, сомнений не могло быть. И я не впервые уже был смущен поощрительной уверенностью, с какой знакомые и незнакомые люди на стройке и еще по дороге к ней давали мне иногда понять, что они вполне в курсе моих литературных намерений и целей моего пребывания здесь в эти дни. Не хочу сказать, чтобы мне это было совсем неприятно, — приятно, конечно:

читали, слышали, желают тебе доброй удачи. Но всякий раз эти вопросы, замечания и пожелания оставляли в душе какую-то тревожную неловкость.

Люди, знавшие меня по первому приезду или знавшие только, что я описал в «Далях» иркутское перекрытие Ангары, понимали мое нынешнее появление здесь, как безусловно, так сказать, целевое. Мне задолго до перекрытия напоминали о нем, уведомляли о предполагаемых сроках его, и я соответственно отзывался, имел эту поездку в виду. И теперь я видел, что для людей, с которыми я встречаюсь, оно как-то само собой разумеется — зачем я сюда приехал, хотя из деликатности не все так прямо и высказывали это, как тот славный молодой человек на мосту. С их стороны было вполне естественным считать, что я должен описать, и, конечно же, в стихах, нынешнюю картину одоления Ангары, и описать по возможности ярче и подробнее, чем иркутскую. Это, казалось бы, само собой явствовало не только из того, что тут и объем работ больше, и проектная мощность станции в пять раз выше, и сама операция проведена, может быть, лучше, четче, во всяком случае в меньший срок (тут в девятнадцать часов, там, помнится, в двадцать восемь). Но и сами места, условия стройки давали здесь куда более очевидный поэтический материал: отдаленность, суровая красота горного и таежного пейзажа, романтически звучащие наименования: скала Пурсей, Журавлиная грудь, порог Падун, о котором, кстати, ты еще ранее написал стихи, задолго до полного разворота великой стройки. Однако все это не могло стать моей нынешней литературной задачей.

И стихи, которые я передал девятнадцатого июня из Братска в «Правду», как бы указывали на их прямую связь с опубликованным там же в свое время описанием иркутского перекрытия Ангары:

Река пропела все сначала,
Ярсь на новом рубеже,
Как будто знать она не знала,
Что уступала нам уже..

Мне даже нелегко, как-то стеснительно было объявить моим хозяевам, что я гость заезжий, что я только так завернул и теперь должен ехать дальше. Получалось, что и главный мой интерес на этот раз не здесь, а впереди, где-то еще в дороге. А я очень хорошо представляю себе, как это может быть обидно, и пусть даже понятно, но все-таки неприятно, что человек может еще интересоваться чем-то другим, помимо этой стройки, которой люди ее уже отдали четырехлетний труд, часть своей жизни, и связывают с ней все самое значительное в их настоящем и недалеком будущем. Они привыкли слышать, читать и сами говорить, что эта стройка — одна из крупнейших в семилетке, стройка мирового масштаба, что Братск через несколько лет будет крупным промышленным центром, городом, может быть областным центром, и всему этому начало — дело их рук, первые годы строительства, палаточный городок с его бивуачно-лагерным бытом, перенесенные лишения, мошкá, морозы, работы зимой под открытым небом...

С такими примерно чувствами и мыслями я покидал Братск, отправляясь на пароходе «Фридрих Энгельс» вверх по Ангаре до Иркутска, откуда намерен был поездом продолжать мою дальнюю дорогу. Но что я должен был бы сказать, как поступить иначе? Я приезжал сюда не потому именно, что это были дни «сенсации», привлекая на короткий срок внимание людей печати и радио, кино и телевидения, литераторов из столиц и других мест страны, — этой «тесноты» я отчасти даже боял-

ся,— а приезжал потому, что часто думал об этой стройке по прежней памяти, следил за всем, что появлялось о ней в газетах и журналах. Мне просто казалось невозможным проехать мимо, не увидеть этих мест в их теперешнем виде, да и перекрытие ожидалось необычное. И мне это было любопытно само по себе, совершенно безотносительно к тому, в какой мере и форме оно будет использовано в моей литературной работе.

И я был очень доволен этим моим заездом, приумножившим мои душевные запасы «узнавания» новых мест, без чего я вообще не мыслю себе написать о них что-либо стоящее в стихах или прозе.

1959 г.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ИСКАТЕЛИ

1. ИВАН ИНОЧКИН

Одному человеку лет тридцать. Другому не вчера перевалило за пятьдесят. Один не в состоянии скрыть победной улыбки на дерзком лице. Другой острожен, медлителен, говорит скупом, с долгими паузами.

...Иночкин-молодой глядит на меня с пожелтевшей газетной страницы. Иночкин в летах (главный конструктор заводского отдела автоматизации и механизации) сидит за столом в длинной, узкой комнате. Сейчас обеденный перерыв. В углу урчит чайник. Иночкин встает — невысокий, домашний, в серых валенках с калошами. Закрывает дверь. Выжидающе смотрит на корреспондента...

Накануне в Сталинградском областном совете общества изобретателей и рационализаторов имя его называли как местную достопримечательность. Спешили вытащить из шкафа том Большой Советской Энциклопедии: «Видели, мол, о нем даже здесь написано». Ногтем отчеркивали строку: «Построил первую в мире автоматическую линию агрегатных станков». Интересовались: «А в журналах разве о нем не читали?» В завком Сталинградского тракторного мне сообщили: «Он у нас уважаемый товарищ... Депутат городского Совета...»

А сегодня в кабинете главного инженера зашедший сюда главный технолог почему-то не советовал писать об Иночкине.

— Почему?

Пауза.

— Что ж, Иночкин — мужчина изобретательный, — осторожно заметил главный инженер.

— Почему же все-таки не писать о нем?

— Он сейчас «на металлурга» работает, — сказал технолог. — Для литейных цехов. Этот человек за все берется...

— А что, — перевел разговор в другое русло главный инженер, — вы наш новый трактор еще не видели?..

Фотография молодого Иночкина была сделана в 1939 году, как раз в ту пору, когда здесь, на тракторном, специально для него ввели небывалую прежде должность заводского изобретателя. Перо директора, сбившись с привычного тона, оставило в приказе по этому поводу хорошие слова о том, что «изобретатель обязан быть всегда в пути, всегда открывать новое...»

Когда имя Иночкина вдруг приобрело известность, многие его прежние противники весьма охотно принялись смаковать подробности «небывалого» успеха молодого рабочего, вчерашнего слесаря оружейных мастерских, грузчика, человека без инженерных познаний, имеющего за плечами всего-навсего багаж вечернего рабфака.

Любители сенсаций, заботливо поддерживая собеседника под локоть, рассказывали о том, как несколько лет назад приходил к ним парень в черной сатиновой рубашке и предлагал соорудить у станка то ли механического человека, то ли одну его руку, или приладить к станку длинный гибкий рычаг наподобие слоновьего хобота.

Это была старая, как мир, идея железного робота, идея наивная, полудетская, давно уже блуждающая по страницам фантастических романов. «Человек», «рука» или «хобот» должны были брать с горки заготовку, закреплять ее на станке и снимать готовую деталь. Молодой слесарь тут же разворачивал чертежи и показывал изображение странных чудищ, подсказанные, видно, учебниками анатомии и зоологии, объясняя, что в жилах машин потечет водичка, управляющая «хоботами» по всем законам гидравлики.

Хобот? Это веселило. У парня выспрашивали: зачем машине хобот? Парень разглядывал собственные сапоги, облепленные грязью, — он жил еще в одной из временных землянок на берегу Мечетки — и глухо, медленно, убежденно говорил о том, что надо механизировать труд рабочих.

С ним соглашались: механизировать труд рабочих, конечно, нужно. Однако значит ли это, что у машины должен отрасти слоновый хобот?

Трудно сказать, долго ли еще носился бы наладчик станков со своими замысловатыми детищами, если бы инженер цеха, в сотый раз выслушивая доводы Иночкина, не посоветовал ему однажды подсчитать стоимость одного механического работника. Тут же они вместе прикинули цену нужных деталей, и из длинных столбцов чисел сложилась пугающая цифра: что-то около десяти миллионов рублей. А ее еще нужно было умножить на десять — столько станков обрабатывали деталь.

Иночкин как будто притих. Он туго свернул чертежи, сделанные на обороте плакатов с призывом вступить в МОПР, обвязал их бечевкой и ушел.

Но скоро он опять появился в кабинете инженера.

Железный рабочий на бумаге приобрел за это время ноги и стал удивительно подвижным. Старым роботам не хватало, оказывается, сноровки. Один механический оператор будет теперь обслуживать все десять станков. Закрепив заготовку на первом станке, робот поспешит ко второму, примет обработанную деталь и передаст ее дальше...

Дотошный инженер поинтересовался: а как, скажем, быть, если два станка закончат работу разом? Одному из них придется, видимо, ждать, пока робот обслужит соседа. Понимает ли дорогой изобретатель, сколько времени простоит машина? Убыток будет почище прежних десяти миллионов.

Иночкин осторожно прикрыл за собой дверь. А на улице, таясь от прохожих, швырнул чертежи в мусорный ящик.

Безоговорочная гибель железного робота, казалось, изменила характер самого Иночкина. Он не досаждал больше своими фантазиями, утих, угомонился, перестал быть притчей во языцех. Поступил на рабочий факультет. Во время обеда, жуя хлеб с воблой, читал учебники.

— А сам, — вспоминает сегодня главный конструктор отдела автоматизации, — сам страдал. Видно, предчувствовал, что навек одержим страстью переделывать станки.

Не раз наблюдали товарищи по цеху, как, ремонтируя станок, парень присаживался на корточки и в засаленной книжке огрызком карандаша рисовал эскизы машины. Еще не было в этих эскизах ни точности, ни масштаба. Но молодой рабочий изо всех сил старался уловить, нащупать, понять логику и «душу» механизма.

Он получал очередной наряд. Шел в цех. Не спеша, очень тщательно налаживал станок. Уступал место рабочему, отходил на два шага и глядел.

Вспыхивала, закипала, вьюном серебрилась стружка. А руки человека в это время без дела лежали на рычаге, ждали, пока резец окончит свое дело. Удивительно гибкие, разумные руки рабочего делали обидно однообразные движения: дождавшись, пока резец отойдет от заготовки, снимали деталь; брали новую заготовку, включали мотор, снимали деталь. Заготовка, мотор, деталь...

Посмеявшись вдоволь над неудачным механическим «хоботом», бывшие противники Иночкина рассказывали далее, как года полтора спустя, казалось, совсем успокоившийся Иночкин опять появился в кабинете инженера и развернул на столе лист бумаги.

Инженер поинтересовался, не третий ли вариант механического робота принес изобретатель. Но Иночкин сказал, что роботы приказали долго жить, а он придумал

всего лишь «путеводитель для деталей». И объяснил, что, прикидывая, как бы избавить человеческие руки от пустой, неразумной работы, он понял наконец, что в цехах неправильно стоят станки. Инженер ласково улыбнулся, любопытствовал, почему же, по мнению товарища ремонтника, плохо расположены станки в цехах современных предприятий.

Товарищ ремонтник, водя согнутым пальцем по чертежу, рассказал, что станки в цехах стоят сейчас, как солдаты на рапорте, «лицом к начальству», и потому деталь, сворачивая к рабочему органу машины, делает каждый раз «зигзаги». Но достаточно повернуть станки на девяносто градусов, выстроить их «в затылок друг другу», как деталь сможет пройти через все станки «насквозь»,— это и будет хорошим для нее «путепроводом».

Инженер поморщился от такой вольной терминологии и спросил Иночкина, не желает ли он, короче говоря, вместо расположения станков параллельно технологическому процессу развернуть их перпендикулярно.

Выяснилось, что этого как раз Иночкин и желает, потому что новое расположение позволит обыкновенной ленте крючкового транспортера, никогда прежде для того не применяемой, понести деталь от станка к станку.

Инженер попросил Иночкина оставить свои чертежи, ибо революции в технике за пять минут, надо полагать, не делаются.

Иночкин с этим согласился. Он ждал две недели, потом начал навещать все чаще и чаще, пока не услышал, что «молодому не пристало ворчать, как девяностолетнему». И тогда, отпросившись у мастера на полчаса, он отправился в райком партии.

После звонка из райкома чертежи Иночкина вдруг начали быстрое путешествие с одного письменного стола на другой, пока не легли однажды на зеленое сукно длинного стола в кабинете главного инженера, где собирались обычно серьезные технические совещания.

Совещание на этот раз длилось особенно долго. Одни были «в принципе «за», другие «в принципе «против». Иночкин пристально вглядывался в каждого выступающего. Когда наконец решили испробовать идею в металле, он насупил и спросил, приступать ли ему завтра к нарядам или идти заниматься автоматизацией.

Один из старших инженеров объяснил Иночкину: если каждый, бросив работу, пожелает заниматься своими проектами, то кто же, спрашивается, будет делать на тракторном заводе тракторы? Пусть уж он доверит свое детище специалистам.

Иночкин насупил еще сильнее и согласился участвовать в наладке линии после рабочего дня.

Инженер попросил его не капризничать.

— Загубите дело,— страдая, сказал Иночкин.— Загубите ведь, раз с прохладцей беретесь...— Он вытянул из-под чужого локтя чертежи и пошел из кабинета.

На другой день Иночкин не явился на завод. Кто-то заглянул на квартиру справиться, не заболел ли он, и узнал, что изобретатель ночью, нагрузив баул бумагами, выехал в Москву.

А через неделю на завод пришло категорическое предписание начальника главка строить автоматическую линию, предложенную товарищем Иночкиным Иваном Петровичем. И директорский приказ объявил о введении на СТЗ новой должности заводского изобретателя...

На сотни километров протянулись сегодня подвижные ленты транспортеров; стальная паутина монорельсов и подкрановых путей густо обволокла заводские цехи; то тут, то там тускло отсвечивают скользкие рольганги. Пята формовочного автомата тяжело встряхивает «вылепленную» под заливку опоку, и массивное «блюдо», вращаясь, услужливо передает их ползущему к огненным ковшам транспортеру. Слаженно действует в цехе пусковых двигателей автоматическая линия Иночкина — вторая по счету, заменившая разрушенную в годы войны первую линию и в свою очередь готовая уступить место новым, еще более эффективным механизмам.

Осталось лишь в истории техники детство автоматизации, и не куца, как двадцать лет назад, горстка автоматизаторов работает на Сталинградском тракторном. На третьем этаже, над сталелитейным цехом, добрый десяток комнат занимает отдел автоматизации и механизации, учреждение, именуемое ОМА.

Я попал на завод в день, когда родоначальник этого отдела Иван Петрович Иночкин с утра ругался на совещании с представителем технаба. Поджидая, куда кончатся их споры, я заглянул к главному инженеру завода Михаилу Степановичу Сидельникову в надежде выяснить подробности последних работ Ивана Петровича. Здесь-то и прозвучал осторожный совет «а не пишите вы о нем», и короткая официальная похвала Иночкину не спрятала едкой и неловкой для присутствующих недоговоренности.

Так впервые мне довелось столкнуться со сложными и трудными взаимоотношениями между двумя заводскими работниками — талантливым конструктором и опытным инженером, — узнать о давних, затянувшихся разногласиях.

А позже во всех деталях рассказывали мне тракторостроители, как в парткоме шло очередное совещание, и вдруг распахнулась дверь, Иночкин, задыхаясь от быстрой ходьбы, опустился на случайный стул, сказал парторгу Королеву:

— Сидельников... главный инженер... грозит ликвидировать все...

Вспоминая сегодня об этом случае, происшедшем несколько лет назад, люди советуют взглянуть на доживающий последние дни механизм, послуживший поводом для ссоры с главным.

Вас ведут в сталелитейный цех и останавливаются у площадки, возле которой бьет в лицо удушливый жар. Четверо рабочих затаскивают на площадку крючками полную трамбованной земли опоку. В буйной тряске освобождается она от земли, и рабочий, тяжело отгибаясь назад, вынимает алеющую углем отливку, цепляет ее на крюк — розовую, длинную, напоминающую мясную тушу. Половинки опок, стаченные на рольганг, ползут обратно к формовочным машинам, а над площадкой остается дерущий горло дух земли и огня.

— А теперь сюда...

И вы видите человека, сидящего за пультом в отдалении от площадки. Наполненный землей и сталью железный ящик, потанцовывая, сам заползает на решетку, заодно сталкивая на конвейер пустые половинки предыдущей опоки. Поворот рычага — и ящик начинает трясти. А затем алеющая отливка, освобожденная от земли, подымается на ступеньке эскалатора вверх, выезжая к цепи с крюками.

— Фордовцы к нам наведывались, сильно этой штуке завидовали, — говорит спутник. — Очень скоро мы и остальные конвейеры на автоматическую выбивку переоборудуем... А тогда при наладке автомат сильно капризничал. Люди тут сутки напролет проводили...

Трудно сказать, когда начал Иночкин, по выражению главного технолога, «работать на металлурга», когда он впервые разглядел запущенную целину литейного дела и суровый, не по нынешнему советскому веку, труд литейных рабочих.

Еще в сорок первом году предложил Иночкин уничтожить ручную выбивку опок, не расставался с этой идеей в военные годы, но потом, когда пришло наконец время облечь заветные мысли в металл, оказалось, что многое еще не додумано, не рассчитано.

Об установке говорили на собраниях, говорили с нетерпением и досадой, девица — секретарь начальника цеха — бегала за Иночкиным по несколько раз на день. Он покорно шел в конторку, отирал о штанину руку, брал трубку — обещал, соглашался, молчал, но, вернувшись к конвейеру, забывал обо всем на свете.

Об упреках и предупреждениях вспоминал Иночкин на рассвете в те редкие дни, когда удавалось поспать лишнего полчаса.

Звонки в цех на время прекратились. Иночкин забыл о них. Продолжались трудные дни, установка не ладилась, пустые опоки не находили себе дороги к формовочным машинам. Вот тогда-то в сталелитейном и появился главный. Зайдя, видимо, на минуту, не расстегивая, несмотря на жару, кожаное полупальто, он остановился у площадки и легонько ударил башмаком мертвую ленту транспортера.

— Подсчитал бы, сколько стоит твоя партизанщина! — крикнул главный, завидев Иночкина. — Первый убыток ты на заводе. Словом, давай кончай фантазию. Освобождай цех. Сейчас такелажников пришлю.

И прислал. Вот тогда-то Иночкин вырвал у рабочего лом, выругался и побежал к парторгу Королеву.

Обиды Иночкин не затаил. Встретив через неделю парторга и заташив его поглядеть, как без усилий человека сама пляшет выбивная решетка, он не завел никакого разговора о выходке главного.

А когда спросил про то сам Королев, Иночкин сказал, что главные — они в мечтатели обычно не годятся, программа — вот вся их забота.

— Философом становишься, — отметил Королев.

Иночкин в эти дни отдыхал душой. Он ходил умиротворенный и тихий. Казалось, не замечал, что на дверях его комнаты вместо таблички «Начальник ОМА» появилась длинная, в три строки, тушью выведенная надписка «Главный конструктор ОМА И. П. Иночкин» — единственная на этаже табличка с фамилией и инициалами, как будто это должно было облагородить самый факт перевода Иночкина на новую должность, чуть пониже.

Впрочем, должностное перемещение мало что изменило: начальником отдела стал Петр Алексеевич Бирин, знающий Иночкина с тех самых пор, когда Бирину, инженеру завода, передали одобренные Москвой проекты наладчика станков. Петр Алексеевич успел за эти годы полюбить Иночкина, и между ними сложились редкие отношения человеческого взаимопонимания и душевного родства.

Случалось, Иночкин увлекался, снимал в цехе монтажников с одной работы и посылал на другую, но потом при людях непременно винился в том, что полез по старой памяти не в свои — в административные заботы. Но Бирин всякий раз, словно приглашая присутствующих посмеяться над ненужной скромностью Иночкина, говорил:

— Прибедняешься, Иван Петрович, а?

Порой Иночкин спорил с Бириним. А тот молчал или пробовал шутить, оставляя дело до тех пор, пока Иван Петрович придет спокойный, уравновешенный и податливый. Но в хорошие минуты Бирин наслаждался, глядя, как под карандашом бывшего слесаря лепится новая мысль, лепится объемно и выпукло, тут же, на бумаге, обрастая деталями и подробностями, и ложится на лист не осторожный первоначальный набросок, художочный и плоский, как тень, а осязаемая машина. Бирин знал, что подобное видение будущей новинки не по плечу многим дипломированным инженерам.

...Только вошли в быт пляшущие без рабочих опоки, как Иночкина захлестнула новая идея. На пути металла, побывавшего на выбивной решетке и остывшего в недолгом путешествии по цеху, вставал круг наждачниц. День-деньской дико визжали в цехе абразивные «колеса». Здесь выравнивались отлитые траки, приобретали predetermined проектом размеры. Иночкин взялся освободить цех от наждачниц; он придумал простые стальные диски, трущиеся о деталь и жаром трения сплавляющие с нее лишний слой металла.

Главный инженер забрал чертежи дисковых полуавтоматов, обещал при первом же случае рассмотреть их. А на очередном совещании, лишь только слышались обычные жалобы на работу наждачниц, главный встал и весело сказал, что недолго осталось цеху терпеть абразивы. Он может доложить товарищам, что завод имеет хороший план автоматизации обработки литья. Иночкин покачал головой, дивясь неожиданной поддержке главного, а тот развернул кальку и стал рассказывать о проекте одного из специализированных московских институтов, предлагающем «обтачивать» деталь электрической искрой — метод вполне научный, прогрессивный, интересный и, с его, главного инженера, точки зрения, безусловно верный.

Против плана москвичей возразил начальник сталелитейного цеха, маленький худощавый и резкий Ключкин.

— На сегодняшний день литейка — это грязь, — сказал он. — Земля и огонь. Тут выносливая вещь нужна. Прогрессивные мысли — добро. Только мимозы на литейке не привьются.

Водя по кальке тупым концом карандаша, главный инженер стал перечислять прелести институтского станка: три тысячи траков в день, электрическая искра — благо, данное нам наукой. Он пригладил рукой волосы и вспомнил: лежит у него, правда, и другой проект, сработанный Иночкиным. Полез было в нижний ящик стола, но передумал — мол, все эти премудрости и так помню: операцию выполняют два станка вместо одного. У москвичей — пятнадцать тонн веса, а здесь все пятьдесят. Каждый институтский станок в день дает три тысячи траков, а здесь оба пять... А разборка! Ведь в машину Иночкина — акробату залезать. Кран-балку для этого ставь. Или визг! Мало наждачниц наслушались?..

— Не будет визга, — возразил Бирин. — Кожух для этого поставлен.

Присутствующие молчали. Иночкин потер ладонью глаза, зевнул. Бирин, наклонившись, спросил шепотом: «Станешь выступать?» Иночкин не ответил.

Машины Иночкина принялись строить заводские ремонтники. Москвичи прислали для испытания несколько своих станков. Их без промедления водворили в цех, и главный пошел проверить, как разместили «гостей». Он встретил здесь Иночкина, взял его под руку, повел к пролету и примирительно сказал:

— Видишь, Иван Петрович, с московскими станками заводу и возиться не пришлось, а на твои ремонтно-механический свой горб гнет.

Иночкин высвободил руку, сказал, что жизнь их еще рассудит, и, не дослушав главного, пошел прочь. В эти дни Иночкин превратился в агента по снабжению. Он бегал, просил, ругался, оскорблял людей в глаза и за глаза, до ночи торчал в ремонтно-механическом и пугался, видя, как медленно строятся его станки.

Главный инженер ни разу не спросил о новых станках. Он отказался дать им место в сталелитейном цехе для окончательной наладки.

Иночкин пожаловался Королеву. Тот поднял трубку.

— Цех против, — процедила мембрана. — Не принимает затею Иночкина.

Королев позвонил Клюкину.

— Найдем место, — сказал он. — Только ты, Михаил Иванович, с главным договорись. Он опасается: машинка Иночкина план сорвет. Правда, можем мы ее пока в поток не ставить. Рядом расположить...

Королев пошел к главному. Встретил Бирину, прихватил с собой. Сидельников молча выслушал их. Вдохнул и проговорил, переводя взгляд на Королева на Бирину:

— По правде, все мы тут кругом перед Иночкиным виноваты. Его бы в свое время учиться послать. Был бы инженером. А теперь мы благотворительностью занимаемся. Хотим почет человеку сохранить. Да разве я против почета? Но ждать от самоучки...

Королев перебил:

— Михаил Степанович, ты в Иночкина не веришь?

Сидельников не ответил. Королев произнес негромко:

— Прощу тебя, Михаил Степанович, не тяни со станками. Эта синица в руках с любым журавлем потягается.

...Станки заработали: московские и многострадальные Иночкина. Московские, с виду красавцы, то и дело останавливались. Рушился контакт, попадала внутрь земля, грязь. Машины Иночкина — два высоких железных шкафа — «мололи» сталь без устали. Рабочие смеялись: «Ломовики!»

Вызвали представителя института. Он с полчаса не отходил от своего станка, долго возился у машин Иночкина. Потом в кабинетике ОМА собралось много народу. Пришли Бирин, Клюкин, Королев. Представитель института сказал:

— Как говорится... положи руку на сердце... Машинка Иночкина вернее... А?

Иван Петрович поглядывал в окно. Между строениями светло рябила Волга. Тянуло сзади холодком. Он сидел в одной рубашке, ежился. Наконец догадался — стянул со спинки стула пиджак. Но не надел его, а поднял рукав, показывая людям следы от пуговиц.

— Оторвались, а хозяйка больше не пришла. «Зачем, — говорит, — они здесь? Попусту висят». Сравню эти пуговицы с иной автоматизацией. Мигает она, светится лампами — как небо в звездах. Красивая... А зачем все это тут? — Он помолчал. — Автоматизация должна быть научной, техничеcки передовой... Но не кафедральной. Простой

до крайности. Можешь механизм не ставить — не ставь. Автоматизация должна быть выносливой и не парадной. Ей в цехе жить...

О полуавтоматах, обрабатывающих литье трением, написали «Правда» и «Промышленно-экономическая газета», а через неделю на небольшой, залитый тушью стол в кабинетике Иночкина легла первая пачка писем.

Солидными сине-красными шапками глядели бланки «Уралвагонзавода», «Кузбасс-электромотора», предприятий Подмосковья и Дальнего Востока, Украины и Алтая. Главный инженер Уральского завода писал, что с удовольствием прочел статью в «Промышленно-экономической», а главный инженер из Новосибирска пообещал прислать в Сталинград представителя, ибо «в распространении машины заинтересованы многие заводы». Приходили немногословные телеграммы: «Ускорьте высылку чертежей». Почта принесла послание от дирекции Всесоюзного института научной и технической пропаганды: «Не составите ли статью для нашего Бюллетеня?», а через день еще два аналогичных приглашения — от главного инженера Ленинградского Дома научной пропаганды и главного редактора Центрального бюро технической информации.

Иночкин складывал письма в одну стопку, придерживая дужку очков, читал: «В ГНТК СССР обратился президент Ассоциации промышленно-технического сотрудничества между Японией и СССР — г-н Комине — с просьбой выслать для опубликования подробные данные о созданном Иночкиным полуавтомате со специальными дисками для обработки трением шарнирных соединений звена гусеницы... Учитывая желательность установления связей...»

Иночкин ищет взглядом: кому же адресовано письмо? Вот оно, сверху: «Главному инженеру СТЗ тов. Сидельникову М. С.» Рядом торопливая резолюция: «Т. Бирин, срочно зайдите». Под словом «срочно» — две жирные черты. Сразу видно: пером вела рука нервного, обеспокоенного человека. Что ж, Иночкин понимает переживания главного инженера...

Разве когда-нибудь считал Иночкин Сидельникова бесталанным, ограниченным работником? (Об этом был у нас с Иваном Петровичем долгий разговор накануне моего отъезда из Сталинграда.) Нет, Иван Петрович отдает должное наметанному глазу, технической эрудиции и крепкой воле Михаила Степановича. Знает Иночкин, чем главный инженер вправе гордиться, что ему создало авторитет. Одного лишь не может простить ему: глубокого убеждения, будто конструктор ОМА — шальной в технике партизан, ловкий мастеровой, кустарь, не сведущий в науке. Горчайшая обида для человека, который всю жизнь тянется к каждой свежей научной мысли, до зари перелистывает специальные журналы, готовый, как двадцать лет назад, откликнуться на первый же заманчивый послужил ученого, но, обогащенный опытом, умеющий сегодня ценить только надежные и жизненные советы. Случись когда-нибудь откровенная беседа между Иночкиным и Сидельниковым, узнал бы главный инженер, что карандаш Ивана Петровича уже набрасывает эскизы машин, штампующих полужидкий металл. Появятся они — придется поставить крест на всех предыдущих работах Иночкина. Но сегодня такие машины — забота лишь самых смелых и передовых научных лабораторий.

Иночкин откладывает в сторону письмо из ГНТК, достает из ящика еще вчера полученную записку, перечитывает ее, и на чистый лист бумаги ложатся косые строки, адресованные Минскому совнархозу: «Житель Минска товарищ Козловский предлагает сделать специальную гусеницу для пахоты без плуга. Автор просит содействия. Думается, что идея эта заманчивая и в принципе возможная. Член технического совета Сталинградского совнархоза Иван Иночкин».

...Месяца два испытывали на заводе первые станки, обрабатывающие литье трением, после чего дирекция решила поставить в сталелитейном цехе еще три такие же линии. Решение руководства завода совпало с газетной информацией о предстоящем Пленуме Центрального Комитета партии, посвященном проблемам механизации и автоматизации.

Сообщение о Пленуме очень взволновало Иночкина.

Спозаранку, едва заглянув на завод, спешил он к автобусу, минут сорок тряся до центра, переживая, что зря пропадает столько времени. Выходил на Баррикадной, шел к светлому, школьного типа зданию совнархоза, усаживался на стул в приемной заместителя председателя и, терзаясь все тем же — пропадает день, — подолгу ждал.

Ночью, в автобусе, в совнархозе он обдумывал свою идею, не очень новую, вознившую поначалу робко и предположительно, но в последнее время, что называется, подступившую к горлу.

Частенько споря с Бириным по мелочам, ругаясь и нервничая, Иночкин сознавал в глубине души, как трудно приходится его начальнику. Конструкторы ОМА слишком часто вынуждены были снимать с досок неоконченные чертежи автоматов, для того чтобы срочно завершить проект подъездного пути, монорельса или кран-балки.

Конечно, малая механизация предприятию необходима, без нее далеко не уедешь, но объективно получалось, что монорельсы и кран-балки отнимали у людей слишком много сил и времени, мешали им целиком заняться большой автоматизацией.

Иночкин все чаще делился с сотрудниками мыслью об учреждении при совнархозе специального центра, состоящего из конструкторов и инженеров, точно «шупальцами» связанного с предприятиями заводскими ОМАми. Этот центр надо оснастить производственной базой, придать ему два-три необходимых завода, а главное, организовать разумное и деловое кооперирование предприятий, чтобы все они принимали посильное участие в автоматизации промышленности совнархоза.

Иночкин заходил к начальству. Его радушно встречали. Усаживали. Выслушивали. Кивали: «Да, да, хорошо бы». Только денег вот нет. Средства не позволяют. Начальство вызывало соответствующего работника, Иночкину показывали письма в Москву. Подробные, длинные, просительные. Иван Петрович читал их, вздыхал. Потом накалялся и выкладывал начальству, что бумаги в верха писать — легче всего, понимает ли заместитель председателя совнархоза, сколько всевозможных бумаг ежедневно свозит в Москву почта? Неужто сами-то они хорошее дело до ума довести не могут? Вот если бы на местах меньше писали, смелее бы действовали...

Он выходил из кабинета, шел в приемную побольше — к самому председателю, снова ждал.

Председатель слушал Иночкина долго, внимательно. Потом говорил, что такой центр по автоматизации — вещь, видимо, полезная. Но в деле автоматизации есть своя очередность, свои этапы. Сегодня надо укреплять заводские бюро и отделы. Помнить надо и о многоотраслевом хозяйстве.

— А может,— размышлял вслух председатель совнархоза,— создать при областном институте технологии машиностроения специальный отдел автоматических линий? Да перебросить тебя туда?..

Иночкин молчал.

— Над чем мозгуешь? — тихо спрашивал председатель.

Иночкин долго глядел на него. Будто примерялся: «Стоит ли?» Потом ронял:

— Штамповать бы не оставший еще металл. Чтобы всю металлообработку побоку...

— Да,— мечтательно соглашался председатель.

Иночкин уходил. Снова трясся в автобусе. Закрыв глаза, думал: «При институте технологии... Не заглухнет ли?»

Перед самым июньским Пленумом ЦК Иночкина вызвали на заседание пленума Сталинградского обкома партии. Он сел в первом ряду. В перерыве окликнул председательствующего: «Запишите и меня».

...Я был на пленуме. Видел, как встал Иван Петрович и пошел к трибуне. В большом, просторном зале он шел чуть пригнувшись, как привык пробираться между транспартерами и цепями в тесном цехе. Он шел по гладкому, зеркалом отливающему паркету, а я думал о том, что в самые трудные свои минуты Иночкин всегда обращался за помощью к партии. Когда пылью начал покрываться в столе инженера проект первой линии, когда бежал к парторгу Королеву, когда не нашлось в цехе места для новых дисковых полуавтоматов...

Иночкин поднялся на трибуну — пожилой, многое испытавший человек, оставивший позади не один рубеж. Жизнь не баловала его легким счастьем, победы давались ему не просто, и все-таки каждый раз он оказывался победителем. Не оттого только, что хватало ему личных сил и личной отваги, но потому, что впервые в человеческом мире победа в борьбе за новое стала общей страстью и общим делом множества людей.

Иночкин грузно, всем телом, оперся о трибуну. И мне показалось, что это уже третий Иночкин — не драчливый юноша-фантазер и не пожилой хозяин маленького кабинета, а человек, встретившийся с самыми родными и справедливыми, с теми, кому безраздельно доверяешь, с кем не страшно выйти в трудный жизненный путь — тернистый, до боли радостный, опьяняющий и бесконечный путь изобретателя...

Иночкин обвел глазами зал и заговорил...

А. Борин.

2. ЛЕОНИД ЛАЛЕТИН

Токарь Леонид Константинович Лалетин демонстрировал изобретенный им электронный микрометр — точнее, первую модель своеобразного измерительного прибора, похожего с виду на телевизор. Интерес к созданной токарем электронно-счетной машине был столь велик, что в тот день на Кировский завод съехались представители крупнейших предприятий Ленинграда. Прибыли сюда, в цех автоматки, также руководители обкома и горкома партии. Хорошая сотня гостей сомкнулась плотным полукольцом у токарного станка. Обработывая сложную деталь, Лалетин замеривал ее в мгновение ока с точностью до пяти сотых миллиметра — на ходу. Да, вопреки обыкновению, не понадобилось тратить драгоценные минуты, то и дело останавливая станок и без конца нагибаясь, «кланяясь» деталям, чтобы производить замеры. Достаточно было время от времени бросить взгляд на экран прибора: цифры под вспыхивающими лампочками позволяли моментально сделать в уме нужные подсчеты.

Оригинальный прибор, портативный и простой в обращении, одобрили, хотя он еще нуждался в доработке. Никто не сомневался: электронный микрометр облегчит труд станочников, позволит им сберечь немало времени.

Все же я, признаться, куда пристальнее, чем к работе прибора, присматривался к самому изобретателю. Уже несколько лет следил я за тем, как растет в труде этот молодой, тридцатилетний рабочий, недавний колхозник, а все-таки не предполагал, что он так широко шагнет.

Мы снова встретились с Лалетиним у него дома — в просторной, по-холостяцки скудно обставленной комнате, заваленной книгами. Сосредоточенный и почти всегда молчаливый в цехе, Леонид Константинович оживился, когда зашла речь о его родном селе Вожгалы, неподалеку от Кирова, о колхозе «Красный Октябрь».

— Есть на севере такое слово — «вожгаться», — заметил Лалетин. — Оно у нас означает: биться над чем-нибудь. Деды мои это слово хорошо знали. От него, говорят, и пошло название нашего села.

Вятские суглинки давали до революции сам-три, в лучшие годы сам-пять, притом у многих и вовсе не было своей земли. В земских статистических отчетах писалось, что основное занятие здешних крестьян — нищенство и отхожие промыслы. В поисках заработка крестьяне чаще всего уходили на кожевенные заводы или в услужение, работая подручными в ресторанах Казани, Нижнего Новгорода, в буфетах на пароходах, что курсировали по Вятке и Волге. А те, кто оставался, «вожгались», бились в еще большей нужде, прозябали в темноте и невежестве, зачастую изводили друг друга в мелочной вражде. Мать Лалетина рассказывала, что, уже став колхозницей, купила своему престарелому отцу кровать. Так он на ночь постель стащит, а дерюгу постелит — так привычнее... А после Октября жизнь в Вожгалах развернулась по-другому. В двадцать четвертом году рядом, в деревне Чекоты, возникла сельскохозяйственная артель «Красный Октябрь». Ныне ее знают далеко за пределами Кировской области, а восемнадцать колхозников там заслужили звание Героя Социалистического Труда.

Больше десяти лет назад это звание присвоили и матери Леонида Лалетина — Екатерине Григорьевне, с довоенной поры возглавляющей полеводческую бригаду. Отца его, Константина Григорьевича, односельчане прозвали «инженером». По его проектам в колхозе построили гидростанцию, водонапорную башню, мельницу, крахмало-паточный завод, жилые дома, Дом культуры.

Лалетины вступили в колхоз в двадцать девятом году. Леониду было тогда лишь несколько месяцев от роду. И он рос вместе с колхозной новью. Деревни Колосово, Шмониha, Казенная с вросшими в землю, покосившимися избами, крытыми соломой, просто-напросто снесли и вместо них построили новый поселок. У слияния Селюги и Лебедки — близ того места, где чекотские и корякские мужики некогда шли стеной друг на друга из-за выгона, — в тридцать шестом году воздвигли в лесу колхозный дом отдыха, превращенный потом в санаторий. На берегу Быстрницы поставили ремонтно-механическую мастерскую, где Леонид впервые увидел станки.

Появился в селе и Дом юного техника. Здесь, в мастерской, Леонид, став школьником, научился делать планеры и модели самолетов, потом сконструировал телескоп, микроскоп, несколько диковинных приборов. Вдвоем с товарищем изготовил детекторный радиоприемник.

В годы войны, когда работоспособных мужчин почти не осталось в деревне, Леонид, едва окончив пятый класс, попросился в ученики на электростанцию. Спустя некоторое время он стал заправским монтером, ему доверяли дежурство у распределительного щита.

Однажды на соседней электростанции, обслуживавшей бригаду матери, случился пожар. Выбыл из строя локомотив. Вдвоем с товарищем Леонид взялся за капитальный ремонт локомотива.

— Еще и сейчас страшновато, как вспомню. Разбираю, а сам дрожу — как бы перепутать детали, не позабыть, что куда приладить. Боялся, не выйдет ли так, как стряслось когда-то с нашим первым трактористом. Он ремонтировал первый в нашем колхозе «Фордзон-Путиловский», а после сборки у него целое ведро болтов и гаек осталось...

Лалетин предложил: пусть каждый механизатор-комсомолец овладеет второй профессией. Сам же и подал пример: хорошо освоил специальность токаря. Научился слесарничать, плотничать, проводить электричество, ездить на мотоцикле, водить трактор и автомашину. Юноша бредил авиамоторами, диковинными механизмами, небывальми электростанциями. Леонид узнал: разницу в температуре речной воды и воздуха можно использовать для получения энергии. И уже не было покоя: этот дар природы должен питать станцию. Однако в Министерстве электростанций СССР лалетинский проект забраковали, пояснив автору: идея правильна, но не осуществима, так как в двигатель для небольшой колхозной электростанции придется вогнать столько же металла, сколько в турбину на сто тысяч киловатт.

Но письмо из Москвы оставило глубокий след. За незрелостью проекта министерский работник, очевидно, разглядел способности молодого монтера, переведенного в механики, и к отрицательному техническому заключению сделал приписку: «Обязательно учитесь, тов. Лалетин!»

В двадцать один год Леонид экстерном сдал экзамены за семилетку. Осенью сорок девятого года поехал в Москву, мечтая поступить в техникум. Но не приняли — в учебных заведениях еще было плохо с общежитиями. То же произошло в Ленинграде.

— Снимать уголь, брать деньги у родителей не хотелось. Я подумал: потерплю годик с учением, а пока двину на большое предприятие. На мое счастье, Кировскому заводу нужны были токари...

Поначалу пришлось туго — хоть хватай чемоданишко и спеши домой. Оказалось, парень очень смутно представлял себе, что такое производительность труда: в ремонтно-механической мастерской колхоза не было ни норм, ни бесконечного разнообразия обрабатываемых деталей. Здесь же, в «турбинке» — механическом цехе, — деревенского парня встретили приветливо, доверили великолепный модернизированный

станок. Никого не смутило, что первую же деталь, которую дали обточить, новичок «запорол». Дальше пошло лучше. Но за соседями по станку Лалетин не поспевал и своей нормы, случалось, не выполнял, болезненно переживая это:

— Отставание было хуже наказания.

Леонид присматривался к соседям. Больше, чем у других, заимствовал у кадрового кировца Федора Андреевича Серегина.

Новичок выскивал брошюры новаторов, инициаторов скоростного резания металлов. Читал много, примериваясь, что можно бы применить и у себя на станке. И находил.

Лалетин не только читал об известных новаторах. Многих он мог узнать лично: они трудились в цехах Кировского завода.

Среди них — потомственный путиловец, фрезеровщик Иван Давыдович Леонов, ныне депутат Верховного Совета РСФСР. Он разрабатывал новые конструкции скоростных фрез. Многому научил и пример другого потомственного путиловца, тоже фрезеровщика, Евгения Францевича Савича. В отличие от Леонова, ушедшего в войну на фронт, Савич был оставлен на заводе, трудился под бомбежками, артиллерийскими обстрелами. В мирное время Савич, один из первых в стране скоростников, создал и возглавил бригаду творческого содружества рабочих, инженеров и ученых, обогативших производство ценными техническими новшествами. Этот почин подхватили, и с тех пор бригады творческого содружества изобретателей и рационализаторов стали множиться по всей стране.

Когда Лалетин стал кировцем, вошла в силу бригада творческого содружества Карасева — она создавала отличные конструкции режущего инструмента. Токарь-наладчик Владимир Якумович Карасев, ныне Герой Социалистического Труда, кандидат в члены ЦК КПСС, был воспитанником балтийских моряков. Семнадцати лет он участвовал в штурме Зимнего дворца. Потом дрался на фронтах гражданской войны вместе со своим «крестным отцом», флотским большевиком Якумом Гайдебуллиным. Якум погиб, и в память о нем Владимир стал называться по отчеству Якумовичем. Придя на «Красный путиловец» в годы первой пятилетки, Владимир Якумович овладел несколькими станочными профессиями, внес и внедрил много рационализаторских предложений. В годы Отечественной войны был то связистом на фронте у стен Ленинграда, то мастером в заводских цехах.

В цехе изготовляли бронзовые гайки. Резьба у них была не обычная, треугольная в разрезе, а в виде трапеции. Лалетин провозился с новым для него заданием целую смену — работа, как и у большинства остальных токарей, шла медленно. Пришлось взять под сомнение предложенные специалистами технологические приемы. Гайку обрабатывали поочередно двумя резами — прорезным и профильным. После долгих размышлений Леонид решил, что можно обойтись одним профильным резцом, хотя поначалу это никак не получалось.

Лалетин уже не в силах был сдаться. Он экспериментировал, менял форму реза. И добился наконец того, что поверхность детали получилась совершенно чистой. За смену удалось сделать девять гаек, тогда как другим — одну-две, а Серегину — четыре.

Занявшись резами с напаянными на них пластинками из твердых сплавов, Лалетин вновь нашел «упущенный резерв». В напайке образовывались микроскопические трещинки, из-за которых пластинки крошились, ломались. Как увеличить их стойкость и долговечность? Лучше всего избавиться от самой напайки. Леонид предложил свою конструкцию реза — с механическим креплением пластинок. Ее одобрили. Она вошла в обиход под названием «Резец Лалетина».

Счет рационализаторских новинок рос. Между тем Леонид пропустил уже одну осень и никуда не сдавал экзаменов, хотя раньше твердил, что обязательно найдет такое учебное заведение, которое сможет предоставить ему место в общежитии. Снова приближалась осень, а токарь и не думал об экзаменах. Им безраздельно завладела мысль о копире — приспособлении, с помощью которого на металлорежущих станках воспроизводят детали заданной формы. В цехе вытачивали седла клапанов — деталь

с криволинейной поверхностью. Скорость резания была невысокой. Много времени отнимали замеры — требовалась исключительная точность. Лалетин сконструировал бесхитростный копир, почти автоматически регулирующий движение резца. Деталь получалась точь-в-точь такой, как специально изготовленный по чертежу образец — шаблон.

Надобность в замерах отпала, скорость резания подскочила вверх. Применяв свой копир, новатор выполнил за смену восемь норм, через неделю — двенадцать, еще через неделю — почти двадцать две нормы. Такое и на Кировском заводе случалось не часто.

Только два года минуло с тех пор, как вождальского колхозника впервые пропустили в заводские ворота. А он оказался вдруг в центре внимания многотысячного коллектива. Ему, робевшему, когда надо было выступить на собрании у себя в цехе, пришлось теперь сделать доклад в заводском Доме культуры. Для внедрения копира кировцы создали бригаду, в которую вошли передовые станочники, инженеры, научные работники; возглавил ее двадцатитрехлетний токарь Леонид Лалетин. Его вместе с виднейшими новаторами включили в общезаводскую бригаду по обмену передовым опытом. О копире узнали далеко за пределами завода. Это новшество обсудили в бюро Ленинградского горкома партии. Лалетина вызвали в Москву, чтобы заслушать на заседании коллегии Министерства транспортного машиностроения СССР.

В послевоенный период наши ученые и производственники многого достигли в повышении скоростей резания металлов. На подавляющем большинстве предприятий благодаря этому резко сократилось машинное время — время, затрачиваемое на непосредственную обработку детали механизмов. Но зато еще сильнее прежнего бросалось в глаза, как неблагоприятно со вспомогательным временем, необходимым на то, чтобы установить деталь на станке, закрепить ее, затем снять, неоднократно замеривать, пока она обрабатывается.

Лалетина особенно удручала, даже возмущала, нелепая трата времени и усилий на замеры деталей: утомительные «поклоны» поглощают порой час, а то и полтора в смену. Как свести часы к минутам, а минуты — к секундам и долям секунды? Простейшие приспособления, рационализаторские находки уже не манили так сильно, как прежде: слишком незначителен был результат в сравнении с возможностями. Наука и техника позволяли добиться большего. Автоматизация, автоматизация, автоматизация — этим теперь бредил Лалетин. Замыслы теснились в голове, один лучше другого. Но все явственнее обнаруживался досадный разрыв между замыслами и знаниями, между опытом и образованием.

Продолжая работать в том же механическом цехе, токарь углубился в науку. Сначала увлекла оптика. И вот почему. Лалетин задумал сконструировать оптический прибор, позволяющий наблюдать за деталями, замерять их с пульта управления.

Знакомясь с устройством перископа и тому подобных приборов, налаживая эксперименты, Лалетин все же не забывал о копире. Перевел на обработку по нему свыше тридцати деталей с криволинейными и коническими поверхностями. Но для более сложных деталей — скажем, ступенчатых валов, шестерен, втулок — приспособление было непригодно. Новые, почерпнутые в книгах знания и помощь инженеров привели к созданию универсального копира, применимого для изготовления деталей с поверхностью любой формы. Это приспособление превратило обыкновенный токарный станок в быстродействующий полуавтомат. Кроме того, оно давало возможность начинающим рабочим выполнять задания, которые поручаются станочникам высокой квалификации. Универсальный копир превзошел все ожидания уже в «день рождения»: токарь дал за смену восемь с половиной норм. Это новшество сразу переняли на трех десятках предприятий.

А эксперименты с призмами и линзами? Оптический прибор, появившийся в цехе, действительно облегчал наблюдения. Но экран прибора не давал показаний приемлемой точности. Вторая конструкция, избавившись от главного недостатка, страдала другим: замеры длились слишком долго.

Это была полуудача, равная неудаче.

В то же время это была неудача, равная успеху.

Лалетин убедился, что производить замеры вручную все-таки незачем. Рабочий должен видеть все размеры на экране прибора. Только на смену сложнейшему сочетанию призм и линз надо призвать электрические импульсы — кратковременные толчки тока, широко используемые в радиотехнике и электронике.

Тогда-то и наступил черед изучению новейших отраслей теории и практики. Постепенно вырисовывались контуры необычного измерительного прибора — маленькой электронно-счетной машины.

Однако разрешат ли экспериментировать? Не спросят ли, что общего у токаря с электроникой? Ведь семиклассного образования далеко не всегда достаточно, чтобы управлять электронно-счетной машиной, тем паче изобретать нечто подобное. К тому же цех имеет свой план, свои задания, далекие от электроники. И так могло уже приесться, что он, Лалетин, нередко, выполнив до обеда свою норму, корпел затем над различными опытами, нанося ущерб цеховой программе: ведь он мог давать куда больше деталей. Правда, он наносил ущерб и самому себе — станочники получают с выработки, но это уже было его личным делом...

Отсутствие прямой связи между опытами и цеховой программой волновало, тревожило токаря. С каким лицом придет он к начальнику цеха Гелию Викторовичу Баженову, держа в руках список необходимых электронных ламп, полупроводников, радио-деталей и еще всякой всячины? Раньше руководители цеха охотно помогали и, если было нужно, сами хлопотали за новатора перед директором завода Иваном Сергеевичем Исаевым и главным инженером Алексеем Ивановичем Захарыным, перед снабженцами. Но тогда токарь не удалялся или не слишком удалялся от своей специальности. А теперь?

Когда мне рассказывали, как в «турбинке», в дирекции завода, в парткоме восприняли идею Лалетина, невольно вспомнилась история другого самородка — Ирвинга Зарицкого из романа американского писателя Митчела Уилсона «Жизнь во мгле».

Помните? Зарицкий был очень талантлив. В его проекте подвесного моста скрывалось нечто близкое к гениальности. Человек, не получивший технического образования, си, тем не менее, предложил новую конструкцию резца — точно такую, какую ценой упорных исследований разработал видный ученый Эрик Горин, главный герой романа. Но счастье улыбнулось Зарицкому лишь однажды. Да и то это была не улыбка, а злая усмешка судьбы. Зарицкому удалось продать лишь патент на игрушку — прыгающих лягушек. Изобретатель ожидал, что первый патент станет началом карьеры, но то был конец. Большая жизнь оказалась потерянной оттого, что никто ни разу не сказал:

— Творите, дерзайте, верьте в себя и других, вам помогут. Это нужно не вам одному, а народу, стране...

Лалетину тоже не говорили этих слов, но лишь потому, что не было необходимости говорить о само собой разумеющихся вещах.

Некоторое время он экспериментировал у себя в «турбинке». Затем, чтобы освободить его от производственной работы, не связанной с изобретательством, Лалетина перевели в цех автоматики, представляющей собой своеобразную научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую организацию с сугубо практическими целями.

Здесь изобретатель нашел новых друзей, с которыми, впрочем, был знаком и раньше. Самыми активными его сотрудниками стали начальник цеха Вячеслав Петрович Киселев и конструктор Борис Владимирович Бирбровер. Почти каждодневно помогали ему начальник конструкторского бюро Борис Григорьевич Барановский, механики высокой культуры Виктор Яковлевич Куман, Дмитрий Ильич Вихорев, Борис Сергеевич Синицын. Собственно говоря, помогали не только они: в создании электронного микрометра участвовал весь цех автоматики.

Когда я сидел у Лалетина дома, в высоком небе летел самолет. Порою Лалетин на какие-то мгновения отвлекался от разговора и, повернув вполборота голову к широкому окну, прислушивался к набегающему и замирающему рокоту: это осталось от дней юности с ее незабытой любовью к авиамоторам. Я не раз ловил себя на том, что тоже отвлекаюсь, на мгновения теряю нить разговора, но совсем по другой причине: старался представить себе, кем стал бы этот рабочий-

интеллигент, рабочий-исследователь, если бы жил не в наше советское время, а раньше, до революции.

Крестьянин, вынужденный «вожгаться» в батраках или на узкой полоске своей неблагодарной земли. Мастерской-отходник, от зари до зари занятый дублированием кож. Половой, прислуживающий в буфете на пароходе купцам-кутилам, презирая их и все же унижаясь перед ними. Человеком техники ему не стать бы: вся «техника» в деревне начиналась и кончалась у кузнечного горна. Правда, на пароходе или кожевенном заводе отходник мог увидеть машины и дойти своим умом до чего-нибудь нового. Что ж тогда? Ему ответили бы так, как ответило при царизме железнодорожное начальство Флорентию Ивановичу Казанскому, именем которого в советское время назван изобретенный им пневматический тормоз:

— Неудобно рядовому машинисту соваться в дело, которым занимается знаменитая американская фирма «Вестингауз» с ее превосходными инженерными кадрами.

Вот и тут, на Путиловском заводе, было не лучше. Потомственный рабочий, бывший помощник командира легендарного путиловского бронепоезда имени Владимира Ильича Ленина, ныне персональный пенсионер Петр Дмитриевич Никитин только накануне рассказал мне о том, как в начале века Путиловский завод получил заказ на артиллерийские орудия. Замки к ним должна была поставлять французская фирма. Когда прибыли первые несколько штук, в дирекцию позвали шестерых сметливых слесарей.

— Вот образец. Пошевелите мозгами и через две недели принесите русский замок, только смотрите, чтобы он не походил на этот образец.

Ровно через две недели уже испытывался оригинальный русский замок. Он ни в чем не уступал французскому. Трое руководителей Путиловского завода получили за это сто тысяч рублей. Изобретателей тоже наградили: их на несколько дней освободили от работы, одни получили по десятке, другие — по двадцатке...

Все семнадцать лет трудовой жизни Лалетина прошли в двух коллективах: в родном колхозе и на ленинградском заводе. Эти коллективы оба учат работать и жить по-ленински. Поэтому Лалетину не потребовалось «притирки» к высоким моральным нормам Кировцев. Все же его лучшие черты характера на Кировском заводе развились, упрочились. Вот хотя и не первостепенный, но характерный штрих. Сведущие люди утверждают, что Леонид Константинович мог зарабатывать гораздо больше, если бы не тратил много сил на рационализаторство. А когда чего-либо не хватало для опытов, токарь покупал необходимое за свой счет. И времени своего токарь тоже никогда не жалел для дела.

Лалетина уважают, им по праву гордятся, но слышит он не одни лишь похвалы.

Секретарь парткома Кировского завода Сергей Николаевич Калинин был все эти годы в курсе исканий и экспериментов, связанных с электронным микрометром, он много помогал Лалетину. Именно по инициативе Калинина токаря перевели в цех автоматки с его благоприятными для технического творчества условиями труда. В статье, опубликованной недавно в «Правде», секретарь парткома назвал Лалетина в числе тех Кировцев, труд которых стал выражением новых, социалистических отношений между людьми. Тем не менее Калинин огорченно говорил мне:

— У Лалетина много отличных черт, но, право, не знаю, сможет ли он долго быть настоящим новатором, раз застрял на семи классах и упорно не хочет идти учиться.

Я сослался на заводских специалистов, давно знающих Леонида Константиновича: по их мнению, он в некоторых отношениях «инженер без диплома».

Но Калинин стоял на своем:

— В некоторых отношениях? Это и свидетельствует о разбросанности знаний. В некоторых отношениях инженер, а в некоторых — семиклассник.

Добрейший Александр Александрович Сидоров, инструктор парткома по пропаганде и агитации, примирительно вставил:

— Он, кажется, хочет куда-то поступить...

— Слышали мы это и в прошлом году, — возразил Калинин и добавил, словно беседовал уже не с нами, а с Лалетиним: — Жаль, очень жаль. Наука и техника не

идут, а скачут вперед, за ними с семиклассной подготовкой не утонишься. Самообразование, конечно, сила. Но если идешь к большой перспективе, не обойтись без фундаментальных, систематизированных знаний...

Спустя несколько дней о том же завел речь Владимир Якумович Карасев:

— Не одобряю я его! Сколько с ним, с Леонидом, толковали и с глазу на глаз и на людях. В парткоме тоже убеждали, что диплом не бумажка. Поймет он со временем свой просчет, а будет, может, поздно!

Лалетин, к сожалению, рассудил по-своему:

— Работать вопсылы невозможно, работа отнимает почти все время, всегда о ней думаешь. Значит, совмещать ее с учением не смогу. Бросать все задуманное тоже нельзя, надо доводить до конца. Это же нужные вещи. А бросить все пришлось бы мне лет на десять, чтобы кончить вуз. Мне будет за сорок, и тогда начинать все сначала? Нет, работа, книги, консультации специалистов могут дать нужные знания... А в смысле общего развития... Что ж, я ей-ей не потонул в технике...

Некоторые кировцы критикуют Лалетина и за стиль его изобретательской работы. Мне говорили: мыслей и технических идей у него уйма, а поставить их в очередь друг за дружкой он не умеет. Разбрасывается, горячо хватается за идею, но порой бросает ее на полпути. Не исключено, что и оптический прибор напрасно заброшен. Одно время Лалетина одолевало желание использовать ультразвук в токарном деле: начал экспериментировать, и на том все заглохло.

— Скажу вам откровенно, с ним трудно,— пожаловался начальник конструкторского бюро цеха автоматики Барановский.— Мы друг друга не понимаем. Если у Лалетина не ладится, он сам-на-сам ищет лаз, мучится, теряет время. Мы привыкли к другому. Не получается — идешь за советом, к кому найдешь нужным, никто не откажет...

Лалетин порой не обращается за советом и содействием к товарищам лишь потому, что у него хорошие руки экспериментатора. Ему легче сделать несколько вариантов той или иной детали в металле, чем вести о ней, еще не существующей, отвлеченные разговоры.

Так или иначе, в критике и спорах слышится только товарищеская заинтересованность коллектива в судьбе, в успехах Лалетина.

Он чувствует это на каждом шагу.

— Критиковать-то не слишком критикуют, а помогают здорово. Мне очень много помогали, а без того не быть бы электронному микрометру...

Сейчас первая модель прибора, демонстрировавшаяся в прошлом году, уже позабыта. Позабыта и вторая. Окончательной стала третья модель. Крупное конструкторское бюро разрабатывает технический проект, с тем чтобы передать его в промышленность для серийного производства.

А Лалетин с головой ушел в новое изобретение.

— Это тоже будет электронно-счетная машина, да посложнее первой, совершеннее. Она превратит обыкновенный токарный станок в автомат. Токарь будет командовать с пульта управления и контролировать механизмы. В том и будет вся его забота...

Прощаясь с Лалетиным, я спросил, что еще им задумано.

— Рано пока перечислять,— извинился он и заговорил об изобретениях других кировцев, вообще о замечательных машинах, которыми обогащается, обогатится в семилетке наша страна.— Ладно пошло у нас. Не узнать будет наши заводы.— Сжав пальцы рук, спокойно лежавших на столе, мечтательно заключил: — Такая пойдет красота!..

Последние три слова поразили меня. Я готов был поклясться, что уже слышал их. Где? Я изводил свою память, но тщетно. А возвратившись в Москву, перелистывал напечатанный лет десять назад очерк Галины Николаевой о колхозе «Красный Октябрь», и набрел на такие слова бригадира Екатерины Григорьевны Лалетиной, матери Леонида Константиновича:

«— В посевную, конечно, беспокоишься — встаешь до зари. Иной раз выйдешь еще затемно, идешь, а кругом все яснее, светлеет, и вдруг разом прорвутся лучи, брызнут и заиграют в небе. Сперва в одном месте, потом в другом, потом повсюду загорятся облака, и такая пойдет красота...»

Да, оба они — и мать и сын — все силы, весь свой талант отдают тьме, чтобы краше жили люди на нашей земле.

С. Синельников.



В МИРЕ НАУКИ

Академик

А. Ф. ИОФФЕ,

Кандидат сельскохозяйственных наук

И. Б. РЕВУТ

★

ФИЗИКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Достижения физической науки являются основой технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Результаты исследований в области физики послужили научной базой для создания первой в мире атомной электростанции, строительства мощного ледокола, работающего на атомной энергии, запуска трех советских искусственных спутников Земли и трех космических ракет, одна из которых стала первой искусственной планетой, вторая достигла поверхности Луны, а третья — автоматическая межпланетная станция — совершила облет вокруг Луны.

Физика как наука давно стала теоретической базой развития нашей индустрии, транспорта, строительной техники. Идет ли речь о металлургических процессах, о холодной обработке металла, о радиоэлектронике или о применении полимеров в народном хозяйстве, — достижения физики оказываются в равной степени полезными и необходимыми. Каждый новый успех современной физики буквально на глазах становится достоянием нашей индустрии. Ультразвук, ультра- и сверхвысокие частоты, достижения в области полупроводников, в области изучения структуры вещества быстро и эффективно используются нашими инженерами и техниками. За последние годы физика уверенно прокладывает себе путь в медицине. Трудно представить современную клинику или другое лечебное учреждение без рентгеновских аппаратов, источников радиоактивных излучений и других многочисленных установок и приборов.

Физика проникает, хотя и медленно, в сельское хозяйство.

Особенно плодотворными оказались эти достижения в создании современных приборов, аппаратов и автоматов для сельского хозяйства.

Над этими проблемами в настоящее время успешно работают отдельные группы и целые коллективы ученых. И все же фронт этих работ следует признать слишком узким, особенно в свете тех больших задач, которые выдвинуты XXI съездом партии перед сельским хозяйством.

ФИЗИКА И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

Много проблем возникло в тридцатых годах перед молодой наукой — агрофизикой. Пожалуй, самая интересная и захватывающая была посвящена взаимосвязи растения со светом.

Без света нет зеленого растения. Но обязательно ли этим светом должен быть естественный солнечный свет? Быть может, продуктивный фотосинтез возможен на электрическом свете? Выяснение этого вопроса существенно способствовало бы пониманию наиболее важных функций растений. Хотя в этом направлении сделано еще

мало, но то, что сделано, не может не волновать. Оказалось, что почти все растительные виды хорошо развиваются в удачно подобранных электрических установках, — ими могут быть обычные лампы накаливания, зеркальные лампы, люминесцентные трубки, или, как их называют, лампы дневного света, и некоторые другие.

Под зеркальными лампами растения являют невиданную в естественных условиях скороспелость: они созревают вдвое быстрее, чем в наилучших полевых условиях. Томаты, например, созрели за 60 дней со дня получения всходов, огурцы — за 37 дней, различные сорта пшеницы — за 55—60 дней, хлопок — за 80 дней и так далее. Так появилась возможность за один календарный год выращивать по пять и даже шесть поколений растений. Нетрудно видеть, какие заманчивые перспективы открывают перед исследователем электросветокультура в области селекции и семеноводства, агрохимии и агрофизики. Светокультура как бы изменила календарь: она позволяет сократить год до двух месяцев.

Понятно, что установка с электролампами в самое ближайшее время должна стать достоянием любой биологической и агрономической лаборатории. Но при высокой цене на электроэнергию новый прием нерентабелен. Однако всюду, где киловатт-час стоит пять копеек и дешевле, его следует применять уже сейчас. Недавно в печати появилось сообщение о том, что на некоторых крупных гидроэлектростанциях проектируется сооружение киловатт-часа электроэнергии меньше одной копейки. В этом случае, скажем, килограмм томатов обойдется всего в два-три рубля. Это означает, что при небольших затратах можно будет ежедневно, независимо от времени года и от климатических условий, иметь к столу свежие томаты. Об этом раньше можно было только мечтать.

Уже сейчас новые приемы выращивания овощей все шире применяются в пригородных хозяйствах Москвы, Ленинграда, промышленных центров Урала, Сибири, Заполярья. Возможность выращивания растений целиком на электрическом освещении при постоянстве световых и тепловых условий позволила осуществить важные исследования, которые заставляют пересмотреть некоторые ранее существовавшие представления.

Результаты таких исследований должны быть использованы при составлении технических требований на электрическую лампу для растениеводства. Сейчас у физиков и физиологов растений накопилось достаточно данных, чтобы определить оптимальный световой спектр для растений. Задача состоит в том, чтобы совместно со светотехниками и электроламповой промышленностью разработать и выпустить такого рода лампы для широкого потребления.

В условиях электроосвещения удалось выяснить много других важных закономерностей, например, об оптимальном световом потоке для разных видов растений, о наилучшем соотношении между продолжительностью дня и ночи, об интенсивности растений в зависимости от световых условий.

Установлены любопытные явления, ранее вовсе не известные науке. Например, оказалось, что если растения выращиваются при определенной продолжительности дня и ночи, то они как бы «привыкают» к этому ритму. Так, если продолжительность дня составляет четырнадцать, а ночи — десять часов, то испарение воды растением (транспирация) продолжается эти же четырнадцать часов и практически отсутствует десять часов. Если по истечении нескольких часов дневного времени свет выключить, то растение продолжает транспирировать «по привычке» и в темноте, хотя в других условиях в темноте транспирация не наблюдается. Далее, если через шесть часов после наступления ночи (темноты) включить свет, то растение его «не замечает» и продолжает «спать»; транспирация не происходит.

Эти явления близко напоминают условные рефлексы у животных и хорошо регистрируются с помощью очень тонких измерителей, созданных В. Г. Кармановым. Приборы, установленные в непосредственной близости от листьев растений, легко могут «сообщать» о времени начала и конца транспирации у растений, а при применении соответствующих устройств эти же приборы могут «подать команду» о включении или выключении света. Это начало автоматики в теплицах, причем существенной частью такой автоматики служит само растение. Таким образом, применение электро-

освещения при выращивании растений уже сейчас приобрело важное научное и практическое значение.

Наряду с лучистой энергией важнейшими факторами жизни растений являются вода, воздух, теплота. В изучении и регулировании перечисленных факторов роль физики исключительно велика. Ей принадлежит весьма почетное место в регулировании водного режима почвы (законы капиллярного движения воды). На основе законов современной физики разработано учение о структуре почвы и ее роли в плодородии. Воздействием на структуру почвы удается регулировать водный режим, процессы воздухообмена между почвенным и атмосферным воздухом и ряд других процессов.

Весьма значительны результаты исследований физиков в области теплового баланса почв. До самого последнего времени обычно ограничивались измерениями температурного режима. Это относится как к агрономам, почвоведом, грунтоведам, так и к агрометеорологам. Не умаляя ценности знания температурного режима почвы для решения ряда весьма важных практических задач (возможность возделывания теплолюбивых культур, определение сроков посева, оценка различных агротехнических приемов и так далее), необходимо учитывать, что только такого рода измерения не позволяют делать прогнозы и глубоко понимать явления.

Поэтому следует признать в высшей степени прогрессивным новое направление исследований, предпринятое в последние десятилетия физиками, геофизиками и агрофизиками по изучению теплового баланса на поверхности деятельной почвы. Тепловой баланс представляет собой алгебраическую сумму радиационного баланса, теплообмена между поверхностью почвы и глубинными ее слоями, теплообмена с атмосферой и теплоты испарения. Каждый из компонентов является весьма сложным явлением. На основе теплового баланса уже подробно изучены многочисленные проблемы агрономии и решаются важнейшие практические задачи. В настоящее время советскими агрофизиками и геофизиками создана серия точных, в большинстве самозаписывающих приборов для учета компонентов теплового баланса.

ПОЛИМЕРЫ ИДУТ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В последние годы значительное развитие получила химия больших молекул, химия полимеров. Материалы из полимеров и пластмасс уже широко применяются в различных отраслях народного хозяйства, в быту. Тем не менее для многих покажется неожиданным, что полимеры идут и в сельское хозяйство. Уже сейчас трудно перечислить все области применения полимеров в земледелии и животноводстве.

Еще в тридцатых годах в Агрофизическом институте был поставлен вопрос о целесообразности и необходимости замены стекла в парниках, теплицах и других культивационных помещениях. Это диктовалось рядом недостатков, присущих стеклу как кровельному материалу. Уже тогда была разработана технология ацетатной пленки для применения в овощеводстве. Появление такой пленки, эластичной, легкой, неломкой, позволило создать новую отрасль овощеводства защищенного грунта. Однако в то время эта пленка распространения не получила. В последние годы разработке приемов применения пленки в овощеводстве уделяется очень много внимания научными и опытными учреждениями, а также колхозами и совхозами.

Прозрачные пленки из полимеров открыли возможности быстрого и массового расширения площадей закрытого грунта без значительных капитальных затрат, с которыми связано строительство парников и теплиц. Выпускаемые нашей промышленностью полиэтиленовая и полиамидная пленки имеют ряд преимуществ перед стеклом. Кровля из них в десятки раз легче, чем из стекла. Они эластичны, легко принимают любую форму, не требуют твердой и прочной конструкции. Пленками можно закрыть отдельные растения, грядки и даже целые поля. В начальный период их эксплуатации они достаточно прозрачны, пропускают почти всю видимую часть солнечного спектра, могут пропускать прямую солнечную радиацию, значительную часть ультрафиолетового излучения. Вместе с тем полиамидная пленка очень слабо пропускает инфракрас-

ную радиацию, что обеспечивает сохранение тепла под пленкой в ночные часы и создает там совершенно своеобразный климат. Под пленкой лучше сохраняется почвенная влага.

Большие преимущества полимерных пленок по достоинству оценены во многих странах мира. С каждым годом они все шире используются в нашем овощеводстве. В решениях партии и правительства о создании вокруг Москвы, Ленинграда и других крупных промышленных центров специализированных овощеводческих совхозов предусмотрено снабжение этих хозяйств большим количеством пленки. При наличии над растениями укрытий из прозрачных пленок удается, даже в условиях Ленинграда, вырастить три урожая овощей за лето, в том числе полноценный урожай таких культур, как томаты или огурцы. Это возможно потому, что под укрытиями из пленки овощные культуры созревают на десять—пятнадцать дней раньше, чем в открытом грунте, причем урожай значительно выше.

Судьбу пленки в сельском хозяйстве решает срок ее службы. Опыт, накопленный в этой области за последние годы, свидетельствует, что лучшие образцы полиэтиленовой пленки могут служить в течение двух трех лет, у нас же она служит в лучшем случае один сезон, а то и меньше. Причина заключается в том, что до настоящего времени наша промышленность не выпустила пока, насколько нам известно, ни одного метра пленки сельскохозяйственного назначения. Мы пользуемся пленкой, предназначенной для нужд промышленности, но она мало отвечает требованиям сельского хозяйства.

Институты химии полимеров должны открыть новую главу своих исследований, посвященную созданию прозрачных пленок специально для сельского хозяйства. Промышленность полимеров должна быстро осваивать новые образцы пленки и выпускать ее в миллионах метров. Это обеспечило бы резкое ускорение производства ранних овощей для трудящихся крупных городов и промышленных центров.

Можно назвать еще много направлений использования материалов из полимеров в сельском хозяйстве.

Уже сейчас разрабатываются конструкции теплиц и других культивационных сооружений, состоящих почти целиком из полимеров. Такие теплицы должны быть сплошь прозрачными, что обеспечит наиболее требовательные растения светом и теплом. Вместе с тем они будут значительно легче и долговечнее существующих деревянных и металлических.

Полимеры широко будут использованы в сельскохозяйственном машиностроении и приборостроении. Над этим работают ученые и конструкторы. Материалы из полимеров найдут применение в животноводстве, особенно при хранении и первичной переработке молока. Из них легче всего создать гигиеническую и прочную посуду.

Чудесные свойства полимеров ученые стремятся использовать для создания удобрений. Однако продуктивность растений зависит не только от питания, но и от многих других условий: достаточно ли воды и воздуха в почве, не слишком ли она плотна для успешного развития корневой системы и так далее.

Можно ли произвольно менять и регулировать эти условия, внося в почву вещества, условно называемые физическими удобрениями? Эта проблема начала разрабатываться впервые в Советском Союзе в тридцатых годах; теперь ее разрабатывают во многих странах мира. Применяются для этой цели все те же полимеры, в первую очередь производные акриловой кислоты — акрилаты. И, что самое интересное, этих материалов требуется всего несколько центнеров на гектар, тогда как других требуются тонны и даже десятки тонн. Выяснилась возможность с помощью полимеров значительно улучшить почвы даже с резкими отрицательными свойствами (солонцов и подзолов). Весьма интересные перспективы открывают полимеры при защите наших ценнейших черноземов от разрушения ветром и текущими водами.

Задача заключается в том, чтобы создавать такие вещества, которые оказывали бы нужное действие на почву при минимальных дозах и стоимость которых была бы невысокой. Над решением этой задачи должны трудиться химики — специалисты в области полимеров — в тесном содружестве с агрономами и агрофизиками.

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗЛУЧЕНИЯ

Открытие искусственной радиоактивности и появление на основе этого радиоактивных изотопов химических элементов дало многочисленные возможности в биологии, в научной и практической агрономии. Различного рода излучения (гамма, бета, нейтроны) позволили применить новые методы исследования структуры вещества, воздействовать на сельскохозяйственные объекты с целью изменить не только скорость и интенсивность процессов жизнедеятельности в растениях и животных, но также их наследственные свойства в выгодную для человека сторону.

Несмотря на то, что со времени начала атомных исследований в сельском хозяйстве прошло немногим более десяти лет, в целом ряде направлений имеются уже некоторые достижения. Пользуясь методом меченых атомов, удается значительно глубже проникнуть в процессы обмена между почвой и растительными организмами. Была выяснена скорость поступления из почвы в органы растений питательных веществ. С помощью радиоактивных изотопов детально изучаются процессы фотосинтеза, что позволяет изыскивать приемы регулирования этого важнейшего явления природы. Весьма эффективен при изучении действия различных удобрений на растения метод меченых атомов.

Сейчас имеется уже немало данных о положительном действии радиоактивных веществ на урожай. Тем не менее эта сложная проблема требует детального исследования.

В животноводстве радиоактивные изотопы используются прежде всего для решения вопросов кормления и обмена веществ у животных, что очень важно для повышения их продуктивности. Часто меченые атомы применяются для изучения процессов образования молока. Имеются данные о положительном действии малых доз излучений на биохимические процессы животных; наблюдается даже некоторое увеличение их живого веса. Радиоактивные излучения начали применять при терапии некоторых заболеваний сельскохозяйственных животных. Нужно, однако, сказать, что эта область науки находится в стадии зарождения и сделано пока еще очень мало, хотя возможности использования радиоактивных изотопов в зоотехнике неисчерпаемы.

Новые возможности открывают методы радиоактивных изотопов и в почвенной гидрологии. Речь идет о таких малоизученных, но существенно важных вопросах, как движение влаги в почвенно-грунтовой толще, увлажнение почвы при поливах, определение общих запасов влаги в почве, процессы вторичного засоления почв при их орошении и другие.

С каждым днем радиоактивные вещества и излучения оказывают все большую помощь при решении наиболее сложных проблем в сельском хозяйстве. Имеются многочисленные предложения об их применении при автоматизации производственных процессов в земледелии, например, при создании автоматов для квадратно-гнездовых посевов и посадок сельскохозяйственных культур. Радиоактивные изотопы используются для изучения срабатываемости отдельных частей и узлов тракторов и других машин. Исключительно широкие возможности атомная физика дает для развития сельскохозяйственного приборостроения.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В промышленности имеют широкое распространение контрольно-измерительные приборы и устройства для регулирования технических условий. Это привело к резкому снижению брака, улучшению качества продукции, повышению производительности труда. Ясно, что и в сельском хозяйстве необходимы соответствующие приборы и аппараты для крутого подъема культуры земледелия, повышения урожайности, улучшения качества сельскохозяйственной продукции и условий ее хранения. Однако до настоящего времени таких приборов еще очень мало, к тому же в большинстве они

основаны на физике XIX и начала XX века. Если речь идет об измерениях температур почвы, воздуха в скотном дворе, в птичнике, в хранилищах, то в лучшем случае применяют ртутные термометры, очень неудобные в работе и часто дающие большие погрешности. При этом нужно, чтобы вблизи постоянно находился наблюдатель. Если термометр установлен среди растительного покрова, то трудно получить представление о температурном режиме при ненарушенной растительности и почве. Это замечание относится также к влажности почвы, воздуха и к другим характеристикам условий жизни растений.

Поэтому уже давно возникла необходимость в создании принципиально новых приборов, отличающихся точностью показаний, дистанционностью, то есть возможностью пользования ими на значительных расстояниях, малой инерционностью и портативностью. В этой области многое уже сделано. Создана целая серия современных приборов для измерения температуры почвы, растений, воздуха, зерна, животных и других сельскохозяйственных объектов.

В основе всех этих приборов лежат полупроводниковые термосопротивления (ТС), или термисторы, основным преимуществом которых является большая зависимость их электрического сопротивления от температуры, примерно в десять раз превышающая зависимость в обычных металлических термометрах. Кроме того, у полупроводниковых ТС электросопротивление составляет не десятки или сотни, а тысячи и даже десятки тысяч ом. Эти особенности полупроводниковых ТС позволили использовать их для создания весьма точных приборов без применения особо сложных измерительных устройств. Наконец, особенности полупроводниковых ТС позволяют создавать самозаписывающие приборы без усилителей. Для условий сельскохозяйственного производства, когда агроному приходится контролировать ход процессов на больших пространствах, появление такого рода контрольно-измерительных приборов сыграло очень положительную роль.

Полупроводниковые материалы широко применяются для создания множества других приборов — для измерения влажности воздуха и почвы, суммарной солнечной радиации, для измерения освещенности растений и культивационных помещений. Полупроводники являются наиболее важными элементами во всякого рода сигнализаторах и автоматических устройствах.

Чуть ли не каждый день создаются новые приборы для сельского хозяйства, основанные на применении радиоактивных веществ и излучений. В первую очередь они служат для получения тех важных характеристик, которые лишь с трудом измеряются другими методами и приборами.

Для примера возьмем важнейшую характеристику почвы — влажность. Известно, что до сих пор для ее определения приходится бурить до нужной глубины и брать пробы, затем их взвешивать, несколько часов сушить, снова взвешивать, повторно сушить и взвешивать. Метод очень трудоемкий, требует много времени. К тому же — и это главное — бурение и взятие таким способом образцов вносит большие погрешности в результаты измерений. В разное время были внесены десятки предложений, а также разработаны новые приборы, но широкого применения они не получили.

В последние годы созданы методы определения влажности почвы на основе достижений ядерной физики. Первым был использован принцип замедления нейтронов при их столкновении с атомами водорода. Так как количество таких столкновений пропорционально содержанию в системе водорода, то и замедление нейтронов пропорционально этой величине. В почве большая часть водорода находится в воде. Следовательно, по количеству водорода можно узнать о содержании воды. У нас и за рубежом уже созданы образцы таких приборов; они проходят тщательные испытания.

Затем были разработаны методы изучения влажности и динамики влажности в почве по поглощению или рассеиванию гамма-лучей при их прохождении через ту или иную среду.

На этом же принципе основаны новые методы определения зеленой массы в травостое тех или иных культур (до сих пор этого сделать не удавалось), определения запасов воды в снежном покрове, плотности почвы и так далее.

Сельскохозяйственное приборостроение использует и другие принципы современной физики для создания новых приборов. Так, определение влажности почвы зерна и некоторых других объектов часто производится по емкости конденсатора, заполненного исследуемой средой. Здесь применяется резонанс напряжения, не зависящий от количества и качества солей в объекте. В настоящее время вся мировая практика использует этот принцип при создании приборов, служащих для определения содержания влаги в зерне, муке и так далее. Широко используется также метод электропроводности или электросопротивления для определения многих характеристик почвы.

Трудно в настоящей статье перечислить все достижения современного сельскохозяйственного приборостроения. На Международной передвижной выставке приборов для сельского хозяйства, с большим успехом прошедшей недавно в Москве, было выставлено до тысячи двухсот приборов, в том числе свыше двухсот нашего производства.

АВТОМАТИКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

XXI съезд партии, июньский Пленум ЦК КПСС нацелили советский народ на всемерное применение средств автоматики во всех отраслях народного хозяйства. В индустрии это указание выполняется быстрыми темпами. От станков-автоматов осуществляется переход к автоматически управляемым цехам, линиям, заводам.

Но закономерна ли установка на внедрение автоматики в земледелие, в сельское хозяйство? Ведь здесь все процессы связаны с живыми организмами. Однако уже накопленный, пусть небольшой еще, опыт убедительно говорит о возможности и необходимости ставить и решать подобные задачи.

Автоматика все чаще применяется при обработке почвы, при посеве, посадке, при уходе за сельскохозяйственными культурами, при уборке. Такого рода машины и механизмы проектируются и изготавливаются в больших количествах промышленностью.

Но существуют уже автоматы, которые разрабатываются только специальными конструкторскими бюро. Их создание явилось результатом тонких исследований, проведенных агрономами, агробиологами, агрофизиками. Приведем несколько примеров.

При выращивании растений в культивационных сооружениях очень важно соблюдать в течение всего периода известные условия: определенную температуру и влажность воздуха и почвы и — что еще важнее — строго регулируемый световой режим. Однако поддерживать эти условия практически очень трудно, и это связано с большими затратами труда.

На помощь приходят автоматические устройства, легко выполняющие все эти обязанности. Автоматы не только бесперебойно сигнализируют о каждом случае нарушения заданных внешних условий жизни растений, но немедленно принимают меры к их восстановлению. Больше того, автоматы «знают», когда растениям нужен отдых от света, и они выключают свет. Днем большинству растений требуется более высокая температура, чем ночью, — автомат самостоятельно переключает отопление с дневного режима на вечерний.

Автомат может выполнять и многие другие аналогичные задания. Все здесь зависит главным образом от того, насколько точно мы знаем требования растения к условиям внешней среды. Чем глубже наши знания, тем более высокой будет продуктивность растений. Подобная автоматика может успешно применяться в парниках, в хранилищах сельскохозяйственных продуктов, в скотных дворах, птичниках и так далее.

Другой пример. При уборке урожая зерновых культур нередко приходится досушивать зерно в зерносушилках. В зависимости от того, как проведена сушка, получается зерно соответствующих мукомольных и семенных качеств. Если держать зерно в условиях избыточно высоких температур, то ценность семян резко снижается. С другой стороны, если сушку вести при пониженных температурах, процесс сушки сильно затягивается и за счет этого снижается производительность сушильного аппарата. В современных сушилках температура зерна в процессе сушки вовсе не контролируется. Весьма примитивно измеряется температура горячего воздуха в момент его вхождения в сушилку.

И здесь помогла автоматика. Теперь создан полупроводниковый прибор, не только измеряющий температуру, но и автоматически регулирующий ее. Аппарат выключает горячий воздух, когда температура зерна угрожающе повышается, или, наоборот, впускает его, если температура зерна резко снижается. Такое устройство высокоэффективно: оно высвобождает сменного техника-наблюдателя, улучшает качество зерна, предохраняет от возможного пожара, который может возникнуть вследствие поступления избыточного горячего воздуха в сушилку. В настоящее время изготавливаются опытные образцы таких автоматов. Задача заключается в том, чтобы снабдить ими в ближайшее время все зерносушилки.

Очень большое значение имеют работомеры — полуавтоматические приборы для измерения работ трактора во время выполнения различных сельскохозяйственных операций. Известно, что вспашка и другие операции по обработке почвы, а также по уходу за растениями и уборке урожая остаются наиболее энергоемкими. На них расходуется едва ли не половина всего жидкого топлива в стране. Но эта работа оставалась до самого последнего времени ненормированной, почти бесконтрольной. Приборов, служащих для этих целей и к тому же широко доступных, не было. Сейчас такие приборы создаются и выпускаются нашей промышленностью.

Неуклонно, хотя и медленно, входит в сельское хозяйство автоматика, основанная на счетно-решающих устройствах. Примером может служить автомат для определения общего испарения воды сельскохозяйственным полем. Чтобы решить этот вопрос обычными способами, нужно пользоваться специальными уравнениями, которые требуют большого числа точных измерений и сложной вычислительной работы. Поэтому таким методом, отнимающим слишком много времени, практически нельзя было пользоваться для оперативных целей.

Теперь все эти операции могут выполняться и решаться автоматическим устройством, созданным в Агрофизическом научно-исследовательском институте. Автомат самостоятельно пересчитывает полученные при помощи отдельных приборов данные и показывает и записывает итог: сколько тепла израсходовано за данный отрезок времени на испарение воды или, что то же, сколько воды испарилось. Этот существенно важный ответ можно получать каждые три — пять минут.

Оказалось возможным также превратить этот прибор в автомат для полива сельскохозяйственных растений. На самом деле, если известно, сколько воды должно испарять поле при хорошем водообеспечении, то снижение испарения будет означать, что воды в почве мало и ее не хватает для нормального хода жизненных процессов. Следовательно, нужен очередной полив. Нет ни принципиальных, ни технических затруднений для создания устройства, сигнализирующего о необходимости полива или даже открывающего краны поливочных устройств. Полив растений производится по сигналу, подаваемому самим растением.

Заслуживает упоминания полуавтоматический прибор для прогнозирования вероятности наступления местных заморозков. Имеются весьма удачные способы предвычисления ожидающегося выхолаживания приземного воздуха по экспериментально получаемым показателям влажности почвы, облачности, температуры воздуха, лучистого баланса. Однако сложность расчета делала эти методы практически малоприменимыми.

За последнее время разработан и уже проходит испытания прибор, который не только обеспечивает быстрое получение всех нужных данных для расчета, но и производит весь расчет. С помощью прибора удастся в течение пяти — десяти минут узнать, какая температура воздуха ожидается в любой час ночи. Если вооружить каждое хозяйство подобными приборами, то эффект будет очень большим. Точное знание времени наступления заморозков поможет принять меры по борьбе с ними и сохранить урожай ценных культур.

Мы рассказали об автоматических устройствах самого различного назначения. Даже мало сведущему в сельском хозяйстве человеку видно, какие поистине беспредельные возможности открываются для решения очень сложных и существенно важных проблем.

Но в создании автоматических аппаратов для сельского хозяйства сделаны только первые шаги. Главная работа впереди. Задачи, стоящие перед народным хозяйством,

требуют проведения этой работы широким фронтом и значительно более быстрыми темпами, чем это делалось до сих пор.

Назрела необходимость по образцу нашей промышленности создать ряд крупных специализированных конструкторских бюро с опытными заводами, работающих по заданиям Госплана СССР и призванных в короткий срок ликвидировать отставание в области создания приборов и автоматов для сельского хозяйства. Разумеется, основное внимание этих конструкторских бюро должно быть сосредоточено на создании тех аппаратов, которые уже в ближайшем будущем обеспечат резкое повышение производительности труда.

Еще хуже обстоит дело с производством уже разработанных приборов. В лучшем случае некоторые из них выпускаются сотнями (чаще десятками), а их требуются десятки тысяч. Колхозы и совхозы не могут сегодня обойтись без строгого контроля качества и количества продуктов и материалов. Они должны иметь свои лаборатории, оснащенные различными приборами для определения содержания в почве основных питательных веществ, кислотности, влаги, состава почвенного воздуха, для измерения температуры почвы, зерна в овощехранилищах и так далее. Производство множества таких приборов под силу только большой индустрии. Пора бы нашей промышленности поставлять колхозам приборы и средства автоматизации так же, как она это делает в области сельскохозяйственного машиностроения.

* * *

Мы рассмотрели некоторые проблемы агрономии, решение которых наиболее полно осуществляется на основе достижений современной физики, точнее, новой ее отрасли — агрономической физики. Как и все новое, агрофизика в период своего становления нуждается во всяческой поддержке.

Наиболее трудным является вопрос о кадрах. Агрофизики должны не только иметь хорошую подготовку в области физических и технических наук, но и хорошо разбираться в биологических и агрономических проблемах. Такие кадры никто не готовит. Переподготовка специалистов агрономов и инженеров обычно затягивается надолго и все-таки не вполне достигает цели.

Давно назрела необходимость в факультетах агрофизики. Они могут быть созданы как в сельскохозяйственных вузах, так и в политехнических институтах или в университетах. Выпускники этих факультетов составили бы основное ядро для Агрофизического института, для многих лабораторий и отделов агрофизики, которые уже существуют или будут созданы в ближайшем будущем в зональных, отраслевых сельскохозяйственных научных учреждениях и на многочисленных опытных станциях. Агрофизики должны иметь свой журнал.

Наша индустрия, особенно приборостроение, призвана оказать действенную помощь агрофизикам в техническом оснащении средствами исследования — приборами, аппаратами, материалами. От нашей промышленности зависит, насколько быстро новые приборы, автоматы и основанные на их применении новые методы и приемы станут достоянием колхозов и совхозов.

Агрофизические исследования проводятся комплексно. В них участвуют институты Академии наук СССР и соответствующих комитетов, а также совнархозов. Очень важно, чтобы в совнархозах отчетливо поняли всю необходимость этих работ для колхозов и совхозов и рассматривали эти исследования как свое кровное дело.

Агрофизики полностью сознают важность возложенной на них задачи — всемерно содействовать техническому прогрессу в сельском хозяйстве. Они отдадут все свои знания, чтобы способствовать решению важнейших задач, поставленных перед страной XXI съездом КПСС.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛ. СОСНОВ

★

В БИРМЕ

Путевые заметки

Скульптурные и графические изображения чинти — фантастического чудовища, полульва-полусобаки, — встречаются в Бирме буквально на каждом шагу. Огромные, высеченные из камня, они, словно бдительные стражи, стоят у входов в буддийские храмы. Крохотные, вырезанные из слоновой кости или дерева, они красуются в витринах магазинов, торгующих сувенирами. Чинти отчеканены на бирманских монетах. Три чинти изображены на государственном гербе Бирманского Союза.

На моем письменном столе стоит маленький деревянный чинти, мою нумизматическую коллекцию украшают металлические монетки — джа и пья — с его изображением, а в памяти встают картины виденного, роятся воспоминания и мысли об этой своеобразной и интересной стране, пробуждающей к новой жизни. Она, как птица, расправляет крылья для взлета. Но прошлое пока еще крепко приковывает ее к себе, подобно мрачным чинти, на каждом шагу напоминает о нем.

О Бирме у нас, к сожалению и к тому же совершенно незаслуженно, знают еще очень мало. И я решил попытаться рассказать о том, что сам о ней узнал и собственными глазами увидел за шесть месяцев, проведенных на ее земле, среди ее людей. Я, правда, не литератор, а горный инженер, и мои заметки не претендуют поэтому ни на исчерпывающие, ни тем более на художественные очерки этой страны.

КАК ЕЗДЯТ ПО БИРМЕ

Вряд ли стоит детально рассказывать о подробностях пути от Москвы до Рангуна — столицы Бирманского Союза. Самолеты международных авиакомпаний, аэропорты, отели и пансионы различных городов Европы и Азии уже достаточно знакомы читателю из многочисленных очерков и путевых дневников, один за другим появляющихся на страницах наших газет и журналов. Но о том, как ездят в наши дни по самой Бирме, стоит все же коротко рассказать.

— Что значит «как ездят»? — недоуменно может спросить читатель. — Очевидно, так же, как и везде: приобретают билет, садятся в поезд, на пароход, в автобус или на самолет...

Предвидя это, спешу разъяснить: нет, не совсем так.

Может быть, то, что я расскажу сейчас на нескольких страницах, покажется скучным и необязательным, но, так как все последующее связано с неоднократными поездками по стране — ведь нельзя узнать ее жизнь только на улицах столицы, — оно представляется мне отнюдь не лишним.

Прежде всего следует знать, что любая поездка в глубь Бирмы (особенно иностранца) начинается с превосходного столичного рангунского аэродрома Мингаладон. И это происходит потому, что железных дорог в стране очень мало. Магистраль Рангун — Митчина (столица автономного Качинского государства) прорезает ее с юга на север, не доходя, однако, до границ. От этой магистралы отходят короткие ответвления

на восток и запад. Еще две небольшие дороги связывают Рангун с так называемой Нижней Бирмой и Тенассеримским побережьем. Общая протяженность железнодорожных линий в Бирме перед второй мировой войной составляла всего около трех тысяч трехсот километров — почти в десять раз меньше, чем в Англии (кстати, ее территория в два с половиной раза меньше территории Бирманского Союза). Это одно из наследий длительного господства в стране англичан. Колонизаторы проявляли «заботу» прежде всего по отношению к районам, в использовании богатств которых они были кровно заинтересованы, — только туда и прокладывались дороги.

От магистрали Рангун — Митчина они протянули стальные шупальца на восток, к Боувину и Таунгджи, — по ним из богатейших недр земли выкачивались свинцовые, серебряные, вольфрамовые, оловянные, цинковые руды. Линия, ведущая к Проме, вонзилась в лесные массивы, а ветка от нее на Бассейн пересекла значительную часть Нижней Бирмы — рисовой житницы страны. Наконец, по дороге, идущей к Моулмейну, двигались составы с древесиной и рудами из районов Тенассерима.

Наживая фантастические прибыли на национальных богатствах Бирмы, английские монополии весьма скупно вкладывали средства в развитие ее экономики, в том числе и транспорта. До войны в Бирме насчитывалось всего 379 паровозов, около 10 тысяч товарных и менее 1100 пассажирских вагонов. Этот парк вполне удовлетворял потребности колониальных властей.

Во время войны и японской оккупации железнодорожные станции, паровозные депо, мосты, паромы, подвижной состав беспощадно уничтожались английскими войсками при отступлении и последующих бомбежках или взлетали на воздух, подорванные бирманскими патриотами, не покорившимися оккупантам. Японские захватчики нанесли бирманскому транспорту немалый урон. Они сняли вторые пути и полностью разобрали несколько веток. Рельсы и шпалы с них пошли на строительство стратегической дороги, связавшей Тенассеримское побережье с Таиландом. В народе ее иначе, как «дорога смерти», не называют: при прокладке ее через непроходимые болота и джунгли погибли тысячи бирманцев, согнанные японцами на строительство.

Когда окончилась вторая мировая война, английские колониальные власти, не будучи уверенными в том, что им удастся сохранить свое господство в Бирме, не спешили с восстановлением железнодорожного транспорта. После провозглашения независимости правительство Бирманского Союза приложило немало усилий, преодолевая разруху на транспорте, но и до сих пор поезда еще часто опаздывают, а иногда железнодорожное сообщение между отдельными районами и вовсе прерывается на несколько дней. Это происходит по причине не прекратившихся до сих пор в стране вооруженных конфликтов. Вдобавок порядок на северо-востоке Бирмы дезорганизуют остатки чанкайшистских банд. Откатившись под натиском китайской Народно-освободительной армии в начале 1950 года к границам Бирмы, они обосновались в отдаленных районах, на стыке Бирмы, Таиланда и Лаоса. Через тайландскую границу чанкайшисты — их в стране кратко и выразительно называют бандитами — получают американское оружие, боеприпасы и продовольствие и время от времени совершают набеги в глубь страны, грабя и убивая мирное население, сжигая города и села. Пущенные под откос поезда, взорванные мосты и виадуки, разрушенные станции — обычный след, оставляемый гоминдановцами после каждого такого налета.

Примерно так же обстоит и с речным флотом и с автотранспортом. Не удивительно поэтому, что, отправляясь на более или менее значительное расстояние, состоятельные бирманцы (не говоря уже об иностранцах) предпочитают пользоваться самолетами. Это — единственно надежное и сравнительно быстрое средство связи между Рангуном и различными районами страны.

Впрочем, надежность эта тоже относительна и целиком зависит от «Ю-Би-Эй» — так сокращенно называется государственная компания авиасообщений (все виды транспорта в Бирме находятся в руках государства, за исключением части небольших речных судов).

Отправляясь в свой первый внутренний воздушный рейс, мы приехали в аэропорт, как и полагалось, за час до отправления самолета. Не зная, как убить время, мы принялись изучать инструкцию для пассажиров, напечатанную мелким шрифтом на обо-

ротной стороне билета. Инструкция была довольно пространная — на человека, пожелавшего воспользоваться услугами «Ю-Би-Эй», возлагалось немало обязанностей. Прошло не менее десяти минут (здесь сказалось, конечно, и слабое знание языка), пока мы добрались до шестого пункта. Этим пунктом пассажир предупреждался о том, что он летит на собственный страх и риск и что компания не несет ответственности ни за его жизнь, ни за багаж, ни, наконец, за то, что онный пассажир будет доставлен в нужное ему место в срок, указанный в расписании.

Естественно, что прочитанное отнюдь не вызвало у нас прилива бодрости. Вид же стоявшего неподалеку самолета явно не первой молодости, на котором нам предстояло лететь, казалось, говорил: «Не удивляйтесь! Взгляните на меня повнимательнее, и вы поймете: разве может за что-либо отвечать уважаемая компания? Ведь я очень и очень старенький. Можно ли сомневаться в том, что в работе моих моторов может случиться перебой? А мало ли заплат на моем поблекшем корпусе? Мне давным-давно пора на покой, но надо летать — и вот я все еще летаю».

И они летали, эти кораблики, там и тут рассыпанные по бетонной глади взлетных дорожек, упрямо добираясь до места назначения (зачастую, правда, с опозданием). Лететь надо было и нам, и мы полетели и благополучно прибыли, даже не опоздав ни на минуту. Потом мы легали на самолетах «Ю-Би-Эй» еще и еще, и эти строки могут служить доказательством того, что нам всегда не только удавалось добираться до нужного пункта, но и возвращаться назад.

Из всего сказанного ясно, что поездки в глубь страны несколько затруднены, особенно если речь идет об иностранцах, каждый из которых находится под защитой правительства. Но должен сказать, что, даже если вы и очень мнительный человек, вы можете спокойно отправляться в путь: всегда, везде и в необходимом количестве вам будут обеспечены охрана и удобный ночлег.

САО КО У РАСПРЯМЛЯЕТ ПЛЕЧИ

Спидометр нашего «джипа» быстро накручивал милю за милей. По обеим сторонам отличного асфальтового шоссе до горизонта тянулись голые поля. Жирная, мягкая на вид, темно-коричневая, иногда с красноватым оттенком земля. Приближалось время посева риса, и тщательно возделанные поля, там и здесь расцветенные зелеными островками бамбука, ждали, когда в них будут брошены первые семена.

На полях повсюду виднелись склоненные фигурки работающих людей, преимущественно женщин. В легких белых блузках и ярких, пестрых «тамейн»¹, они снова и снова разрыхляют мельчайшие комки земли или старательно разравнивают ее поверхность. Широкополые плетеные шляпы закрывают их лица от щедрого бирманского солнца, медленно плывущего в синем воздушном океане, не встречая ни одного облачка-препятствия.

Неожиданно, заглушая монотонный гул нашего мотора, до нас доносится четкое звучание другого двигателя. Афанасий Дмитриевич Папшев, инженер Челябинского завода, приехавший в Бирму для оказания помощи местным специалистам в освоении тракторов «ЧТЗ» и дорожных машин, мгновенно настораживается. Ритмичные хлопки слышатся уже совершенно ясно — сомнений нет: это трактор. Первый трактор, который мы видим на бирманских полях! Вот он показался за поворотом.

Остановив машину, прямо по полю идем к трактору. Сидящий за рулем молодой бирманец, издали увидев нас, также выключает мотор и, лихо сбив на затылок шляпу из бамбука, закуривает тонкую зеленую сигару.

Приветствуем его по-бирмански. Парень широко улыбается и произносит в ответ еще несколько фраз, которых мы, конечно, не понимаем. И тут же выясняется, что тракторист знает всего две-три дюжины английских слов. А наш запас бирманских — ровно вдвое меньше. Переводчика с нами нет.

К счастью, тракторист знает слово «рашн»². Едва мы успеваем произнести его, он соскакивает с сиденья и приветственно поднимает вверх руку, улыбаясь еще шире.

¹ Национальная женская одежда в виде длинной, туго драпирующей юбки.

² Русский (англ.).

Теперь ситуация выяснена. Папшев начинает осматривать машину — старенький трактор английского происхождения, — тракторист с интересом наблюдает за ним.

Жестами Папшев показывает, что хочет опробовать машину на ходу. Тракторист утвердительно кивает головой. Седоголовый инженер легко взбирается на сиденье, примеряется к рычагам, что-то внимательно рассматривает на щитке и, обернувшись к трактористу, вопросительно машет рукой вперед: «Туда?»

Тот подтверждает, и трактор, несколько раз фыркнув вхолостую, плавно трогается с места. За ним тянется легкий стальной плуг, оставляющий позади себя неглубокую борозду. Мы с трактористом шагаем следом за ним.

Заметив, как ровно ложится борозда, бирманец восторженно говорит мне на ломаном английском языке:

— Вэри гуд рашн драйвер! ¹

И одобрительно смеется...

Уже в «джипе» Папшев, задумчиво глядя на расстилающиеся вокруг поля, замечает сокрушенно:

— Миллионы гектаров посевов, миллионы тонн риса! И такая бедность с техникой. Дать бы сюда наши машины — эх!..

Что означает это «эх» — понятно.

Бирма — аграрная страна. Сельское хозяйство дает свыше 40 процентов ее национального дохода. В нем занято более двух третей работоспособного населения. Рис, тиковая древесина, хлопок-сырец и каучук составляют львиную долю в бирманском экспорте и служат основным источником поступления иностранной валюты, необходимой для покупки оборудования, промышленных изделий, полуфабрикатов и топлива, потребность в которых обеспечивается исключительно за счет ввоза из-за границы.

Рис — основа экономики страны. Под него отведено около двух третей всей посевной площади Бирмы. Перед второй мировой войной площадь пригодных для обработки земель составляла здесь 16,2 миллиона гектаров, а использовалось только около 7 миллионов гектаров. Притом около 27 миллионов гектаров земли — главным образом на севере страны — вообще не было изучено с точки зрения возможности ее обработки и урожайности. В период японской оккупации и в последующие годы почти треть ранее обрабатывавшихся земель была заброшена, и до последнего времени посевная площадь еще не достигла довоенных размеров.

Рис возделывается буквально в каждом районе. На обширных равнинах Верхней Бирмы, где выпадающих дождей недостаточно для этой влаголюбивой культуры, крестьяне с давних пор сооружают и поддерживают оросительные каналы. В Нижней Бирме, в районе дельты реки Иравади — этой поистине бирманской Волги, — рисовые поля, наоборот, приходится защищать от разливов дамбами и плотинами.

Хотя рис здесь основа основ, урожайность его почти в четыре раза уступает урожайности риса в Италии, в два с половиной раза — в Японии и Египте, почти в два раза — в Китайской Народной Республике. Глубокая отсталость бирманского сельского хозяйства не только следствие пережитков феодализма, но и господства англичан. Колонизаторы не заботились ни о внедрении правильных севооборотов, ни об удобрениях и улучшении обработки почвы. Земли хватало, а труд бирманского крестьянина — арендатора или батрака — оплачивался так скудно, что английские монополии вполне удовлетворялись своими барышами.

В колониальной Бирме крестьянство находилось под жестоким гнетом помещиков-феодалов и ростовщиков. Особенно широко проникла в бирманскую деревню индийская каста ростовщиков, известных под названием «четтиары». Уже в 1929 году сумма займов четтиаров в Бирме доходила до 750 миллионов джа ², и три четверти этих займов приходились на долю крестьян. Кстати сказать, ссуды и авансы всех торговых банков страны в 1940 году составили только около 50 миллионов джа. В тридцатых годах, когда цены на рис на мировом рынке значительно упали и масса мелких земле-

¹ Очень хороший русский шофер! (англ.).

² Денежная единица Бирманского Союза, равная 84,3 копейки.

владельцев обанкротилась, их земли перешли в руки ростовщиков. К 1940 году четтиары владели земельными массивами стоимостью в 650 миллионов джа.

Ростовщичество было настоящим бичом бирманской деревни. Проценты по кабальным займам под урожай, погашаемым натурой, были непомерно высокими. Крестьянин вынужден был выплачивать ростовщику от 400 до 1000 процентов суммы займа в год. Чем меньше времени оставалось до жатвы, тем большие проценты требовал ростовщик: раз человек в такое время должен прибегать к займу — значит, положение его безвыходное! Получая ссуду, землевладелец обязывался передать ростовщику весь собранный урожай по цене, напного ниже рыночной. Обеспечением займа служила земля. Любое несчастье приводило к тому, что крестьянин терял свою землю. Переход крестьянской земли в руки помещиков и мелких и крупных четтиаров был неизбежным процессом.

Правительство независимой Бирмы подорвало деятельность ростовщиков в деревне. Закон о запрещении продажи земли иностранцам сделал невозможной передачу права собственности на землю любым иностранным ростовщикам. Законы об аренде земли ограничили размер взимаемой за нее платы и гарантировали арендатору пользование землей до тех пор, пока он обрабатывает свой участок, вносит установленную плату и в срок выплачивает полученную ссуду. В соответствии с законом о сельскохозяйственных займах правительство Бирмы систематически расширяет финансовую поддержку крестьянства через специально организованный сельскохозяйственный банк, общества сельскохозяйственного кредита и кооперативы. В 1951 году правительство аннулировало неоплаченную задолженность крестьян по ранее выданным ссудам.

Сложнее обстоит дело с ликвидацией помещичье-феодалного землепользования. По официальным данным, в 1948 году 150 тысяч помещиков владели 2,6 миллиона гектаров земли. Шести тысячам крупных землевладельцев принадлежало 40 процентов всех помещичьих земель.

Вскоре после провозглашения независимости бирманское правительство приняло закон о земельной реформе, объявив государство верховным собственником всех земель. Согласно этому закону земля, принадлежащая иностранцам, полностью национализируется. В руках крупного местного землевладельца, который не обрабатывает землю сам, а сдает ее в аренду, может оставаться не более двадцати акров в Нижней Бирме, где выращивается рис, и не более десяти акров в Верхней Бирме, где земли используются под другие культуры. Для собственников земли, занимающихся ее обработкой, нормы увеличены в два с половиной раза.

Государство выплачивает выкуп за национализируемую и отчуждаемую землю, и она распределяется среди безземельных крестьян и батраков по четыре гектара на семью. Крестьяне получают ее у государства на правах арендаторов. Отчуждению и перераспределению подлежит около четырех миллионов гектаров.

Этот закон (с поправками) окончательно вступил в действие с 1954 года. За три года было отчуждено лишь около 400 тысяч гектаров земли, которая была распределена среди более чем ста тысяч крестьянских семей. Это всего только одна двадцатая часть семей безземельных крестьян и батраков в стране. Как и следовало ожидать, национализация и отчуждение земли встретили ожесточенное сопротивление помещиков.

На протяжении веков и тысячелетий крестьяне бирманской деревни выращивали на своих участках все необходимое для существования. Когда же рис стал монокультурой и начал выращиваться для продажи, экономическая структура сельского хозяйства страны преобразилась коренным образом. Рис возделывается обычно арендаторами на небольших участках, площадью 4—8 гектаров, несмотря на то, что земельный массив, принадлежащий помещику, может быть в сто раз больше. Именно такую площадь может обработать одна семья, владеющая упряжкой рабочего скота.

В Верхней Бирме, в связи с менее благоприятными климатическими условиями для выращивания риса, большое количество земли по-прежнему осталось в руках крестьян, которые сами ведут хозяйство. Характерно, что земля здесь считается собственностью всей семьи, а не главы ее. Сельское хозяйство в этой части страны гораздо более разностороннее.

Правительство Бирманского Союза принимает энергичные меры к быстрейшему преодолению отставания сельского хозяйства. Намечено значительное расширение по-

севных площадей прежде всего за счет ранее обрабатывавшихся, но впоследствии оставленных земель. Начато строительство крупных ирригационных систем в Нижней Бирме. На берегах Иравади, в районе ее дельты, возводятся земляные валы для защиты рисовых полей от наводнений. Сельское хозяйство постепенно оснащается разнообразными машинами — правда, пока еще очень медленно. В городке Пынмана организован сельскохозяйственный институт, где готовятся национальные кадры агрономов.

...В деревушке Начиган, расположенной у границы автономного Чинского округа, среди полусотни других семейств живет семья Сао Ко У. Еще пять лет назад Сао Ко У был батраком. В 1954 году, когда началось претворение в жизнь закона о национализации, он получил в аренду у государства восемь акров¹ земли.

С Сао Ко У мы познакомились на его поле. Стоя на заднем бруске старой деревянной бороны, он односложными гортанными возгласами, подкрепляемыми легкими подхлестываниями длинной хворостиной, подгонял пару грузных серых буйволов с широкой спиной и большими округлыми рогами. Бамбуковые жердн в виде рогатки скрепляли борону с бамбуковым же подобием ярма, накинутого на массивные короткие шеи животных. За бороной ложились легкие гребешки влажной мягкой земли.

Сао Ко У по национальности чин. Выдающиеся вперед надбровные дуги с густыми иссиня-черными бровями придают угрюмое выражение его в общем простодушному лицу с более темной, чем у бирманцев, кожей. Он чуть ниже среднего роста, но широкие плечи и перекатывающиеся под короткими рукавчиками белой трикотажной майки, грязной от пота и земли, шары бицепсов свидетельствуют о недюжинной физической силе. Наряд его довершают кусок ткани в мелкую клетку, обернутый вокруг бедер, и широкополая бамбуковая шляпа.

Сначала мы, стоя несколько поодаль, наблюдаем за его работой. Буйволы шагают медленно. Время от времени Сао Ко У останавливает упряжку и, набрав горсть земли, пропускает ее между пальцами. Дойдя до края участка, он поворачивает буйволов и начинает новую полосу полутораметровой ширины.

Солнце стоит высоко — двенадцатый час дня. Пройдя еще несколько полос, Сао Ко У оставляет борону на пашне и снимает с животных ярмо. Через несколько минут буйволы по шею погружаются в яму с жидкой вязкой грязью, спасаясь от докучливых насекомых. Хозяин отдыхает на полосатой циновке под тенью бамбукового зонта, ручка которого воткнута в землю. Мы подсаживаемся к нему на циновку и с помощью переводчика заводим с ним беседу.

Сао Ко У немногословно, но охотно отвечает на наши вопросы, рассказывает о своей жизни — жизни рядового бирманского крестьянина.

Как он жил до того времени, когда получил землю? Жилось тяжело. Шесть-семь месяцев в году, пока шли полевые работы, он и его жена трудились на земле, принадлежавшей местному помещику. Остальное время приходилось перебиваться случайными заработками: нанимались на рисоочистительный завод, на ремонт или строительство дорог. Это давало возможность не умереть с голоду, но о достатке нечего было и думать. Иногда он оставался и без всякой работы.

Много ли земли имел помещик, чьи поля он возделывал? Да, много — девяносто или сто акров. Сао Ко У точно не знает. Половину площади помещик сдавал в аренду, остальную обрабатывал сам (конечно, не своими руками, а руками таких вот батраков, как Сао Ко У). Когда начинался сезон полевых работ, он держал до пятнадцати батраков.

Почему Сао Ко У не стал арендатором? Для него это было недоступно — он не имел ни денег, ни скота, ни зерна. Собственно, и стремиться стать им было не к чему: арендаторам жилось немногим лучше — почти половину урожая забирал помещик. Кроме того, нужно было платить проценты по ссудам (редкий арендатор мог обойтись без займа).

Как у них проводилось отчуждение земли? Очень просто, как и в соседних деревнях. Когда рис был убран и обмолочен, всех крестьян и их жен созвали на собрание, которое проводил приехавший из Мандалая чиновник. Он рассказал всем про закон, при-

¹ Около 3,2 гектара.

нятый правительством. Потом выбрали земельный комитет, в который вошли самые уважаемые люди деревни, арендаторы и батраки.

Присутствовал ли на собрании владелец земли? Да, приезжий чиновник его тоже позвал. Участвовал ли помещик в выборах комитета? А как же, раз он был на собрании! Но когда он предложил избрать в земельный комитет своего родственника, все запротестовали: крестьяне хорошо знали, что хотя тот и арендатор, но участок всегда получает самый лучший, а аренды платит меньше всех, поэтому он будет поступать несправедливо. Тогда помещик рассердился и ушел с собрания. Закрылось ли оно после этого? Как можно — крестьяне только посмеялись и выбрали в комитет тех, кого хотели. Затем члены комитета несколько дней обмеряли землю — она расположена в разных местах, — и чиновник опять помогал им. А потом комитет стал составлять списки безземельных и делить между ними землю, и было много споров, потому что при этом всегда присутствовали почти все жители деревни, и если кому-нибудь казалось, что члены комитета решают неправильно, тот вставал и тут же заявлял об этом. Но ничего, все разделили, а часть земли оставили прежнему владельцу. За отобранные участки государство три года будет выплачивать ему большие деньги. А под конец вся деревня справляла праздник урожая, который в том году был особенно радостным, так как многие люди впервые получили землю. И Сао Ко У, никогда не имевший земли, тоже впервые стал владеть участком.

Воспоминания о тех бурных для тихой бирманской деревушки днях вызывают на его насупленном лице радостную улыбку.

Что было дальше? Дальше он получил еще ссуду и купил вот этих буйволов. Год был урожайный. Весь собранный рис у него по хорошей цене купило государство (разумеется, он оставил необходимое количество зерна для питания семьи и на посев). Сао Ко У выплатил часть ссуды, внес арендную плату за землю — кстати, значительно меньшую, чем та, которую раньше взимал помещик, — и заплатил проценты по оставшейся части ссуды. В тот счастливый год все крестьяне были очень довольны..

В следующем году урожай оказался хуже — была засуха. Сао Ко У после продажи риса смог заплатить только аренду и проценты по ссуде, а очередной взнос в погашение ее не сделал. Это был плохой год, и радовался только один помещик, который предлагал всем своим бывшим арендаторам и батракам деньги взаймы. Но почти никто не пошел на это, так как помещик снова требовал в обеспечение долга половину будущего урожая. Нет, ни Сао Ко У и никто из их «пятерки» не захотели воспользоваться деньгами помещика.

Какой пятерки? Как, разве мы ничего не слышали о «пятерках»?! В прошлом году в Начигаң приезжал еще один чиновник, на этот раз из Мавлаика (административного центра провинции Верхний Чиндвин). Снова было собрание, и он сказал, что бывшие батраки и арендаторы, получившие от государства землю, должны объединяться в группы трудовой взаимопомощи. Каждая такая группа будет состоять из пяти семей, и все они должны помогать друг другу при полевых работах. Так им будет легче вести хозяйство, а государство станет помогать этим группам.

Много ли в деревне организовано таких групп? Четыре. Сначала крестьяне не могли понять, какая им от этого будет выгода, и долго спорили на собрании. Затем решили: кто хочет, пусть объединяется, кто не хочет — не надо. Некоторые боялись, что у тех, кто не войдет в группы, отберут землю, но чиновник объяснил, что землю отбирать не будут и что объединение необязательно — правительство только советует объединяться для пользы самих же крестьян. На другой день Сао Ко У поговорил с соседями, и с ним тоже приходили говорить несколько человек, а потом все они пошли к чиновнику и попросили записать их в группу. А вот Чжо Чо сначала тоже записался, а когда начали составляться группы, никто не захотел быть с ним вместе — вся деревня знает, что он любит побольше поесть и совсем не любит работать. Так Чжо Чо и остался вне группы...

Рассказывая о неудаче, постигшей ленивого Чжо Чо, наш собеседник лукаво улыбался.

Как они помогают друг другу? Ну вот, например, в прошлом году Сао Ко У со своими буйволами помогал молотить рис Шье Тингу, другому крестьянину из их «пя-

терки», у которого вдруг сдох вол. В этом году дожди начались позже обычного и нужно было быстрее вспахать поля — ведь никто же не станет пахать сухую землю, — и Ба Мья У, также член их группы, привел на участок Сао Ко У свою упряжку быков, и они работали вместе сначала у Сао Ко У, затем — у Ба Мья У. Потом они все пахали землю Шве Тина. Так вот и помогают...

Какие виды на урожай? Урожай должен быть хорошим. Дожди хотя и запоздали, но их много, земля подготовлена, а кроме того, все группы трудовой взаимопомощи получили из сельскохозяйственного кооператива отборные семена для посева, сдаз взамен обычный рис. Все старики в деревне утверждают, что семена замечательные и дадут большой урожай. Только помещик говорит, что урожая совсем не будет, потому что, мол, такой рис можно сеять только на поливных землях. Но его никто не слушает, все будут засеивать поля полученными из кооператива семенами — кому не хочется снять хороший урожай? А потом за высокий сбор и сдачу этого риса кооператив выдаст крестьянам премии. Правда, помещик уже кое-кому сказал, что тут не без подвоха: как же так, крестьянин получит большой урожай, продаст его, получит много денег, да ему же еще будут платить премию? Это и на самом деле не совсем понятно, и многие сомневаются. Но Сао Ко У думает, что подвоха не может быть — кооператив никогда еще не обманывал их. Зато если новые семена действительно дадут хороший урожай, а кооператив вдобавок выплатит обещанную премию — тогда Сао Ко У, вся их «пятерка», да и другие сразу почувствуют облегчение. Он уже подсчитал: он сможет внести все взносы, погасить оставшуюся задолженность по ссуде, и у него еще останутся деньги и зерно на весь год. Тогда он будет жить совсем хорошо...

Наш разговор прерывается появлением жены Сао Ко У с двумя ребятишками. Она принесла мужу обед — вареный рис, рыбу и какие-то большие круглые листья с белыми черешками. Мы прощаемся.

Бесхитростный рассказ Сао Ко У, который я старался передать в тех же выражениях, в каких услышал (правда, сквозь фильтр двойного перевода — с бирманского на английский, а затем уже на русский язык), заставил нас задуматься над многим.

Например, урожайность. В какой-то мере низкие урожаи риса в Бирме можно объяснить тем, что его сеют на больших площадях, захватывающих и малоплодородные земли. Но главная причина заключается не в этом, а в отсталости сельского хозяйства. Мы видели, как и чем обрабатывается повсеместно в бирманской деревне земля. Плуг, борона и «маму-ты» (местная мотыга) — вот основные орудия производства; они зачастую мало чем отличаются от применявшихся столетия назад. Деревянный плуг, иногда снабженный стальным наконечником, а иногда и без него, оставляет на поле очень неглубокую борозду. Начало пахоты при такой «технике» определяется твердостью почвы, и обычно крестьяне начинают пахать землю только после первых дождей...

Рис либо сеют, разбрасывая его рукой по полю, либо высаживают в почву заранее выращенную рассаду. Так же как пахота или боронование, по традиции, — работа чисто мужская, высаживание рисовой рассады — работа женская. Жатва — снова мужская обязанность. Созревший рис жнут серпами, затем рисовые снопики перевозятся на тока. Здесь рис «рушат» — прогоняют по снопам рабочий скот, который вытаптывает зерна. Обмолоченный рис провеивают руками, ссыпают в джутовые мешки и увозят. Нетрудно представить себе, как тяжел труд бирманского крестьянина.

Первые тракторы появились на полях Бирмы в 1932 году, но они так и остались ржаветь под бамбуковыми навесами. Колониальная Бирма оказалась не в состоянии освоить машины — страна не имела подготовленных кадров для эксплуатации и ремонта машин, цены на горючее были высокими. К тому же первые тракторы попали в районы, где в период дождей поля превращались в болота. Так бесславно закончилась попытка колонизаторов ввести механизацию сельскохозяйственных работ.

Теперь в независимой Бирме, где задача подъема сельского хозяйства стала одной из важнейших государственных задач, механизацией занялись всерьез. Сейчас ввоз тракторов составляет около одной пятнадцатой всех импортных закупок Бирмы. Пре-

жде тракторы ввозились преимущественно из США и Англии, а теперь на полях нередко можно увидеть чехословацкие машины и наши «ЧТЗ».

Важную роль в повышении урожайности играет применение высокосортных семян. Во многих районах организованы опытные станции, где селекционируются высокоурожайные сорта риса. Правительство все больше обеспечивает крестьян улучшенными семенами для посева, поощряет их за получение хорошего урожая и за сдачу высокосортного зерна. Бирманские специалисты считают, что широкое использование отборных семян для посева может повысить валовой сбор риса на 10—15 процентов.

В Бирме почти неизвестны искусственные удобрения. Выращивание риса на протяжении ряда лет почти без какого-либо севооборота истощило почву и значительно понизило ее плодородие. В некоторых районах почвы обогащаются естественным путем за счет наносимого при разливе рек ила, но основные массивы посевной площади остро нуждаются в удобрениях.

На большей части территории Бирмы в муссонный период — с мая по октябрь — выпадают обильные дожди. Но районы, расположенные к югу и западу от города Мандалая, где сосредоточено более трети всей посевной площади, страдают от недостатка влаги даже в дождливый период, не говоря уже об остальном времени года. Между тем в стране пока орошается очень небольшая часть земель — менее 10 процентов посевной площади. Крупные ирригационные системы отсутствуют, подача воды на орошаемые поля из-за недостатка водохранилищ неустойчива и неравномерна. В то же время даже в таких округах, как Мандалай, Саганг, Магве, где находится до 85 процентов всех орошаемых земель, из-за засухи ежегодно гибнет около 15 процентов урожая. В районе дельты Иравади отсутствие ирригационных сооружений не позволяет выращивать два урожая.

Правительство Бирманского Союза разрабатывает обширную программу ирригационного строительства. Осуществление ее окажет огромное влияние на развитие сельского хозяйства страны.

Хотя настоящие заметки не могут дать полной картины состояния сельского хозяйства Бирмы, но автору хочется, чтобы они дали представление о самых насущных проблемах, которые ждут своего разрешения. Главная из них — тяжелое положение крестьянских масс. Несмотря на ряд мер, осуществленных правительством, бирманский крестьянин еще не может вздохнуть свободно. Значительное количество земли все еще принадлежит помещикам. Кредиты, выделяемые государством крестьянству, хотя и возросли за последние годы, но еще далеко не достаточны, и крестьяне зачастую опять попадают в цепкие лапы ростовщиков. Арендная плата за землю и проценты по ссудам все еще поглощают значительную часть бюджета крестьянской семьи. Правда, государство взяло в свои руки скупку риса у крестьян, на чем раньше невероятно наживались помещики, ростовщики, торговцы-посредники. Правительство установило твердые закупочные цены, организовало специальные закупочные пункты. Монополия внешней торговли рисом также принадлежит государству. Однако в связи с затруднениями со сбытом риса на мировом рынке и недостатком складских помещений для хранения приобретаемого у крестьян зерна часть риса продолжает попадать к спекулянтам-посредникам.

Да, им еще приходится нелегко — и Сао Ко У из глухой деревушки Начиган и миллионам его собратьев. Перед независимой Бирмой стоят огромные трудности. По образному выражению бывшего премьер-министра Бирманского Союза У Ну, страна начала свою политическую и экономическую жизнь с нуля. Естественно, что потребуются длительное время и героический труд бирманского народа для преодоления этих трудностей.

НА ТЕНАССЕРИМСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Через двадцать минут, после того как наш самолет поднялся с рангунского аэродрома, под его крылом уже простиралась необъятная ширь Мартабанского залива.

Августовское утро было на редкость пригожим для муссонного периода — в эту пору обычно потоки воды не менее трех — пяти раз в день низвергаются с затаиного

белесовато-серой пеленой неба. В тот день на нем не было ни облачка. Лучи только что восшедшего солнца играли на сверкающей сапфировой глади Андаманского моря.

В Тавой, небольшой городок, расположенный в центральной части Тенассеримского побережья, узкой полосой протянувшегося с юга на север почти на восемьсот километров, мы летели вдвоем. Тавойский округ — один из важнейших районов добычи вольфрамовых и оловянных руд, которыми так богато побережье Тенассерима. В округе известно около сорока месторождений промышленного значения.

Накануне второй мировой войны Бирма занимала одно из первых мест в мире по добыче и экспорту вольфрама. Она вывозила также значительное количество олова, свинца, цинка. Нынешний объем продукции горнорудной промышленности пока еще далек от довоенного уровня. Никелевых и железных руд добывается примерно раз в десять меньше довоенного, свинцовых руд — в два с половиной раза, а цинка производится в четыре раза меньше. Причины такого отставания те же, что и в других отраслях экономики Бирманского Союза. В период японской оккупации часть предприятий была разрушена. Восстановление их и строительство новых требуют больших денежных и технических средств, а также квалифицированных национальных кадров. Того и другого в стране пока еще совершенно недостаточно. Не прекращающиеся до настоящего времени вооруженные стычки также отнюдь не способствуют экономическому возрождению и развитию страны. Это особенно остро проявляется в районах добычи руд, лесозаготовок и производства каучука. В том числе и на Тенассеримском побережье.

Хорошая погода сопутствовала нам до конца полета. Через два с лишним часа самолет приземлился на тавойском аэродроме.

Чистенький зеленый Тавой можно объехать на машине за полчаса. Центр городка состоит из двух десятков больших зданий: резиденция комиссара округа, городское управление, госпиталь, кинотеатр, несколько магазинов и школ. Здесь же высится обнесенный невысокой деревянной оградой, белый обелиск в честь независимости. Такие обелиски можно увидеть почти во всех бирманских городах и крупных селениях. Иногда весьма скромные по размерам (и всегда — по архитектурному исполнению), они возвышаются на центральных площадях, напоминая народу о его недавно закончившейся героической борьбе за освобождение от колониального ига. Есть в Тавое, конечно, и несколько буддийских храмов. Вот поднимается над всеми зданиями огромная статуя Будды у входа в одну из пагод. Она выглядывает из-за купы высоких пальм, кроны которых едва-едва достают до подбородка «просветленного». Остальной Тавой — это одно- и двухэтажные особнячки, полускрытые цветущими магнолиями, банановыми и лимонными деревьями. И, наконец, совсем простые и скромные домишки, теснящиеся один возле другого.

В Тавое около сорока тысяч жителей. Мы прилетели сюда в воскресенье, и на улицах было немногочленно — горожане отдыхали.

На другой день мы отправились на рудник «Канбаук», принадлежащий компании «Канбаук Майнез Лимитед», в свою очередь контролируемой компанией «Тавой Трейдинг Лимитед». Это один из наиболее крупных вольфрамовых рудников в округе; находится он примерно в восьмидесяти пяти километрах севернее Тавоя.

Отличное асфальтированное шоссе, обсаженное пальмами и панданусами, пролегал среди рисовых полей. На полях там и здесь высятся купы пальм и бамбуковые заросли. Изредка вплотную к шоссе подступают каучуковые плантации. Высокие прямые стволы каучуконосов отдаленно напоминают наши березы — на их темно-серой коре рассыпаны белые пятна. Эти плантации насажены рукой человека: из машины видны ровные шеренги деревьев и равномерные промежутки между ними, обильно поросшие густой травой. В одном месте среди деревьев мелькают приземистые сооружения необычной формы, с куполообразным верхом. Оказывается, это остатки укреплений, воздвигнутых японцами в годы войны, — так сказать, тропический вариант дотов.

Вскоре асфальт сменяется обычной грунтовой дорогой, каменистой, но вполне сносной, неуклонно поднимающейся в горы. С утра льет сильный дождь, и впадины на

дороге заполнены водой. Машины идут с большой скоростью, и нас непрерывно обдаёт брызгами. Мы едем в сопровождении директора обеих компаний У Ба Маунга.

Машины давно уже вступили в настоящие тропические джунгли. По обеим сторонам дороги, настолько узкой, что ветви деревьев все время хлещут в открытые бока «джи́па», густой стеной стоит тропический лес. В зеленой массе мы все же различаем несколько разновидностей бамбука и акаций, дубы, каштаны. Ряд не знакомых нам деревьев спутники называют по-местному: пинкадо, борассус, дахат. Их стволы и ветви густо перевиты тонкими и толстыми лианами, большими петлями свисающими у края дороги и исчезающими в листве. Местами густые заросли на несколько метров отступают от дороги, образуя живописные поляны, покрытые низкорослым кустарником и высокой травой, то тут, то там мелькают пышные орхидеи самых невероятных оттенков.

В таком лесу действительно не пройти без острого бирманского ножа, лезвие которого достигает полуметровой длины, сужаясь к короткой рукоятке. Такие ножи, называемые «да», торчали за спиной у каждого из встречавшихся на дороге мужчин.

Проехав две-три деревеньки, вытянувшиеся вдоль дороги, мы переправились в небольшой остроносой лодке через реку Тавой, быструю и полноводную в это время года. На противоположном берегу нас уже ждали другие «джи́пы».

До рудника теперь около тридцати пяти километров. Дорога становится все хуже и хуже, заросли — все гуще, а дождь — все сильнее. Небо словно старается возместить недоданное накануне количество влаги. Из придорожных кустов, вспугнутые шумом моторов, то и дело вспархивают стайки фазанов.

Наконец «Канбаук». Облачаемся в длинные голубые плащи — дождь все не ослабевает — и отправляемся осматривать рудник.

На «Канбауке» так же, как и на других рудниках, где я уже бывал до Тавоя, как и в Рангуне, как и вообще во всей стране, прежде всего бросается в глаза переплетение глубокой древности и современности.

Широкой дугой к руднику подступают покрытые вечнозелеными лесами Тенассеримские горы. Повыше рудника лежит запертая тремя вершинами большая котловина; единственный выход из нее перегородили плотиной — образовалось огромное водохранилище. От него по горным склонам проложены к шахте два трубопровода, длиной более шести километров каждый.

Вода, собирающаяся здесь в дождливый период, устремляется по трубопроводу на электростанцию и приводит в действие водяную турбину мощностью в 500 киловатт. Просто, надежно, экономично — можно сказать, что рудник получает почти даровую энергию. Второй трубопровод служит для питания еще более дешевой энергией — падающей воды — специальных механизмов.

Рудник имеет четыре участка, где вольфрамово-оловянная руда добывается открытым способом с помощью гидромониторов. Это весьма прогрессивный, вполне современный метод. Небольшой монитор, установленный в карьере, по виду напоминает легкую пушку. Рабочий, стоящий за стальным листом, предохраняющим его от брызг, открывает задвижку, и из ствола гидромонитора, нацеленного на забой, с характерным шумом вырывается струя воды под давлением в десять атмосфер. Вода размывает песок, содержащий частицы руды. Пульпа — смесь песка с водой — стекает к сооруженной неподалеку перемычке, откуда водоструйными насосами или землесосами перекачивается на желоба, где производится промывка руды. В мониторах и насосах используется энергия воды, собирающейся в хранилище.

Все это — и несколько необычная для наших условий электростанция (примерно такая же работает у нас в Гагре), и имеющие широкое применение в СССР гидромониторы, и экскаватор, работающий на соседнем участке, — характерные приметы современности.

— Открытым способом мы добываем руду пять-шесть месяцев в году, пока длится сезон дождей и накопленная за это время вода обеспечивает работу механизмов, — поясняет У Сан Мьяинг, генеральный управляющий рудником, к слову сказать, прихо-

дящийся родным дядей бывшему премьер-министру Бирманского Союза У Ба Све.— Когда запасы воды иссякают, мы переходим на подземный способ добычи.

Идем к штольне, вход в которую чернеет у подножия горы. Навстречу молодой бирманец катит по деревянным брускам, заменяющим рельсы, вагонетку, наполненную породой. В штольне полутемно — редкие электрические лампочки висят довольно далеко друг от друга. Под ногами — по щиколотку вода, покрывающая деревянные рельсы и узкие доски, проложенные между ними, по которым ходят шахтеры. Наша легкая обувь, верх которой состоит, в основном, из одних вырезков, мгновенно наполняется водой. Неосторожно оступаю — и нога оказывается в воде чуть ли не по колено. Вода, правда, теплая — очевидно, выше двадцати градусов, — и горняки ходят здесь разутыми или в национальной обуви, что по существу одно и то же: обувь представляет собой деревянную подошву с двумя узкими ремешками. Но как бы там ни было, ежедневные и столь продолжительные ножные ванны вряд ли укрепляют здоровье шахтеров.

Навстречу потянуло сладковатым запахом газов, образующихся при взрывании динамита (вентиляции здесь нет). Вероятно, близко место работ. Действительно, метров через сто оказываемся в забое, тускло освещенном примитивной коптилкой-жестянкой, в которой горит минеральное масло. Когда-то в дореволюционном Донбассе шахтеры называли такие коптилки «бог в помощь». Ныне подобный светильник у нас можно увидеть разве только в горных музеях.

Несколько освоившись с полумраком, который не в силах рассеять неверное, колеблющееся пламя фитилька, знакомимся с двумя находящимися здесь горняками, работающими в одних набедренных повязках (спецодежды на бирманских рудниках нет). Они долго и пристально вглядываются в нас, когда узнают, что мы приехали из Советского Союза.

Никто из нас не говорит по-бирмански, шахтеры не знают английского языка, не говоря уже, конечно, о русском. Беседа протекает с помощью добровольных переводчиков, в роли которых выступают У Ба Маунг, инспектор шахт У Тан Маунг, также приехавший с нами из Тавоя, и заместитель управляющего рудником, фамилию которого я позабыл.

Давно ли они работают на руднике? Третий год, но с перерывами — они занимаются земледелием и на рудник приходят только «на сезон», чтобы заработать немного денег, так необходимых в крестьянском хозяйстве. Тяжелая ли работа? Да, жила попалась очень крепкая. Хороший ли заработок?

Услышав последний вопрос, Мау Мья — так зовут одного из горняков — нерешительно переводит взгляд на начальство... Мы хорошо понимаем причину его замешательства. Что ответить? Сказать, что плохой, — заместитель управляющего может рассердиться и уволить с работы. Сказать же, что хороший, у него, видимо, нет оснований. Между шахтером и заместителем управляющего происходит краткий диалог, который затянулся чуть-чуть дольше, чем следовало бы. Впрочем, говорит больше начальник, а горняк изредка вставляет в его речь несколько гортанных отрывистых звуков. Нам переводят: на заработок рабочие не жалуются.

Вплотную подхожу к груди забоя. В правой части его, в темно-серой массе диорита, хорошо видна светлая кварцевая жила, содержащая в себе черную вольфрамовую руду. Как известно, и диорит и кварц — породы очень крепкие. Какой же техникой вооружены здесь горняки?

Механизмов в забое нет. С помощью стального бура и тяжелой кувалды они бурят в толще жилы небольшие скважины — шпурь. Один шахтер держит бур, другой ударяет по нему кувалдой. В шпурь вставляют патроны динамита (он привозится из Англии) и взрывают их. Оторванную взрывом руду собирают в небольшие джутовые мешочки, крупные куски ее разбивают той же кувалдой. Затем приходит очередь диорита. В нем также выдалбливают шпурь и взрывают заряды. Раздробленную породу вручную грузят в вагонетку, используя для этого лопату и «маму-ты» — мотыгу.

Горный промысел в Бирме зародился еще в четырнадцатом столетии. Молот, клин, подобие кирки, маму-ты — вся эта «техника» сохранилась на рудниках до наших дней и уживается с экскаваторами и гидромониторами.

Уже позже, в Тавое, в беседе с распорядителями компании я спросил, почему на руднике не применяют даже простейших механизмов для подземных работ. И услышал в ответ, что компания не имеет средств для их приобретения... Между тем — да простят мне господа из «Тавой Трейдинг Лимитед» разглашение их коммерческих «тайн»! — компания с каждой тонны руды, добытой на «Канбауке», получает двести тридцать — двести пятьдесят фунтов стерлингов прибыли. Этой суммы достаточно для приобретения пневматических бурильных молотков для пяти-шести забоев. А на руднике ежемесячно добывается не менее тридцати тонн руды.

Нежелание владельцев предприятий расходовать средства на механизацию горных работ и улучшение условий труда шахтеров проявляется, конечно, не только на руднике «Канбаук» и в Тавойской торговой компании. Вообще последняя отнюдь не является каким-то исключением из правила.

На свинцовом руднике «Джавахаунг» в окрестностях городка Бозайн, на юге Шанского государства, принадлежащем местному богачу У Сет Хану (кстати, приставка «У» обозначает по-бирмански почтительное обращение, соответствующее слову «господин»), мы видели вопиющее пренебрежение безопасностью рабочих при спуске их в шахту и подъеме. Вместо подъемной машины здесь применялась уникальная конструкция, собранная из... остатков грузовой автомашины.

У Сет Хан, превосходно сохранившийся для своих семидесяти лет, принимал нас в великолепном, вполне современном особняке. Он также заявил, что «у него нет средств» для покупки настоящей подъемной лебедки. Заметим, кстати, что два принадлежащих У Сет Хану рудника, на которых добывается свинцовая руда с высоким содержанием серебра, приносят ему несколько сот тысяч джа годового дохода и что в день нашего посещения на первом этаже его особняка человек десять рабочих монтировали выписанную из Англии установку для кондиционирования воздуха...

Крупный рангунский делец, владелец месторождений свинцовых руд и монацитовых песков У Сейн Хан, ведя переговоры о приобретении в Советском Союзе комплекта горного оборудования, был чрезвычайно удивлен, увидев в предложенном ему перечне устройства, предохраняющие шахтеров от заболевания силикозом. Он никогда не видел таких аппаратов и не знал их назначения. Поняв, что речь идет «всего-навсего» об охране здоровья горняков, он тут же вычеркнул эти устройства из перечня...

Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить. Безработица, дешевизна рабочих рук позволяют владельцам частных компаний широко использовать ручной труд.

Однако вернемся к Тавою.

Мы видели на «Канбауке» женщину, дробившую доставленную из шахты в мешочках руду в... обыкновенной домашней ступе, разве только чуть больших размеров. Она готовила руду к промывке, отбрасывая одновременно отделившиеся при дроблении кусочки кварца. Мы видели, как потом эту измельченную живой «дробилкой» руду промывали в железных тазах — так полвека назад где-нибудь на Алдане старатели мыли золото. Мы видели десяти-двенадцатилетних мальчиков и девочек, стоявших по колено в воде или сидевших в ней по пояс на отвалах песка и промывавших в небольших чашках отходы, образующиеся при обогащении руды в желобах.

Да, существует здесь и такой промысел. Дельцы из компании «Канбаук» давно заметили, что в «хвостах» промывки остается некоторое количество руды. И они стали выдавать разрешение на повторную промывку отходов какому-либо предприимчивому подрядчику, который уже от себя нанимает рабочих, главным образом детей и женщин. За каждый килограмм намытой в отвалах руды компания платит подрядчику три-четыре джа — в два раза меньше, чем обходится этот же килограмм, добытый на руднике. Сколько из этой суммы подрядчик выплачивает детям, целый день вертящим худенькими ручонками чашки с песком, — остается на его совести. Известно только, что ребенок намывает за неделю не более килограмма руды.

Все это пишется не в укор нашим бирманским друзьям. Естественно, что страна, где на протяжении ста с лишним лет хозяйничали чужеземцы, страна, перенесшая четырехлетнюю оккупацию японских милитаристов, беззастенчиво грабивших народ,

наконец, страна, где длительное время не удается достигнуть внутреннего мира, что не может не сказываться на ее экономическом положении,— такая страна, конечно, не может в короткий срок ликвидировать последствия векового колониального режима, залечить раны, нанесенные ей в период войны, восстановить разрушенное оккупантами хозяйство, быстро поднять благосостояние населения. Естественны также и многие трудности и противоречия, встречающиеся на пути экономического развития Бирманской республики. Эти трудности неизбежны, но не они определяют главное в сегодняшнем дне Бирмы.

Главное же характеризуется масштабами тех усилий, которые прилагаются для ликвидации этих трудностей. Значительные средства вкладываются в строительство новых государственных предприятий, оснащенных современной техникой, большое внимание уделяется подготовке национальных кадров, улучшению условий труда и быта горнорабочих.

На строительство Калевского угольного рудника уже завезена первая партия горного оборудования — электровозы, погрузочные машины, бурильные и отбойные молотки. Основные трудоемкие работы здесь будут механизированы. Прокладывается шоссейная дорога к крупному месторождению цинка Лоунг-Чен; в недалеком будущем в этом районе начнется строительство крупного механизированного рудника. Корпорация по развитию минеральных ресурсов Бирмы ускоренными темпами ведет разведку богатого железорудного месторождения Пангпет. Руда здесь будет добываться открытым способом с помощью современного оборудования.

Я побывал в небольшом поселке, выстроенном за счет государства для геологоразведчиков Пангпета. В небольшой долине, окруженной вершинами Шанского нагорья, выстроились шеренгой новенькие аккуратные домики. Стены и крыши их сделаны из толстой волнистой оцинкованной стали. Такие дома долговечны, быстро собираются и хорошо отвечают условиям тропического климата Бирмы.

Заработная плата рабочих на предприятиях корпорации в полтора-два раза выше, чем на рудниках, принадлежащих частным фирмам.

На другой день мы осматривали в Тавое обогатительную фабрику, принадлежащую У Те Сейн Хану, главе одной из многочисленных тавойских горнорудных компаний. Фабрика работает с нагрузкой, составляющей одну пятую ее производственной мощности. Причина — недостаток сырья. У Те Сейн Хан, кроме фабрики, владеет еще пятью шахтами, однако добыча руды на них почти не производится, а оборудование свезено в Тавой. На складе фабрики мы увидели законсервированные компрессоры, дробилки, пневматический горный инструмент.

Вечером на приеме у члена парламента У Сейн Ку, лидера местного объединения профсоюзов, мы встретились со многими тавойскими дельцами. Почти все они связаны с горнорудной промышленностью, и, естественно, речь сразу же зашла о впечатлениях от поездки на «Канбаук». Наше мнение обо всем увиденном мы сформулировали примерно в тех же выражениях, в каких оно изложено здесь.

Беседа наша продолжалась довольно долго.

— Мы знаем, что русские — друзья нашей страны,— сказал в заключение У Сейн Ку.— Мы благодарим за критические замечания, которые помогут нам лучше увидеть наши недостатки, и за полученные рекомендации. Все мы были очень рады приветствовать гостей из Советского Союза в нашем небольшом городе!

Назавтра нас пригласили совершить поездку на побережье Индийского океана. В нескольких километрах от деревни Маунг-маган, в чаще леса, на самом берегу стоит несколько больших деревянных благоустроенных домов, куда зажиточные тавойцы приезжают отдыхать в праздничные дни. Здесь можно получить обед из национальных блюд, чашку кофе или чаю, ярко-золотистый напиток «коранж» со льдом.

К вечеру сюда же приехала группа тавойских корреспондентов центральных бирманских газет во главе с другим руководителем профсоюзов У Сейн Лином.

Пока мой спутник беседовал с журналистами, мы на широкой открытой террасе разговорились с У Сейн Лином о деятельности профсоюзов в Тавое.

Союзы объединяют горняков, рабочих каучуковых плантаций и водников — небольшие суда ходят из Тавоя в порты Тенассеримского побережья, а также

перевозят грузы и пассажиров вверх по реке Тавой. В объединении состоит около трех тысяч человек. Условия работы профсоюзов трудные. У Сейн Лин уже слышал, что на «Канбауке» мы беседовали с шахтерами, которые работают на руднике временно. Таких рабочих здесь много. Уходя с шахты или с плантации снова в деревню, они выбывают и из союза, психология их остается крестьянской. Поэтому профсоюзы в Тавое пока что не очень сильны.

— Далеко не то, что у вас в Советском Союзе! — произносит он задумчиво.

Оказывается, У Сейн Лин несколько лет назад, в дни первомайских празднеств, побывал в Москве. Он показал нам фотографии — бирманская делегация на Красной площади, в Кремле, у Большого театра; вынимает из кармана портсигар из нержавеющей стали с изображением М. Горького, авторучку «Ленинград» — подарки московских друзей.

— Пока нам не всегда удается заставить компании удовлетворять справедливые требования рабочих. Вот сейчас объединение борется за введение на предприятиях обязательного социального страхования за счет предпринимателей. Это единодушное требование всех членов профсоюзов, и они не намерены отступить от него. Некоторые компании уже согласились на это. Я думаю, что на этот раз мы добьемся полного успеха...

За последние годы в Бирме приняты законы о восьмичасовом рабочем дне, об оплачиваемых отпусках, об охране труда, о страховании. Однако законы эти пока еще сплошь и рядом нарушаются на частновладельческих предприятиях, не говоря уже о предприятиях, принадлежащих иностранным компаниям. И деятельность профсоюзов Тавоя — наглядное свидетельство упорной борьбы в защиту прав рабочих, разрывывающейся сейчас повсеместно...

УГОЛЬ БИРМЫ

Я смело называю так эту главку своих заметок, хотя в Бирманском Союзе пока еще нет своей угольной промышленности. Топливо, столь необходимое для создающейся национальной индустрии молодой республики, все еще приходится ввозить из-за границы. Это один из многочисленных шрамов, оставленных на экономике Бирмы вековым господством английских колонизаторов, менее всего заботившихся о гармоничном развитии производительных сил страны.

Перед второй мировой войной в Бирму ежегодно ввозилось более полумиллиона тонн угля из Индии, где в то время также хозяйничали английские монополии. Сейчас ввоз угля сократился вдвое. Однако рост потребности в топливе и стремление к развитию собственной индустрии выдвинули в число важнейших задачу — наряду с дальнейшим увеличением добычи нефти организовать добычу угля.

В Бирме известен ряд угольных месторождений. Наиболее крупные из них — Калевское в провинции Верхний Чиндвин и Хукавнское в автономном Качинском государстве. По предварительным данным, уголь Хукавнского пласта пригоден для коксования. Несмотря на то, что месторождение удалено от железной дороги и водных магистралей, оно в будущем может сыграть важную роль для получения кокса при развитии национальной металлургии.

Угольные пласты обнаружены также на юге и севере автономного Шанского государства и в двухстах километрах к северо-западу от города Мандалая. А совсем недавно, в 1956 году, в районе города Минбу, на правом берегу реки Иравади, было открыто новое крупное угольное месторождение. И оно, конечно, далеко не последнее — Бирма богата полезными ископаемыми.

— Поезжайте в Калева, — предложил мне У Ба Тун, генеральный директор Корпорации по развитию минеральных ресурсов Бирманского Союза, которую здесь повсюду сокращенно именуют «Эмардис»¹. — Посмотрите, как ведется строительство нашего первого угольного рудника. Кстати, было бы интересно услышать

¹ Начальные буквы слов «Mineral Resources Development Corporation» (англ.).

ваше мнение о его проекте. По геологическим условиям месторождение напоминает один из районов вашего Кузбасса.

Весной 1955 года У Ба Тун возглавлял бирманскую часть делегации геологов и горных инженеров стран Азии и Дальнего Востока, посетившей Советский Союз, и в беседах неоднократно вспоминал об этой поездке.

Мы сидели у него в кабинете, в здании Эмардиси на одной из тихих улочек Рангуна. Лучи солнца не проникали в комнату, но прохладнее от этого не было — столбик ртути в термометре еще утром перевалил за тридцать, и даже неумолчно шуршащие под потолком огромные вентиляторы — фэны — не приносили облегчения. У Ба Тун, полный, грузный мужчина, сидел, расстегнув не только воротник, но и все пуговицы сорочки, видневшиеся над письменным столом, и обмахивался веером. Мы с торговым советником посольства М. И. Крыловым были лишены такой возможности и терпеливо обливались потом под своими наглухо застегнутыми воротничками, стянутыми узлами галстуков. По звонку У Ба Туна посыльный, шлепая босыми ногами по свежевывытому ненатертому паркету, внес поднос с запотевшими бокалами оранжа, в которых плавали кусочки льда. Разговор шел о бирманском угле.

— Через четыре года мы совершенно прекратим импорт угля, — сказал он в заключение.

Нетрудно понять важность задачи, решаемой корпорацией.

После неизбежного обмена телеграммами по поводу нашего приезда, мы с инженером С. К. Рябченко отправились через несколько дней на строительство первенца бирманской угольной промышленности.

Поездка началась с неожиданного знакомства. В рангунском аэропорте к нам подошел и представился высокий, начинающий сидеть англичанин, одетый в дорожные вельветовые брюки и башмаки на толстой подошве.

Мистер Питерс оказался нашим попутчиком. О том, что мы летим в Калева, ему накануне сообщили работники Эмардиси. Тут же, на аэродроме, он рассказал о цели своего путешествия.

Бухгалтер по профессии, мистер Питерс, по его собственному выражению, «болтается» на Востоке около двадцати лет. Сейчас он работает на одном из горных предприятий в Западной Бенгалии. Контракт его кончается через два месяца, а он вот уже полгода не может найти себе нового места службы. Он обращался в ряд индийских учреждений и компаний, но безрезультатно: нигде нет нужды в опытных бухгалтерях (он тут же с грустью констатировал, что это относится только к англичанам, бухгалтеры индийцы все имеют работу). Семьи у него нет, «не обзавелся», близких родственников в Англии — также, и ему, собственно, некуда возвращаться. Мистер Питерс списался с Эмардиси, и ему предложили должность бухгалтера Калевского строительства («правда, уже не тот оклад»). Он взял отпуск, прилетел в Бирму и вот теперь направляется в Калева, чтобы собственными глазами посмотреть место, где ему вскоре, может быть, придется жить и работать.

— А если не договоритесь?

— Что ж, буду искать еще где-нибудь. Поеду в Сиап, в Сингапур...

Четыре часа самолет нес нас из Рангуна сначала почти строго на север, затем на северо-запад. В полдень он приземлился в городке Калемьё — конечном пункте воздушного маршрута; в семидесяти километрах к западу лежала индийская граница. Еще три часа пути — сначала на узкой и длинной моторной лодке по мутной в период дождей водам быстрой Мьитты, затем в новеньком, сверкающем свежей зеленой краской «джипе», — и вот мы в Калева, большом селении, от которого и получило название крупнейшее в Бирме угольное месторождение. Отсюда всего пять километров до деревни Ти-чэк, где закладывается рудник.

Здесь под углом в сорок — пятьдесят градусов к земной поверхности залегают угольные пласты общей мощностью около шестидесяти метров, перемежающиеся слоями горных пород. Первая очередь строящегося рудника рассчитана на разработку одного из них, имеющего мощность от трех до четырех с половиной метров и распространенного на значительной площади.

На примере Калевского строительства наглядно видны трудности, встающие перед корпорацией при создании отечественной горной промышленности. Одна из них — отсутствие национальных кадров специалистов и квалифицированных рабочих.

Разведка месторождения производилась французской фирмой «Пьерс Мэндремент». Проект рудника выполнен известной лондонской фирмой «Поуэлл Даффрин техникал сервис Лимитед». Строительство его возглавляет английский горный инженер Джон Бёрн. За ходом работ наблюдает консультант проектной фирмы горный инженер Френсис Старк. Оба англичанина любезно встретили нас на аэродроме в Калемье.

В маленькой чистой конторке мистеры Д. Бёрн и Ф. Старк развернули перед нами десятки огромных светло-лиловых листов чертежей, раскрашенных цветными карандашами, и пухлые тома геологических отчетов, пояснительных записок и смет, переплетенные в добротный черный ледерин. Это был проект рудника.

Шахтное поле, по предварительным данным, содержит около девяти миллионов тонн запасов угля. Годовая производительность будущей шахты — двести пятьдесят тысяч тонн угля. К 1960 году здесь ежесуточно будет добываться тысяча тонн угля.

Мы поинтересовались, как будут механизированы работы на шахте. Мистер Старк с готовностью открыл новую папку.

— Инженеры фирмы запроектировали для Калевского рудника машины, обычные для английских шахт. Вот, смотрите: бурение шпуров намечено производить пневматическими сверлами, зачистку забоя после взрывания угля — отбойными молотками. К сожалению, в Англии нет угольных комбайнов для наклонных пластов, хотя в Советском Союзе такие машины сконструированы, не так ли?

Лукаво прищурившись, он выжидательно посмотрел на нас. Мы подтвердили, что действительно в СССР работают такие комбайны.

— Ну вот, — удовлетворенный собственной осведомленностью, продолжал Старк. — До штрека уголь будет доставляться собственным весом. Откатка по штрекам — аккумуляторными электровозами в двух- или трехтонных вагонетках. По наклонному стволу принята канатная откатка в таких же вагонетках. Горные выработки будут проводиться с помощью пневматических погрузочных машин. И только при проходке наклонного ствола длиной в восемьсот метров порода будет грузиться в вагонетки вручную — машин для таких условий у нас также пока нет.

Он сделал паузу и снова хитровато прищурился — мистер Старк был немного близорук.

— Я читал описание советской машины, предназначенной для погрузки угля и породы в уклонах. По-моему, она неплохая, но мы не применили ее в проекте из-за незначительного объема работ. Ведь после проходки ствола ей больше нечего будет делать. Кто знает, когда в Бирме будет строиться новая шахта?

Он был действительно неплохо осведомлен о наших машинах, этот невысокий, худощавый, подвижный шотландец, одетый, как и Д. Бёрн, в короткие брючки цвета хаки, не доходившие ему до колен, белую сорочку, шерстяные носки и туфли — типичный костюм европейца в тропиках.

Как он нам сообщил затем, фирма, в которой он работает, выписывает технические журналы почти из всех стран мира. Специальный штат людей — большей частью квалифицированных инженеров — реферировал те статьи, которые, по их мнению, могут заинтересовать инженеров, выполняющих проекты. Обзоры направляются в различные отделы фирмы к ведущим специалистам. Если кто-либо из сотрудников заинтересуется той или другой статьей, он через несколько дней получает полный перевод ее, снабженный чертежами, схемами, фотографиями, приведенными в подлиннике статьи.

Невольно пришло на ум: так же ли четко организовано получение ценной информации о новинках зарубежной техники в наших проектных, конструкторских и научно-исследовательских институтах?

...Мы отправились на территорию рудника.

Человек пятьдесят рабочих возводили фундамент большого здания — мистер Бёрн пояснил, что это строится административно-бытовой корпус. Другая примерно

такая же группа рабочих была занята мощением участка шоссе, ведущего от этого корпуса к будущему надшахтному зданию. Далее бульдозер планировал небольшую площадку — здесь, по проекту, на выходе пласта на поверхность закладывается временная шахта, на которой уже через год будет добываться двести тонн угля в сутки.

Мы осмотрели временные сооружения: электростанцию, насосную станцию, механическую мастерскую. Подготовка к строительству велась тщательно и продуманно.

Д. Бёрн сообщил, что на строительстве шахты сейчас занято около двухсот пятидесяти рабочих. На сооружение и развитие Калевского рудника ассигновано более двадцати шести миллионов джа. Работники Эмардис подсчитали, что эти затраты быстро окупятся, как только шахта освоит проектную мощность: импорт угля ежегодно обходится более чем в двадцать миллионов джа, а валюты в стране крайне недостаточно.

Все рабочие на руднике — бирманцы. По проекту, при добыче угля до тысячи тонн в сутки здесь будет работать около двух тысяч человек. Подготовку горняков в основном намечено производить на месте. Сегодняшним строителям в недалеком будущем предстоит перекаленичиться в шахтерах.

Бирманское правительство придает огромное значение быстрейшей подготовке собственных кадров горняков. На следующий день, переправившись в моторной лодке через бурную Мьитту, мы осмотрели временную штольню. Здесь еще недавно добывалось тридцать—пятьдесят тонн угля в сутки. Помимо использования получаемого угля, добыча его преследовала и другую цель — обучение местных жителей шахтерским специальностям. За рудником закреплены четверо студентов Рангунского университета, которых на государственный счет послали заканчивать образование в Австралию. Окончив там институт, они придут для работы в Калева. Туда же направлено пятнадцать человек рабочих. Получив на австралийских шахтах необходимый опыт, они смогут затем передавать его своим товарищам.

А ведь недавно еще некоторые иностранные специалисты высокомерно утверждали, что бирманцы не могут стать хорошими горняками. В Рангуне я детально ознакомился с двумя толстыми томами — это было так называемое Расширенное сообщение об экономическом и техническом развитии Бирмы, подготовленное для правительства Бирманского Союза американской инженерной компанией «Кнаппен Типпетс Аббет» несколько лет назад. С предельным откровением и не меньшим цинизмом авторы его утверждали, что местные жители «не расположены к профессии рудокопа» и что горнорудные концерны в силу этого зачастую оказывались не в состоянии обучить даже «сержантов» и «капралов» промышленности. Вопрос о подготовке более высококвалифицированных специалистов даже не рассматривался. Очевидно, пользуясь терминологией компании, на роль «генералов» и «офицеров» горной промышленности Бирмы американцы прочли себя.

Вечером мы допоздна засиделись с нашими новыми знакомыми за чашкой терпкого душистого чая. К нам присоединился У Сан Нан, помощник Бёрна, возвратившийся из Калемьё, воспитанник Рангунского университета. Разговор шел о руднике, о бирманском угле и о Бирме, где современная техника соседствует с глубокой стариной и на каждом шагу встречаются разительные контрасты. Здесь на дорогах увидишь и вполне современный автомобиль, и слонов с поклажей, и быков, везущих арбы на огромных колесах. Путешествуя по стране, видишь поля, обрабатываемые сохами, и рядом — новенькие тракторы. Мы видели тысячелетние пагоды, освещенные электричеством, и экскаваторы, идущие на смену землекопу с маму-ты. Страна прямо из седой древности входит в двадцатое столетие.

Не вдаваясь в оценку проекта, выполненного такой солидной фирмой, мы, между прочим, заметили, что намеченные сроки строительства рудника великоваты. Наиболее трудоемкие и длительные работы — это горные: проходка ствола, бремсберга, штреков. Их действительно можно проводить только последовательно, одну после окончания другой. Однако даже ориентировочные подсчеты показывали, что скорость проходки их можно значительно повысить. Комплекс поверхностных сооружений, облегченных применительно к местному климату, предусмотрено возводить

параллельно с горными работами, и это не может влиять на длительность строительства. Таким образом, за счет сокращения времени, отведенного на горные работы, ввод шахты в эксплуатацию мог бы быть значительно ускорен.

Это замечание, скажем прямо, пришлось не по душе мистеру Бёрну, который с жаром начал доказывать обратное. Он утверждал, что основное препятствие для сокращения срока строительства — это недостаток средств и, главное, «неумение бирманцев» работать. Кстати, последний довод он привел и тогда, когда, знакомясь с проектом, я усомнился в экономичности проходки наклонного ствола по породе такой большой длины. У нас пласты, имеющие аналогичное залегание, обычно вскрываются вертикальными стволами или наклонными стволами, проводимыми по углю, а не пересекающими породы, как это было принято в проекте.

— Бирманцы не смогут пройти ни вертикальных стволов, ни наклонных в таких сложных условиях,— убежденно заявил мистер Бёрн.

— Но опыт рабочих будет возрастать с каждым метром проходки. Неужели они за три года так и не сумеют стать настоящими шахтерами? А ведь в проекте скорость проведения выработок даже в последние дни строительства считается такой же, как и в начале работ. Наконец, квалифицированное руководство...

Он с явным недоверием махнул рукой.

— Не могу же я передать свое умение каждому из них!

Совершенно очевидно, что этого и не требуется делать.

Разговор был специальный, с карандашами и логарифмическими линейками в руках, и довольно бурный. Мы понимали нашего оппонента. Во-первых, он не верил в способность бирманцев быстро овладеть сложными шахтерскими профессиями. Во-вторых, он был непоколебимо убежден в непогрешимости проекта. Была и еще одна деталь, которая, впрочем, оставалась невысказанной: заключив контракт на три с половиной года, по которому труд мистера Бёрна оплачивался здесь очень высоко, он не видел оснований спешить с отъездом из Бирмы. Вид сидевшего рядом мистера Питерса должен был укреплять его в этом решении. Кстати, последние шесть-семь лет перед Бирмой Д. Бёрн также работал в Индии.

Но надо было видеть, как заблестели глаза У Сан Нана, когда Д. Бёрн, признав, что у него на родине такие работы выполняются чуть ли не вдвое быстрее, чем предусмотрено проектом, согласился с нами,— конечно, «при соответствующих условиях»...

У Сан Нан пока только помощник. От него многое здесь не зависит. Он даже почти не принимал участия в разговоре, лишь внимательно выслушивая доводы сторон и изредка уточняя вопросами отдельные положения. Однако кто знает, не ему ли поручат возглавлять строительство следующей шахты?

Небольшая полемика закончилась, и мистер Бёрн снова превратился в радушного хозяина.

— Оказывается, есть язык,— сказал он,— на котором три инженера всегда могут сговориться друг с другом, даже если один из них русский, второй — англичанин, а третий — бирманец: это язык чертежей!

И он похлопал ладонью по толстому альбому проекта.

...На другой день рано утром мы уезжали с рудника. У крыльца мерно рокотал мотор «джипа». Над Мьиттой, блесневшей вдаль, поднимался легкий туман. Небольшое облачко, закрывавшее вершину на противоположном берегу реки, незаметно растаяло, и небо над горой залилось ярким золотистым светом. Над деревней Ти-чэк вставало солнце, и первые рабочие, оживленно переговариваясь, уже собирались небольшими группами на строительной площадке.

У ЛЕСОРУБОВ ЛОЙ-ЛОНГА

Знакомство с лесными богатствами страны началось уже в первые же часы нашего пребывания в Рангуне.

Изрядно уставшие с дороги — за двое суток с небольшим нам пришлось проделать более тринадцати тысяч километров,— мы наконец прибыли в отель. Он назывался

«Стрэнд», что по-английски означает «Прибрежный», и фасадом был обращен к рангунскому порту. Из окон нашего номера виднелись труба и надпалубные постройки большого корабля, стоящего у ближайшего причала (на другой день мы узнали, что это советское судно «Адмирал Ушаков», пришедшее за рисом), серебристые крыши длинных и низких портовых складов и над ними мачты и трубы других пароходов. Время близилось к полуночи, и набережная была почти пуста.

Приняв душ, мы бросились в удобные мягкие кресла, закурили — и тут мой спутник, молодой товаровед Женя Дыдычкин, приехавший на работу в аппарат торгового советника при советском посольстве, обратил внимание на паркет.

До блеска натертые дощечки, примерно в полтора раза длиннее и уже, чем принято у нас, имели темно-коричневый цвет ровного тона. Такой равномерной окраски достичь трудно, это был естественный цвет дерева. В углу одна дощечка слегка выступала из гнезда. В Жене дала себя знать профессиональная жилка. Он извлек дощечку и перочинным ножом сделал на торце глубокую царапину. Оттенок древесины почти не изменился в глубине надреза. Дощечка показалась нам довольно тяжелой для своих размеров.

— Паркет из тика! — торжественно объявил Женя, укладывая дощечку в ее гнездо.

Усталость мгновенно исчезла — ведь тик это одна из редких и очень ценных пород древесины! Мы внимательно осмотрели мебель в комнатах. Кровати со стойками для противомоскитных пологов, шкафы, письменный стол, низкий обеденный столик, стулья, многочисленные тумбочки — все было сделано из тикового дерева, знаменитого тика, известного нам по любимым книгам детства. Заинтересовавшись, мы выглянули в коридор, и тут все — паркет, панели, ступени и массивные перила широкой лестницы, высокие подставки для цветов — тоже было сделано из тика.

Позже мы убедились, что в Бирме тиковая мебель не редкость, но в памяти ярче всего запечатлелось это наше первое «открытие»: под ногами драгоценный тик...

Тиковое дерево и десятки других известных и неизвестных нам пород деревьев составляют одно из величайших национальных богатств Бирмы. Более половины территории страны покрыто лесами. Десять твердых пород древесины, вывозимой отсюда, пользуются большим спросом на мировом рынке, свыше семидесяти ее сортов служат для внутреннего потребления. Наряду с родными нам дубом, каштаном, кленом и другими в Бирме (в зависимости от местонахождения лесных массивов) растут диковинные тропические великаны.

На Тенассеримском побережье Андаманского моря мы подолгу любовались диптерокарпами, лесными гигантами, достигающими сорока—пятидесяти метров в высоту. В их темной кроне виднеются мелкие светлые цветы, свисающие огромными кистями наподобие колосьев. Диптерокарпы отличаются редкой особенностью: в их древесине (которая сама по себе очень ценна) есть многочисленные полости, заполненные ароматной смолой, так называемой «даммара». Из нее изготавливают ценный бальзам, применяемый в лечебных целях и в парфюмерии, и технический жир.

Восхищение европейцев вызывают и баньяны — огромные фикусы, крона которых достигает пятидесяти—шестидесяти метров в поперечнике. Это удивительное дерево выпускает бесчисленные воздушные корни. Достигнув земли, они укрепляются в почве, а остающиеся над ней части со временем превращаются в толстые стволы. Так из одного дерева иногда образуется целая рощица с общей кроной, под сенью которой могло бы свободно разместиться небольшое селение...

В сухих тропических лесах Шанского нагорья, где большое количество осадков выпадает только в дождливый период, а в остальное время года стоит сухая солнечная погода, мы видели тик, «железное дерево» — пинкадо, гигантские акации «катеху», панданусы, индикусы и множество других лесных исполинов с экзотическими, непривычными для нашего слуха названиями. Среди них тиковое дерево занимает особое место.

Бирманские сорта тика наряду с тайландскими считаются наилучшими. Тик отличается высокой прочностью, хорошо противостоит гниению, легко обрабатывается. Он широко используется в кораблестроении, при строительстве портовых и других сооружений. В местечке Сингу, под Рангуном, мы видели, как местные строители приме-

няли тик в качестве заменителя стали. Здесь, в строящемся корпусе фабрики искусственного шелка и нейлона фирмы «Бираджлал Джунднувала», из тикового дерева были изготовлены массивные сборные фермы перекрытия длиной около пятнадцати метров, несшие на себе толстые гофрированные листы оцинкованного металла. Из тика, как уже говорилось, изготавливают мебель, различные сувениры и безделушки: искусно вырезанные статуэтки, фигурки слонов, волочащих бревно, с неизменным погонщиком на широкой спине, «чинти», миниатюрные пагоды.

Бирманские леса дают не только высококачественную древесину, но и ценные продукты — «катч», растительный лак, дубители, красители.

«Катч» — вещество, получаемое из древесной смолы, — используется для пропитывания рыболовных сетей, тросов, матов. Оно предохраняет их от гниения. Кроме того, «катч» потребляется фармацевтической промышленностью, необходим для производства красок и жевательного табака. Почти весь «катч», добываемый в Бирме, идет на экспорт. Растительный лак служит сырьем для изготовления шеллака.

На горных хребтах, над зоной влажных тропических лесов, начинается царство вечнозеленых деревьев — пробкового дуба, лавра, пинкадо, а также огромных древовидных папоротников. Еще выше раскинулись необозримые массивы хвойных лесов, перемешанных с зарослями рододендронов, магнолий, каштанов.

Дельта реки Иравади, площадью свыше тридцати тысяч квадратных километров, сплошь и рядом покрыта болотистыми непроходимыми тропическими джунглями, густо опутанными лианами. Деревья этих джунглей, да и лесов, покрывающих побережье и дюны, пока еще не используются. Отмели Тенассеримского побережья изобилуют мангровыми лесами, затопляемыми во время приливов.

В лесах Бирмы растут хлебное, чайное, кофейное, сигарное, камфорное, тунговое и другие редкостные деревья. Широко распространены, особенно на юге страны, различные виды пальм.

Когда идешь по улицам бирманских городов и селений, где повсюду высятся магнолии и лимонные деревья, а у подножия высокой пушистой сосны распростерли свои трехметровые листья бананы, невольно кажется, что находишься в огромном ботаническом саду где-нибудь на Черноморском побережье Кавказа.

В годы английского владычества лесоразработки и вывоз тика почти полностью находились в руках дельцов из нескольких британских компаний, расхищавших национальные лесные богатства страны.

Правительство Бирманского Союза серьезно занялось восстановлением довоенного объема заготовок леса и особенно тикового дерева. Четыре года назад в стране была организована кампания по привлечению рабочих в районы лесозаготовок, и в ряде областей возобновлены разработки леса, заброшенные во время войны. Вновь начат лесосплав по реке Ситтаг — одной из крупных водных артерий страны, — ведется строительство лесопильных заводов. Монопольное право на экспорт тика принадлежит теперь государству.

Особое, можно сказать, универсальное значение имеет в Бирме бамбук. Его здесь произрастает свыше двадцати пород. Бамбуковые заросли и рожи встречаются здесь повсюду. «Островки» бамбука мелькают среди рисовых полей и вдоль дорог. Почти в каждом дворе деревенских и городских домов увидишь их прямые высокие стебли с густой, ласково шелестящей листвой.

Одно из основных применений бамбука — жилищное строительство. Около девяноста процентов более чем двадцатимиллионного населения Бирмы живет в деревнях и селениях и только одна десятая часть обитает в городах, причем городом здесь считается населенный пункт с числом жителей свыше двух-трех тысяч человек.

Необычно для нашего глаза выглядят бирманские селения. Легкие домики, скорее хижины, покоятся на сваях высотой в рост человека. Устройство их чрезвычайно простое. Остовом служат стволы бамбука. Стены заменяют циновки, сплетенные из него же. Для этого пустотелые стволы бамбука расщепляют небольшим острым топориком на узкие тонкие пластинки, напоминающие нашу дранку, и из таких пластинок плетут маты. Пол в бирманском жилище — расколотые вдоль бамбуковые стволы потолще; когда на них ступаешь, они слегка прогибаются под ногами. Крышей служат пальмовые

листья или пучки лесной травы. В жилище поднимаются по узким лесенкам. Перильца и ступени их, а также изгороди, разделяющие дворы, тоже сделаны из бамбука.

По данным последней переписи (1950 год), в стране насчитывалось четыре миллиона домов. Половина из них — целиком бамбуковые, почти три четверти остальных построены из дерева и бамбука, и только около шестисот тысяч домов были полностью деревянными или каменными, причем на долю последних приходился всего один процент. Эти дома в подавляющем большинстве сосредоточены в крупных городах.

Жилища из бамбука служат в среднем три-четыре года, в то время как дома из твердых пород леса могут стоять тридцать—сорок лет. Тем не менее дешевизна первых имеет решающее значение.

В Бирме ежегодно заготавливают более семи миллионов кубических метров бамбука. На строительство жилищ расходуется не менее трети этого количества. Остальное идет на различные хозяйственные нужды и на кустарное производство. Из бамбука строят навесы на базарах, уличные харчевни и чайные, так распространенные в городах и селах Бирмы, помещения небольших парикмахерских, различных мастерских, ларьков, где торгуют всякой всячиной. Народные умельцы изготавливают из бамбуковых стволов кубки, коробочки, шкатулки, ларцы, вазы. Украшенные ярким национальным орнаментом с рисунками на сюжеты бирманского эпоса, выполненными с большим вкусом, эти вещицы удивительно изящны и красивы. Бамбуковая мебель, зонты, шляпы, сосуды для воды — предметы первой необходимости в деревне. Невозможно перечислить все виды применения бамбука. Но если к сказанному еще добавить, что молодые побеги его бирманцы охотно употребляют в пищу, то трудно не признать универсальности бамбука.

В одной из южных провинций автономного Шанского государства нам предложили посмотреть лесоразработки. Они находились в районе населенного пункта Лой-лонг. Мы охотно приняли приглашение и на другой день выехали из Калоу, чистенького курортного городка.

Было раннее утро, и на улицах встречались только редкие прохожие. Мы проехали мимо мусульманской мечети, мимо частного женского колледжа, чей опрятный, утопающий в цветах дворик был пуст, миновали центр городка с двумя десятками еще закрытых лавок и магазинов — и вскоре «джипы» уже неслись по асфальтированному шоссе, проложенному среди лесной чащи.

Пока машины петляли по бесчисленным изгибам дороги, сопровождавший нас работник местного отделения Департамента леса, созданного еще в 1856 году и ныне входящего в Министерство сельского и лесного хозяйства, рассказывал нам о лесных богатствах Шанского нагорья. Звали его У Тан Лай. Это был немолодой уже человек, с необычайно тонкими для бирманца чертами лица. Он рассказал нам, как еще недавно на огромных территориях, арендованных иноземными дельцами, хищнически вырубались ценные породы деревьев, а департамент, глава которого называется главным хранителем лесов, не мог ничего поделать с всемогущими компаниями; рассказал он нам и о том, как жестоко они эксплуатировали лесорубов.

— Только теперь, в независимом государстве, наши леса стали подлинно национальным достоянием, — в заключение сказал он.

Стрелка спидометра нашего «джипа» застыла на шестидесяти милях (сто десять километров)!

Здесьние шоферы любят быструю езду. Вдоль дороги изредка мелькали хижинки небольших селений. Постепенно лес отступил на несколько километров по обе стороны дороги, и мы выехали на равнину. Вокруг поля, изредка проносятся встречные грузовики, а возле деревень все чаще встречаются лихие всадники, восседающие на огромных серых буйволах с громадными, почти смыкающимися по окружности, рогами. Свернув с шоссе на проселок, мы мчимся к виднеющейся вдали черно-зеленой стене — это покрытые лесом невысокие горы. Накануне прошел дождь, но дорога в полном порядке. Надо сказать, что в Бирме тщательно следят за состоянием дорог. Через полтора часа езды среди сплошной завесы из листьев всех мыслимых оттенков зеленого цвета машины останавливаются. Дальше нужно идти пешком.

Непрерывно разводя руками ветви, преграждающие нам путь, мы бредем по узкой тропинке, то поднимаясь на возвышенность, то спускаясь в ложбины, перепрыгиваем с камня на камень, перебираемся через бурный ручей с прозрачной, голубоватой в тени водой. Долго обходим огромную голую вершину, очертания которой напоминают развалины древней крепости с тремя башнями, и вдруг совершенно неожиданно выходим из лесной чащи на большую поляну.

Вокруг густо торчат пни, и жадно тянется к солнцу молодая буйная поросль. Лес здесь, видимо, был вырублен года два назад. Вдали, среди деревьев, мелькают цветные пятна одежды работающих людей.

У Тан Лай легко касается моего плеча рукой. Я оборачиваюсь — и невольно хватаюсь за свой «Зоркий»: метрах в двадцати справа бредет огромный слон, обхвативший хоботом громадное бревно.

У Тан Лай не может сдержать улыбки.

— Не спешите — тут работают несколько слонов, и вы еще увидите их. Вот, поглядите, наше лесное золото — тиковое дерево.

Все мое внимание и объектив фотоаппарата сразу же переключились на окружающие нас огромные деревья высотой в двадцать—двадцать пять метров. Каждое было диаметром не меньше, а то и больше метра. В шестидесяти—семидесяти сантиметрах от земли деревья опоясывала узкая, глубокая кольцевая щель. Сырой тик тяжелее воды, и для того, чтобы можно было сплавлять бревна по реке, деревья за год-два до рубки «кольцуют». Деревья, которые мы рассматривали, медленно высыхали — их огромные сердцевидные листья (до тридцати сантиметров в длину), шершавые сверху и покрытые жестковатыми волосками снизу, уже поникли и пожелтели.

— Этот участок подлежит вырубке в будущем году, — сообщил У Тан Лай, — деревья должны хорошо подсохнуть.

Мы подошли к лесорубам.

Лесоруб — это слово обычно вызывает в нашем воображении образ человека в полушубке или ватнике, в валенках, среди вековой, покрытой снегом тайги. Конечно, лесозаготовки ведутся и в центральных областях Советского Союза, и на склонах Карпат, но почему-то прежде всего память услужливо преподносит именно этот образ. А вот сейчас я увидел лесорубов, вся одежда которых — набедренная повязка из куска цветной ткани; они равнодушно валили в тропическом лесу приводящие нас в восхищение диптерокарпы, тик, лавры, магнолии. Мы наблюдаем за их работой. Несколько минут потребовалось пильщикам, чтобы свалить огромное, не подвергавшееся предварительному кольцеванию дерево. Они работали размеренно, строго рассчитанными движениями. Это были настоящие мастера своего дела. Оказывается, часть деревьев, предназначенных для внутреннего потребления, валят в «сыром» виде. Для сплава их вяжут в плоты вместе с другими, меньшей плотности, или с бамбуком.

Ловко орудуя маленькими топориками, лесорубы отделяли от поваленных стволов ветви. Из плотной и твердой древесины с темно-коричневым ядром и более светлой заболонью стекали мелкие капли клейкого сока.

Я взял в руки лежащий в сторонке чей-то топор, осмотрел прислоненную к стволу пилу с широким полотном — всю немудреную здешнюю «технику». На инструментах — клейма, свидетельствующие об их европейском происхождении... У Тан Лай понимающе кивает головой.

На краю лесосеки показываются два слона, медленно бредущие в тени. Теперь я уже с полным удовлетворением делаю несколько снимков и, улыбаясь, спрашиваю У Тан Лая:

— А слоны эти местные или тоже привозные?

Дело в том, что слоны тоже одна из статей бирманского импорта. Индия наряду с автомобилями, велосипедами, железо-скобяными изделиями, сельскохозяйственными и швейными машинами, слаботочным оборудованием и железнодорожными вагонами поставляет Бирме также и слонов...

У Тан Лай громко хохочет.

— Нет, свои,— они пойманы на севере страны.

При посредстве нашего спутника задаем несколько вопросов стоящему неподалеку и с интересом разглядывающему нас молодому лесорубу. По лицу парня обильно струится пот, и, отвечая, он несколько раз утирает его тыльной стороной ладони. Через несколько минут вокруг нас уже образовалось плотное кольцо. Бирманцы, как мы уже неоднократно имели возможность убедиться в этом, общительны и охотно отвечают на наши вопросы, да и сами засыпают ими нас, проявляя живой интерес к жизни советских людей. Так было и на этот раз. Удивленные улыбки появились на их лицах, когда У Тан Лай объявил, что мы из Советского Союза: этим рабочим впервые привелось встретиться с русскими.

Почти все они жители двух окрестных деревень. Работа в лесу сезонная: только в период дождей пригодна для сплава протекающая неподалеку речушка, впадающая в Нам Пилу, приток Салуин — второй по величине реки Бирмы. Основное занятие наших собеседников — земледелие. На заготовках леса они подрабатывают немного денег для поддержания своего хозяйства. Лесоразработки велись в этом районе еще до войны, затем они прекратились и были возобновлены два года назад.

— Очень хорошо, что правительство снова организовало у нас заготовку леса,— говорит Ма У Чок, пожилой бирманец, старший рабочий участка.— Наш заработок здесь — большое подспорье.

Вспомнив разговор о заработке с горняками на руднике «Канбаук», спрашиваю, как оплачивается их труд. В отличие от шахтера Мау Мья, в нерешительности замешкавшегося с ответом, Ма У Чок отвечает не задумываясь. Видно, что его не смущает присутствие У Тан Лая, в своем роде начальника всех лесных работ в районе...

Получают рядовые лесорубы три-четыре джа в день, Ма У Чок и другие старшие рабочие — шесть джа, владельцы слонов — двенадцать джа в день (ведь слонов надо кормить!). Оплата труда повременная.

Что ж, заработок лесорубов на государственных разработках почти в два раза превышает заработок рабочих на рудниках частных компаний, и естественно, что нет причин его скрывать.

Затем нам показывают небольшую, сильно изношенную пилораму, сделанную в Англии еще до войны,— часть тика идет на внутренний рынок в виде брусьев и досок. Пилорама — единственный механизм на участке. Бревна с лесосеки и пилосматериалы доставляют к берегу реки с помощью слонов, этих «живых тракторов», или их вручную переносят рабочие.

В заключение беседы один из рабочих интересуется, много ли лесов в Советском Союзе. Я рассказываю все, что знаю о лесных богатствах нашей страны, о количестве ежегодно заготавливаемой древесины (почти в четыреста раз больше, чем в Бирме!), о различных механизмах, широко применяемых в советской лесной промышленности. По мере того как У Тан Лай переводит рассказ, на лицах слушателей все яснее вырисовывается неподдельное изумление — приведенные мною сведения и цифры, видимо, ошеломляют их. Они вопросительно поглядывают на У Тан Лая — не ослышались ли? Кивком головы тот подтверждает: нет, все правильно.

— И ваши лесорубы круглый год имеют работу?

Услышав в ответ, что до последнего времени у нас даже не хватало рабочих в лесной промышленности, лесорубы восхищенно обмениваются отрывистыми короткими восклицаниями и одобрительно кивают, переглядываясь друг с другом.

— Мы ничего не знаем о вашей стране,— говорит нам на прощание Ма У Чок,— но если простой человек там всегда может получить работу, то это хорошая страна!

Добрая половина собеседников провожает нас до конца лесосеки и желает счастливого пути.

У СЕЙН ХАН, РАНГУНСКИЙ БИЗНЕСМЕН

— Наша пословица гласит: «Одним камнем можно убить двух птиц»,— сказал У Сейн Хан, отхлебывая глоток черного кофе из миниатюрной фарфоровой чашечки с изображением огненно-красного дракона.

Мы сидели после обеда в огромной пустой гостиной отеля «Калоу». В эту некурортную пору мы были здесь единственными постояльцами.

Калоу — небольшой городок на юге Шанского государства, название которого и носит отель,— лежит среди невысоких гор, покрытых густыми хвойными лесами. У бирманских сосен и елей, уступающих по размерам своим сибирским сестрам,— длинная мягкая хвоя, совершенно не колючая. Они источают такой стойкий смолистый аромат, что кажется, будто воздух здесь плотнее обычного. Свежий горный воздух и густые хвойные леса издавна и вполне заслуженно превратили Калоу в один из бирманских курортов. Здесь в жаркий период спасались ранее от зноя английские чиновники, высшие служащие всевозможных компаний, офицеры колониальных войск, рангунская и окрестная знать. Специально для этой публики и был выстроен комфортабельный отель, пустовавший девять месяцев в году, и шикарный английский клуб (это в городке, где постоянно проживало менее десятка англичан!). Мы заехали сюда на несколько дней, возвращаясь из двухнедельной поездки по отдаленным горным районам. Господин Сейн Хан развивал энергичную деятельность, чтобы побыстрее организовать разведку и добычу свинцовых руд на полученных им в концессию трех огромных участках.

— Открывая здесь шахты, я убиваю сразу трех птиц,— продолжал он с улыбкой.— Будет довольно мое правительство (это утверждение вполне соответствовало проводимой в Бирманском Союзе экономической политике: создание собственной индустрии с умеренным участием иностранного капитала), будет довольно ваше правительство (У Сейн Хан рассчитывал приобрести горное оборудование советского производства, но явно переоценивал значение предстоящих закупок) и обрадуется местное население, которое получит работу на этих шахтах (тут он был полностью прав).

Довольный удачным сравнением, он откинулся на спинку кресла и снова взял чашечку с кофе. О четвертой «птице», которую он собирался убить тем же камнем,— о своих будущих прибылях — он, естественно, умолчал. Они подразумевались сами собой. Бизнес есть бизнес, а господин Сейн Хан не филантроп, а прежде всего деловой человек, черт подери!

В «Деловом справочнике» Бирмы фирма «Мистер Сейн Хан и К^о» (Рангун, Сулепагода-роуд, 201—215) зарегистрирована как экспортер древесины, сырого каучука, минералов и руд, бобов, стручковых и манса, хлопка-сырца, кокосового масла и импортер станков и машин, текстиля, металлических изделий, электрических товаров, оборудования для заводов безалкогольных напитков и консервных фабрик — и десятка других товаров, которые она покупает или продает.

Примерно после месячного знакомства с У Сейн Ханом, ставшего довольно тесным после совместной поездки в страну шанов, я как-то спросил его, почему мы ни разу не видели «К^о» — его компаньонов, значащихся на визитных карточках и бланках фирмы, и кто они (или он) такие.

Господин Хан весело рассмеялся.

— Как не видели? Видели, и не раз! Это же моя жена!

Я давно уже был представлен госпоже Хан, немолодой тихой бирманке с выразительным, немного печальным лицом. Но мне и в голову не могло прийти, что эта молчаливая, скромная женщина принимает участие во множестве разнообразнейших дел, которые проходили через руки У Сейн Хана.

А дел этих действительно множество. У Сейн Хан не ограничивает свою деятельность только торговлей — он даже считает ее побочным занятием, хотя торговые связи его обширны. Он ввозит из Советского Союза автомашины и вывозит в США и Англию концентраты из цветных металлов. Он продает сырой каучук в Китайскую Народную Республику и хлопок — в Индию и приобретает оборудо-

вание в странах народной демократии. Но всего этого недостаточно для его кипучей, предприимчивой натуры.

Он считает своим истинным призванием добычу полезных ископаемых. На Тенассеримском побережье, в районе Моулмейна, он владеет несколькими десятками участков с запасами монацитовых песков. Четырнадцать из этих участков были предварительно разведаны, и по крайней мере три оказались довольно богатыми, а один — весьма перспективным. Но в районе по-прежнему продолжаются военные действия, поэтому работы там не ведутся. Впрочем, У Сейн Хан несколько раз говорил, что и не собирается сам разрабатывать эти пески, а хочет передать участки в распоряжение правительства (за соответствующую компенсацию, разумеется). Ведь он патриот своей страны и считает, что ресурсы атомного сырья должно контролировать государство. Теперь он добился концессии на участки, содержащие запасы свинцовых руд, и хлопотал о ссуде на приобретение оборудования для их разведки и освоения. Несколько лет он возглавлял горнорудную палату промышленников и по сей день — бессменный советник правительства по вопросам горнодобывающей промышленности, не занимая, впрочем, официального поста.

Но он не удовлетворяется только этим и, если предоставляется возможность, готов заинтересоваться и другим, лишь бы это «другое» сулило доход.

Он одним из первых в стране начал разводить виргинские табаки — чутье дельца сразу же подсказало ему прибыльность этого предприятия. До последнего времени в Бирму ввозится около девяноста процентов потребляемых здесь сигарет, и на это, как известно, расходуется драгоценная валюта (а ее в стране и без того не хватает). Импортные сигареты дороги; стоимость пачки американских «Кэмел», например, равна полудневному заработку квалифицированного рангунского рабочего. И так как по мере увеличения производства недорогих сигарет хорошего качества и повышения доходов населения потребление их возрастает, У Сейн Хан пришел к совершенно правильному выводу: правительство будет поощрять выпуск местных, сравнительно дешевых и приличных сигарет; а курильщики (ведь здесь курят многие мужчины, женщины и даже дети) безусловно будут отдавать предпочтение им. Ведь длинные, тонкие зеленые сигары из грубых сортов табака, обернутые в лист сигарного дерева, или огромные, величиной с початок кукурузы, соломенного цвета сигары «черут» не могут идти ни в какое сравнение с ними. Он не ошибся в расчетах — теперь в Бирме повсеместно продаются сигареты местного производства нескольких сортов, изготавливаемые из выращенных в стране виргинских табаков. Их усиленно рекламируют и весьма охотно покупают, особенно сигареты «Виктори», ярко-желтые пачки которых горами лежат на лотках и прилавках.

На одной из бесчисленных улочек старого Рангуна — узких, грязных, с номерами вместо названий, находится небольшая фабрика пробковых шлемов. Она принадлежит У Сейн Хану. Эти легкие, очень удобные в тропиках головные уборы, ранее один из традиционных аксессуаров облика колонизатора, ныне довольно распространены среди коренного населения. Такой шлем отлично защищает от беспощадного бирманского солнца, а если он обтянут тонкой пленкой бесцветного эластичного пластика, то столь же превосходно защищает и от дождя.

У Сейн Хан не чуждается и общественной деятельности. Он председатель квалификационной комиссии на горном факультете Рангунского университета, шеф бойскаутов, член различных национальных обществ.

Правительство Бирманского Союза всячески стремится порвать цепи иностранной экономической зависимости. Но это острый и сложный процесс, и он будет длиться еще, очевидно, многие годы: невозможно безболезненно для слабой бирманской экономики обрубить одним взмахом крепкие щупальца многочисленных монополий. Но уже сегодня в Бирме отчетливо вырисовываются основные пути, по которым идет этот процесс.

Прежде всего расширяется и укрепляется государственный сектор экономики. Правда, осуществление планов экономического развития финансируется сейчас главным образом за счет внешних займов, а доля внутренних государственных отчи-

слений пока еще довольно скромна. Так, в отчете Союзного банка за первый квартал 1958 года указывалось, что расходы бирманского правительства на экономическое развитие страны в связи с ухудшением платежного баланса по сравнению с предыдущим годом снизились на 30 процентов и составляли всего 25 миллионов джа в месяц. Тем не менее этот сектор, хотя и медленными темпами, растет и крепнет. Не располагая другими возможностями для более быстрого его развития, правительство Бирманского Союза использует также менее приемлемую и выгодную, но более доступную форму сотрудничества с иностранным капиталом — образование смешанных компаний. Правительство приобретает от одной трети до половины акций этих компаний, оставляя за собой право полного выкупа предприятий в последующем.

Эффективность такой меры станет особенно наглядной, если вспомнить об огромных прибылях, получаемых смешанными англо-бирманскими компаниями (бирманскую сторону в них представляет правительство). Так, ежегодная прибыль «Бирма Ойл Компани (1954) Лимитед», являющейся по существу монополистом по добыче и переработке нефти в Бирме, доходит до 8 миллионов джа. В соответствии с фактическим распределением акций правительственная доля дивиденда составляет треть этой суммы. Кроме того, только за два года правительство Бирмы получило с компании 8,3 миллиона джа в виде различных налогов.

Крупнейшей горной корпорации «Бирма Корпорейшн (1951) Лимитед» принадлежит рудник «Бодвин», разрабатывающий одно из богатейших рудных месторождений мира (свинец, цинк и серебро с примесью меди, никеля, сурьмы и кобальта). Комбинат «Бодвин» имеет обогатительную фабрику, два плавильных завода, собственную гидроэлектростанцию на водопаде Мансам (ее довоенная мощность 12 тысяч киловатт), железную дорогу от рудника до города Намту и далее до Намбао, где она соединяется с государственной железнодорожной веткой. Здесь ежегодно производится 16—17 тысяч тонн рафинированного свинца, 14—15 тысяч тонн цинкового концентрата, до 20 тонн серебра. Медная и никелевая руда и сплав сурьмы со свинцом вывозятся в Англию.

Чистая годовая прибыль компании, за вычетом 9—10 миллионов джа налогов и затрат на приобретение необходимого оборудования, оплаты аренды и тому подобного, составляет 7,5—8 миллионов джа. Налоги и соответствующая часть получаемой прибыли составляют доход государства.

Наконец, бирманское правительство всячески поощряет усиление деятельности национального частного капитала, который пока еще не способен конкурировать с иностранным, но по мере развития станет мощным союзником правительства в его стремлении к ограничению влияния зарубежных компаний и фирм на бирманскую экономику, а в отдаленном будущем — и в полном вытеснении их.

Вряд ли нужно напоминать о том, что в период английского владычества национальную буржуазию держали в черном теле, не подпускали к наиболее прибыльным отраслям экономики, и она уже давно жаждет реванша. Поэтому она сейчас умело использует предоставляемые ей правительством преимущества. Установка правительства на «бирманизацию» капитала полностью отвечает ее самым сокровенным желаниям.

У Сейн Хан — типичный представитель этой, рвущейся вперед национальной буржуазии (правда, по величине капитала он отнюдь не самый правофланговый). Он не принимает участия в политической кухне (это он особенно любит подчеркивать) и, как мне кажется, искренне убежден в том, что служит своей стране своим бизнесом. Курс, проводимый правительством, естественно, еще больше утверждает его в этом убеждении.

Он не честолюбив и несколько раз отказывался от предлагавшихся ему довольно высоких официальных постов. Однажды в разговоре он вскользь пожаловался на то, что вопрос о суде снова застрял где-то в горном министерстве в связи со сменой руководства.

— У Сейн Хан, — скорее в шутку, чем всерьез, спросил я, желая узнать, как он к этому отнесется, — а почему бы вам самому не стать горным министром?

Он с искренним недоумением посмотрел на меня.

— А зачем? Тогда я не смогу заниматься делами, а я деловой человек.

То, что при желании он мог бы занять эту должность, не вызывало у него и тени сомнения. Его останавливала лишь необходимость оставить дела...

А делам он отдает уйму времени и энергии. В отличие от других местных дельцов ему совершенно чужды консерватизм и инертность. Он ежегодно на несколько месяцев отправляется за границу, и не в качестве праздного туриста, а во имя того же бизнеса. Он завязывает деловые связи с различными фирмами, посещает выставки и ярмарки, знакомится с крупными предприятиями. За последние годы он побывал в Италии и Китае, в Индии и Японии, в ФРГ и Индонезии. Дважды — в 1952 году как член делегации Бирмы на Международном экономическом совещании и в 1953 году в составе закупочной миссии — он приезжал в Советский Союз и намеревается посетить нашу страну еще раз.

Он доверительно рассказал нам о своих планах, связанных с Калоу. В городе имеется около двадцати горных промышленников, владеющих небольшими предприятиями. До тех пор, пока интересы господина Сейн Хана не касались этого района, деятельность шахтовладельцев не заслуживала его внимания — каждый из них добывал незначительное количество руд. Теперь же другое дело. Получив в концессию участки по соседству с ними, он решил, что два десятка самостоятельно действующих мелких предпринимателей — излишняя роскошь. Сами они руды не экспортируют, а продают их рангунским экспортным фирмам. Почему бы прибыль от вывоза добываемых в районе руд в Англию или США не доставалась и ему? Короче говоря, он решил объединить всех владельцев шахт в одну компанию (по его выражению, «растворить их») и самому стать во главе ее. Он уже говорил с двумя-тремя наиболее крупными предпринимателями — они изъявили согласие стать под его деловое начало. Будет ли новая компания связана с его концессионными участками? Нет, зачем же, — концессия это его личное дело...

Оказывается, располагающая к спокойствию и отдыху тишина замершего на время курортного городка не усыпила деятельности У Сейн Хана. Прогуливаясь по пустынным улочкам Калоу и вдыхая ароматный смолистый воздух, он не только обдумал очередной план, но и начал уже претворять его в жизнь.

В один из дней, во время предобеденной прогулки, У Сейн Хан остановил нас у ограды новенького кирпичного особняка, окруженного невысоким кустарником, сплошь покрытым огромными гроздьями светло-лиловых цветов.

— Вот дом, который я покупаю, — неожиданно заявил он.

Крыша из гофрированного оцинкованного железа, просторная застекленная терраса, аккуратно размещенные снаружи по стенам серые трубы водопровода и черные — канализации, белые жалюзи на окнах — все свидетельствовало о том, что особняк принадлежит состоятельному человеку и стоит недешево.

— Но зачем вам дом в Калоу?

— Для инженеров, которых я приглашу руководить предприятиями. Я куплю еще два «джипа», и они будут ездить отсюда на работу. Понимаете, трудно найти специалистов, которые согласились бы безвыездно жить в захолустной деревне, а в Калоу — совсем другое дело...

От Калоу до будущих рудников — около ста километров. Таким образом, даже целебный воздух курорта был учтен в приходной статье баланса активов и пассивов господина Сейн Хана.

Среди деловых кругов Бирмы прочно укоренились английские порядки и образ жизни начиная от безукоризненной аккуратности и деловитости и неизменного чая или кофе в постели в семь часов утра и кончая различного рода «дипломатическими» ухищрениями и оттяжками в решении вопросов.

Как-то в отеле «Калоу», когда У Сейн Хан принимал своих клиентов, мы с переводчиком Игорем Чистяковым обратились к управляющему отелю, мистеру Филипсу, с вопросом, можем ли мы поиграть сегодня в теннис (во дворе отеля были два превосходных корта).

Отец мистера Филиппа, как он рассказал нам еще в день приезда, был англичанин, по матери же он индеец. Всю свою жизнь — а ему было около шестидесяти лет — он прожил в Индии и Бирме. Высокий, худощавый, всегда безукоризненно одетый и подтянутый, с отличными манерами, мистер Филипп являл собой образец колониального джентльмена.

— Йес! — воскликнул он таким тоном, что нам стало даже неловко. В этом утверждении отчетливо слышался немой укор — неужели мы могли хоть на мгновение усомниться в том, что любое наше желание будет тут же исполнено в таком отеле, как «Калоу», находящемся под руководством такого управляющего, как мистер Филипп...

Однако не прошло и двух минут, как это чувство неловкости полностью исчезло, ибо понадобилось ровно столько же времени, чтобы выяснилось, что на всех ракетках порваны струны, ни одного мяча нет, сетки заперты в кладовой, находящейся в другом конце города, и что вообще администрация отеля не собирается приводить в порядок спортивный инвентарь до конца дождливого сезона (то есть еще несколько месяцев).

Поистине английский ответ! Когда вечером мы рассказали об этом случае У Сейн Хану, он от души расхохотался.

— Неужели вы не знаете, что англичанин никогда в таких случаях не скажет: «Нет!» Ведь отказ в любой просьбе подрывает репутацию отеля и его управляющего...

Сам У Сейн Хан — человек слова и никогда не назовет черное белым. Несколько раз я был свидетелем того, как солидные сделки совершались им безо всякого обмена официальными документами. Никаких недоразумений никогда не возникало.

Чуть ниже среднего роста, он в свои пятьдесят пять лет замечательно подвижен и энергичен. Коротко остриженные, зачесанные назад, черные волосы без малейших признаков седины открывают высокий лоб. Почти прямой нос и светлая кожа выдают присутствие посторонней крови — действительно, отец У Сейн Хана был китаец. Но от матери бирманки ему достались толстоватые губы, черные, словно угольки, глаза и такого же цвета густые брови и ресницы.

Он превосходный собеседник — великолепный рассказчик и (что самое ценное) умеет слушать других. Как и многие бирманцы, с которыми мне приходилось сталкиваться, он любит юмор, ценит хорошую шутку и сам много и удачно острит, иногда не без лукавства.

Как-то при поездке в горы, на самый отдаленный его участок, мы заехали в безымянную деревушку, состоявшую всего из пяти или шести хижин. Здесь в наш «кар» должен был сесть проводник. Однако к машине вместо одного человека подошли трое. В руках у двоих были допотопные заржавленные ружья. Перекинувшись с ними несколькими словами, У Сейн Хан пояснил нам:

— Тайгэ! ¹

И показал рукой величину воображаемого зверя — с доброго теленка.

Оказывается, вчера, неподалеку от деревушки работавшие в поле женщины видели тигра, а утром у околицы были обнаружены свежие следы.

Очевидно, У Сейн Хану показалось, что наши лица не выразили особого восхищения, поэтому он поспешил добавить:

— Литтл тайгэ! ²

На этот раз предполагаемый тигр оказался не больше собаки.

Мы, правда, отнюдь не приняли эту сцену всерьез. Какого дьявола тут пугаться — едем в машине, от одного рева мотора которой любой тигр удерет до самого подножия Гималаев...

Часа через два, оставив «кар» далеко на проселке, мы углубились в горы, чтобы осмотреть свинцовую жилу в расчистках и мелких шурфах. Остановившись передохнуть у края одного из них, мы залюбовались дикой природой этого края — живописными вершинами и ущельями, покрытыми непроходимыми лесами. Третий наш спут-

¹ Тигр! (англ.).

² Маленький тигр! (англ.).

ник, геолог из Иркутска, заметил, что здешний лес очень походит на сибирскую тайгу.

Как раз в эту минуту к нам подоспел У Сейн Хан. Ничего не поняв из русской речи, но уловив в ней показавшееся ему знакомым слово «тайга», он решил, что мы все еще тревожимся по поводу встречи с тигром и поспешил заверить нас:

— Вэри литтл тайгэ!

Теперь, если верить его жесту, зверь не превышал размером котенка...

Не утерпев, мы дружно рассмеялись. Поняв, что попал впросак, он также захохотал. Настроение его сразу заметно улучшилось — вероятно, он все же опасался, что мы не захотим идти дальше в горы.

Однажды в деревне Йе-у, где мы жили две недели, выйдя рано утром в кухню за горячей водой для бритья, я вместо повара увидел у плиты У Сейн Хана. Надев передник из прозрачного пластика и белый полотняный берет, он ловко орудовал большим ножом, что-то мурлыкая под нос.

Очевидно, мне не удалось скрыть своего удивления, потому что У Сейн Хан, взглянув на меня, добродушно рассмеялся. Тут же, за кухонным столом, он принялся объяснять причину своего столь неожиданного превращения в «кука»². История оказалась довольно пространной. Оказывается, все произошло из-за его помощника У Ба Джана, приехавшего сюда вместе с нами из Рангуна. У Ба Джан был очень болтлив. По этой причине никто из ночевавших в доме рабочих не соглашался укладываться с ним рядом — он мог проговорить всю ночь, не давая соседям заснуть. Так У Ба Джан оказался в часы вечернего досуга в полной изоляции. Тогда он перенес свою активность на дневное время. Жертвой его неистощимых автобиографических новелл и философских рассуждений стал повар Мау Тин. Бедняга в силу своих обязанностей был подолгу прикован к плите и не мог отлучаться из кухни, даже на непродолжительное время. Этим немедленно воспользовался коварный У Ба Джан. Под предлогом наблюдения за приготовлением еды он подолгу просиживал рядом с очагом на деревянном ящике из-под консервов.

Несколько раз Мау Тин У — это олицетворение молчаливости и покорности, — доведенный до отчаяния бесконечной болтовней У Ба Джана, жестоко ссорился с ним. Но не проходило и полчаса, как тот, словно ничего не произошло, снова появлялся на кухне и усаживался на излюбленный ящик.

Накануне, при очередной ссоре, дойдя буквально до белого каления, Мау Тин У заявил У Ба Джану, что, если тот не перестанет надоедать ему своей болтовней, он уйдет.

Это был поистине героический поступок. Мау Тин У прекрасно понимал, что он теряет, отказываясь от места. Ведь каждый джа, заработанный им, — это огромное счастье для жителя глухой деревушки Йе-у.

Но в У Ба Джане выиграло ретивое, и он твердо заявил:

— Ну и уходи! Я возьму другого повара.

Мау Тин У исчез в тот же вечер, тщательно перемыв посуду после ужина. Уходя с рабочими рано утром на базар, У Ба Джан сообщил проснувшемуся У Сейн Хану, что он прогнал повара.

— Спи, я скоро найду другого, — заверил он своего шефа.

У Сейн Хан действительно заснул, а проснувшись часа через полтора, обнаружил, что в кухне, как и во всем доме, царит мертвая тишина. Он заглянул туда. Холодный очаг безмолвно подтверждал, что никто не беспокоится ни о первом завтраке, ни о «ленче», который мы обычно увозили с собой. Путь же в тот день предстоял нам не близкий. У Ба Джан еще не возвращался. Взглянув на часы, У Сейн Хан сам приступил к исполнению обязанностей «кука».

Он рассказывал эту историю с мягкой улыбкой, не забывая помешивать ложкой в кастрюле с соусом, переворачивая куски жарившейся на сковороде утки, кроша ножом различные овощи. Нужно признаться, что проделывал он все это с завидной сноровкой.

¹ Очень маленький тигр! (англ.).

² Повара (англ.).

— Наверно, когда У Ба Джан, прогнав повара, заявил, что скоро найдет другого, он имел в виду меня...— шутливо заключил он.

Втроем мы пришли ему на помощь, хотя выполнять нам пришлось уже подсобные роли истопников, судомоек и официантов. Когда У Ба Джан вернулся, мы уже завтракали, дружно превознося кулинарные таланты нашего хозяина. И он не без удовольствия слушал похвалы. А несколько месяцев спустя, на одном из приемов в Рангуне, он (это пришлось к слову) заявил собеседникам, что он и сам хороший повар и призвал меня в свидетели...

Впрочем, даже после появления нового повара У Сейн Хан взялся однажды сварить какой-то особенный национальный суп. И суп действительно оказался превосходным. Его нельзя сравнить ни с чем в нашей кулинарии. Помню, что там были кусочки курицы и свинины и еще какой-то белой плотной массы, оказавшейся прессованными морскими моллюсками; приправлен он был по меньшей мере десятком различных трав и корней. Зато общее впечатление от него осталось отличное — умеренно жирный, сладковатый, с острым пряным запахом.

За все то время, что мы пробыли в Йе-у, не было случая, когда б У Сейн Хан отказался от участия в любой, даже самой утомительной и трудной поездке или не взбирался бы на самую высокую вершину, куда завлекала нас коварная рудная жи-ла или выступавшие по склону горы отсутствующие ей коренные породы. А ведь зачастую это было ему просто не под силу. Несколько поотстав, он, присоединившись к нам в намеченном месте, обычно подшучивал над самим собой.

Однажды в моторе нашего «кара» — точнее вместительного автобуса,— на котором мы разъезжали, что-то вышло из строя. За нужной деталью пришлось послать в Калоу. Чтобы не терять понапрасну время, У Сейн Хан пообещал достать к утру другую машину. Действительно, выйдя поутру из дому, мы увидели новый «кар». Он, правда, оказался обычным грузовиком с брезентовым тентом.

— Вэри комфортэйбл¹,— лукаво улыбаясь, заметил У Сейн Хан, всем своим видом давая понять, что в такой глуши даже его возможности могут оказаться ограниченными и что этим, собственно, объясняется непрезентабельность машины.

Мы поспешно согласились с этим утверждением, поставили в кузов стулья и отправились в путь.

Во второй половине дня, километрах в семидесяти от деревушки и в десяти от ближайшего жилья, высоко в горах нас застал один из тех тропических ливней, которые так щедро низвергает небо на благодатную землю Бирмы в период муссонов. Через десять минут мы промокли настолько, что перестали искать защиты от дождя под зонтами и под деревьями. Часа два мы спускались к дороге, где оставался наш «кар». Внизу непроницаемой белесовато-серой пеленой лежал густой туман. Он-то и сбил с толку нашего проводника. Вначале ему показалось, что мы вышли на дорогу левее машины, и он повернул направо. С полчаса мы брели по размытой, вязкой глине, как вдруг проводник объявил, что ошибся и надо идти в противоположную сторону. Еще с час мы двигались в обратном направлении. Грузовика все не было. Ливень не ослабевал. Игорь, лязгая зубами от холода, заявил, что готов держать пари, что мы сейчас самые мокрые люди на свете. Увы, никто из нас не принял его пари — ведь мы не могли доказать обратного...

У Сейн Хан давно перестал шутить, но держался бодро, вышагивая позади нас, опираясь на срезанную проводником бамбуковую палку, помогавшую сохранять ему равновесие на скользкой дороге.

Вдруг ливень стих так же внезапно, как и начался. Туман стал еще плотнее. А мы все брели и брели. От холода и усталости никто не обменивался даже словом. Над нами с громкими криками кружили невидимые в тумане стаи ворон, и мне вдруг пришла в голову забавная мысль: а не состоят ли они в услужении у господина Сейн Хана? Их пронзительные крики: «Кар! Кар!», казалось, звали наш пропавший «кар»...

Наконец мы добрались до грузовика, бурно выражая свою радость по этому поводу. Но не успели мы проехать и десятка километров по совершенно размытой лив-

¹ Очень комфортабельный (англ.).

нем проселочной дороге, как дождь разразился снова. Брезент над нашей головой протекал самое меньшее в десяти местах, мы прилагали отчаянные усилия, чтобы удержаться на стульях, которые при каждом толчке — а мы им потеряли счет — разъезжались. Вдобавок поднялся встречный ветер, пронизывавший буквально до костей.

Согнувшись в три погибели, мокрый, с посиневшим лицом, У Сейн Хан обеими руками вцепился в борт машины, одерживая нелегкую победу в борьбе с ускользающим из-под него стулом. Как и остальные бирманцы, он страдал от холода значительно сильнее, чем мы. К тому же он и по возрасту был старше всех нас. Но ни одного слова жалобы и ни одного проклятия в адрес коварной природы, которые время от времени разрешал себе кто-нибудь из нас, мы от него не услышали.

— Вэри комфóртэйбл! — крикнул я ему, придвигая поближе свой стул.

В его черных блестящих зрачках вспыхнули веселые искорки: вспомнив свою утреннюю фразу, он так заразительно расхохотался, что вслед за ним засмеялись и мы.

А через два часа, переодевшись в сухую одежду, мы сидели у ярко горящего очага и У Сейн Хан деловито рассказывал о предстоящей на завтра очередной поездке в еще более отдаленный район.

Выносливость, энергия, деловитость, общительность этого человека просто поразительны. Наблюдая за его кипучей деятельностью, веришь, что недалеко то время, когда многоопытным дельцам колониалистского типа придется окончательно retirоваться из его страны.

МЕЧТА МОРИСА ДИКСИ

Час «брэakfastа» — первого завтрака — еще не наступил, и в ожидании его мы вышли прогуляться по тенистым улицам Калоу. Мы медленно поднимались по широкому асфальтированному шоссе, петлявшему среди редких, утопавших в зелени и ярких цветах строений. У Сейн Хан с увлечением рассуждал о перспективах развития добычи свинцово-серебряных руд. Вдруг он прервал фразу на полуслове и, извинившись, быстро перешел на другую сторону шоссе.

Мы остановились в удивлении — на дороге не было никого, кроме шедших нам навстречу двух мальчуганов. Неужто к ним направился наш деловитый собеседник? Да, к ним Он остановил ребятишек и строго заговорил с ними.

Оба черноглазые, черноволосые, мальчуганы были аккуратно причесаны и одеты в здешнюю школьную форму: беленькие рубашки с короткими рукавами и темно-синие штанишки. У обоих на левом плече висели набитые тетрадами и учебниками черные матерчатые сумки, расшитые сложным цветным узором. Такие же сумки носит почти каждый бирманец — они заменяют ему карманы, портфель, чемоданчик, дамскую сумочку. Через правое плечо у каждого была перекинута небольшая пластмассовая прозрачная фляжка с водой — у одного розовая, у другого зеленая. В правой руке оба мальчугана несли маленькие двойные судочки с завтраком, в левой — свернутые в трубку черные зонтики. Мы невольно подивились.

Ну и сложна же амуниция бирманских школьников — бедняжкам явно не хватало еще одной пары рук! Недаром плетеные шары «чинлон» — любимая забава здешних ребятишек — были прикреплены к ранцам.

Разговор У Сейн Хана с мальчуганами был кратким — в ту же минуту они со всех ног пустились бежать к школе, мимо которой мы только что прошли и видели через раскрытые окна, как десятки таких же черноволосых головок уже склонились над партами.

— Они опоздали на урок, я сделал им замечание, — пояснил, подходя к нам, У Сейн Хан.

Было семь минут девятого, занятия в школе начинались в восемь часов.

В этом маленьком происшествии, как в капле воды, отразилась та взыскательная любовь к детям, проявления которой мы неоднократно наблюдали в стране, и необыкновенно ответственное отношение к их образованию. Ведь до сих пор это один из самых больших, полностью не решенных вопросов.

Не могу не обратиться к языку цифр. Еще в тридцатых годах более двух третей населения Бирмы было неграмотно. Двое из каждых троих детей школьного возраста в то время не учились. Школу посещала только каждая восьмая или девятая девочка. Такое положение сохранялось до последних дней английского господства. И только после провозглашения независимости бирманский народ добился заметных успехов в развитии школьного образования. Правительство отпускает огромные средства на расширение школьной сети. В 1946 году здесь насчитывалось всего около 1600 школ. За десять лет число их возросло почти до 11 тысяч, и обучалось в них уже 1,8 миллиона человек.

В 1948 году была введена единая система обучения; все государственные школы делятся на три типа: начальные, неполные средние и средние. Срок обучения в первых — четыре года, во вторых — семь лет, в третьих — десять лет. Мальчики и девочки учатся в этих школах вместе; обучение бесплатное, преподавание ведется на бирманском языке.

Существуют здесь и частные школы и колледжи. Одни из них принадлежат католическим миссиям и различным религиозным общинам, другие — ловким предпринимателям, для которых они источник наживы. Некоторые частные учебные заведения доступны только детям из состоятельных семей. Это по большей части средние учебные заведения с пансионами.

В том же Калоу, кроме государственной средней школы, есть частный женский колледж и мусульманская школа, расположенная рядом с мечетью. Такое же тесное соседство школ и мечетей мы видели в Таунгджи, в Мандалае и других городах. Католические миссии всегда строили рядом свою церковь и школу, они соседствуют так и по сей день.

Несмотря на значительный рост числа государственных школ, проблема просвещения в Бирме далеко еще не разрешена, и это нетрудно понять — за одно десятилетие нельзя избавиться от последствий векового колониального гнета. Население остро ощущает связанные с этой проблемой трудности. О них нам подробно рассказал деревенский врач Морис Дикси, с которым мы познакомились в шанской деревне Йе-у.

Йе-у — типичная бирманская деревня. В ней пятьсот жителей. Бамбуковые хижины на сваях, укрывшиеся в тени пальм и бананов, вытянулись вдоль мощного булыжником шоссе. В центре деревни — большая базарная площадь с длинными, просторными навесами из того же бамбука. Неподалеку от небольшого пруда, образованного протеканием через деревню речушкой, стоит за невысокой оградой деревянный обелиск Независимости, выкрашенный в красный цвет и увенчанный пятиконечной звездой.

Жители деревни, конечно, возделывают рис. Но на огородах они выращивают также и различные овощи — капусту, помидоры, лук, перец, картофель, бобы. В садах возле домов растут бананы, ананасы, гранаты, манго. Йе-у стала нашей штаб-квартирой во время изучения рудных месторождений главным образом потому, что в ней был дом, носящий название «ройял-хауз» («королевский дом»). Это нечто вроде местной гостиницы: здесь останавливаются правительственные служащие, приезжающие из Калоу — центра района, из Таунгджи — столицы автономного государства шанов — и из Рангуна.

Отдохнуть в этом доме можно было если не по-королевски, то, во всяком случае, в вполне достаточными удобствами. Построенный из тика, с крышей из гофрированного металла, он имел просторную веранду, защищенную от солнца и дождя большим козырьком; чисто выбеленный снаружи и изнутри, этот дом в жару сохранял прохладу, а во время затяжных дождей в нем было тепло. Пять его комнат обставлены необходимой мебелью, но постельное белье, посуда и другие «мелочи» отсутствуют — постояльцы «ройял-хауза» должны привозить их с собой. Зато в комнате, отведенной под столовую, красуется традиционный английский камин! Мы, правда, не раз были благодарны этому обстоятельству, возвращаясь промокшими до нитки. В пристройках размещаются кухня, сарай и жилище сторожа. С большой торжественностью он вручил нам огромный ключ от нелепо большого замка,

висевшего на дверях. Впрочем, войдя в дом, мы обнаружили, что двери черного хода да и многие окна дома были раскрыты...

Кроме «королевского», в селении есть еще два дома такого же типа. Один, побольше, служит чем-то вроде клуба и, как и «ройял-хауз», принадлежит государству. Второй, поменьше,— собственность врача Мориса Дикси.

Уже это одно обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что Дикси — состоятельный человек. Его дом стоит десять тысяч джа. Кроме дома, он владеет мотоциклом и десятком лошадей, которых отдает внаем крестьянам для обработки земли. Месячный доход господина Дикси — шестьсот-семьсот джа, то есть примерно в четыре раза превышает среднюю заработную плату квалифицированного бирманского рабочего в Рангуне. Четвертую часть его дохода составляет жалованье, выплачиваемое ему администрацией округа, остальные три — гонорар, получаемый от пациентов. В них он не ощущает недостатка: в радиусе более сорока километров другого врача нет. А ревматизм, малярия, дизентерия — частые гости среди местного населения. К тому же он выполняет обязанности хирурга и акушера: за год ему приходится принимать двенадцать — пятнадцать новорожденных.

Зная, что в Бирме довольно высокая смертность (33,5 человека на тысячу жителей), мы как-то поинтересовались, много ли умирает в селении детей. По словам господина Дикси, ежегодно здесь умирает один-два ребенка, а в отдельные годы не бывает ни одного случая смертности. Это объясняется и благодатным климатом Шанского нагорья и более высоким жизненным уровнем населения этого района.

В эти маленькие «тайны» своей профессии нас посвятил сам Морис Дикси — рослый сорокалетний мужчина с открытым, приветливым лицом. За две недели пребывания в Йе-у мы успели подружиться с ним. Он единственный человек в деревне, знающий английский язык, единственный образованный местный житель.

В синем берете, клетчатой ковбойке и «шортиках» (коротких брючках) цвета хаки, он появлялся на крыльце ровно через полчаса после того, как в окнах «ройял-хауза» загорался свет,— ему требовалось ровно тридцать минут, чтобы прийти к нам.

— Гуд ивининг! — гудел он с порога, сопровождая приветствие широкой радушной улыбкой. Затем он справался о нашем здоровье (непреренно у каждого в отдельности), не забывая напомнить о том, что в случае чего он весь к нашим услугам — разумеется, совершенно безвозмездно. Эти вопросы повторялись из вечера в вечер до того пунктуально, что вскоре мы стали ощущать даже чувство неловкости за свое хорошее здоровье. Ведь ему так хотелось сделать нам, первым встреченным им русским, что-то доброе и приятное.

Затем он усаживался с чашкой чаю поближе к камину, и начинались обоюдные нескончаемые рассказы.

Его жадное стремление побольше узнать о том, как живут в Советском Союзе, было ничуть не меньше нашего — глубже познакомиться с различными сторонами жизни бирманцев.

Морис Дикси родился в Сингапуре. Его отец был индеец, мать — бирманка. Женат он также на бирманке. Он христианин. Высшего медицинского образования Дикси не имеет — в Сингапуре он закончил английский колледж и несколько лет служил клерком. Врачом стал уже здесь, в Бирме.

Как он из клерка превратился во врача? Очень просто. В свободное время Дикси самостоятельно изучал медицину. Постепенно он начал оказывать небольшие услуги населению. Дальше — больше. Ему предложили должность фельдшера в соседнем селении. Через несколько лет он был направлен на трехгодичные медицинские курсы (что-то вроде наших курсов по усовершенствованию, только более продолжительные). По окончании их получил врачебный диплом.

В Йе-у он работает уже пятнадцать лет. Любит свое дело, сам составляет некоторые лекарства. Вот, например, отличное средство от приступов ревматизма, говорит Дикси и извлекает из кармана небольшой, тщательно закупоренный пузырек. Он изготовил его из листьев дикорастущего в горах растения. Не желает ли кто-

либо из нас испробовать, если чувствует приступы ломоты в эту сырую погоду? Нет? О'кей! Почему пузырек так старательно закрыт? Дело в том, что это одно-временно сильнейший яд: достаточно принять внутрь несколько капель, и человек скончается... Тем более мы не имеем желания испробовать? О'кей! Хотя бояться абсолютно нечего — он неоднократно лечил этим средством своих пациентов, и ни разу не произошло несчастного случая...

В один из вечеров Дикси привел с собой сына, двенадцатилетнего Ко. С него, собственно, и начался разговор на тему, давно волновавшую нашего собеседника.

Хотя речь шла о судьбе Ко, сам он не принимал участия в разговоре. Мальчуган быстро расправился с плиткой московского шоколада, завалившейся у меня в чемодане, причем половина ее была тут же спрятана в карман для младших отпрысков семейства Дикси, и с жадным вниманием следил за каждым нашим движением, время от времени любуясь пионерским значком, который Игорь приколот к кармашку его сорочки, подробно объяснив значение эмблемы. По тому, как сосредоточенно он делал то и другое, можно было не сомневаться в том, что завтра юный Дикси с жаром будет рассказывать школьным приятелям о «событиях» сегодняшнего вечера, а значок и шоколадная обертка будут служить неоспоримым вещественным доказательством их...

У доктора Дикси пятеро детей. Он быстро изобразил в воздухе рукой «лесенку» из маленьких Дикси. Ко — самый старший. Через месяц он закончит начальную школу — единственную в Йе-у. Через год ее закончат два его брата-близнеца. Их сестренка осенью только пойдет в первый класс, а вторая — еще совсем «бэби». Поэтому вопрос обучения женской половины семьи пока не тревожил ее главу. А вот с мальчиками дело обстояло сложно. Ведь ближайшая неполная средняя школа находится в Йенгане — большом селении, в сорока километрах от Йе-у, а чтобы завершить среднее образование ребят, надо отправлять их в Калоу, в колледж.

Доктор Дикси признался, что может позволить себе такую роскошь — вот уже несколько лет он откладывает деньги, чтобы дать детям образование. Но даже для него это трудно. В колледже надо платить за обучение, за комнату, обеспечить питание ребят, приобретать учебники и так далее.

— Я ежемесячно откладываю для этого половину своего заработка, — сказал он.

Дальше выяснилось, что в Йе-у есть около ста пятидесяти мальчиков и девочек школьного возраста. Посещают школу не более пятидесяти из них.

— А сколько детей из Йе-у сейчас учатся в других городах?

Доктор Дикси сосредоточенно шевелил губами, перебирая в уме почтенных и более состоятельных жителей деревни, загибая пальцы сперва на левой руке, потом на правой...

— Восемь! — торжествуя произнес он наконец. — Восемь мальчиков и девочек из Йе-у уехали учиться в другие города!

Его довольный вид говорил: «Вот! Теперь вы убедились, что Йе-у не такая уж глухая деревня!»

Сын местного торговца, пояснил он, учится в университетском колледже в городе Мандалае. Еще двое мальчиков — в колледже в Калоу. Пятеро ребят учатся в Йенгане и по субботам приезжают домой.

— А как же остальные?

Остальные дети, окончив четырехклассную школу, заканчивают и свое образование. Так же как и те, что вообще не посещали школы, они помогают родителям в хозяйстве.

Видя, что мы отнюдь не в восторге от сообщенных им сведений, доктор Дикси, лукаво прищурясь, спросил:

— Господа, а у вас в России, в деревне, где имеется, допустим, тоже сто пятьдесят ребят школьного возраста, сколько ходят в начальную школу?

И он торжествуя откинулся на спинку кресла.

— Сто пятьдесят, — дружно ответили мы.

Улыбка исчезла с лица доктора Дикси. Обведя нас взглядом — не шутка ли это? — он продолжал:

— Хорошо. А сколько будут продолжать учиться в неполной средней школе?

— Сто пятьдесят.

Морис Дикси растерялся, но не сдавался.

— Господа, уж не хотите ли вы сказать, что в колледж тоже затем пойдут..

— Сто пятьдесят,— закончил за него Игорь, безжалостно разрушая сложившееся ранее у доктора представление о нашей стране.

— А в Сибири? — в отчаянии выложил свой последний козырь Дикси.

Его познания об этом крае были буквально «доисторическими».

— Безразлично где: в Сибири, на Украине, на Кавказе, в Узбекистане,— ответил иркутянин Плеханов, местожительство которого уже было известно доктору.

Нужно сказать, что доктор Дикси не имел даже отдаленного представления о жизни советских людей. Узнав накануне от нас, как поставлено здравоохранение в нашей стране, он был буквально потрясен. Весь вечер он настойчиво выспрашивал все, что мы знаем по этому поводу. Теперь мы приготовились выложить все необходимое о просвещении и образовании.

— Господа, но у вас же, наверно, тоже есть люди с малым доходом — откуда они берут средства на учение детей?

И мы подробно рассказали ему о гигантской сети наших бесплатных школ, о техникумах и институтах, о стипендиях, о вечерних школах и курсах для работающей молодежи, о сети специальных школ и училищ, где ребята получают не только образование, но и профессию. Ко уже давно заснул на своем стуле, а доктор задавал все новые и новые вопросы. Речь шла и о прожиточном минимуме, и об обеспечении жилищем, и о ценах на предметы первой необходимости, и о зарботке людей различных категорий, и об отсутствии безработицы.

Доктору Дикси понравилось, что мы не скрывали имеющихся у нас трудностей, в частности с жильем. Он буквально пришел в восторг, услышав, что низкооплачиваемые рабочие и служащие часто посещают кино и театры, урезывая себя в чем-либо другом; он тут же заявил, что очень любит кино и поступает точно так же.

— Господа,— взволнованно спросил в заключение он,— а я мог бы уехать с семьей в Советский Союз?

Признаюсь, что этот вопрос застал нас врасплох — мы не были осведомлены о правилах и порядках эмиграции из Бирмы. Так мы ему и ответили, порекомендовав выяснить этот вопрос в соответствующих учреждениях.

— Это-то я узнаю,— торопливо заявил врач,— но правильно ли я понял, что немедленно получу там работу?

Мы подтвердили, что это правильно.

— И все мои дети будут учиться на тех же правах, что и дети советских граждан?

Мы утвердительно ответили и на этот вопрос.

Расставаясь, он особенно крепко пожал нам руки.

...На другой день, в семь часов утра, мы, проглотив по чашке кофе, уже грузились в «кар», как вдруг во двор влетел мотоцикл с сидевшим на нем доктором Дикси. Мы удивились — доктор не собирался сопровождать нас в сегодняшней поездке. Впрочем, немедленно все прояснилось.

— Господа,— заговорил он взволнованно, словно продолжая только что прерванный разговор,— я не могу ехать в Советский Союз.

Это звучало так, будто вчера вопрос был решен окончательно и бесповоротно.

— Мы с женой не ложились сегодня ночью — все время спорили. Она боится ехать так далеко. Она боится холода. Она говорит: а что если мне дадут работу в Сибири? Она даже плакала...

Только сейчас мы заметили, что у доктора Дикси был довольно усталый вид.

— Господа, я не мог ее убедить, хотя и очень жалею об этом. Ведь это огромное счастье, когда все дети имеют возможность учиться, не правда ли? У нас пока о таком счастье можно только мечтать... И все же я верю, горячо верю, что придет время — и в

Бирме тоже все дети смогут учиться бесплатно. Может, это будут уже не мои дети, а дети моих детей. Но так будет!

Растроганные его взволнованной тирадой и чувствуя себя невольными виновниками его тревог и сомнений, мы поспешили выразить надежду на то, что так, несомненно, будет...

КАК ОБХОДЯТ ЗАПОВЕДИ

Мы ехали по широкой долине, окаймленной с обеих сторон грядами гор. Время от времени то слева, то справа на вершине горы, превосходившей по высоте своих соседок и зачастую казавшейся неприступной, белели остроконечные башенки пагод, четко выделяясь на фоне ярко-голубого безоблачного неба.

— Почему храмы у вас строятся так высоко? — спросил я У Сейн Хана, нашего спутника в этой поездке.

— Они должны возвышаться над всем окружающим, — последовал ответ.

— Но ведь верующим, наверно, очень трудно добираться до них, чтобы помолиться?

Мой собеседник рассмеялся. Остановив внезапно машину, он вылез из нее и подошел к обочине дороги. Повернувшись в сторону виднеющейся вдалеке пагоды, он складывает молитвенно руки и делает несколько поясных поклонов. Лицо его при этом становится серьезным. Затем он возвращается — уже с обычной улыбкой.

— Ю си-и? ¹

Оказывается, для того чтобы совершить молитву, вовсе нет необходимости заходить в пагоду. Обычно верующие молятся так, как он только что продемонстрировал, и лишь раз или два в году посещают храмы.

В городах и небольших деревушках, у дороги или на вершине почти неприступной скалы, на севере и на юге — в любом уголке страны можно увидеть древние буддийские монастыри и сверкающие белизной пагоды. Иногда это огромные, величественные сооружения, иногда — совсем небольшие, но всегда с характерными контурами старинной буддийской архитектуры.

Знаменитую пагоду Шве-Дагон в Рангуне, сооруженную, как говорит предание, более двух с половиной тысяч лет назад, ежегодно посещает более миллиона паломников. Перед миниатюрным, почти игрушечным деревянным сооружением, покоящимся на небольшом помосте, прикрытом от дождей, где-нибудь на лесной или проселочной дороге, возносит молитву редкий прохожий. Но бирманский пейзаж не полон без врезающихся в небо конусообразных крыш буддийских храмов. Купола их, большей частью золоченые, напоминают чем-то купола русских церквей, но заканчиваются высокими шпилями конусообразной формы. От замшелых стен и полустершихся росписей внутри этих храмов, от изваяний Будды и свирепых чинти, сторожащих вход, веет глубокой древностью. Но нередко, особенно в небольших селениях, можно натолкнуться и на пагоду, от стен которой еще, кажется, пахнет свежим цементным раствором. В Бирме и сейчас строят много пагод — и на государственные средства и на пожертвования, собранные среди верующих. Богатые люди строят пагоды за собственный счет.

— Зачем они это делают?

— Если человек воздвигнет пагоду, на него снизойдет благодать, — с улыбкой отвечает У Сейн Хан, и не поймешь, чего в этом ответе больше — убеждения или лукавой шутки...

Обычно пагоды строят в одиночку, но иногда можно встретить их и несколько в ряд. Почему так бывает? У Сейн Хан разъясняет: пагода — это священное сооружение во имя Будды. Если в деревне есть несколько состоятельных людей, каждый из них сооружает отдельную пагоду. В бедном селении деньги для строительства пагоды собирают сообща, поэтому и возводят ее только одну. Бедняки, которые не могут внести нужную сумму, покупают себе за гроши маленькую, вырезанную из дерева пагоду и молятся перед нею дома.

— Удобно, не правда ли?

У Сейн Хан — буддист, но, как мы неоднократно имели возможность убедиться, отнюдь не ревностный. Впрочем, образ жизни многих бирманцев далеко не соответству-

¹ Понятно? (англ.).

ет канонам буддийского вероучения — «отрешению» от земной жизни, презрению к земным радостям и к самому бренному человеческому существованию. Многие из них живут в прекрасных особняках, оборудованных установками для кондиционирования воздуха, разъезжают в роскошных автомобилях, выписанных из-за океана; им вовсе не чужды «презренные утехы» — в суботные и воскресные вечера они переполняют загородные рестораны и распивают шотландское виски и ямайский ром; в газетах мелькают сообщения об убийствах из ревности жен, мужей, любовников и любовниц. И даже буддийских монахов, казалось бы целиком посвятивших себя служению «просветленному», сплошь и рядом можно встретить и в кинотеатрах, где демонстрируются голливудские боевики, и на очередном футбольном матче, где они так же бурно, как и другие болельщики, выражают свои эмоции...

Тем не менее буддизм до настоящего времени играет огромную роль в жизни страны, а буддийское духовенство представляет собой внушительную силу.

Конституция Бирманского Союза признает особое положение буддизма как веры, исповедуемой подавляющим большинством населения. Его преподают в школах. В дни буддийских религиозных праздников закрываются государственные учреждения, частные предприятия, магазины. Повсеместно строго соблюдается обычай «синбью» — посвящение Будде. Согласно этому обычаю каждый мальчик по достижении им десяти-двенадцатилетнего возраста обязан не менее недели своей жизни пробыть в монастыре, проводя это время в изучении основ грамоты и буддийского вероучения. Иногда дети, отданные в монастыри, навсегда остаются там.

Монахов в Бирме много, и не только в Рангуне. Их столько же, сколько железнодорожников, медицинских работников, металлистов, ученых, горняков, нефтяников и художников, вместе взятых. В какой бы городок мы ни приехали, мы всюду видели бредущих гуськом у края тротуара наголо обритых мужчин и женщин, закутанных в куски ярко-оранжевой и розовой ткани. С красными зонтами и большими черными лакированными деревянными горшками в руках они ходят по дворам, принимая подаяние,— монахи живут за счет приношений верующих.

Бывший премьер-министр Бирмы У Ну, бывший президент Бирманского Союза доктор Ба У и многие другие видные деятели страны принимают активное участие в торжественных религиозных церемониях. В Рангуне вот уже пять лет собирается на свои совещания буддийский синод. Для этого здесь в 1955 году была сооружена священная гора с символической пещерой Чатта Сангаяна. Именно «сооружена».

Легенда гласит, что основатель буддизма Сиддхартха Гаутама, прозванный затем Буддой (что означает «просветленный»), достиг «нирваны» — высшего состояния человеческой души — под баньяном, ставшим с тех пор священным. Познав полное блаженство, он создал учение, которое впоследствии так широко распространилось по миру. Первые его последователи собирались для проведения религиозных торжеств и совершения ритуальных таинств в священных пещерах на Цейлоне, поэтому современные буддисты и ныне должны собираться в пещерах. Однако Рангун расположен на равнине, вокруг него нет гор и, стало быть, нет пещер... Но выход был найден: руками людей было возведено огромное сооружение, напоминающее скалу с зубцами на длинном гребне, уступами и впадинами на склонах. Внутри «горы» устроен обширный, вполне современный зал, где и заседает высшее буддийское духовенство. Что ж, если всякую полость в горном массиве с выходом наружу можно считать пещерой, то электрический свет, искусственная вентиляция, мебель — это всего лишь удобства цивилизации, которых был лишен великий Гаутама в его времена...

Раз уж речь зашла о священных пещерах, не могу хотя бы кратко не рассказать о пещере Пиндя-кейф. Она находится в государстве шанов. Я побывал в ней во время одной из поездок.

Мы ехали из Таунгджи — я, Ф. И. Михальченко, работник внешторга, и бирманец К. Чан, подвижный худощавый юноша, питомец Рангунского университета, сопровождавший нас в этой поездке.

Пещера расположена высоко в горах. К ней ведет длинная, похожая на растянутую гармошку каменная лестница. Мы попробовали было сосчитать ее ступени, но отказались от этой затеи. От дождя и зноя лестница прикрыта навесом. По обеим

сторонам ее стоят изваяния Будды, а на больших щитах у начала и в конце каждого ее отрезка четко выведены имена верующих, пожертвовавших более или менее значительные суммы на содержание храма, и имен этих множество.

Оставив обувь у начала лестницы (так требует обычай), мы долго поднимались по ней, останавливаясь, чтобы разглядеть статуи и сделать передышку. Далеко внизу лежала огромная котловина, в изумрудной оправе вечнозеленых лесов сверкало небольшое озеро. Отражаясь на его глади, по берегам белели причудливые башни пагод. К горизонту уходили цепи невысоких гор, сплошь покрытых лесом.

Наконец мы вышли на площадку, огороженную чугунными перилами, и оказались у входа в пещеру. Здесь было человек пятнадцать мужчин и женщин, обративших на себя наше внимание своей необычной для здешних мест одеждой. Они сидели на земле небольшими группками и оживленно разговаривали. Мужчины были в широких брюках из легкой черной ткани, спускавшихся чуть ниже колен, и длинных куртках из той же материи. Одежда женщин отличалась только тем, что брюки у них были короче, а под коленями у многих блестело по несколько медных браслетов — знак замужества. У всех женщин, молодых и пожилых, свисали на грудь большие зобы. Нам сказали, что это жители одной из ближних деревень, принадлежащие к племени таунчи.

На лицах крестьян, хотя они пришли за два десятка километров в это святое место помолиться, я не заметил и следов благоговения. Они оживленно болтали, пили чай из маленьких чайников, с десяток которых стоял в углу, курили длинные зеленые сигары, грудой лежавшие рядом с чайником, жевали бетель, сплевывая ядовито-красную слюну в специальные чашки, хохотали — словом, вели себя так же, как, скажем, ведут себя люди на уличном представлении в Рангуне. (Кстати, чай, сигары и бетель молящиеся получают здесь бесплатно.) Когда К. Чан сказал им, что мы приехали из Советского Союза, они с видимым удовольствием позировали перед фотоаппаратом.

В углу площадки, на полу, лежала циновка — постель монаха, хранителя пещерного храма. Он поддерживает чистоту и порядок в пещере, пополняет запасы чая, сигар, бетеля, продает тончайшие листочки золота. Эти листочки молящиеся приклеивают к статуям Будды, внося тем свою лепту в украшение священной пещеры. Судя по тому, как густо облеплены золотыми листочками изваяния и стены у входа в пещеру, жертвователей немало.

Осмотр пещеры разрешается в определенное время. Пользуясь имевшимися в нашем распоряжении тридцатью минутами, мы попросили дежурного монаха (они сменяются каждую неделю) ответить на интересующие нас вопросы. Он с готовностью согласился удовлетворить наше любопытство. Оказывается, пещера освещается электричеством, но его включают только с двенадцати часов дня. До этой поры она погружена в полный мрак, и там находятся в это время одни только монахи: темнота и одиночество помогают им глубже вникать в тайны учения «просветленного» и размышлять о бренности бытия. Вот и сейчас там находятся два монаха — один из местного монастыря, другой приехал из Таунгджи.

Пиндя-кейф — один из древнейших буддийских пещерных храмов Юго-Восточной Азии. Как утверждают, уже свыше двух тысяч четырехсот лет здесь возносят свои молитвы последователи Будды. Вот этому колоколу — монах указал на небольшой черно-зеленый от времени колокол, подвешенный слева от входа, — тоже более тысячи лет. Если русские хотят, они могут услышать, как он звучит.

Искушение было велико, мой спутник взял лежавшее тут же на специальной подставке короткое деревянное било, отполированное прикосновениями не одного десятка тысяч рук, и слегка ударил по краю колокола. Раздался удивительно тихий и тонкий звук, казалось, он пришел откуда-то очень издалека, — так иногда звенит воздух в палящий тропический зной. Затем ударная волна, проникая все дальше и дальше в глубь стенок колокола, меняла звук. Он становился похожим на звучание скрипичной струны, потом тембр сгустился, и, наконец, все вокруг наполнилось низким мелодичным гудением. Замирая, звук менялся в обратном порядке.

Не знаю, в чем секрет — в составе ли сплава, в пропорциях ли формы, — но зву-

ковая гамма этого колокола, созданного древними мастерами, изумительна. Конечно, в таком священном месте и должен быть такой необыкновенный колокол...

Вспыхнули электрические лампочки, и мы вошли в первый «зал» — пещер по существу здесь несколько.

Над нами нависли неровные своды: вокруг в различных позах стояли изваяния Будды — от совсем крохотных до огромных, в несколько метров в высоту. Будда стоящий, Будда сидящий, Будда лежащий. Но большая часть изваяний изображает его в классической «позе лотоса»: он сидит, поджав под себя ноги; вытянутые пальцы согнутой в локте правой руки лежат на колене; левая рука с обращенной кверху открытой ладонью — у пояса; сосредоточенное лицо; глаза прикрыты веками. Предание утверждает, что именно в такой позе «просветленный» проводил бесчисленные часы. В это время он не ел, не пил, не спал — только думал...

К. Чан по моей просьбе незаметно переводит разговор на сущность учения Будды. Монах не уклоняется от этой темы, он довольно словоохотлив.

Существует несколько различных толкований учения Будды, говорит он. Тонкости их доступны только посвященным, и, если русские специально не изучали буддизма, он боится, что не сумеет объяснить им этого. Но он постарается рассказать о буддизме в самой распространенной его форме и в более общих чертах.

— Буддийская религия, — с таинственным видом сообщил он, — диалектична. — И добавил после небольшой паузы: — Как марксизм.

Признаюсь, я был озадачен, услышав эти слова из уст бирманского монаха. Но, видимо, такое представление довольно распространено здесь. Потому что, как я узнал затем, некоторые руководители социалистической партии Бирмы заявляют, что в идеологической основе этой партии лежит сочетание принципов буддизма и марксизма (!).

— Буддизм учит, — тихо продолжал монах, — что жизнь движется по кругу и этот круговорот неизменен... Вот растет дерево. Оно принесет плод, в котором заключено семя. Упав на землю, семя со временем также превратится в дерево, которое снова даст плод, и так далее. Так было со дня сотворения мира, так будет всегда... Буддизм не признает революции как способа преобразования общества, — он укоризненно посмотрел на нас, — даже если это общество несовершенно. Человек не должен вмешиваться в устройство мира и пытаться изменить его насильственным путем — все должно идти своим чередом и измениться, когда придет время. Так в жизни все и происходит... Представьте себе, что в какой-либо местности правит несправедливый саобва¹. Он притесняет своих подданных, взимает с них большие налоги, берет в жены самых красивых девушек. Его нельзя свергнуть или убить. Верующие должны терпеливо ждать. Пройдет время, жестокий саобва состарится и умрет. Власть над подданными перейдет к его сыну, и он будет более справедливым. Так учил Будда...

Что ж, для саобва буддизм — весьма удобная религия.

— И еще учил Будда: люди должны жить по закону: «Той же мерою»... Если человек любит других людей — значит, они любят его. Если человек причинит кому-либо зло — ему ответят тем же. Поэтому все люди должны любить друг друга...

Последние слова он произносит особенно торжественно и, склонив голову, замолкает, давая понять, что он сказал все, что может быть воспринято непосвященными.

По узкому сырому переходу мы попали во вторую пещеру. Здесь тоже повсюду виднелись изображения Будды — правда, попроще, без всяких украшений, да и света было меньше. Зато с потолка тут свисали огромные сталактиты, а в центре пещеры поднимались причудливые гигантские наросты сталагмитов. На них мы разглядели множество надписей, совсем как где-нибудь у нас на Кавказе или в Крыму — посетители оставляют о себе память. И даже не «контрабандой», а вполне законно, получив у того же монаха за совсем небольшую плату кисть и краску. К. Чан, улыбаясь, показывает на надписи под самым потолком, свидетельствующие, что здесь побывали студенты инженерного факультета Рангунского университета — его однокашники. Видно, эти парни из Рангуна были неплохими гимнастами, если сумели написать свои имена на высоте трех метров!

¹ Князь.

Следующая пещера — самая большая — совсем пуста. Пройдет, очевидно, не одна сотня лет, пока верующие сумеют заполнить ее изображениями своего вероучителя. В одной из стен этой пещеры довольно большое отверстие — ход в другие пещеры.

— Куда он ведет? — заинтересовались мы.

Видимо, он уводит вниз и тянется под землей на многие километры, сказали нам. Спустившись здесь, можно подземными галереями пройти до самого Мандалая, который лежит примерно в ста пятидесяти — двухстах километрах отсюда. Но достоверно это пока неизвестно, так как давно уже никто не пускался в такое подземное путешествие. Правда, говорят, что лет пятьдесят назад по этому ходу спустился монах с мальчиком, но до сих пор они еще не вышли оттуда. Но пусть русские не думают, что эти люди погибли — всевышний не допустит. В один прекрасный день они выйдут, дряхлый старец и мальчик, ставший взрослым мужчиной, и расскажут обо всем, что увидели и о чем думали все это время...

Конституция Бирманского Союза признает равноправное существование в стране ислама, христианства, индуизма, анимизма и не допускает религиозной дискриминации. Последователи всех этих религий имеются почти в любом городке или крупном селении, и это, конечно, не удивительно. Ведь в Бирме живет около девятистот тысяч индийцев и пакистанцев, до трехсот тысяч китайцев, не говоря уже о том, что сама Бирма является многонациональным государством. По данным последней переписи (1950 год), население страны говорит на ста тридцати шести языках и диалектах.

До сих пор здесь широко распространен анимизм, особенно среди горных каренов, качинов, чингов, монов и других народностей. Однажды, выйдя на террасу конторы одного из крупных вольфрамовых рудников на юге страны, я обратил внимание на полусгнившие кокосовые орехи, развешанные в ряд под самой крышей. На мой вопрос — зачем сохраняются эти пришедшие в негодность орехи — управляющий рудником смущенно пояснил, что они защищают служащих от злых духов... С этой террасы был хорошо виден экскаватор, работавший в двухстах метрах от здания, а в кабинете управляющего мы только что слушали концерт, передававшийся из Дели, причем хозяин кабинета уверенно орудовал рычагами настройки отличного приемника «Филипс». Вера в «духов» — и экскаватор, радиоприемник! Парадоксальное сочетание!

В другом конце страны, неподалеку от индийской границы, я разговорился на стройке с бульдозеристом, работавшим на новенькой машине американского происхождения. Он толково рассказал мне о ее достоинствах и недостатках. Рядом с ним сидел его шестилетний сынишка, получавший огромное удовольствие от прогулки на машине. Ноги мальчика выше колен были густо покрыты красно-синими узорами татуировки. И снова в ответ на свой вопрос я услышал, что татуировка предохраняет ребенка от злых духов. Впрочем, отец был разрисован не менее причудливо — он показал мне это, подняв край своей юбки-«лонджи».

Единственное убеждение, с которым в Бирме, видимо, встречаются редко, — это атеизм. Я позволяю себе сделать такой вывод из следующего эпизода.

Однажды наш частый собеседник, доктор Дикси, заинтересовался, какую религию мы исповедуем. Услышав наш ответ: «атеисты», Дикси был озадачен. Он явно не понимал значения этого слова, и мы попытались растолковать его. Очевидно, нам это не удалось сделать, потому что доктор продолжал недоумевать.

— Господа, но куда же вы денетесь, когда умрете: в рай (он поднял указательный палец правой руки вверх) или в ад (палец опустил в направлении пола)?

Мы заявляем, что ни рая, ни ада нет, но и это не производит впечатления. Дикси по-прежнему недоумевает. Игорь по-английски пишет на листке слово «атеист», но доктор вопросительно смотрит то на листок, то на нас, и тогда присутствующий при разговоре У Ба Джан приносит из комнаты У Сейн Хана толковый словарь английского языка и находит это слово.

Дикси читает: «Атеист — человек, который не признает существования бога».

Дикси и У Ба Джан глядят на нас так, будто перед ними не люди, а ядовитые кобры... Мы стойко переносим их испуганно-изумленные взгляды. Вдруг наш добряк-доктор срывается с места и быстро идет в кухню, где ужинают шестеро рабочих из соседней деревни. Через минуту все они входят в комнату, и Дикси что-то долго говорит

им по-бирмански, показывая на нас пальцем. Все, как по команде, смотрят в нашу сторону, словно видят впервые, и в глазах ближе всех стоящего ко мне Ку У я вижу смесь страха и уважения: русские отрицают самого бога...

Затем рабочие, потихоньку переговариваясь, возвращаются к прерванному ужину, а доктор несколько минут усиленно трет пальцами свой высокий лоб.

— Господа,— вдруг заявляет он,— я христианин, но иногда я тоже бываю атеистом.

На этот раз озадачены мы. Выясняется, что кощунственные сомнения возникают у доктора потому, что он «никогда не видел бога». Когда друзья спрашивают его, почему он не ездит молиться в Калоу, где есть христианская церковь, он отвечает им:

— А где бог? Это мужчина.— Он показывает на Маунг Ту, шофера, сидящего рядом.— Это тоже,— жест в сторону Ба Джана.— Это лампа, это банан. Все это я вижу. Но покажите мне бога! — с искренним недоумением восклицает он.

Ободренный примером Дикси, У Ба Джан признается, что он также наполовину атеист. Мусульманин по вероисповеданию, он сплошь и рядом нарушает законы религии: ест свинину (мы часто были свидетелями этого), пьет вино (по словам У Сейн Хана, в значительно большем количестве, чем это следовало бы делать его помощнику)... Однако в этом заявлении, несомненно, сказывалась и «конъюнктура» — мы собирались ужинать и, так как было воскресенье, на столе стояла бутылка виски, которое У Ба Джан ценил явно больше, чем свои религиозные убеждения.

У Сейн Хан не преминул рассказать нам, как верующие обходят одно из главных положений учения Будды.

Буддизм настрого запрещает человеку убивать что-либо живущее на земле, так как во все живое переселяются человеческие души. Убивая, например, скорпиона, можно потревожить дух своей собственной тещи...

Но кто же тогда режет все то множество кур, уток, гусей, свиней, которые продаются на базарах в городах и деревнях?

У Сейн Хан, лукаво улыбаясь, объясняет:

— Когда бирманец зарежет свинью, он кладет ее сперва под дом. Она полежит там немного, и тогда хозяин объявляет, что свинья умерла сама собой.

Заповеди великого Будды обходят и другим путем. Бирманец несет курицу или утку к соседу и просит зарезать ее. Сосед выполняет просьбу и возвращает птицу владельцу. После этого владелец может продать ее или зажарить и съесть: он ведь к убийству непричастен! На другой день к нему с такой же просьбой обращается сосед.

Мы часто наталкивались на соблюдение этой буддийской заповеди, и иногда это причиняло неудобства. Мы не раз удивлялись, когда спокойный Маунг Ту вдруг резко тормозил «кар» или рывком бросал его к краю шоссе, чтобы дать возможность змее переползти дорогу. Однажды в Рангуне, в районе озера Инья, мы минуты три ждали в такси, пока огромная черная кобра разглядывала окрестности, расположившись на середине шоссе. А сколько раз в Рангуне мы втолковывали «вочмену» — сторожу, охранявшему по ночам здание, — что нужно давить скорпионов, нахально заползавших с наступлением темноты в комнаты прямо с парадного входа: обычно он почитительно пропускал их в дом.

Наши наблюдения позволили нам сделать вывод: бирманцы чаще обходят заповеди своего вероучения, чем блюдут их.

ВЕЧЕРНИЙ РАНГУН

Лучше всего побродить по Рангуну вечером, когда схлынет дневной зной.

Здесь темнеет рано, а тропические сумерки непривычно коротки. Не успеет погаснуть закат, как небо становится иссиня-черным. Но жизнь в городе с наступлением темноты не замирает — при свете электричества и керосина он живет не менее шумно и оживленно, чем днем.

Правда, служащие государственных учреждений, различных компаний и банков уже давно закончили труды праведные. Давно покинули свои «офисы» владельцы,

совладельцы, директора, председатели правлений всевозможных фирм. Кто побогаче — отправился на собственной машине в «резидентскую» часть города. Это огромный аристократический район, удаленный от делового и торгового центра, засаженный тенистыми деревьями и застроенный шикарными особняками с яркими клумбами и аккуратно подстриженными газонами во дворах. Кто победнее — удалился на такси или рикшах в дома поближе и попроще.

Не идут в счет и завсегдатаи баров и ресторанов, — как и везде, их жизнь начинается с наступлением сумерек.

Говоря о тех, кто по вечерам продолжает дневную работу, я прежде всего имею в виду простых тружеников — разного рода ремесленников, рикш, мелких торговцев, разносчиков газет, шоферов такси, продавцов фруктов и цветов, владельцев мелких харчевен (они же повара и официанты).

Толпы людей заполняют улицы вечернего Рангуна.

Вот деловито спешит домой пожилая бирманка с сумкой, наполненной овощами и фруктами, — она возвращается с рынка, где торговля производится до позднего вечера. В свободной руке она держит большой букет, пышный голубой цветок заколот в ее волосах. Женщины здесь любят цветы; на городском рынке существуют специальные цветочные ряды.

Двое юношей — по виду студенты — крепко прижимают к груди по стопке только что купленных толстых тетрадей. Старик индеец присел на корточки перед продавцом скобяных изделий, разложившим свой товар прямо на ступеньках дома; он неторопливо выбирает керосиновую лампу, подолгу разглядывая и прикидывая на вес каждый образец, словно вес и служит главным ее достоинством.

Стайка девушек в белых нейлоновых блузках и цветастых «тамейн», оживленно переговариваясь, выходит из переулка, направляясь, очевидно, к кинотеатру. Их лица, руки и шея покрыты каким-то светлым составом, заменяющим бирманкам пудру. Его изготавливают из высушенной коры дерева, называемого «тана ка кау»; кору растирают в порошок, затем добавляют в него воду. Эта «пудра» приятно холодит кожу и придает ей свежесть. Ею пользуются многие представительницы женского пола, особенно в деревнях. По мостовой, возле тротуара, гуськом бредут несколько бритоголовых буддийских монахов в ярко-оранжевом одеянии.

Вот парикмахерская. Владельцы ее не тратят средств на аренду помещения: прямо на тротуаре расположились четыре брадобрея. Перед каждым из них сидит клиент. Салфетки здесь не в ходу, кисточки тоже — окунув ладонь в глиняную чашу с водой, «парикмахер» смачивает ею подбородок и щеки клиента и намыливает их куском мыла. Клиенты не переводятся — вот еще два человека дожидаются очереди, изредка перебрасываясь короткими гортанными восклицаниями.

В двух шагах от уличной парикмахерской, под бамбуковым навесом, покрытым пальмовыми листьями, стоят небольшие столики. Это одна из многочисленных рангунских харчевен. За ближним столиком ужинает семья — отец, мать с грудным ребенком и двое детишек постарше. Пока они едят из белых пластмассовых чашек густой рисовый суп, хозяин харчевни готовит второе блюдо — рядом, на печурке, сделанной из обычного ведра, варится в чугуне рис. Несколько ложек рису, несколько различных овощных приправ, шепотки которых он пальцами набирает из стоящих на прилавке гарелок, — и блюдо подается на стол. На шесте висят выпотрошенные утки и куры, кусок свинины, овощи — меню в харчевне довольно разнообразно. Под навесом снуют бездомные собаки, привлеченные запахом еды, — мелкие, тощие, облезлые. Их не гонят ни хозяин, ни посетители, и лишь когда какой-либо из псов слишком близко протягивает нос к тарелкам ребятишек, те отмахиваются от него, как от назойливой мухи.

Одна за другой стоят три-четыре лавчонки, каждая величиной чуть побольше будки московского уличного телефона-автомата. В них найдешь буквально «что угодно для души». На прилавке, озаренном светом большой керосиновой лампы с ярко светящейся сеткой, стоят большие стеклянные банки с рисом и сахаром, громоздятся вперемежку пачки печенья, куски мыла в обертках, свечи, дешевые конфеты, карандаши, спички, микстура от простуды, пряники, коробки с солью, сигареты, блокноты, пачки чая и соды, сушеные фрукты, конверты, баночки и флаконы с ароматиче-

скими веществами, кокосовые орехи и еще всякая всячина в пестрых, кричащих коробках, банках, обертках. Сверху свисают огромные гроздья желтых и красных бананов.

Среди всего этого «изобилия», стоящего, в общем-то, гроши, взобравшись на скамейку с ногами, восседает его владелец. Он невозмутимо оглядывает улицу и время от времени попыхивает толстой зеленой сигарой. Так сидит он с утра до позднего вечера, даже обедает здесь же, за прилавком, — еду ему приносит владелец соседней харчевни, в свою очередь покупающий здесь сигары, чай, кофе, сахар.

Такие лавчонки, то по несколько подряд, то поодиночке, попадают буквально в каждом квартале. Вокруг течет оживленная уличная жизнь. Мимо проносятся сверкающие никелем и яркими нитрокрасками машины, непрерывно звоня в колокольчик, катят рикши с седоками и без них, идут прохожие — одни неторопливо, другие спеша. Почти ни у кого из идущих или едущих мимо не возникает желания приобрести что-либо в одной из этих лавчонок. Гем не менее на лицах продавцов нельзя прочесть ни разочарования, ни усталости. Стихнет на улицах людской гомон, город плотно укутает душное покрывало южной ночи — они погасят лампы и уйдут к себе домой, чтобы на завтра, с восходом солнца, вновь появиться на своем месте.

Напротив одной из таких лавчонок, шагах в пяти от нее, под высоким раскидистым деревом лежит старик, которому, очевидно, некуда спешить. Положив на мокрые после недавно прошедшего дождя каменные плиты тротуара доску шириной в две ладони, он вытянулся на ней, лицом вверх, покрывшись до подбородка куском ветхой ткани неопределенного цвета. Он не обращает ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг него. Устремив бесстрастный взор к звездам, виднеющимся сквозь густую листву, старик думает явно о чем-то невеселом.

О чем?

О том, где достать утром несколько пъя¹ на чашку риса? О неисповедимых путях всемогущего, у которого он, судя по всему, находится в немилости? О безрадостно и безвозвратно прошедших годах? Глаза его, не мигая, глядят в небо.

Колониальный режим, разрушения, причиненные японскими оккупантами и бомбежками англо-американской авиации, оставили глубокий след на облике древней бирманской столицы (Рангун согласно преданиям основан две с половиной тысячи лет назад). В Рангуне остро сказывается жилищный кризис. Большая часть населения ютится в ветхих бамбуковых хижинах, давно пришедших в негодность. Нам показывали целые районы, которые должны быть снесены по разработанной правительством программе жилищного и культурно-бытового переустройства. Сейчас эта программа начинается осуществляться. В различных частях города можно видеть леса строек; выросли за последние годы новые корпуса инженерного факультета Рангунского университета, возводятся добротные кирпичные и деревянные жилые дома, одеваются в камень тротуары. Рангун постепенно благоустраивается.

На углу у водоразборной колонки купаются две бирманки, только что закончившие стирку и теперь принявшие за свой туалет. Подтянув до груди свои «тамейн», они старательно трут себя мылом, затем смывают его, поочередно нагибаясь под струю. Под конец каждая окатывается несколькими ведрами воды поверх одежды. Захватив тазы с бельем, женщины удаляются в хижину напротив.

Стирку и купание у колонок здесь можно наблюдать в любое время дня. В лачугах и бараках бедняков водопровода, конечно, нет, поэтому их обитатели и вынуждены заниматься туалетом прямо на улице. Вода в Рангуне — вещь не дешевая, иногда стоимость ее составляет тридцать — сорок процентов квартирной платы. Каждая уличная колонка закреплена за определенными домами, с жильцов которых и взимается плата за пользование водой.

В любом районе города можно увидеть рикшу. Их в Рангуне насчитывается около тридцати тысяч. Есть они и в других городах — в Мандалае, Моулмейне, Тавоге. Правда, современный рикша не впрягается в тележку, а возит пассажиров в яркой колясочке, пристроенной сбоку к велосипеду, на котором сидит он сам. Но тем не менее нас не покидало чувство неловкости и стыда — не за рикшу, нет, а за тех, кого

¹ Одна сотая часть джа.

он возит. Временами казалось непостижимым: застроенный современными многоэтажными домами центр Рангуна, асфальтированные магистрали, поток автомобилей новейших марок, и между ними — рикши, потные, задыхающиеся «люди-двигатели» развозят седоков... Говорят, что пока изменить свою профессию рикша не может — в стране еще не уничтожена безработица.

На длинной Фрэзер-стрит — это название сохранилось за ней до сих пор — толпа людей еще гуще и оживленнее. Здесь размещаются индийские торговые ряды.

В городе есть несколько больших европейских универсальных магазинов. Есть большой крытый рынок «Скотт Маркетт», в котором размещаются десятки мелких магазинчиков и лотков. Однако рядовой рангунец в них — редкий гость: ассортимент товаров и цены в этих магазинах рассчитаны на европейцев и местную знать. Простой бирманец предпочитает приобретать необходимые вещи в палатках и на лотках индийских торговых рядов, растянувшихся на несколько кварталов.

Торговля здесь производится преимущественно вечером. С пяти часов дня один за другим появляются все новые и новые продавцы. Одни отпирают двери своих лавочек, другие привозят товары на ручных тележках и раскладывают их на низких бамбуковых помостах, выставленных на краю тротуара, или просто на деревянных ящиках. Для покупателей остается узкий проход.

С наступлением темноты — примерно к шести-семи часам вечера, в зависимости от времени года, — в торговых рядах наступает самое большое оживление. В каждой лавочке, палатке, на каждом лотке зажигаются электрические или керосиновые лампы.

Здесь можно приобрести в ту пору, когда во всех европейских городах это совершенно немисливо, буквально все — нейлон и слесарный инструмент, швейцарские ручные часы и алюминиевую посуду, американские авторучки последних моделей и примитивные керосинки, французские духи и утюги. Особенно много тканей. Ткани всех видов и расцветок. Часто в том же самом магазинчике, где торгуют тканями, работают портные. Вам не понравились готовые «лонджи»? Беда не велика — выбирайте любую материю, и через четверть часа вы сможете щеголять в обновке.

Наиболее распространенный костюм рангунца — белая сорочка и «лонджи», рангунки — светлая блузка и «тамейн». Пиджаки видишь довольно редко — их надевают по вечерам коммерсанты, служащие и студенты. Еще реже попадаются брюки — на городских улицах чаще можно встретить мужчину в «лонджи» и пиджаке современного покроя, надетом поверх ослепительно белой сорочки, чем человека, носящего брюки. Полный европейский костюм изредка можно увидеть на молодежи или приезжих. Зато в толпе нет-нет да и мелькнет местный «стиляга»; его «лонджи» шита из кусков различной материи: правая половина ее имеет один цвет, левая — другой.

Вот ряды, где продается местная обувь, — к деревянной подошве прикреплены два узких перекрещивающихся ремешка, отделяющих большой палец ноги от остальных. Эту обувь здесь не чинят.

Вот ларьки с ручными часами различных швейцарских фирм — часы с белыми и черными циферблатами, с календарем и без него, хромированные и позолоченные, часы водонепроницаемые, антимагнитные, еще какие-то «анти», часы любой величины и стоимости. Лотки с китайскими, японскими, английскими, американскими авторучками.

Ручные часы и особенно автоматические ручки прочно вошли в быт рангунцев. Колпачки авторучек выглядывают из нагрудных карманов сорочек служащих, продавцов, студентов. У кондуктора автобуса ручка торчит за вырезом майки, в которой он работает. Ее металлический держатель блестит за поясом «лонджи» у рикши, разносчика газет, контролера в кино, шофера такси...

Зонты и электрические фонари, галантерея и игрушки, хозяйственная утварь и сувениры, писчебумажные принадлежности и посуда из китайского и японского фарфора, чемоданы и художественные изделия из серебра, слоновой кости, дерева, перламутра... Тесно, один к другому, лепятся магазинчики и ларьки, еще более тесно сидят продавцы на противоположной стороне тротуара. Узкий проход между ними заполняет густой поток людей, беспорядочно движущихся в обоих направлениях, рассматривающих, торгующихся и... почти не покупающих.

Да, товаров покупается здесь мало, совершенно несоразмерно выставленному количеству их или числу проходящих мимо потенциальных покупателей. И это легко объяснить — цены на товары высоки. По данным Союзного банка Бирмы, к началу 1958 года жизненный уровень населения, который зависит от размеров вывоза риса, был самым низким за послевоенный период — предыдущий год был неурожайным.

В 1958 году экспорт, а соответственно и импорт сократились почти на 25 процентов. Нехватка потребительских товаров немедленно вызвала рост цен. Особенно резко — до 30 процентов — возросла стоимость продовольственных товаров: риса, овощей, рыбы, арахисового масла, а пальмовое масло даже удвоилось в цене. Повысились цены и на промышленные товары широкого потребления.

Виды на урожай в нынешнем году в стране благоприятные.

Пока же страна испытывает значительные экономические затруднения. И это в первую очередь сказывается на покупательной способности населения.

На окраинных улицах Рангуна — в районах Тамаинга, Кемендайна и других — людей значительно меньше, чем в центре, но и здесь по вечерам жизнь бьет ключом.

Эти улицы и по внешнему виду резко отличаются от центральных. Правда, и здесь во дворах растут бананы, пальмы, магнолии, гигантские акации, усеянные мелкими красными и розовыми цветами. Но под сенью этого буйного тропического великолепия стоят не каменные особняки, а хижины из бамбука. В этих хижинах нет ни окон, ни дверей. Их заменяют ничем не прикрытые проемы. Многие строения вообще не имеют части передней стены. Таким образом, сделав шаг из квартиры или из мастерской, жители этих кварталов сразу же оказываются на тротуаре. Быт обитателей этих жилищ у всех на виду. Да здесь никто и не делает из него секрета для соседей, даже если под этим определением подразумевать все семьсот пятьдесят тысяч жителей города...

В этих районах живут рангунские рабочие и ремесленники.

У входа в одно из жилищ на корточках сидят две пожилые женщины с огромными сигарами «черут» во рту. Они сортируют строганные дощечки, аккуратно укладывая их в стопку. Это заготовки для сандалей. Теперь к ним остается прикрепить ремешки, и обувь поступит в продажу.

В соседнем — что-то вроде слесарной мастерской. Здесь работают несколько мужчин. На подстилке перед мастерской разложены нехитрые товары для продажи — ржавые гвозди, шурупы, замки, велосипедные звонки, бывшая в употреблении металлическая посуда.

На совсем крохотной хижине — несоразмерно большая вывеска на английском языке. На ней значится «Мастер тейлор» (портной). Несколько слов по-бирмански, очевидно, дублируют надпись. Владельца этого «ателье» не видно, но стрекот швейной машинки свидетельствует о том, что «тейлор» еще трудится. Кстати, и здесь и особенно ближе к центральной части города сплошь и рядом попадаются вывески с пышными названиями предприятий, начинающимися со слов «парамаунт», «ройял» и тому подобными. Ни хозяев этих предприятий, ни их клиентов не смущает, что, например, «Королевская химическая чистка» — это клетушка в пять-шесть квадратных метров!

Вот уже совсем солидное «предприятие». Под ярко освещенным навесом навалены автомобильные баллоны. На стенах висят шины для велосипедов. Пять-шесть юношей сосредоточенно зачищают камеры, режут резину на куски, клеят. С огромного фанерного щита мужчина, стоящий у элегантной автомашины, уверяет, что автомобильные свечи «Чемпион» — лучшие в мире...

Кузницы, мастерские по починке зонтов, небольшие парикмахерские чередуются с жилыми хижинами и длинными одноэтажными деревянными жилыми бараками, двери и окна которых распахнуты настежь.

Обитатели этих кварталов либо заняты своей работой, либо, собравшись группами, мирно беседуют у домов или за столиками вездесущих харчевен. Взявшись за руки, прогуливаются юноши и подростки. Всюду играют или степенно сидят рядом со взрослыми дети. На этих улицах не увидишь шикарных машин, не услышишь крика разносчиков вечерних газет. Даже продавцы прохладительных напитков, бетеля, фруктов здесь менее шумны и настойчивы. Это уже совсем другой Рангун.

Конечно, не все жители столицы занимаются по вечерам делами — очень многие развлекаются.

Людской водоворот бурлит в центре города, на пересечении Суле-пагода-роуд и Боджоук-стрит. Здесь сосредоточены кинотеатры: «Нью-Палладум», «Нью-Эксельсиор», «Глоб», «Риджент», «Карлтон», «Нью-Ориент». Только в «Ориент» демонстрируются индийские и бирманские фильмы.

Национальное кино пока не выдерживает конкуренции Голливуда, и Бирма наводнена американскими фильмами. Рекламные щиты остальных кинотеатров пестрят названиями: «Три пирата», «Человеческие джунгли», «Мисс Робин Крузо», «Существо с атомными мозгами», «Черный штит», «Оно приходит из глубин моря» и тому подобными. Герои этих голливудских «боевиков» убивают своих противников из винчестеров и пистолетов, всаживают в них ножи, протыкают шпагами, сбрасывают в пропасти, уничтожают себе подобных и другими довольно многочисленными способами. В города врываются невообразимые чудовища, они появляются из таинственных черных лагун океанов или прилетают из межзвездных миров. Основное занятие этих чудовищ — истребление мирных людей. Перерывы между убийствами заполнены поцелуями, погонями, объятиями и драками.

У кино также идет торговля. На подстилках и переносных лотках разложены носки, сигареты, противосолнечные очки, сладости, трубки, игрушки, зажигалки, открытки, бумажники, вешалки и десятки других мелких предметов. Тут же, прямо на тротуаре, — столики с фруктами, прохладительными напитками, холодными и горячими закусками. Несколько киосков с бульварной литературой и «комиксами». На ярких обложках изображены джентльмены в масках и без оных, полуобнаженные женщины, тигры, крокодилы, джентльмены с пистолетами или ножами, женщины, обнаженные на три четверти, гиппопотамы, удавы, джентльмены на крышах небоскребов и на краю пропастей, женщины, обнаженные на девяносто девять процентов, спруты, пришельцы из других миров с птичьими головами и атомным оружием в скрюченных лапах.

Эта лавина американской бульварной литературы с уголовно-сексуальными названиями, пропагандирующая садизм, человеконенавистничество, власть сильного, жажду крови, является достойным продолжением фильмов и призвана, очевидно, закреплять увиденное в кинотеатрах...

Надо отдать справедливость рангунцам. В отличие от кино, куда они ходят часто, на подобные книги, насколько мы могли убедиться, охотников мало. Мы наблюдали студентов, читающих в автобусах, — в руках у них были другие книги. В кафе мы оказывались соседями степенных бирманцев, перед которыми на столике, рядом с бутылочкой оранжа или чашкой чаю, лежали раскрытые книжки — это были не «комиксы». Мы беседовали с юношами и девушками в Рангунском университете. В ответ на вопрос, нравятся ли им такие книги, они отрицательно качали головой или признавались в том, что мало знакомы с ними. Мы часто заходили в книжные магазины и останавливались перед киосками на улицах — и ни разу не были свидетелями того, чтобы бирманец выложил звонкую монету за подобное чтиво, хотя стоимость таких книжонек по сравнению с серьезной, скажем, с технической литературой довольно низка — они дешевле в четыре-пять раз.

Однажды в книжном магазине у Суле-пагоды мы наблюдали, как распродалась только что полученные книги советских авторов. Продавец распаквывал связку, вынимал книгу, и к ней тянулось сразу несколько рук.

Мы увидели книжку небольшого формата — на сиреновой обложке изображен комбайн, работающий в поле, к нему направляется повозка, запряженная парой лошадей, в ней сидят ребятишки. Справа в углу — снопы пшеницы. Обложка показалась очень знакомой, мы взглянули на титульный лист — да, конечно: это «Степное солнце» П. Павленко.

Не меньшим успехом пользовалась и другая, довольно объемистая книга. На обложке два школьника в национальной бирманской одежде. Стоя на раздвижной лестнице, они вешают на стену розовое полотенец с названием книги. Это «Школьники» («Витя Малеев в школе и дома») Н. Носова. Несколько экземпляров книги немедленно оказалось в руках учеников, стоявших у прилавка.

Здесь продавались в тот день «Детство» Л. Толстого и «Трубка» Ю. Нагибина. Продавец сообщил, что недавно у них были «Чапаев», «Как закалялась сталь», «Капитанская дочка», «В людях», «Белеет парус одинокий», «Флаги на башнях» и многие другие издания. Интерес к нашим книгам растет с каждым днем.

Двадцатидвухлетний студент Рангунского университета рассказывал нам:

— Бирманская молодежь стремится больше узнать о вашей стране. Раньше в Рангуне трудно было достать правдивую книгу о Советском Союзе, а информация, публикуемая в газетах, не всегда оказывается объективной. За последние три-четыре года положение изменилось — стало появляться все больше и больше книг на бирманском языке о том, как живут советские крестьяне, рабочие, интеллигенция. Я сам стараюсь не пропустить ни одной новой русской книги, появляющейся здесь, и знаю многих студентов университета, которые делают то же самое.

Интерес молодежи к нашим книгам легко объясним — с каждым днем растут и крепнут экономические, научно-технические и культурные связи и дружба между народами Советского Союза и Бирманского Союза. Строительство и оборудование Советским Союзом в дар народу Бирманского Союза технологического института, госпиталя с поликлиникой, театра, оказание помощи местным организациям в подготовке квалифицированных рабочих, прием молодых граждан Бирманского Союза для обучения на советских предприятиях и в высших учебных заведениях, командирование в Бирму советских специалистов для совместной работы с бирманскими специалистами — яркое свидетельство этой дружбы...

Если свернуть с Дальхаузи-стрит, одной из главных магистралей Рангуна, у Сулепагоды попадаешь на площадь Бандула. Это рангунская «Красная площадь».

Здесь по вечерам пустынно и тихо, мало света, и это также вначале поражает приезжего. В большом сквере, занимающем всю площадь, возвышается сверкающий белизной даже при скудном освещении обелиск Независимости. Его окружают пять меньших обелисков, расположенных по концам лучей воображаемой пятиконечной звезды. Вместе эта монументальная группа символизирует единство народов Бирманской Федерации — собственно Бирмы и пяти автономных государств, одно из которых административно является национальным округом. Мотив, легший в основу композиции скульптуры, взят с государственного флага Бирманского Союза, где на синем квадрате, расположенном в левом верхнем углу красного полотнища, изображены шесть звезд — одна большая и пять поменьше.

Десяток с небольшим лет — не бог весть какой долгий срок! Это особенно подчеркивается расположенной неподалеку от площади Сулепагодой, стоящей здесь уже свыше двух тысяч лет. В Бирме до настоящего времени не решен еще ряд важных политических и хозяйственных задач, и впереди ей предстоит преодолеть немало трудностей. Но бирманский народ, сбросивший оковы колониального ига, полон решимости добиться успехов в переустройстве своей страны. Кстати сказать, преодолевать эти трудности было бы куда легче, если бы в дела молодой республики поменьше вмешивались старые и новые колонизаторы.

...На Сулепагода-роуд неоновым светом озарены шиты реклам. Они назойливо предлагают курить сигареты «Кэмел», приобретать радиоприемники «Филипс», пить больше пива, запастись патефонными пластинками, привезенными за тысячи километров.

Коротко гудят сирены автомашин, раздаются пронзительные трели звонков рикш. Обиженный равнодушием прохожих, продавец прохладительных напитков вдруг начинает громко стучать о столик металлической кружкой, привлекая к себе внимание. Стараясь покрыть уличный шум, разносчики выкрикивают названия газет.

Двенадцатый час ночи. В черном небе — низкие крупные звезды. На его фоне высятся пальмы с неподвижными шапками огромных листьев. Улицы заметно опустели, в окнах гаснут огни, Рангун затихает.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ДУХ МИРА — ДУХ ВРЕМЕНИ

ФРГ

«Гайст унд цайт» («Дух и время»), двухмесячный журнал по вопросам искусства, литературы и науки. №№ 3, 4. 1959. Год издания 4-й. Дюссельдорф. Редактор Катарина Фукс-Ардт.

★

Не так давно в Вюрцбург, резиденцию католического архиепископа Западной Германии, с особым поручением от папского престола прибыл из Рима видный деятель ордена иезуитов. Задача, выпавшая на его долю, была, прямо скажем, нелегкой. Недовольство неумной и опасной политикой аденауэровской партии, именующей себя христианской, за последнее время все более отчетливо проявляется среди западногерманских верующих. Они начинают открыто выражать сомнения в правильности этой политики, будучи не в силах уяснить себе, как можно согласовать требования христианской морали с требованием атомного вооружения, с воинственными заявлениями ослепленных ненавистью боннских политиканов. Широкий отклик нашли в немецком народе воззвания группы известных западногерманских ученых, теологов и священников, потребовавших немедленного запрещения атомного и водородного оружия.

Не на шутку обеспокоенные всем этим, пастыри католической церкви ФРГ решили прибегнуть к помощи святейшего гостя и устроили его встречу с немецкими учеными-католиками. Не упоая, однако, на одно лишь красноречие заезжего проповедника, организаторы решили пригласить на эту встречу и офицеров бундесвера, видимо полагая, что присутствие в зале столь надежной опоры боннского правительства послужит более веским аргументом для впавших в ересь западногерманских ученых.

Речь высокопоставленного служителя божьего была краткой, но решительной. Доказывая необходимость атомной бомбы для процветания Западной Германии, он заявил, что если в будущей войне «погибнет весь народ, то и это может явиться доказательством божественного промысла». Больше того: «если бы вследствие исполнения долга верности перед божьим порядком погиб весь мир, то... бог снял бы с нас за это ответственность».

Нам неизвестно, как реагировали на эти каннибальские заявления западногерманские офицеры, но среди ученых раздались гневные и возмущенные возгласы протеста.

Обо всем этом рассказал на своих страницах журнал «Гайст унд цайт», один из немногих выходящих в ФРГ журналов, который смело и неутомимо отстаивает идеи мира. В свое время мы сообщали нашим читателям о рождении этого журнала (см. «Новый мир», 1956, № 6). Тем более отраднo видеть, что за прошедшие годы «Гайст унд цайт» не только не изменил своему направлению, но еще решительнее ведет борьбу за национальные интересы немецкого народа и демократическую немецкую культуру.

В отклике на выступление римского иезуита известный западногерманский публицист Лео Вайсмантель напоминает читателям о судьбе Конрада Марбургского, доминиканского монаха, посланного в Германию римским папой в начале XIII века и прославившегося жестокими гонениями на инакомыслящих. Его изречение: «Если бы из сотни сожженных лишь один-единственный оказался настоящим еретиком, то остальные девяносто девять погибли бы не напрасно» — невольно приходит на память, пишет Лео Вайсмантель, когда доводится слушать речи, подобные произнесенной посланцем Ватикана. Возмущенный народ предал Конрада Марбургского позорной смерти, современные

же конрады, призывающие к атомной войне, готовые обречь на гибель все человечество, не только остаются безнаказанными, но пользуются поддержкой и покровительством католической церкви Западной Германии.

И все же средства не достигают цели. Запугивать в наши дни легковверных людей мифической «опасностью с Востока» западногерманской реакции не так уж просто. Ей приходится прилагать для этого немало стараний.

В хор проповедников атомной войны включился, как уже известно читателям нашего журнала (см. «Новый мир» № 3 с. г.), и западногерманский профессор философии Карл Ясперс, долгое время рядившийся в тогу «поборника правды» и приверженца «чистой науки». Журнал «Гайст унд цайт» в статье Германа Лея «Карл Ясперс как идеолог атомной бомбы» дает достойную отповедь писаниям Ясперса, проникнутым злобной ненавистью к миру и жизни.

Любой повод используют реакционные силы ФРГ для разжигания реваншистской пропаганды. Одним из таких поводов явилось недавнее самоубийство фашиствующего писателя Ганса Венатира, которого милитаристские круги пытаются ныне выдать за «национального героя». «Политик, воспитатель и фронтовой офицер, Венатир и как поэт служил нации. Каждая строчка, вышедшая из-под его пера, была написана для Германии»,— утверждал ганновский еженедельник «Дас нейе райх». Журнал «Гайст унд цайт» показывает подлинное лицо этого столпа коричневого Парнаса, подвизавшегося последние годы в реваншистском журнале «Нацйон Эйропа». Проповедь расовой ненависти и вражды к другим народам, восхваление милитаризма как «высшей сущности государства»— вот в чем заключалось «служение» Венатира Германии, вот какие «заслуги» превозносятся сегодня на страницах реакционной западногерманской печати! «Ганс Венатир умер, но живы его политическое учение и друзья»,— напоминает журнал «Гайст унд цайт». Живы и продолжают отравлять политическую и литературную атмосферу ФРГ Виль Веспер, Гвидо Кольбенхейер, Ганс Гримм и десятки других более или менее известных гитлеровских бардов.

С глубокой тревогой пишет журнал о засилии гитлеровцев в государственном аппарате Федеративной Республики Германии, о милитаризации общественной жизни. Публицист Г. Мохальски в статье «Враг стоит справа» приводит некоторые цифры, характеризующие рост милитаристских организаций. В настоящее время в Западной Германии существует 1222 солдатских союза и 45 союзов эсэсовцев, которые регулярно собираются, готовясь к новым военным походам. В опубликованном журналом отрывке из нового романа известного западногерманского писателя Карла Людвига Опица «...Превыше всего на свете» остро разоблачается неприглядная политика правящих кругов ФРГ. Вчерашние убийцы, погубившие сотни и тысячи ни в чем не повинных людей, факельщики, сжигавшие дома мирных жителей в оккупированных гитлеровской армией в годы минувшей войны странах, палачи из гестапо— все они, за редким исключением, получили, как показывает автор, высокие посты в бундесвере и государственном аппарате. Трудно, разумеется, судить пока о романе в целом, однако уже сейчас можно сказать, что сатирическое дарование Опица, знакомое советским читателям по его роману «Мой генерал», позволило ему нарисовать яркую и убедительную картину типических сторон современной западногерманской действительности.

Горячей заботой о судьбах подрастающего поколения в ФРГ пронизана опубликованная в журнале статья Йохена Цима «С четырнадцати лет начинается жизнь». Семьсот тысяч юношей и девушек окончили в нынешнем году западногерманские школы. Что ждет их, какие возможности устройства на работу или продолжения учебы найдут они у себя на родине? «С недоверием, сомнением и часто с открытой неохотой», пишет автор статьи, смотрят молодые люди на свое будущее.

Социальная неустроенность молодежи, отмечает автор статьи,— одна из главных причин роста преступности. За последние четыре года преступность подростков в ФРГ увеличилась вдвое. Этому немало способствует широкое распространение в Федеративной Республике Германии низкопробной литературы и кинофильмов, смакующих преступления и убийства, растлевающих юношеские души. Однако, как показывает автор статьи, здоровые силы западногерманской молодежи успешно противостоят натиску антигуманистической, милитаристской пропаганды. Так, учащиеся одной из школ в

Штутгарте в своих сочинениях на свободную тему потребовали мирных переговоров с правительством ГДР по вопросам, имеющим жизненно важное значение для всего немецкого народа. Учащиеся людвибсбургской гимназии обратились с письмом в боннское правительство, протестуя против атомного вооружения бундесвера. Правда, эта неслыханная в условиях западногерманской «демократии» дерзость едва не кончилась весьма и весьма плачевно для авторов письма. Высокопоставленный чиновник из Бонна обвинил их в «симпатиях к коммунизму» и категорически предписал «не совать носа не в свои дела».

«Противоположность в мировоззрении не должна быть помехой на пути к общей цели — сохранению мира», — заявил на страницах журнала «Гайст унд цайт» известный западногерманский публицист Ганс Кальт. К такому единственно правильному в современных условиях выводу приходит все больше и больше представителей западногерманской интеллигенции, деятелей литературы и искусства. Созданный не так давно в ФРГ «Франконский кружок» обратился с воззванием к западногерманской общественности, в котором содержались требования о создании в Европе зоны, свободной от атомного и ядерного оружия, о создании конфедерации двух немецких государств, об отказе от агрессивной «политики силы», о ликвидации влияния промышленных и военных концернов на общественно-политическую жизнь Западной Германии. В числе известных западногерманских писателей, подписавших это воззвание, журнал называет Леонгарда Франка, Гюнтера Вайзенборна, Иоганнеса Тралова, Эрнста Глэзера, Пауля Дистельбарта, Людвига Бэте и многих других.

Все труднее становится пропагандистам войны заглушать голос правды. Несмотря на угрозы и преследования, немецкие патриоты в Западной Германии смело рвут паутину лжи, опутывающую сознание многих их соотечественников. Приведенные журналом факты показывают успехи и сложность борьбы сторонников мира и правды, помогают немецким читателям отрешиться от имеющих еще заблуждений относительно истинных целей правящей верхушки ФРГ, понять опасность милитаристской политики, идущей вразрез с национальными интересами немецкого народа.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

„ДОКАЗАТЕЛЬСТВА“ НЕДОКАЗУЕМОГО

Разные бывают юбилеи. Редакция французского журнала «Прев» сочла пристойным поводом для юбилея выпуск сотого номера этого издания.

Забегая вперед, отметим, что это знаменательное событие не вызвало в мире особых сенсаций. Выход сотого номера «Прев» так и остался незамеченным. Одни только здравницы, возглашаемые самой редакцией в передовой «именинника», сотрясали воздух. Если же мы решили хотя бы в скромных масштабах откликнуться на этот юбилей, то скажем прямо. не из интереса к юбиляру. Все дело в том, что, как нам кажется, сто номеров «Прев» дают известное основание поговорить о том, кому и зачем нужны подобные издания в наши дни, да и нужны ли они вообще.

«Прев», как и его коллеги «Энкаунтер» в Англии, «Темпо презенто» в Италии и другие, — дитя «холодной войны». И, достигнув, по западным критериям, солидного для ежемесячника возраста, он остался столь же неказистым, как и после своего появления на свет. Это — рахитичное дитя с раздутым от словесной водянки животом, на тонких кривых ножках лжи и клеветы. И если «Прев» умудряется ковылять на них уже восемь с лишним лет, то, надо думать, не в последнюю очередь благодаря позолоченным «костылям» — денежным субсидиям своих опекунов: пресловутого «Конгресса в защиту свободы культуры» и так называемого «фордовского фонда».

Когда просматриваешь номера «Прев» и близких ему по духу и общей кормушке изданий, невольно вспоминаешь о некоем тощем флорентийском графе, о котором пи-

Франция

«Прев» («Доказательства»), литературно-общественный ежемесячный журнал. № 100. Июнь. 1959. Год издания 9-й. Париж. Ответственный редактор Франсуа Бонди.

★

сал когда-то Герцен. Выезжая из дому в дряхлой карете, влекомой еле передвигающимися ноги клячами, он неизменно просил своего неказистого, щуплого кучера: «Сделайте величественную и прекрасную фигуру». Можно представить себе, что и к сотрудникам «Прев» его редактор обращается с подобным же призывом. Ведь иногда полезно, чтобы подлинная реакционная сущность журнала не представала перед читателем во всей своей наготе, а прикрывалась какими-то респектабельными одеяниями. Отсюда и всякого рода литературные «увражи» и «ученые статьи», появляющиеся на страницах таких изданий. Но — увя! — все потуги авторов «Прев» явить собой «величественную и прекрасную фигуру» оказываются не более успешными, чем аналогичные попытки кучера итальянского горе-вельможи. Далеко ли уедешь в карете прошлого? А в 1959 году неистовая проповедь «холодной войны», не умолкающая на страницах «Прев», выглядит, право, столь же не ко времени, как ветхая, хоть и украшенная гербом, колесница в век автомобилей и самолетов.

Кстати, раз уж зашла речь об «ученых статьях» в «Прев», расскажем здесь об одной из них. Озаглавлена она «Бодлер — Овен» и написана критиком и литературоведом К. Э. Маньи Чудовишно заумен ее язык. Не менее нелепо ее содержание. Автор задался целью установить связь между литературой и... астрологией, доказать влияние планет и созвездий на судьбы и творчество писателей. Бодлер, оказывается, родился под знаком Овна, неумолимо вмешавшегося в жизнь поэта, — и отсюда все его качества. А мы-то всего этого и не знали, и невдомек нам было, что именно созвездие Овна породило «Цветы зла».

Впрочем, редакция «Прев» и не претендует на то, что в разглагольствованиях Маньи сокрыта абсолютная истина. В специальном примечании она оговаривает, что это всего лишь одна из теорий, имеющая такое же право на существование, как и те, например, литературоведческие «теории», что выводят особенности творчества Достоевского из его заболевания эпилепсией, а особенности стихов того же Бодлера — из характера недугов, явившихся следствием бурной и неводержимой молодости поэта. Как видим, в вопросах «литературоведения» редакция склонна проявлять терпимость и широту взглядов. Но от этого либерализма не остается и следа, когда дело идет об основной сущности редакционной программы — об антикоммунистических, антисоветских «теориях», для пропаганды которых и был создан «Прев». Тут уж никаких послаблений. Тут уж журнал не делает даже робких попыток оправдать свое название и что-то доказывать. Он утверждает, но не аргументирует, он вещает, но не подкрепляет свои вещания свидетельствами. Название для журнала лишь одна из форм камуфляжа.

Что же утверждает журнал? Да не подумает обеспокоенный читатель, что мы собираемся ворошить все сто «Доказательств», коими человечество было осчастливлено за последние восемь лет. Даже ограничиться рассмотрением нескольких номеров, предшествовавших «юбилею», значит обречь себя на занятие утомительное и малоприятное. К этим немногим номерам мы обращаемся лишь для того, чтобы расшифровать, каковы же те «заслуги» журнала, о которых так умиленно повествуется в его сотом номере.

Автор передовой, подписанной инициалами «Ф. Б.» (позволяем себе думать, что он же ответственный редактор журнала — Франсуа Бонди), с немалым апломбом заявляет, что журнал делает «полезное дело». Без лишней скромности он утверждает, что «Прев» «пользуется престижем во Франции и во всем мире». Он косвенно признает, правда, что «Прев» вызвал к себе антипатию прогрессивной французской интеллигенции, что даже католический журнал «Эспри» назвал «Прев» «органом антикоммунистической пропаганды». Но Ф. Б. не стыдится, а, напротив, похваляется этим. Основной прием журнала в этой области не отличается ни новизной, ни оригинальностью. Сводится он к тому, что журнал приписывает себе роль чуть ли не главного борца против «тоталитаризма», бесстыдно ставя знак равенства между коммунизмом и фашизмом. Эта грубая фальсификаторская махинация не является изобретением «Прев». К подобной клевете, о которой нельзя говорить без омерзения, не раз прибегали враги коммунизма во всем мире, выступающие под флагом «демократии». Журнал может лишь поставить себе в заслугу «конкретизацию» этой клеветы — например, как он выражается, «демистификацию сторонников мира», или, по его же терминологии, популяризацию идеи о том, что надо «дать шанс Дьему в Южном Вьетнаме». В переводе на

человеческий язык это значит, что в годы, когда миллионы честных людей во всех странах выступают против угрозы атомной войны и за разрядку международной напряженности, журнал провокационно выставляет их «агентами коммунизма», снимая, по его словам, «покров тайны» с движения сторонников мира — этого благородного движения современности. Чем же, позволительно спросить, позиция «Прев» отличается от позиции идеологов маккартизма, противником которого демагогически называет себя журнал в той же передовой? В какой сверхсильный телескоп надо смотреть, чтобы узреть это различие? А какие «шансы» следует дать палачу Нго Динь Дьему? Неужели позволить ему учинить новое массовое отравление заточенных в концлагеря политических противников этой кровавой марионетки?

В этой же статье журнал рекомендует своих долголетних сотрудников, в том числе Раймона Арона, Дени де Ружмона, Жана Геэно и других, удостоверяя антикоммунистичность их взглядов. Это, пожалуй, единственное утверждение журнала, не нуждающееся в доказательствах. Каждый сколько-нибудь знакомый с литературными выступлениями этих авторов примет на веру данную им журналом характеристику. Писаниям этих литераторов, как и матерых троцкистов вроде Суварина и современных ревизионистов типа Джиласа, «Прев» охотно предоставляет свои страницы; они, так сказать, числятся в его «авторском активе». Всем, кто хочет внести свою лепту в разжигание ненависти к коммунизму, к Советскому Союзу, журнал широко распахивает двери.

А вот то, что говорится в той же передовой о заслугах журнала «в деле изучения Европы и европейской культуры», нуждается в расшифровке. Дело в том, что журнал имеет в виду «своеобразную», мягко выражаясь, Европу—Европу без Советского Союза и, более того, выступающую против Советского Союза. Уже в первые послевоенные годы на всякого рода сборищах «панъевропейцев» в Женеве и других городах можно было услышать хотя и страстные, но не очень членораздельные речи того же де Ружмона и других нынешних сотрудников «Прев», выступавших в роли поборников «чистоты европейского духа». Еще более десяти лет назад Р. Арон, Д. де Ружмон и другие из нынешних сотрудников «Прев» ратовали за «федерализацию Европы», за ее «гельветизацию», то есть создание «Соединенных Штатов Европы», построенных по образцу швейцарских кантонов. Из понятия «европейской культуры» они умудрились исключить как нечто чужеродное великую культуру Пушкина, Толстого и Горького.

Предшественниками же де Ружмона и других поборников сплочения Европы против «азиатского большевизма» был не кто иной, как Геббельс и подхватившие этот лозунг коллаборационисты из Виши. Таким образом, «традиции» у нынешних «европейцев» из «Прев», что и говорить, весьма богатые!

И, наконец, последнее, что ставит себе в заслугу «юбиляр», — это его «обращения к интеллигенции Венгрии и Польши». Да, в период контрреволюционного мятежа в Венгрии и активизации ревизионистских сил в других странах «Прев» поистине «играл и скакал». Но и сейчас, когда похвальба ревизионистских синиц, прозившихся зазечь море, так и осталась похвальбой, «Прев» все еще продолжает делать хорошую мину.

Сущность одного из основных «символов веры» редакции была лаконично и выразительно сформулирована в заголовке опубликованной ею статьи итальянца Спинелли: «Смерть европейского социализма». Это был «коронный номер» журнала, вполне отвечающий его линии: утверждение неизменности и вечности «традиционного европейского духа» и «недолговечности» европейского социализма. Впрочем... слабость и неубедительность аргументации Спинелли были столь очевидны, что в последующих номерах от его статьи поспешил отмежеваться даже кое-кто из сотрудников журнала.

«Прев» — это рупор тех кругов, которые заинтересованы в том, чтобы состояние международной напряженности не уступило места разрядке в отношениях между государствами, тех, кто хотел бы и впредь держать мир «на грани войны». Среди авторов журнала много «специалистов» по международной политике. В каждом из рассмотренных номеров немало статей и заметок на эти темы. Что же утверждает «Прев» их устами? Из статьи по германскому вопросу мы узнаем, что СССР, хотя он и «не хочет войны» (знамение времени, что даже «Прев» вынужден это признать), «разыгрывает партию дипломатического покера». Автор статьи широко пользуется такими терминами, как «советский блеф», которые, казалось, уже давно должны были выйти

из моды, пространно толкует об «изоляции» ГДР. Он всячески ратует за сохранение Атлантического пакта, ибо, заявляет он, только НАТО цементирует страны «свободного мира», в то время как страны противоположного лагеря и без Варшавского договора сохранят свою связь. (Как это, к слову говоря, примирить со столь милыми редакторам «Прев» рассуждениями о нерушимой «европейской солидарности» и якобы существующих между странами социалистического лагеря противоречиях?)

Немало внимания уделяет «Прев» Востоку. Он очень озабочен судьбами колониальных в прошлом стран, вступающих на путь независимости. Каково-то им придется, если «Прев» не возьмет их под свое высокое покровительство! Ведь кому-кому, а ему, как говорится, карты в руки. Недаром его редактор Франсуа Бонди слывет знатоком проблем Азии, и в качестве такового он еще несколько лет назад извещал в «Энкаунтер», что Азия — это всего лишь «географическое, а не реальное культурное понятие», поскольку и «самое понятие «Азия» — это порождение западного ума».

Будучи автором столь оригинального открытия, Бонди не мог, естественно, не принять участия в состоявшемся недавно «Семинаре в Родосе», обсуждавшем «проблемы демократии — применительно к Востоку». Этот «семинар», привлекая, по словам журнала, несколько десятков участников, должен был явиться противовесом встречам прогрессивных писателей стран Азии и Африки, проходившим в Индии и Ташкенте. Его инициаторы хотели бы заменить дух Бандунга и Ташкента «духом Родоса».

Не следует думать, что, увлекшись проблемами политики на Западе и Востоке, журнал забывает о литературе и искусстве. Нет, он живо интересуется ими, но, надо сказать, несколько односторонне. В литературной жизни Франции и за ее рубежами он лихорадочно ищет одного — «фактов» для утверждения несовместимости литературы с прогрессивными идеями нашего времени. Так, в статье о литературе Чехословакии основное внимание уделено поискам произведений, содержащих в себе «элементы недо-вольства». Журнал пытается посеять среди своих читателей сомнения насчет идейных позиций некоторых умерших писателей, рассчитывая на свою безнаказанность: ведь те, о ком идет речь, уже не могут опровергать!

Верен себе журнал и тогда, когда он касается литературной жизни Франции. В специальной статье он ставит себе целью «просветить» молодых писателей Франции насчет «подлинного лица Национального комитета писателей», рожденного в годы сопротивления французов гитлеровским оккупантам. Автор статьи изошряет свою убогую фантазию, пытаясь доказать, что это организация «коммунистическая». Он мечет громы и молнии против традиционных «книжных базаров» НКП — этого большого культурного мероприятия, в котором участвуют известнейшие французские писатели разных направлений. Его участникам «Прев» пытается приписать самые низменные мотивы, пускает в ход мелкие сплетни, ложь, интриги.

В отделе искусства журнал, разумеется, бранит советскую живопись за избыток «идеологии» и преподносит читателям в качестве «положительного образца» несколько произведений абстрактной живописи: две изогнутые дощечки, изображающие «Нарушение ритма», три жердочки, призванные олицетворять «Реку». Это один из немногих случаев, когда редакция не только утверждает, но и «доказывает» и даже показывает свои утверждения. Увы! И в иллюстрированном виде они не становятся убедительнее.

Но бог с ними, с этими дощечками и жердочками, что бы они ни обозначали! Если бы «Прев» только пытался «доказать» своим читателям преимущества абстрактной живописи! Но нет, он пытается сделать нечто большее — и в этом его опасность. Он пытается «доказать», что сосуществование двух систем невозможно, что «холодная война» на грани с «горячей» и является тем естественным состоянием, в котором должно пребывать человечество. И все это кажется уродливым и нелепым анахронизмом в наши дни, когда становится все более очевидным, что климат «холодной войны» противопоказан людям на всем земном шаре, в том числе и во Франции.

Вл. РУБИН.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

ЛУНАЧАРСКИЙ

(Из воспоминаний)

Н

1

а двери висела бумажка, наскоро прикрепленная единственной кнопкой.

Народный комиссар просвещения
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
принимает только по субботам
от 2 до 6

Но сразу было видно, что бумажка не строгая: висела она косо, без всяких претензий на официальную чопорность, и с нею никто не считался — входили в эту дверь когда вздумается.

Анатолий Васильевич — весь Петроград называл Луначарского Анатолием Васильевичем — жил тогда в Манежном переулке, недалеко от Литейного, в маленькой, невзрачной квартире, которую всякий день осаждали десятки людей, жаждавших его совета и помощи.

Педагоги, рабочие, изобретатели, библиотекари, цирковые эксцентрики, художники всех направлений и жанров (от передвижников до кубистов), философы, балерины, гипнотизеры, певцы, поэты Пролеткульта и просто поэты, артистки бывшей императорской сцены — все они длиннейшей вереницей шли к Анатолию Васильевичу на второй этаж по измызанной лестнице, в тесную комнату, которая в конце концов стала называться «приемной».

Это было в восемнадцатом году. Вскоре бумажка на двери заменилась другой, чрезвычайно внушительной:

Народный комиссар просвещения
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
принимает в Зимнем дворце
(по таким-то дням)
и в Комиссариате просвещения
(по таким-то дням)
Здесь приема нет.

Но и это никого не устрашало: уже к девяти утра приемная набивалась народом. Сидели на тощем диване, на подоконниках, на табуретах, принесенных из кухни. Среди множества других посетителей особенно отчетливо запомнились мне:

Всеволод Мейерхольд, все еще похожий на юношу, небритый, возбужденный, стремительный, словно вырвавшийся из вихря какой-то сумасшедшей работы;

Владимир Бехтерев, знаменитый психиатр, сонный, бородатый, обвислый, с дремучим мужицким лицом;

фотограф Наппельбаум, говорливый, общительный, в широкой художнической бархатной блузе;

академик Ольденбург, очень подвижной, очень маленький, в кургузой демократической курточке;

старик романист Иероним Иеронимыч Ясинский, живописный, седой, импозантный красавец с великолепными густыми бровями и крохотными, хитрыми, маслянистыми глазками;

художник Юрий Анненков (всеобщий «Юрочка»), вездесущий, разбитной и талантливый;

Александр Кугель, знаток и фанатик театра, бывший король рецензентов, остроумный, курчавый, неряшливый, с недоброй усмешкой в обиженных, усталых глазах.

Все к нему, к Анатолию Васильевичу, за советом и помощью, а он сидит в комнатенке один и каждого встречает с таким жадным, живым интересом, словно с давнего времени только и думал о том, как бы познакомиться с тем человеком, потолковать и, если нужно, поспорить.

Со мною он стал спорить после первых же слов.

— Нет,— говорил он,— вы делаете большую ошибку. Вы все время восхваляете этого вашего Уитмена за то, что он будто бы поэт демократии¹. Но что такое демократия? Мещанство! Хитрая ширма для обмана трудящихся! Республика мелких собственников! Нет, Уитмен...

Он молодо всгас и, шагая по комнатке, начал излагать свои мысли об американском «певце демократии». Его быстрая, уверенная речь текла без запинок и пауз, он импровизировал ее с артистическим блеском, очень легко и свободно, и вскоре в ней послышались такие слова, как «просияние духа», «вселенское зодчество», «слияние человеческих волей». Но даже эта приподнятость речи шла к Анатолию Васильевичу, к его певучему голосу, ко всему его поэтическому, изящному облику. Без малейшего напряжения памяти он тут же процитировал стихи не только Уолта Уитмена, но и Верхарна, и Тютчева, и Жюль Ромена. Вообще стихов он знал множество на трех или четырех языках и любил декламировать их — тоже в несколько театральной манере.

Голос его становился все громче. Было похоже, что он произносит свою речь перед толпой на трибуне, и мне стало неловко, что весь этот пафос тратится на меня одного.

Все же я считал невозможным полностью принять то истолкование поэзии Уолта Уитмена, которое было дано Луначарским. Я смущенно заявил ему об этом, и, помню, мне очень понравилось, как терпимо, уважительно, без малейшей заносчивости выслушивает он мои возражения. Возражал я неумело и сбивчиво, а он с большим благожелательством вникал в мою мысль и даже помогал мне сформулировать ее возможно точнее, чтобы тотчас же восстать против нее.

И вдруг спохватился: ведь поздно, а в приемной так много народу. И, открыв дверь, пригласил к себе в кабинет Мейерхольда, с которым спорил тогда по целым часам, нередко — с перерывами — до ночи.

Было решено, что я приду к нему через несколько дней, чтобы закончить наш спор. Кончился он тем, что я попросил Анатолия Васильевича написать для нового издания моей книжки об Уитмене хотя бы небольшую статью. Анатолий Васильевич согласился охотно, без всяких отговорок, не возражая против того, чтобы тут же, на соседних страницах, американский поэт трактовался не в том плане, в котором он трактуется им.

— Статья будет готова послезавтра.— Он посмотрел на часы.— Послезавтра... часам к четырем.

Я знал, что он работает чуть не по двадцати часов в сутки, часто забывая поесть, недосыпая по целым неделям. Заседания, приемы посетителей, лекции, выступления на митингах (не только в Ленинграде, но и в Кронштадте, и в Сестрорецке, и, помнится, где-то еще) поглощали все его время. Поэтому, придя к нему в назначенный час, я был

¹ Я напечатал незадолго до этого книжку о великом американском поэте Уолте Уитмене (1819—1892).

уверен, что статьи еще нет. Но из-за дверей его комнаты слышался стук машинки, и по тем знакомым словам, которые донеслись до меня («просияние духа», «вселенское зодчество», «своеобразная нота в единой симфонии»), я понял, что Анатолий Васильевич диктует именно эту статью. Диктовал он безостановочно и с такой быстротой, которая вызвала во мне профессиональную зависть¹.

Статья была бы закончена тотчас же, но в комнату то и дело входили все новые люди.

Один просил у Анатолия Васильевича охранную грамоту для своей коллекции почтовых открыток.

Другой объявлял, что пожертвует в будущую балетную школу составленный им гербарий, если комиссариат просвещения выдаст ему башмаки.

Третий вылепил бюст Робеспьера и требовал, чтобы бюст был немедленно отлит из бронзы и поставлен на площади перед Зимним дворцом. Когда же ему было сказано, что это никак невозможно, он моментально смирился и попросил струну для балалайки.

Особенно много приходило к Анатолию Васильевичу прожектеров, маньяков, пройдох, предлагавших фантастические планы наибоыстрейшего, мгновенного преобразования нищей России в страну неиссякаемого счастья. Один именитый старик настоятельно требовал, чтобы Луначарским был издан декрет о введении в России многоженства.

— На основании долгого личного опыта,— утверждал именитый старик,— могу заверить вас, что многоженство — лучшая форма брака, наиболее приспособленная к условиям нового быта. Введите многоженство, и вы осчастливите миллионы людей.

Этот безумный проект был разработан до мельчайших подробностей, и хотя, читая его, Анатолий Васильевич от души хохотал (он всегда живо чувствовал юмор вещей и событий), но автору проекта ответил с глубокой серьезностью, научно доказав ему всю неуместность подобных утопий в стране, вступающей на путь социализма.

Вообще он внимательно выслушивал каждого, и, если в словах посетителя ему чудилось хоть что-нибудь дельное, машинистке приходилось всякий раз вынимать из машинки недописанную статейку об Уитмене и молниеносно писать под диктовку Анатолия Васильевича административные распоряжения, предписания, приказы и просьбы, которые он в ту же минуту без дальнейших раздумий подписывал. Но чуть только эти люди отхлынут, машинистка снова вставляла страничку статьи, и Анатолий Васильевич продолжал диктовать с того самого слова, на котором прервали его, в том же ритме, с той же интонацией.

Машинистка жаловалась, что в последнее время ему только так и приходится писать для печати: с перерывами, во время которых большие теоретические, идейные темы вытесняются мелкожитейскими.

Но было видно, что для него это несколько не тягостно. В том-то и заключалось своеобразие его тогдашней работы (в 1918 году в Петрограде), что наряду с решением широких вопросов государственного — и даже мирового — масштаба, ему в то же время приходилось решать множество мельчайших проблем, вроде добывания мороженой клюквы для приюта престарелых актрис или изыскания портянок для детского дома на Охте.

Голодная и холодная жизнь разоренной войной страны повелительно требовала от Анатолия Васильевича этого постоянного совмещения великого с малым, и так как во всех, даже микроскопически мелких его заботах и хлопотах перед ним всегда стояла грандиозная цель — укрепить завоевания Октября, содействовать зарождению и росту новой, еще небывалой, советской культуры,— он охотно отдавал свои силы всяким повседневным мелочам, видя и в этом служение все той же благородной задаче.

У меня сохранились кое-какие записочки Анатолия Васильевича, относящиеся к этому времени. Каждая из них посвящена именно таким «малым делам», которые при всей своей малости должны были служить (и послужили!) монументальному строительству советской культуры.

¹ См. К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. С приложением статьи А. Луначарского. ПТГ. 1918. Статья перепечатана в книге: А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М. 1957, стр. 617—619.

Вот одна из них — чрезвычайно типичная. Слева напечатаны колонкой такие полновесные слова:

Российская Федеративная
Советская Республика

Народный Комиссариат
Имуществ Республики

Петербургское отделение

12 июня 1918

№ 1501

Петербург

Зимний дворец.

Под этими словами печать: «Российская республика. Рабочее и крестьянское правительство. Комиссариат по просвещению. Отдел искусства».

А справа написано следующее:

«Тов. Корнею Ивановичу Чуковскому.

Дорогой Товарищ.

Покорнейше прошу Вас, как лицо, хорошо знакомое со сказками тов. Пуни, дать мне в письменной форме Ваше компетентное заключение о том, насколько материал подходящ для государственного издательства.

Народный Комиссар

А. Луначарский».

Люди, не имеющие представления о том замечательном времени, могут, пожалуй, спросить, пристало ли одному из руководителей грозного революционного штаба интересоваться какими-то детскими сказочками, сочиненными безвестным юнцом. Между тем, как видно из текста записки, Анатолий Васильевич и здесь был так внимателен к мелкому ради осуществления своих огромных задач. Здесь, в этой беглой записке, если пристально взглянуть в нее, отразилась его жгучая забота о скорейшем создании двух немаловажных рычагов будущей советской культуры: первый из них — Госиздат, который существовал тогда только в зародыше и лишь через год появился на свет; а второй — литература для советских детей, тоже еще не родившаяся в те времена¹.

Теперь, когда госиздаты имеют у себя на счету тысячи первоклассных — порою классических — книг по всем отраслям техники, науки, искусства, а наша детская литература давно уже стала державой, завоевавшей себе мировое признание, нельзя без глубокого волнения смотреть на эту пожелтевшую бумажку, повествующую о тех временах, когда каждый из этих гигантов — и Госиздат и Детгиз — был еле заметной пылинкой, и первому наркому просвещения приходилось всячески лелеять ее.

Впрочем, и помимо государственных надобностей, Анатолий Васильевич, как натура художественная, мог вполне бескорыстно увлечься и сказкой, и песней, и драмой, и звонким стишком для детей. Каждый самый непрехотливый живописный этюд, каждое стихотворение, каждую музыкальную пьесу, если они были талантливо, он встречал горячо и взволнованно, с чувством сердечной благодарности к автору. Я видел, как слушал он Блока (когда Александр Александрович читал свою поэму «Возмездие»), как слушал Маяковского, как слушал какого-то неведомого мне драматурга, написавшего историческую драму в стихах, — так слушают поэтов лишь поэты. Я любил наблюдать его в такие минуты. Даже в повороте его головы, даже в том, как он вдруг молодеет, выпрямляет сутулую спину, нервно вжимал тонкие пальцы в борта пиджака и влюбленно смотрел на читающего, чувствовался артистический склад его личности.

¹ Постановление ВЦИКа «О государственном издательстве» было принято 19 мая 1919 года. Кстати, об Иване Альбертовиче Пуни, о сказках которого запрашивает меня в своем письме Луначарский. То был художник, один из приятелей В. Маяковского. Одну из его сказок еще в 1917 году я напечатал в составленном мною альманахе «Елка» под редакцией Горького. Помнится, сказки нравились Горькому «лица необщим выраженьем», как отзывался он о них.

Больше всякого другого искусства — больше живописи, больше музыки, больше поэзии — Луначарский любил театр. В театре он никогда не бывал равнодушен: то умиллялся, то негодовал, то неистово радовался и, как бы ни был занят, любой, даже слабый, спектакль досматривал всегда до конца.

После того как знаменитый артист оперетты Монахов под влиянием Горького, Андреевой и Блока перешел на драматические роли и проникновенно, с большой психологической тонкостью сыграл (в девятнадцатом году в Петрограде) короля Филиппа в шиллеровской трагедии «Дон Карлос» и еще не успел смыть с себя грим, Луначарский бросился к нему за кулисы и поцеловал его в измазанную белилами щеку. Монахов, обычно холодноватый, спокойный и сдержанный, был чрезвычайно смущен и растроган таким порывистым приветствием наркома.

Если бы нужен был наиболее выразительный и колоритный пример того юношеского энтузиазма, с каким экспансивный Анатолий Васильевич относился к театру, достаточно было бы привести позднейшую его записку к смертельно больному Вахтангову, написанную под живым впечатлением первого спектакля «Принцессы Турандот», поставленного этим замечательным мастером сцены.

«Дорогой, дорогой Евгений Багратионович! Странно я сейчас себя чувствую. В душе разбужен Вами такой безоблачный, легкокрылый, певучий праздник... и рядом с ним я узнал, что Вы больны. Выздоровливайте, милый, талантливый, богатый. Ваше дарование так разнообразно, так поэтично, так глубоко, что нельзя не любить Вас, не гордиться Вами. Все Ваши спектакли, которые я видел, многообещающи и волнующи. Дайте мне немного подумать. Об Вас не хочется писать наскоро. Но напишу «Вахтангов». Не этюд, конечно, а впечатления от всего, что Вы мне, широко даря публику, подарили. Выздоровливайте. Крепко жму руку. Поздравляю с успехом. Жду от Вас большого, исключительного. Ваш Луначарский»¹.

Нужно быть безоглядно влюбленным в театр, чтобы писать тому или иному работнику сцены такие юношески пылкие письма.

К сожалению, в тот петроградский период его жизни и деятельности, которому главным образом посвящен настоящий набросок, я был очень далек от театра — и потому (говоря по-старинному) не имею возможности извлечь из запаса моей памяти что-нибудь такое, что могло бы внести хоть какой-нибудь неведомый факт в многозначительную и очень актуальную тему «Луначарский и театр».

2

Луначарский всегда стремился быть участливым и заботливым к людям искусства и творческой мысли. Очень точно сказал он об этом в статье, посвященной памяти В. В. Маяковского. Заговорив о гибели поэта, он сделал такое признание:

«Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. Не все мы это понимаем, и не все мы понимали, что Маяковский нуждается в огромной ласке...»²

Эту «ласку» он оказывал Маяковскому чуть ли не с первых Октябрьских дней: был его глашатаем, заступником, истолкователем, другом. В восемнадцатом году я видел их вместе не раз. На поверхностный взгляд иному, пожалуй, могло показаться, будто Маяковский несколько не нуждается в «ласке»: держался он с юношеским задором, весьма независимо, и нужна была вся чуткость Луначарского, чтобы подметить за этой бравадой «большую жажду нежности и любви, большую жажду чрезвычайно интимного участия... жажду быть понятым, иногда утешенным, приласканным...». «Под этой металлической броней, в которой отражался целый мир, билось,— говорил Луначарский,— не только горячее, не только нежное, но хрупкое и легко поддающееся ранению сердце»³.

¹ Газета «Вахтанговец», 20 февраля 1937 года. Перепечатано в книге: А. В. Луначарский. О театре и драматургии. М. 1958, т. 1, стр. 791.

² «Вл. Маяковский — новатор», см. книгу: А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М. 1957, стр. 405.

³ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М. 1957, стр. 405.

Большая заслуга Луначарского именно в том, что он по мере сил охранял для советской культуры это «хрупкое» и легко ранимое сердце.

Отношения поэта и наркома друг к другу были свободны, принципиальны и четки и, казалось бы, исключали (с обеих сторон) какую бы то ни было нежность. Маяковский, например, никогда не скрывал от Анатолия Васильевича, что, любя его как блестящего критика, он очень невысокого мнения о написанных им драмах и стихах. Позднее он высказал это свое мнение публично. В двадцатом году в Москве в Доме печати под председательством Кержженцева состоялся диспут об этих вещах Луначарского, превратившийся в беспощадное судьище. Выступавшие, в том числе Маяковский, дружно, один за другим целых четыре часа осуждали и бранили его пьесы.

Анатолий Васильевич «сидел на эстраде и в течение четырех часов слушал совершенно уничтожающие обвинения по адресу своих пьес...— вспоминал впоследствии Михаил Кольцов.— Луначарский слушал все это молча, и трудно было себе представить, что может он возразить на такой Монблан обвинений. И вот уже около полуночи... Анатолий Васильевич взял слово. Что же произошло? Он говорил два с половиной часа, и никто не ушел из зала, никто не шелкнулся. В совершенно изумительной речи он защищал свои произведения, громил своих противников, каждого в одиночку и всех вместе.

Кончилось тем, что весь зал, включая и свирепых оппонентов Луначарского, устроил ему около трех часов ночи такой триумф, какого Дом печати не знал никогда»¹.

Я не был на этом достопамятном диспуте, но не забуду, как одушевленно рассказывал мне о нем Маяковский под свежим впечатлением в Ленинграде.

— Луначарский говорил, как бог,— таковы были подлинны слова Маяковского.— Луначарский в эту ночь был гениален.

И вот после этой ночи Анатолий Васильевич вышел на улицу вместе с Михаилом Кольцовым.

«Мне интересно было узнать,— вспоминает Кольцов,— что же у него осталось от этого утомительного сражения. Но он сказал только: «Вы заметили, что Маяковский как-то грустен? Не знаете, что с ним такое?..» И озабоченно добавил: «Надо заехать к нему, подбодрить»². Между тем Маяковский, увлеченный полемикой, высказывался о драматургии Луначарского особенно резко.

Но это было позднее, когда Анатолий Васильевич переехал в Москву, а тогда, в восемнадцатом году в Петрограде, мне довелось слышать его публичные выступления всего лишь три-четыре раза, не больше, но и этого было довольно, чтобы понять и почувствовать, каким огромным обладал он талантом пропагандиста, оратора, мастера импровизированной речи. Больше, чем к кому-нибудь другому, было применимо к нему поэтическое звание: златоуст. Все его речи, которые приходилось мне слушать (и в Ленинграде, и позднее в Москве) были в полном смысле этого слова экспромтами. Помню, ранней весной в восемнадцатом он собрался было ехать на Петроградскую сторону — к Горькому. Мне тоже нужно было в те края, и я напросился в попутчики. Невдалеке от Троицкого моста в машину вскочил какой-то кудлатый седой человек без шапки, в полувоенной тужурке и, сильно жестикулируя, обратился к Луначарскому с просьбой, чтобы тот сию же минуту повернул на Васильевский по экстренно важному делу. Машина мгновенно изменила маршрут, человек сел рядом с Луначарским, и через четверть часа мы уже взбегали по трапу на большую баржу, пришвартованную к невскому берегу. Баржа была набита молодыми людьми, которые, кажется, отправлялись на фронт. Они были чем-то обижены и встретили Луначарского весьма неприязненно. Сначала их урезонивал седой и кудлатый, но из его уст вылетали одни лишь митинговые штампы, которые уже набили оскомину. Его убогая казенная речь была прослушана с унылым равнодушием. Можно было подумать, что он затем и отбарабанил ее, чтобы задушевные слова Луначарского прозвучали еще задушевнее.

Самый голос Анатолия Васильевича, богатый оттенками, лирический, эмоциональный и гибкий, сразу же расположил к нему слушателей. А то, о чем заговорил этот голос, было для них полной неожиданностью: о весне, о сирени, о звездах, о белых

¹ М. Кольцов. Литературные портреты. Издательство «Правда», М. 1956, стр. 21.

² Там же.

петербургских ночах, о поэзии Пушкина, о музыке Глинки. То был поэтический гимн во славу очарований и радостей жизни. И вдруг этот мягкий голос — даже как будто слабый и женственный — стал непреклонно суров. Луначарский заговорил о врагах, которые жаждут отнять у трудящихся и белые ночи, и звезды, и весну, и сирень, и бессмертные красоты искусства.

Думаю, что, если бы записать эту речь, она, может быть, показалась бы не такой замечательной, но в то весеннее утро перед молодыми людьми, жаждавшими искреннего, от сердца идущего слова, она прозвучала как напутствие друга. Даже те, кто не понял иных ее фраз, ощутили ее задушевность, и вскоре от их мрачного «угрюмства» почти не осталось следа. Не то чтобы они вдруг заплодировали Анатолию Васильевичу или, мгновенно воспрянув, бросились к нему с выражениями восторга, — никакой аффектации здесь не было, но чувствовалось, что в их настроении произошел перелом. Кудлатый человек ликовал. Он проводил Анатолия Васильевича до самой машины, выражая ему жаркую признательность. Я тоже был под обаянием речи и, очутившись в машине, не скрыл от него своего восхищения. Но Луначарский тотчас же заговорил о другом. Видно было, что, отдав своей речи всю душу, он думает уже не о ней, но об очередных своих делах и заботах, которых у него было особенно много в те дни.

— На Кронверский! — сказал он шоферу.

На Кронверском жил Горький, и Анатолий Васильевич в то время ездил к нему особенно часто, иногда случалось — каждый день. Теперь, в машине, он вынул из портфеля бумаги — какие-то протоколы, проекты, докладные записки — и со свойственной ему одному быстротой стал внимательно перечитывать их, готовясь к предстоящему совещанию с Горьким.

Но не успели мы доехать до Кронверского, как пришлось остановиться опять. Так как автомобили в то время были в городе величайшей редкостью, многие издали узнавали машину Анатолия Васильевича и, зная ее обычный маршрут, перехватывали ее по пути. На этот раз своей независимой хозяйской походкой к нему подошли увешанные оружием матросы-балтийцы, из которых один был изумительно похож на Есенина. Поговорив с наркомом минут пять о каких-то неполадках в Петропавловской крепости, они взяли с него обещание, что он сегодня же придет туда. А потом машину перехватили пожилые рабочие с юности знакомого мне петербургского типа — худые, степенные, молчаливые, строгие — и пригласили его на открытие клуба печатников. Он поглядел в свою книжку и обещал им, что непременно придет.

Помнится, я тогда же заметил то, что впоследствии (особенно в Москве) замечал много раз: что этот знаток Боттичелли, ценитель Рихарда Вагнера, истолкователь Ибсена, Метерлинка, Марселя Пруста, Пиранделло чувствует себя среди рядовых пролетариев как рыба в воде, что эти люди для него и вправду свои и что вся его работа и все его знания для них...

3

Нужно только вспомнить, что такое был восемнадцатый год. Гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный саботаж так называемых мастеров — и подмастерьев! — культуры.

Всякого, кто соглашался работать с «Советами», объявляли предателем и подвергали бойкоту. Чиновники всех ведомств — в том числе продовольственники, а также почтово-телеграфные, банковские — тысячами покинули свои департаменты, усиливая катастрофический хаос в хозяйственной жизни страны. Педагоги отказывались учить детвору, актеры не желали играть, писатели чурались той комнаты в Смольном, где находилось тогда «Издательство рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». «Все, кого Революция Труда низвергла, — вспоминал Луначарский о той первоначальной эпохе, — шипели и готовили месть. Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал, — отдали свое сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее желанному «порядку»¹. Поэтому Анатолий Васильевич с величайшей радостью, шумно и друже-

¹ А. В. Луначарский, Статьи о литературе, М. 1957, стр. 300.

ственно встречал тех интеллигентов, очень редких в ту раннюю пору, которые считали своим долгом трудиться при новом режиме. В этом заключалась одна из главнейших политических задач Луначарского: в кратчайший срок привлечь наиболее жизнеспособные силы старой интеллигенции, чтобы она, преодолев кастовые свои предрассудки, стала служить новому строю не за страх, а за совесть. Анатолий Васильевич был словно создан для блистательного выполнения этой задачи, ибо он хорошо понимал, что построение новой культуры возможно лишь на фундаменте старой, и сам тысячами нитей был связан с этой старой культурой, знал и благоговейно любил бессмертные ее достижения.

Намечая разработку планов социалистического строительства, В. И. Ленин писал в марте—апреле 1918 года:

«...привлечение к работе буржуазной интеллигенции является теперь очередной, назревшей и необходимой задачей дня»¹.

И позднее — в 1920 году:

«...марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»².

Читая эти ленинские слова, я всегда вспоминаю Анатолия Васильевича, который наряду с Горьким в тот ранний период наиболее ревностно осуществлял их на деле.

В его лице Советская власть с первых же дней своего бытия предстала перед нами, интеллигентами дореволюционной формации, в самом обаятельном своем воплощении. Нам не могли не imponировать начитанность Анатолия Васильевича, его образованность, его доскональное знание всех путей и перепутей мирового искусства, его осведомленность в художественных и философских вопросах.

Нельзя было представить себе другого человека, который был бы так чудесно вооружен для исторической роли, какую пришлось ему в те годы играть. Роль была трудная и требовала именно тех дарований, которыми он был наделен с такой щедростью. Здесь был нужен его многосторонний талант, его темперамент и такт — и вдобавок была необходима его эрудиция.

Даже старики интеллигенты, встретившие Луначарского на первых порах недоверчиво, и те в конце концов полюбили его.

Помню, к нему в кабинет вошли пять или шесть пожилых архитекторов, в ту пору еще бездействовавших из-за послевоенной разрухи. Архитекторы принесли с собой изготовленные ими проекты и планы каких-то будущих, довольно причудливых зданий. Держались они настороженно, были высокомерны и хмуры. Но он стал так профессионально критиковать их работы, так часто и метко ссылаясь на памятники старинного зодчества, которые ему довелось изучать в Италии, в Германии, во Франции, что архитекторы, среди которых было двое маститых, слушали его сперва с удивлением, а потом, когда окончательно выяснилось, что он не хуже их понимает самую специфику их ремесла, мало-помалу заулыбались, размякли, охотно подчинились его приговору, и было видно, что в это короткое время он вполне завоевал их доверие.

Мне вспоминается один разговор об Анатолии Васильевиче в горьковской «Всемирной литературе» на широкой беломраморной лестнице, которая вела в наше молодое издательство.

По лестнице вместе с другими сотрудниками поднимались два замечательных старца. Один из них — на двух костыльках, изнуренный и хилый — подолгу останавливался на каждой ступеньке, другой — легкий, как юноша, сухопарый и приткий — замедлял свои быстрые шаги ради первого.

Первым был Анатолий Федорович Кони, знаменитый юрист, почетный академик, сенатор, переживший на своем веку четыре царствования. Он говорил, что этот нарком рабоче-крестьянского государства — лучший из министров просвещения, каких он когда-либо видел.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 187—188.

² Там же, т. 31, стр. 292.

Другой — Сергей Федорович Ольденбург, ученый-востоковед, знаток Индии, бывший непререкаемый секретарь Академии наук, горячо согласился с Кони и тут же прибавил, что Анатолию Васильевичу нельзя не удивляться как чуду, ибо по какой-то парадоксальной причине просвещением у нас исстари ведали самые непросвещенные люди, невежество которых было равно их апломбу. И знаменательно, говорил Ольденбург, что именно народная власть выдвинула на этот пост человека такой высокой и разносторонней культуры.

Здесь будет уместно припомнить, как отзывался о Луначарском И. Е. Репин, отрезанный тогда от России. Я как-то — уже в двадцатых годах — попросил Анатолия Васильевича послать Репину что-нибудь из своих сочинений. Репин ознакомился с ними, и они полюбилися ему.

«У него, — писал Репин в одном из писем ко мне, — очень много интересного в «Критических этюдах», особенно о Горьком... и большая смелость и оригинальность в мыслях...»

Возмущаясь тем, что зарубежная пресса злобно глумится над Анатолием Васильевичем, Репин воскликнул в позднейшем письме:

«Позвольте, да за что же? Ведь он же образованный литератор, как лучшие, и скромн, и порядочен, как [бывают] только выдающиеся деятели».

И тут же характерная приписка:

«Луначарского я до сих пор еще даже портрета видеть не сподобился» (письма от 8 февраля и 29 апреля 1927 года).

Этим знаменитый художник выразил свою душевную потребность, присущую ему как портретисту: непременно увидеть лицо человека, который почему-либо завладел его мыслями. Я и прежде нередко слышал от него, что книга любого писателя лишь тогда становится по-настоящему понятной ему, когда он увидит портрет ее автора.

...В голосе Анатолия Васильевича никогда не слышалось командных нот. Его авторитет коренился в его образованности, в пылком увлечении искусством, в его искреннем, ненапускном уважении к людям ума и таланта. Нельзя было не восхищаться его изощренной способностью разговаривать и с Бенуа, и с Добужинским, и с Блоком, и (позднее) с Вячеславом Ивановым — даже тогда, когда он бурно полемизировал с ними, ополчаясь против самых первооснов их эстетики. И хотя он был идейным врагом символизма, для него это вовсе не значило, что он должен ненавидеть самих символистов, называть их чуть ли не мошенниками и огулом отвергать те чуждые ему литературные ценности, которые были созданы ими.

«Десятки раз, — говорил он, например, в одной из статей того давнего времени, — я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрастным в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен итти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволять одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом»¹.

Подобные заявления были продиктованы Анатолию Васильевичу самыми лучшими чувствами, но, к сожалению, на практике такая политика абсолютной терпимости ко всем направлениям искусства нередко влекла за собою роковые последствия, нежелательные для самого Анатолия Васильевича. Старики петербуржцы едва ли забыли те причудливо странные бюсты на длинных столбах-постаменты, которые нежданно-негаданно выросли среди городских площадей. Судя по подписям, эти треугольники и усеченные кубы притязали на то, чтобы изображать Добролюбова, Некрасова, Чернышевского, Жореса, Марата. Очевидно, теорией Анатолия Васильевича о невмешательстве власти в «отдельные направления художественной жизни» воспользовалась группа дилетантов, которая, прикрывая свою бесталанность фирмой модного в то время кубизма, навязала отделу искусств всю эту партию своих несуразных изделий.

Петербургские обыватели вообразили, что при помощи подобной скульптуры Анатолий Васильевич насаждает в советском искусстве кубизм. Иным даже почудилось,

¹ А. В. Луначарский. Статьи об искусстве. М.— Л. 1941, стр. 466.

будто таков официально признанный стиль, которому партия отдает предпочтение перед всеми другими.

Между тем не прошло и месяца, как сам Луначарский сурово осудил эти памятники. Мой друг А. Н. Тихонов (Серебров) тогда же рассказывал мне, что Анатолий Васильевич, подъехав вместе с ним к одной из этих нелепых фигур, с неожиданным отвращением воскликнул:

— Какая мерзятинка!

И тут же не без удовольствия отметил, что фигура уже начинает разваливаться.

— Вся надежда,— сказал ему Тихонов,— на петербургские дожди и туманы. Авось к весне от этих глиняных идолов уже ничего не останется.

— Вот было бы отлично! — сказал Анатолий Васильевич.

Таким образом жизнь дала ему поучительный предметный урок.

4

Как известно, у Луначарского бывали ошибки и прежде. Крупнейшая из них — «богостроительство», от которого он, как опять-таки всем известно, начисто отрекся под влиянием В. И. Ленина.

Но церковники не забывали его старых грехов, и впоследствии, уже в советскую пору, митрополит Александр Введенский на одном из публичных диспутов с Анатолием Васильевичем ловко использовал его старую книгу, которую сам автор давно осудил. Прочитав из нее несколько «богоискательских» строк, Введенский обратился к аудитории с вопросом:

— Знаете ли вы, кто написал эти благочестивые строки?

И, выдержав эффектную паузу, ответил:

— Нарком Луначарский.

Луначарский возразил ему не сразу. Он долго говорил о другом и, лишь сойдя с трибуны и шагнув по направлению к выходу, вдруг словно спохватился:

— Ах, да. Я совсем позабыл ответить моему оппоненту... вот о тех строках, которые он сейчас процитировал. Строки эти действительно были написаны мною. Помню, прочтя их, Владимир Ильич сказал: «Как вам не совестно, Анатолий Васильевич, писать такую чушь! Ведь за нее всякий поганый попик схватится».

И ушел под ураган аплодисментов.

Самая сильная речь Луначарского, какую я когда-либо слышал, была произнесена им на улице перед неорганизованной и пестрой толпой. В Таврическом дворце в этот день состоялся митинг «Интеллигенция и революция» под председательством Горького Я опоздал, и у меня не было ни малейшей возможности протиснуться сквозь несметные толпы; окружившие Таврический дворец. Вся улица была запружена народом. Люди стекались сюда с самых далеких концов Ленинграда, привлеченные волнующей темой. Толпа была настроена не то чтобы враждебно, но многие были сумрачны, иные брюзжали, а кое-где раздавались недружелюбные выкрики. Люди густо сидели на садовой сгаде; кто помоложе взобрались на деревья. Когда после митинга на ступеньках дворца появился окруженный друзьями больной и усталый Горький, а вслед за ним Луначарский, заботливо поднимающий ему воротник, чтобы он не простудился, выйдя из душного зала, мы подумали, что все уже кончилось и что пора уходить.

Вдруг Луначарский остановился, поглядел на толпу и неожиданно обратился к ней с речью. Какая неукротимая душевная сила! Ведь только что там, во дворце, он спорил, убеждал, воевал, отражал нападения, и этот словесный бой длился часа два или больше, и вот сразу же без всякой передышки выступает на импровизированном митинге перед многотысячной возбужденной толпой. Помню, я тогда же почувствовал, что, как ни хороша его речь, он сам в этот день убедительнее всяких речей — такой он стоял перед нами победоносный, счастливый, талантливый, непоколебимо уверенный в своей правоте.

И снова я сделался свидетелем чуда: озлобленные физиономии стушевались куда-то, на многих лицах засветилось сочувствие, и мне стало ясно, что этим днем завершается первый, подготовительный и самый трудный период борьбы новой государ-

ственной власти за советизацию полувраждебных и колеблющихся интеллигентских кругов и что начинается новый период — практического налаживания совместной работы.

5

Особенно запомнилась мне встреча с Анатолием Васильевичем, осуществившая одну мою мечту, которую я считал в дореволюционные годы несбыточной. Это было в том же восемнадцатом, в самых первых числах января. Я пришел к нему и приволок чемодан, наполненный бесценными сокровищами — целым ворохом старых бумаг, исписанных рукою Некрасова. Эти некрасовские рукописи были в то время никому не известны и никогда не печатались в собраниях сочинений поэта. Я разложил их перед Анатолием Васильевичем на столе, на табуретах, на стульях, и мне было весело видеть, с каким энтузиазмом набросился он на эти бумаги. Трепетно, как святыню, брал каждый листок, стараясь близорукими своими глазами разобрать полустертые строки, написанные неразборчивым некрасовским почерком. Здесь была поэма «Пир — на весь мир», наиболее свободная от вмешательства царской цензуры, был бесцензурный вариант «Русских женщин», освещающий всю эту поэму по-новому, было и многое множество мелких стихов, где революционные убеждения Некрасова раскрывались с небывалой полнотой и отчетливостью.

— Вот эту тетрадку,— говорил я Анатолию Васильевичу,— я разыскал в Павловске, у родной дочери Авдотьи Панаевой. А вот этот листочек — в Саратове, у вдовы поэта Зинаиды Некрасовой. Этот (бесцензурная копия «Саши») — у Николая Федоровича Анненского. А вот эту грудку — самую большую и ценную — предоставил мне академик Кони, бывший душеприказчиком сестры поэта.

Анатолий Васильевич достал откуда-то свой «походный», как он выразился, двухтомник Некрасова и, перелистывая его, стал задавать мне вопросы по поводу разных стихов, особенно сильно искаженных цензурой.

— Как в действительности должна читаться вот эта строка? А какое четверостишие пропущено здесь?

При этом я убедился, что ему превосходно известны не только «центральные» и «парадные» произведения Некрасова, цитируемые обычно на каждом шагу, но и такие, которые всегда остаются в тени, не примеченные ни эстрадными чтецами, ни критиками. Особенно заинтересовал его «Пир — на весь мир». Он радовался каждой новооткрытой строке. И в конце концов тут же объявил о своем непременном намерении возможно скорее издать для советских читателей нового, советского Некрасова, освобожденного от царской цензуры.

Эта мысль захватила его. У меня хранятся протоколы заседаний «Комиссии по изданию русских классиков при Комиссариате народного просвещения», из которых я вижу, что 24 и 31 января 1918 года вопрос об издании Некрасова всесторонне обсуждался Луначарским совместно с Александром Блоком, Александром Бенуа, Натаном Альтманом, П. И. Лебедевым-Пслянским и П. М. Керженцевым.

Редактировать новое издание было поручено мне. Для меня это было великой радостью, и с той поры до настоящего времени я продолжаю работу, начатую тогда по инициативе Анатолия Васильевича. Благодаря ему мне была дана возможность трудиться над устранением тех увечий и ран, которые нанесены произведениям моего любимого автора охранителями старого режима. Советуясь с Анатолием Васильевичем в те далекие годы по труднейшим вопросам текстологии Некрасова, я всякий раз убеждался, как глубоко он знает эпоху поэта, его жизнь и творчество. Но когда через несколько лет я обратился к Анатолию Васильевичу с просьбой дать для нового издания стихотворений Некрасова вступительный очерк, он ответил мне скромнейшим письмом, в котором, между прочим, говорил:

«Я решительно должен отклонить от себя честь написать к нему (новому изданию.— К. Ч.) предисловие... Я не считаю себя достаточным знатоком Некрасова, чтобы к такой важности изданию приложить свою руку. Очень благодарю Вас за мысль об этом и за предложение, но согласиться по этим обстоятельствам не могу».

Терпим и снисходителен был Анатолий Васильевич, когда дело касалось его самого, его личности: карикатуристы могли невозбранно изображать его в своих «дружеских шаржах», поэтам никто не мешал колоть его своими эпиграммами. Он первый готов был смеяться, если находил в этих шутках смешное.

Но сильно ошибся бы тот, кто из-за его благодушных, деликатных и учтивых манер забыл бы, что основную черту его духовного склада составляет воинственность, воля к борьбе.

Помню, на каком-то вечере (чуть ли не на юбилее Тургенева), в переполненной артистической комнате старуха романистка Екатерина Леткова (Султанова), хранительница традиций народничества семидесятых годов, обратилась к Луначарскому с кратким приветствием, смысл которого сводился к словам: «Хоть вы и большевик, но вы н а ш!»

Дело происходило за чайным столом. «Комплимент» подхватили другие и стали наперебой уверять Анатолия Васильевича, что все они считают его своим «родным комиссаром» и очень счастливы, что в нем нет «ничего комиссарского».

Похвала эта покорила Анатолия Васильевича, но он сдержался и ответил с галантной иронией, что, право же, он не заслужил такой «чести».

Хвалители не унимались и продолжали свое. Анатолий Васильевич нахмурился, встал и произнес без своей обычной улыбки:

Нет, я не с вами. Своим напрасно
И лицемерно меня зовете.

После чего очень отчетливо пояснил окружающим, какая бездна лежит между ним и теми, кто вчера еще верой и правдой служил прогнившему строю. Окружающие глядели на него с удивлением. Они даже не подозревали, что в голосе у Анатолия Васильевича есть такие резкие ноты.

Как-то в Зимнем дворце профессор консерватории Б., неплохой музыкант, но изрядный тупица, выйдя с сияющим лицом из кабинета Анатолия Васильевича, сказал Тихонову-Сереброву, сидевшему рядом со мной в приемной, что Луначарский (как он убедился сейчас) — душа нараспашку, богема, добряк, податливый и мягкий, как воск.

— Воск? — ухмыльнулся Тихонов, знавший Луначарского с давних времен. — Не вернее ли будет: кремень?

Таково же, помню, было и мое ощущение: кремень, может быть и покрытый восковой оболочкой, но все же несокрушимый и крепкий.

Очень скоро в этом убедились даже те несмышленные, кто в первое время был готов принять «милейшего Анатолия Васильевича» за простоватого добряка, либерала, на уступчивость и кротость которого они возлагали немало надежд.

Надеждам этим не суждено было сбыться: к началу двадцатых годов, когда Луначарский переехал в Москву, «кремень» обнаружился в нем еще более явственно. О твердости этого «кремня» — пусть и в восковой оболочке, — о его боевой сокрушительности свидетельствуют лучше всего многочисленные статьи Луначарского, написанные им в те самые годы, когда он возглавлял наркомат просвещения (а он всю жизнь был неутомимо плодовитым писателем, работавшим в разнообразнейших жанрах: и историк, и драматург, и философ, и публицист, и популяризатор науки, и критик, и поэт, и переводчик). В последнее время многие его статьи переизданы вновь в виде любовно и тщательно составленных сборников¹.

¹ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. Гослитиздат. М. 1957. Составление, подготовка текста и примечания И. Саца.

А. В. Луначарский. Статьи о советской литературе. Учпедгиз. М. 1958. Сборник составил И. Терехов.

А. В. Луначарский. О театре и драматургии. Избранные статьи в 2 томах. «Искусство». М. 1958. Составление, редакция, вступительная статья и комментарии Ал. Дейча.

Замечательно, что в этих талантливых (хотя и очень неровных) статьях нет ни единой страницы, где появилась бы хоть тень той уступчивой кротости, той мягко-сердечности, той либеральной «гуманности», которую на первых порах так охотно приписывали ему интеллигенты старорежимной эпохи.

Напротив, во всех своих тогдашних статьях он обличал и преследовал эту «гуманность» как величайший порок, в ком бы ни заметил ее, даже в тех, кого он цтил и любил.

Сколько восторженных страниц, например, было написано им для того, чтобы возвеличить Ромена Роллана. И все же, когда этот столь восхваляемый им и близкий по духу писатель выступил с либерально-пацифистской трагедией «Игра Любви и Смерти», где во имя смиренной любви к человечеству был осужден революционный террор, Луначарский в горячей статье объявил своего любимого автора либеральным угодником трусливых мещан, рыцарем тупой обывательщины, врагом подлинного раскрепощения масс.

Примирился Луначарский с Роменом Ролланом лишь тогда, когда знаменитый писатель в процессе духовного роста преодолел свой либеральный пацифизм.

Таким же отъявленным врагом либеральных «гуманств» выступил Анатолий Васильевич в своих восторженных статьях о Короленко.

Всюду из-под мягкого воска проступает в его книгах несокрушимый кремль. Такова, например, хвалебная и в то же время злая статья о «Чернокожей девушке» Бернарда Шоу. Луначарский относится к английскому драматургу с большим пиететом, хоть и не жалуется его фабианских иллюзий. Называет его «остроумнейшим в Европе писателем», «палладином бодрого и разящего смеха», приравнивает его к Вольтеру и к Гейне, и после всех этих полуиронических, полувосторженных слов говорит напрямик, «без изгиба», что к своим чистым помыслам и благородным порывам Бернад Шоу пришеивает «грязную воду»; что, если снять с него вольтеровскую маску, под нею легко обнаружить «респектабельно-причесанную голову отнюдь не до конца храброго мелкобуржуазного интеллигента»¹.

Если даже к своим любимейшим авторам Луначарский становился так строг и взыскателен, едва только обнаруживал в их творчестве хоть малейший уклон к мелкобуржуазным «гуманствам», можно представить себе, как ненавидел он эти «гуманства», как восставал против них, когда встречал их в чистом, беспримесном виде у писателей «овечьего и в то же время волчьего типа», к которым он причислял, например, Михаила Булгакова.

В этой борьбе Луначарский не знал никаких компромиссов: без колебаний отбрасывал то, что не созвучно наступившей эпохе, и, грудью защищая интересы народа в искусстве, с неослабной энергией искоренял и в литературе, и в театре, и в музыке враждебные народу тенденции.

Но — и это чрезвычайно характерно — он во все свои приговоры чуть не в каждой статье вводил неизбежные но.

Ибо, анализируя то или иное произведение искусства, он был далек от однобокого отношения к нему и никогда не боялся, даже отвергая какой-нибудь литературный или драматургический опус, тут же, без всяких оговорок, признать его высокие формальные качества. Говоря о плюсах, не скрывал от читателя минусов и, прежде чем сказать какому-нибудь произведению да, обычно предварял это да множеством разнообразнейших нет.

Причина такого построения статей совершенно ясна. Ведь в подавляющем своем большинстве статьи эти были написаны в те первоначальные годы, когда в Москве и в Ленинграде возникли горячие головы, которые визгливо кричали, будто для создания новой, советской культуры нужно похерить решительно все, созданное старой культурой. Бредни эти были тем более опасны, что при помощи эффектных демагогических лозунгов ими удалось соблазнить некоторые круги молодежи, о чем свидетельствуют хотя бы такие организации, как Пролеткульт и ЛЕФ.

Во всех тогдашних статьях и речах Луначарского чувствуется его нетерпеливая жажда приобщить новую, советскую массу читателей к величайшим достижениям куль-

¹ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М. 1957, стр. 685—693.

туры минувших времен. Отсюда его жаркие статьи о Данте, о Лопе де Вега, о Гёте, о Гейне, о Вагнере, о Сервантесе, о Пушкине, об Александре Островском, о Достоевском, о Петефи, об Уитмене.

Но, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы без критики, без оговорок принять целиком все наследие феодального и буржуазного мира. Почти во всех своих статьях и речах Луначарский неустанно учил критическому усвоению наследства. Отсюда его неизбежные но, отсюда его частые попытки привести читателя к восторженному, благоговейному да через целую чашу неприязненных нет.

Перечтите, например, те статьи Луначарского, в которых он стремился добиться, чтобы пролетарская культура впитала такие, казалось бы, чуждые ей порождения былого искусства, как, например, бывшие императорские театры обеих столиц.

Большому театру, например, он счел необходимым напомнить, что для многих москвичей дореволюционной эпохи этот театр, в сущности, был «местом съезда роскошно одетых дам в сопровождении соответственных кавалеров, местом неглубокого волнения и пестрого зрелища»,— и тут же прибавил, что Владимир Ильич видел в этом оперно-балетном театре «отражение помещичьих, барских затей и вкусов»¹.

Большой театр как раз в эту пору торжественно справлял свой юбилей, но Луначарский отнюдь не по-юбилейному упрекнул его в том, что он слишком долго и слишком покорно подчинился и петербургским чиновникам, и московским купцам-меценатам, и сытой интеллигенции с эстетскими вкусами...

Лишь после того, как в лицо юбиляру были брошены все эти горькие истины, Луначарский подводит читателя к такому знаменательному но: «Но была у этого театра и живая публика — главным образом нищее студенчество Москвы, низовые, трудовые интеллигентские элементы. Вот эти, сидя на знаменитом райке, упивались тем волшебным сном, который открывался для них на сцене. Им Большой театр давал несколько часов настоящего упоения красотой, роскошью, захватывающими звуками, и они благодарили за это бешеными аплодисментами, готовые бросить на сцену, к ногам того или другого кумира не только порыжелую студенческую фуражку, но, кажется, и свое собственное сердце. Восторги демократической публики — лучшее сокровище, которым может похвастаться Большой театр, его-то и нужно приумножить и его можно приумножить» и т. д.².

По тому же методу написаны статьи Луначарского «Очерк истории Художественного театра», «К столетию Малого театра», «К столетию Александринского театра», «Для чего мы сохраняем Большой театр?» и другие. Таковы же его статьи о Грибоедове, о Достоевском, о Гауптмане. Всюду разговор начистоту, всюду плюсы, так сказать, сопрягаются с минусами и на глазах у читателя — вернее при участии читателя — ведут между собой борьбу, которая отнюдь не всегда приводит к победе плюсов,— как это видно хотя бы из его отрицательных отзывов о современных ему произведениях искусства. Когда, например, одна из студий Художественного театра поставила «Петербург» символиста Андрея Белого, Луначарский тотчас же напечатал статью, где твердо высказал этой постановке свое осуждение. Но осуждению предшествовали такие слова: «Петербург» представляет собою спектакль, тщательно обработанный талантливым театром на основе пьесы талантливого писателя. Роман Белого «Петербург», при всей своей вычурности, представляет собой крупнейшее художественное произведение» и т. д.

Назвав игру одного из исполнителей этой пьесы «гениальной», Луначарский «при всем при том» приводит читателя к выводу, что «так писать для русского театра, как написал свою пьесу Белый, больше нельзя... Я думаю, что театру совершенно необходимо отделаться от этого пристрастия к сюжетам туманным, к созданию настроений жутких, тревожных, неясных»³.

В этом органическом, живом сочетании отрицательных и положительных мнений не было двоедушия, двойственности. Луначарский был человек целустремленный и

¹ А. В. Луначарский. О театре и драматургии. М. 1957, т. 1, стр. 367.

² Там же, стр. 368.

³ Там же, М. 1958, т. 1, стр. 453—457.

цельный: в его да и нет не раздвоенность, не раздребезженность сознания, но тонко разработанный диалектический метод, ибо борьба противоположностей ведет у него к обусловленному ею недвусмысленному и четкому синтезу.

Конечно, кое-что в его книгах успело уже устареть. Сказалась тридцатилетняя давность. Например, статьи о Короленко, о Чехове¹, о личности и творчестве Блока требуют нынче больших коррективов. Но нельзя не удивляться тому, какими прочными в огромном своем большинстве оказались его тогдашние мнения, сколько верного, совсем справедливого сохранилось в его книгах до нашей эпохи и, главное, каким несокрушимым (и по сейчас актуальным) оказался его критический метод, с честью выдержавший испытание временем.

Этот метод, как мы видели, сложен: к похвалам он ведет сквозь хулу, к отрицаниям сквозь дифирамбы. Не мудрено, что эта внутренняя сложность ясных и четких статей Луначарского очень раздражала узколобых педантов, которые требовали от него, по выражению Шекспира, либо «домотканого да», либо «грубого суконного нёт» и, умственно ленивые, косные, не желали следовать за ним по многотрудным путям исторической живой диалектики.

7

Кроме сложности, было в статьях Луначарского еще одно характерное качество, которое я не умею иначе назвать, как изяществом мысли.

Этот термин я услышал из уст самого Анатолия Васильевича в одной из его давних речей — в восемнадцатом году в Петрограде. Речь была произнесена перед Зимним дворцом, вернее у садовой решетки дворца, при открытии памятника Радищеву. У решетки выстроились красногвардейцы, военные курсанты и около сотни рабочих. Речь Луначарского была незатейливая, очень простая и, как почти все его речи, понравилась мне не только своим содержанием, но и стройностью своей композиции, архитектурной симметричностью своих отдельных частей.

В ней он, между прочим, сказал — и с той поры это крепко запомнилось мне, — что сам Радищев, говоря о своем уме, выразился так: «изящный ум».

Помнится, мне тогда же подумалось, что хотя в старину слово «изящный» означало другое, но именно такой «изящный ум» в нынешнем понимании этого слова органически присущ Луначарскому. В его большом литературном наследии мало найдется скомканных, нестройных, громоздких вещей. Его лучшие речи, статьи и рецензии всегда привлекали меня, помимо других замечательных качеств, своей красотой, я бы даже сказал — элегантностью, если бы этому слову не был придан у нас какой-то фатоватый оттенок.

Между тем именно изящество статей Луначарского обусловило их популярность, ибо всякому, даже аморфному и тяжеловесному, материалу он умел в своих статьях придавать доходчивую, гармонически легкую форму. Кажется, если б он нарочно постарался, и то не мог бы писать неуклюже. Духовная грация — свидетельство внутренней силы — была так же неотделима от него, как его походка, его голос и почерк.

В этом отношении прямым его предком был такой недосягаемый мастер изящного стиля, как Писарев. Когда читаешь блистательные статьи Луначарского: «Фисско», «М. Е. Салтыков-Щедрин», «Вл. Маяковский — новатор», «Ревизор» Гоголя — Мейерхольда — и особенно широко обобщенные характеристики целых эпох, как, например, «Литература эпохи Возрождения», «Литература шестидесятых годов» — такие стройные, такие прозрачные, — невозможно не вспомнить о Писареве, о красоте его всепокояющего стиля.

Но эти статьи были написаны Луначарским позднее, уже в московский период его биографии. Коренной ленинградский житель, я видел его в Москве лишь наездами,

¹ Статья Луначарского о Чехове — одна из его слабейших статей — не вошла ни в один из его ныне изданных сборников.

хлопоча главным образом о «литературе для маленьких», которая в то время подверглась свирепым гонениям со стороны педологов, пролеткультистов, рапповцев и других псевдоблюстителей пролетарской культуры. Нужно ли говорить, что Луначарский наряду с Горьким не раз восставал против скудоумных ханжей, прикрывавших высокими лозунгами свое стремление отнять у советских ребят даже народные песни, былины, пословицы, сказки, не давая взамен ничего, кроме бездарных самоделковых виршей, до глубины души возмущавших Анатолия Васильевича.

Но эта тема выходит за пределы настоящего очерка, посвященного лишь первому (петроградскому) этапу многотрудной работы А. В. Луначарского в самые тяжелые месяцы становления Советской власти.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О. МИХАЙЛОВ

★

Трибуна братских литератур

(«Дружба народов», январь—сентябрь 1959 года)

На Третьем Всесоюзном съезде советских писателей прозвучали голоса посланцев братских литератур самых различных национальностей Советского Союза. Выступивший на съезде с яркой речью дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Наша советская литература тем и интересна, что она является многокрасочным, многоязычным, многозвучным явлением. В ней должен быть изображен невиданный до сих пор новый мир — новые люди, новые отношения, новая эпоха. На нашу долю выпало большое счастье... быть вдохновенными певцами дружбы, братства, патриотизма, интернационализма, лучшего, что есть на земле».

За сорокадвухлетний путь, какой проделало первое в мире социалистическое государство, невиданно расцвело искусство больших и малых национальностей, населяющих нашу страну. Сегодня невозможно представить себе советскую литературу без творчества Максима Рыльского и Павло Тычины, Янки Купалы и Якуба Коласа, Георгия Леонидзе и Дмитрия Гулиа, Аветика Исаакяна и Егише Чаренца, Мухтара Ауэзова и Вилиса Лациса, Мирзо Турсунзаде и Берды Кербалаева, Самеда Вургуну и Мусы Джалиля и еще многих и многих прозаиков, поэтов, драматургов.

Расцвет национальных культур, вызванный и вдохновленный Октябрем, по своей интенсивности не имеет равных в истории. Достаточно вспомнить, что до революции больше сорока народов нашей страны не имело письменности, в то время как ныне «всяк сущий в ней язык» обрел свое гражданство, полное равноправие в семье братских народов. Складывается единая

социалистическая культура, о которой писал, проследживая ее истоки в рабочем движении, В. И. Ленин: «Рабочие создают во всем мире свою, интернациональную культуру... Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни или национального обособления, рабочие противопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения человека человеком»¹. Эта культура наследует все лучшее, все передовое, прогрессивное от каждой национальной культуры, берет, по словам В. И. Ленина, «из каждой национальной культуры исключительно ее последовательно демократические и социалистические элементы»². Так, интернационализм предполагает наиболее полное выявление национальных культур, развивающихся в братском содружестве народов.

Идеи дружбы народов, всемерного развития братских культур прочно вошли в нашу жизнь, жизнь строителей невиданного в истории человеческого общества. Тому подтверждение и декады национальных искусств в Москве, и недели братских литератур, проводившиеся в ряде республик — на Украине, в Белоруссии, в Литве, и проходившее не так давно широкое обсуждение журналов Средней Азии и Казахстана и многое, многое другое.

Многообразна и насыщена жизнь больших и малых народов Советского Союза. И дать о ней представление, рассказать о достижениях семьи свободных национальностей призван ежемесячный литературно-художественный и общественно-поли-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 72.

² Там же, стр. 217.

тический журнал «Дружба народов». Это в полном смысле слова уникальный журнал. Следя за периодическими изданиями, мы обычно сопоставляем близкие по типу литературные ежемесячники, скажем, «Октябрь» с «Москвой», «Звезду» с «Невой», «Дон» с «Подъемом» — ведь все познается в сравнении. Для «Дружбы народов» трудно подыскать другое, сходное по типу издание. И уж, конечно, ничего похожего невозможно найти в капиталистическом мире. «Дружба народов» — это яркая летопись созидательной, творческой жизни народов страны социализма, освобожденных Октябрем.

Свое главное внимание журнал уделяет сегодняшней жизни братских республик.

Богатый материал, собранный в девяти его номерах за этот год, складывается в единую панораму кипучей современности. О культурной революции, происшедшей в республиках, рассказывается в специальной подборке «Хроника культурной жизни». Из нее можно почерпнуть множество интересных сведений — например, о создании Казахской Советской Энциклопедии и о неделе латгальской культуры в Латвии, о культурной жизни киргизского колхоза имени Энгельса и о совещании молодых писателей Уфы, о полиграфической базе Таджикистана и о строительстве на Черкащине. Читая хроника, еще и еще раз ощущаешь присущее многонациональной советской семье чувство братского интернационализма, желание жить в мире и дружбе со всеми народами, бережное и любовное отношение к чужой культуре. Школьники Пржевальска переписываются с далекими чешскими сверстниками. На сценах театров Сталинабада с успехом идут индийские пьесы. В Грузии обнаружены неизвестные письма Бальзака. Мастер чеканки по серебру Марклен Кутателадзе, прочитав повесть «Старик и море» Хемингуэя, решил послать в подарок американскому писателю уникальный рог, отделанный чеканным серебром. Болгарские студенты, работающие на строительстве «Казахской Магнитки», создали свой национальный театр, завоевавший симпатии зрителей, и т. д.

В очерках — производственных, психологических, путевых, — превосходно представленных в журнале, преимущественно в разделе «В семье братских народов», дана целая галерея наших современников, работающих над претворением в жизнь гран-

диозных задач семилетки. Герои этих очерков живут в разных республиках Советского Союза и трудятся каждый в своей области: украинка Степанида Демидовна Виштак выращивает рекордные урожаи одноростковой свеклы, потомственный горняк Иван Козлов за штурвалом гидромонитора вымывает из толщи пород сверхпламенный уголь, председатель мордовского колхоза «Путь Ильича» Артемьев, руководя сложным, многоотраслевым хозяйством, добывается резкого перелома в работе артели, азербайджанец Курбан Абасов бурит дно Каспийского моря, добывая стране новые тонны нефти. Всех их объединяет новое, коммунистическое отношение к своему труду.

А в Антарктиде, на крохотной станции Комсомольская, работают четверо отважных людей, частица советского коллектива, — начальник станции Фокин, метеоролог Иванов, радист Сорокин, моторист Морозов, — и в глубь материка по мертвому льду идет тракторный поезд: «На бесконечной снеговой скатерти он выглядел совсем крохотным и был ничуть не похож на поезд. Тракторы идут не следом друг за другом, а либо рядом, либо на большом расстоянии один от другого. Они будто бы разбросаны по снегу. Там... действительно совершается что-то великое, требующее смелости, мужества, выдержки и железной дисциплины, там взаимопомощь диктуется не вежливостью, а законом жизни. Холод, мороз, кислородное голодание, затрудняющее каждое физическое усилие, бесконечная дорога в глубь материка, к создаваемой станции Советской — все это героический ледовый гимн, творимый нашими людьми». О покорении шестого материка советскими людьми рассказывает эстонский поэт Юхан Смуул в путевом дневнике «Ледовая книга» («Дружба народов», №№ 3—5. Перевод Л. Тоом).

Пафос произведений писателей братских республик — пафос преобразования родного края. Советский человек, творец самых совершенных рукотворных созданий — искусственных спутников Земли и космических ракет, — перестраивает свой большой дом, свою Родину. Он возводит гигантские гидроэлектростанции и прокладывает каналы, он осушает болота Белоруссии и оживляет пустыни Средней Азии, он осваивает мертвые просторы Крайнего Севера и поднимает целину Сибири и Казахстана.

На Западе создано немало смелых проектов по преобразованию лика Земли. Их авторы — немецкие, французские, американские инженеры и ученые — давно разработали способы пробуждения Мертвого моря, обводнения Центральной Африки, оздоровления с помощью огромного канала бассейна Амазонки. Но осуществить все эти проекты капиталистические страны не в состоянии — на них никогда не находится средств. И по сию пору народы, живущие в пустынях Африки и в заболоченных джунглях Конго, ведут полудикое существование. Обо всем этом рассказывается в содержательной статье Г. Голубева «Скопанные мечты» (№ 9). На фоне этих фактов особенно контрастно звучит страстная речь инженера Сафронова, пионера туркменских нефтяников, героя романа Берды Кербабаева «Небит-Даг»:

«Современники всегда удивлялись юности гения... никто не может постигнуть, как это — вчера был мальчишка, под стол бегал — и вот уже он великий поэт, мировой ученый, деятель человечества... А на моих глазах нечто подобное произошло с целым народом. Кочевники, погонщики верблюдов, дети пустыни создали передовую индустрию, построили город, который мы зовем с гордостью туркменским Ленинградом, вырастили сады, сами пошли в институты за знаниями, основали свою Академию наук... Давайте чаще удивляться...»

Удивляться в самом деле есть чему: вчерашние кочевники с помощью русских братьев оживляют пустыни, отыскивают под тысячеметровой толщей пород газ, руды, нефть. Сперва появляются разведчики:

Не подскочит в испуге тушканчик вдали,
Над сожженной травой не взлетят
куропатки.
Все мертво. Лишь над краем пустынной
земли
Знойный воздух колеблется, мутный
и шаткий.
...За барханом бархан, за грядкою гряда,
За увалом увал, за вершиной вершина...
Может, сбившись с пути, забрались мы
сюда,
Где тотчас исчезают следы от машины?
Но спокойны соседей моих голоса.
Все бывалый народ. И водитель —
не промах.
И машина в четыре своих колеса
Загребает текущий песок на подъемах.

Ш. Борджаков. «Возвращение в Кызыл-Кум» (№ 6. Перевод с туркменского Ю. Гордиенко).

За разведчиками идут бурильщики, операторы, инженеры, водители, снабженцы, строится первая вышка и первый дом, высаживается первый тутовник и первый карагач. И вот уже на месте мертвых песков выросли нефтяные промыслы, поселок со школой, Домом культуры, больницей...

Уничтожив национальную рознь внутри своей страны, советский народ выдвинул лозунг интернационализма, дружбы народов всех цветов кожи, всех языков, всех культур. В первых рядах этого движения — общественность братских республик. Тут вспоминается и ташкентская Конференция писателей стран Азии и Африки, выдвинувшая от имени народов двух континентов лозунги мира и дружбы, и открытое письмо литераторов Узбекистана писателям США, Англии, Франции и ФРГ с призывом объединить усилия в борьбе за мир во всем мире.

Идеи братского интернационализма кровно близки писателям свободной семьи советских республик. С большим циклом стихов о Франции, ее революционных традициях, ее свободолюбивом народе выступил в мартовском номере «Дружбы народов» старейший украинский поэт Максим Рыльский. Братьям-чехам, павшим в боях за советскую землю, посвятил свое стихотворение «Чехи мои дорогие» Николай Ушаков (№ 5). Азербайджанский поэт Сулейман Рустам воспел негритянку из Ганы, приехавшую в Ташкент:

Я чувствовал неизменно
в тепле твоих черных рук
Величье и вдохновенье
проснувшегося народа...

(№ 5. Перевод А. Ойслендера).

«Дружба народов» систематически публикует и произведения зарубежных писателей, посвященные теме интернационального братства. Достаточно назвать записки французского рабочего Жоржа Дуара, члена международной гражданской службы по организации лагерей труда, — «Операция «Дружба» (№№ 7—8); рассказ Джеймса Олдриджа «Среди моих друзей есть и англичане» (№ 9); «Короткие заметки о большом путешествии» Назыма Хикмета (№ 1); стихи о войне польского поэта Леона Пастернака «Давно ли это было?» (№ 8). В январском номере «Дружбы народов» напечатана острая сатирическая радио-

пьеса американского драматурга Артура Миллера «О Томасе — коте и водопроводчике Сэме — человеке», а в февральском — проникнутый гуманизмом кинорассказ «Человек без воскресенья» Джузеппе де Сантиса, Тонино Гверра, Элио Петри, Уго Пирро. Даже сухой перечень этих произведений подтверждает, что иностранная литература представлена на страницах журнала достаточно широко. Кроме того, в «Дружбе народов» создан специальный раздел «За рубежом», знакомящий читателя с очерками иностранных литераторов. Здесь и отклики на поездки по Советскому Союзу, принадлежащие известному норвежскому артисту и писателю Уле Греппу, мексиканскому писателю Хуану Мигелю де Мора; и заметки видной общественной деятельницы и писательницы США Эсланды Робсон о Конференции народов Африки в Аккре — «Африка рвет оковы»; и впечатления о жизни сегодняшнего демократического Берлина и Берлина западного — лауреата Национальной премии, немецкого писателя Франца Фюманна. К этому следует добавить, что отдел критики «Дружбы народов» публикует рецензии и на книги иностранных авторов, посвященные темам национальной борьбы.

В журнале печатаются материалы, посвященные героическому прошлому нашей страны, ее революционным традициям. Тут прежде всего должно отметить апрельский, ленинский, номер «Дружбы народов», где дана интересная публикация — требования карточки В. И. Ленина на книги (1914—1916 годов), материалы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а вслед за ней статья заместителя директора института А. Стручкова «По ленинским местам Швейцарии». Большая подборка воспоминаний одного из старейших членов КПСС профессора Ф. Н. Петрова, прогрессивного американского журналиста Альберта Рис Вильямса, английского публициста Артура Рэнсома, американского профсоюзного деятеля И. Мак-Брайда, венгерского коммуниста Рудаша Ласло, Марселя Кашена и старого большевика В. А. Смольянинова воссоздает живые черты великого Ленина, вождя, мыслителя, человека.

2

Самую главную свою задачу, как уже говорилось, журнал видит в создании образа современника, неумного советского чело-

века, трудящегося над выполнением заданий семилетки.

Очерковые портреты современников незаметно сменяются образами, созданными художниками, и эта незаметность перехода очень показательна. Так стирается грань между вымыслом и реальностью. Так жизнь диктует литературе новые героические страницы.

Художественные произведения, напечатанные в «Дружбе народов», многочисленны, хотя и не слишком разнообразны в жанровом отношении. Это прежде всего романы, повести, очерки: «Небит-Даг» Берды Кербабая, «Телефонистка» Гасана Сеидбейли, «Хлеб и соль» Михаила Стельмаха, антарктический дневник «Ледовая книга» Юхана Смуула, очерк молодого таджикского писателя Фазлидина Мухаммадиева «Фаттох и Музаффар» и т. д. Это стихи украинских, белорусских, узбекских, азербайджанских, якутских, бурятских, калмыцких, карело-финских поэтов. Но если поэзия малых форм представлена в журнале достаточно широко, то этого никак не скажешь о малых формах прозы. На страницах «Дружбы народов» появилось всего несколько рассказов, из них наиболее сильный, на мой взгляд, «Белый гриб» Норы Адамян, исполненный сдержанной поэзии. Рассказы встречаются в журнальных тетрадках время от времени и словно случайно. И вовсе отсутствует в журнале поэзия крупных форм и драматургия национальных республик.

Впрочем, количественный подсчет даст нам не много. Все-таки самое главное не то, сколько произведений можно зачислить по тому или иному жанровому ведомству, а то, каково идейно-художественное качество произведений. Проникновение в жизнь, раскрытие характеров современников возможно без глубокого художественного освоения материала. В литературе не должно быть никаких скидок ни на актуальность тематики, ни на «среднее» дарование. «Современная тема — это и проблема мастерства», — так несколько прямолинейно сформулировал верную по существу мысль узбекский критик Аскад Мухтар («Дружба народов», № 2).

«Журнал «Дружба народов», — рассказы-вал его главный редактор А. Сурков на страницах «Известий», — стремится знакомить читателей со всем самым ярким и та-

лантливим, что создается в братских литературах СССР...» И эта установка на высокое художественное качество произведений характеризует как уровень сегодняшней литературы братских республик, так и позицию редакции.

Сила выразительности, жизненная достоверность характеров и конфликтов, отраженных в таких произведениях, как «Небит-Даг» Берды Кербобаева, «Хлеб и соль» М. Стельмаха, «Телефонистка» Гасана Сеидбейли, в самом деле подтверждают, что журналу часто удается успешно решать выдвинутую задачу борьбы за качество художественных произведений.

Новый роман крупнейшего туркменского прозаика Берды Кербобаева (№№ 7—9. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой) посвящен туркменским нефтяникам. Его герои — и бурильщик Тойджан Атаджанов, и начальница участка Айгюль Човдурова, и ее отец, знатный бригадир нефтяников Таган, и девятнадцатилетний промысловый оператор Нурджан, и главный геолог Сулейманов, и старший инженер Сафронов — влюбленностью в свое дело, широтой и богатством своей души близки и дороги советскому читателю, человеку большого трудолюбия и большого сердца.

Столкновение начальника конторы, самолюбивого, волевого Аннатувака Човдурова, с главным геологом Сулеймановым, который с энтузиазмом руководит разведкой нефти в далеком пустынном районе Сазаклы, — столкновение, перерастающее в конфликт Аннатувака со всем коллективом, — передано в романе с сохранением сложности жизненных коллизий. Штрих за штрихом воссоздает Берды Кербобаев облик молодого Човдурова, постепенно утратившего связь с рабочими, говорящего и даже думающего «привычными начальственными формулами».

В романе много поэзии (изображение чистого чувства Нурджана и Ольги Сафроновой, Тойджана и Айгюль), национального юмора (эпизоды, посвященные хитроумным действиям матерей-туркменок, стремящихся «устроить» счастье своих детей и не ведающих, что те сами найдут его), удач в передаче душевного движения героев (так, после слов парторга Амана, его друга, Аннатувака Човдурова едва не впервые ощущает растерянность: «Как ни удивительно, Аннатувак молча выслушал назидание, только поднял пилу со стола, потом поставил

обратно и попытался ногтем соскоблить нарисованный на ней цветок»). Однако, скажем, интрига снабженца Хидыра Деряева, с неуклюжестью провинциальной сплетницы на время ссорящего любящих молодых людей, выглядит искусственной и литературно-традиционной.

К сожалению, иногда Берды Кербобаев строит свое остроконфликтное произведение таким образом, что авторская оценка поступков иных персонажей вытекает не только из действия, но и из прямой характеристики, и, пожалуй, из нее прежде всего. Это уже мешает раскрытию психологии героя, знакомству с его внутренним миром. Ослабляет это и читательское доверие.

Редакция «Дружбы народов» стремится с большой бережностью подходить к традициям братских литератур. Как правило, произведения, опубликованные на страницах журнала, привлекают не просто своим художественным своеобразием, но именно национальным художественным своеобразием. К сожалению, дело здесь не обходится без потерь и крайностей.

Это сказывается и на таком талантливом произведении, как «Телефонистка» Гасана Сеидбейли.

Очистительная волна революции подорвала повсеместно — в Узбекистане и Киргизии, Туркменистане и Азербайджане — темные предрассудки старого Востока. Ныне женщины Средней Азии и Кавказа получили возможность развития своих творческих и духовных сил. Вот почему узбекский председатель сельсовета Айкиз («Сильнее бури» Ш. Рашидова) и секретарь райкома партии Саодат Мурадова («Преданность» И. Рахима) так близки по духу и туркменкам, героиням романа Берды Кербобаева «Небит-Даг» — геологам, операторам, мастерам-нефтедобытчикам, — и азербайджанской девушке Мехрибан, героине повести Г. Сеидбейли. Молодой азербайджанский прозаик ярко нарисовал, как робкая девушка-сирота, пришедшая в новый большой мир — на огромный нефтеперерабатывающий завод, — становится активным рационализатором и душой коллектива. Она разрабатывает схему телефонной связи, которая позволяет ей и ее подругам из коммутаторной наладить четкую и бесперебойную работу. В Мехрибан ее рабочее достоинство неотделимо от достоинства женского. Полюбив настоящей, большой любовью инженера Закира Джалалова, Мехрибан

сама порывает с ним, как только она постигает, что была лишь очередным увлечением избалованного, холодного человека.

Писатель удачно использует возвышенный, почти декламационный строй в изображении, например, промышленного Баку: «В густом, тяжелом воздухе, насыщенном дымом заводов, паровозов, перегаром бензина от бесчисленных автомашин, носился еле уловимый запах преждевременно сгоравших на солнце цветов акаций. Легкие шаги девушек по асфальту заглушались непрерывным мерным постукиванием колес по рельсам — шли бесконечные эшелоны цистерн.

По широкой накатанной до блеска ленте асфальта, отражавшей огни уличных фонарей, одна за другой катились грузовые и легковые машины. И как неумолчный аккорд в этой симфонии разных городских звуков, однообразно, на одной и той же низкой ноте, гудели установки и печи завода, тяжело сопели насосы и только временами в этот аккорд врывались резкие, свистящие нотки выпускаемого пара, и легкие облачка его мгновенно растворялись в воздухе».

Однако в эпизодах, посвященных личным отношениям героев, автор незаметно для себя переступает ту грань, за которой начинаются романтические красоты типа: «Рука Закира, ласкавшая плечо Мехрибан, натянула тонкое шелковое платье и, разорвав его в том месте, где оно только недавно было заштопано, коснулась тела... Туман страсти заволок Закиру глаза. Как слепой, не видя родника, жадно ищет его на ощупь, чтобы утолить жажду, так и Закир, обезумев, искал горячими губами дрожащие губы Мехрибан и, найдя, припал к ним. Но влага родника сама пылала и не могла утолить жажду, а только усиливала ее. Он душил ее поцелуем». Или: «Двусмысленные слова и многозначительные улыбки Зарангис, ее красивое, гибкое тело смущали его, вносили смятение в сердце. Но он все еще пытался противиться, пытался сберечь чистоту своего чувства к Мехрибан, но с каждым днем все сильнее откуда-то из самых сокровенных глубин его существа поднимались властные чувства и желания, отнимавшие у него волю. Мехрибан была сладка, как мечта, чиста и прохладна, как родниковая вода, а Зарангис горяча и желанна, как сама жизнь». Эти цитаты были уже выписаны, когда мне на глаза попалась

статья, где почтенный критик хвалил Гасана Сеидбеги за многие, в самом деле полновесные достоинства его повести и среди них за... отсутствие «сладостных красотостей», за «простоту и ясность стиля» (З. Кедрин, «Под знаком современности», «Дружба народов», № 6). Очевидно, незаурядные художественные богатства, талантливость повести вызвали некую инерцию мысли критика. Начав анализ положительных черт «Телефонистки», он уже не мог остановиться вовремя.

Мы не собираемся принимать общий уровень художественного мастерства таких произведений, как «Небит-Даг», «Телефонистка». Но талантливость этих повестей и романов не должна служить магическим панцирем, оберегающим их от разумной критики. Многокрасочная, многоязычная литература братских республик не нуждается в скидках, в тех традиционных и мало полезных «доброжелательно-снисходительных приветствиях» критики, о которых с иронией писал в «Дневнике писателя» Берды Кербабаев («Форме дай щедрую дань...». «Литературная газета», 22 сентября 1959 года). Эта литература в лучших своих проявлениях настолько сильна и самобытна, что она способна выдержать самый взыскательный критический экзамен.

К числу наиболее талантливых произведений, опубликованных в «Дружбе народов» за этот год, следует отнести путевой дневник Юхана Смуула «Ледовая книга». Это взволнованный рассказ о героизме советских полярников, покоряющих Антарктиду. Это думы писателя, многому научившегося за недолгий срок жизни в маленьком дружном коллективе. «Пройдет год-два,— размышляет он,— однажды может наступить тот грустный день, когда у тебя не будет ладиться работа, когда на душе пасмурно и тоскливо. И тогда вдруг перед твоими глазами возникнет камбуз Комсомольской с этими нарами, медными кастрюлями, дымящимся кофейником, спокойным освещением и вот с этими четырьмя парнями вокруг стола. Ты вспомнишь задумчивую улыбку Фокина, увидишь Морозова, этого гиганта с детским голосом и замасленными руками, для которого этот дом кажется слишком маленьким, увидишь юное лицо Иванова и наконец увидишь Сорокина, который стоит у стола, размахивает ножом и спрашивает, верно ли, что у него фигура Ива Монтана. И удовлетворение на

его лице, когда ему говорят, что он, коротенький и толстый, скорее похож на Наполеона».

Возможно, я увижу их не такими, как сейчас, но это будут все те же сильные люди среди белых снегов, которые прикажут мне по тому же праву, по какому распоряжаются писателем его собственные внутренние резервы:

— Не писать! Долг есть долг!»

Сила художественного впечатления «Ледовой книги» во многом обусловлена тем, что читатель непрестанно, если можно так выразиться, физически ощущает личность рассказчика. Это поэт, искренне завидующий людям техники, всем тем, кто приносит в экспедиции «практическую» пользу. Это добродушный неуклюжий человек, чуть ироничный по отношению к себе, ко всем бытовым неурядицам, какие его преследуют. Наконец, это профессиональный писатель, постоянно наблюдающий, стремящийся ничего не пропустить, отыскать увиденному самое точное словесное выражение: «У Васюкова, старшего научного сотрудника метеорологической группы, направляющейся с партией зимовщиков в Мирный, лицо крестьянина. Я уже несколько дней ищу и не найду то слово, которое бы точно его охарактеризовало». Или: «Океан прямо-таки неправдоподобно, невероятно синий, густейше-синий. Не могу подобрать точного слова, чтобы определить эту синеву». Смуул делится не только результатами своих художественных поисков, но и самим процессом, что создает чувство непреднамеренной близости между ним и читателем

Автор «Ледовой книги» обладает незаурядным художественным видением, отсюда в ней обилие точных деталей, рождающих у читателя ответную волну ассоциаций. Африканский песок «сверкает на солнце так же ярко, как февральский снег» (заметьте: именно февральский, освещенный весенним уже солнцем). «Океан кажется на глаз серо-синим, а сквозь бинокль — блекло-серебристым». А вот настоящее стихотворение в прозе: «Заходящее солнце. Серо-стальная вода. И сверкание удаляющегося айсберга, краски которого так чисты и прозрачны, что сердце начинает биться быстрее».

Черты живого облика современника передают и многие стихотворные произведения, опубликованные в «Дружбе народов». В девяти номерах журнала напечатано не-

мало хороших стихов о трудовом героизме, об облике советского человека, о великих преобразованиях на нашей земле. Читателю запомнится и цикл своеобразных произведений бурятского поэта Дондока Улзытуева в переводе Михаила Светлова; и состязание двух опытных узбекских стихотворцев — Гафура Гуляма и Сабира Абдуллы, — воспевающих семидесятилетнюю мастерицу хлопка Якубову; и свежие строки слесаря Днепропетровского трубопрокатного завода Семена Данилейко, и отточенные строфы Сильвы Капутикян.

В подборке стихов Андрея Лупана — настоящее в жизни молдавского народа встречается с печальным прошлым. Стихотворение «Молодой писатель на целине» посвящено «крестьянскому сыну», променявшему столичную литературную теплицу на поля Казахстана:

Его не читают, не знают, не слышат.
Плугарь и писатель, он скромен и прост,
До света он книгу на тракторе пишет
Железною ручкою в десять борозд.

...Писателем быть ему, нет ли? — не знаю;
Загадывать я не берусь наперед,
Но верю я в тех, кто, как он, начиная,
Рукою мозолистой ручку берет.

Портрет молодого современника, жадного на работу и впечатления, ушедшего «в село, словно в подготовительный класс», точен и прост. А вот другой крестьянский сын и крестьянин — Ион Агаке, бедняк, мечтавший о «фалче» земли и обманутый боярином и попом. Схваченный за бунт жандармами, он говорит попу:

«Отче, вот тебе мое слово:
Со всем селом и со мною был ты хитер
и лют.
И я бы тебя наставил проповедью
дубовой,
Если бы — революция! Хотя бы — на пять
минут...»
С тех пор об Ионе другая прошла
по округе слава.
А он... По судам затаскали; там и помер
с тоски,
С карманами, где хранились земля,
колосья и травы,
С несбывшеюся надеждой — на свете
жить по-людски.

(Перевод Ю. Гордиенко).

Тоска по земле и по «людской» жизни — чувство, общее для всякого деревенского бедняка, задавленного нуждой и помещичьими поборами. Мы находим его и у украинских хлеборобов из нового романа

Михайла Стельмаха «Хлеб и соль» (№№ 1—6, перевод Вл. Россельса), посвященного быту предреволюционной деревни.

В произведении Михайла Стельмаха все происходящее как бы рассматривается с точки зрения украинского крестьянина-хлебороба. Этим достигается особенная убедительность в изображении деревни, враждующей с усадьбой. Не только в непримиримости интересов барина и мужика — нет, во всем строе господской и крестьянской жизни ощущается для Стельмаха этот контраст. Даже чистая любовь цветет стыдливо-нежным цветом лишь вдали от дворянских хором. В романе запечатлено множество людей, различных по своему положению: батраков и справных крестьян, кулаков и священников, помещиков-националистов и польских угнетателей, чиновников, управляющих, лесников. Но писателя больше всего интересует именно трудовое крестьянство, дающее господскому обществу хлеб и составляющее соль украинской земли. Роман Волошин, Давыд Левенец, Марьян Поляруш, дед Дунай, Олександр Палийчук — люди сильные и чистые, иногда наивно-доверчивые, но чаще смекалистые, их не обманут ни ясновельможному пану Стадницкому, ни ловкому дельцу Вайнтройбу, сулящему мужикам золотые горы за океаном.

В романе отчетливо звучит мысль о невыносимости условий, в которых живут крестьяне, задыхаясь от безземелья, от притеснений Стадницкого и его слуг, от поборов и всяческой несправедливости. «Ежели мужицкий хлеб покрепче сдавить, из него кровь потечет», — говорит Олександр Палийчук. И рядом с ней другая: невыносимость жизненных условий не уничтожает человеческое в простом человеке; автор сохраняет веру в его душевные силы, в его любовь. «Любви на свете больше, чем думают люди», — это авторское вступление к одной из глав могло бы стать эпиграфом ко всему роману. В беспросветной борьбе с нуждой, когда — как горько шутит один из героев — «крестьянам землю можно иметь только под ногтями, и то не свою, а господскую», люди не бросают в беде товарища, приходят на помощь друг другу.

В романе есть такой эпизод. «Извечный батрак» Марьян Поляруш продает свой огород и хатку и едет в неведомые земли, в Сибирь. Но в дороге помирает его жена Фросина, денег хватает только на то, чтобы

довести гроб с ее телом до Винницы. Хмурый возчик Онуфрий, измучив лошадей, высаживает его ночью у постоялого двора, и Марьян медленно бредет по дороге, взвалив на плечи гроб. «Марьян приближался к лесу, когда позади него послышался топот; он сошел с дороги и оглянулся. Перед ним с разгона остановились сани, и на снег, ругаясь, соскочил Онуфрий.

— Клади свою ношу, мученик несчастный! — расправляя солому, гремел он. — Ушел ты, а я глаз не могу от дороги оторвать. Заплатил за ночлег, а потом плюнул на пропащие два двугривенных — и за тобой. Подвезу, пока не догонит кто-нибудь, — добавил он, помогая поставить на сани гроб».

Автор постоянно подчеркивает в своих любимых героях отсутствие корысти, суровую бедняцкую честность и понятие мужицкой справедливости, какое они безуспешно пытаются применить, обороняясь от помещика и кулака. Им еще трудно осознать, что та доля, какой они добиваются, достижима единственно путем революционной борьбы, о котором говорит крестьянам учитель Степан Васильевич. В них до поры до времени еще живет надежда на «золотую» грамоту и «царского» агитатора, который-де оделит мужиков землей.

Но классовая межа намертво разделила село и усадьбу. Господские поля по ночам меряют бедняцкие ноги — сколько выйдет на душу? — а в господском лесу слышен стук топора. Это ведет партизанскую войну с бариним крестьянином, поднимаясь к концу романа на открытое неповиновение. «Если бы — революция! Хотя бы — на пять минут...» — эта мечта Иона Агаке близка героям романа «Хлеб и соль». М. Стельмах воспел в своем новом произведении народ, ждущий избавления от помещичьего и кулацкого ярма, народ, стоящий на пороге новой жизни.

Крестьянский уклад, взгляд на вещи отразился не только в эпизодах, посвященных будням украинского земледельца, он сказывается и в лирических отступлениях, и в пейзажах, проникая в каждую клеточку романа, составляя, так сказать, его трудовую эстетику. Месяц поднимается на середину «выполосканного» неба, горизонт отделяет крестьянские поля от «нивы, засеянной звездами», землю закрыли сизовато-синие «полотна снегов», туча несет к разомлевшим лесам «свое невыдоенное вымя» и т. д. —

в каждой метафоре угадывается ее «трудоважно» происхождение.

Художественная манера М. Стельмаха наследует традиции сочного, красочного и романтического письма. Сама по себе установка эта, бесспорно, закономерна. Однако писатель где-то теряет чувство художественного такта, увлекаясь внешней выразительностью, затопляя роман щедрым половодьем сравнений. Как-то даже рябит в глазах от всех этих «клешней усов», «жучьих лапок» рук, ног и бороды, «лепестков подрезанных ноздрей», «золотых фасолинок свечей». Здесь все сравнивается со всем: морщинистое лицо старой Чайчихи — с растрескавшейся корой, а растрескавшаяся кора клена — с морщинистым лицом вообще.

И своей способностью всюду находить сравнения, любовью к метафоризации Стельмах наделил едва ли не всех положительных персонажей. Вволнованные лирические монологи, полные метафор, произносятся на страницах романа и учитель Степан Васильевич, и помещик Тадей Станиславович Лисовский, и батрак Марьян Поляруш. А портреты героев? Отраженные в восприятии других действующих лиц, они как бы складываются в один гигантский натюрморт: у рыбоведа Леська Пивторака «стручковатое, словно красный перец, лицо», у лесника Матвия Боцюна лицо, «похожее на крашенное луковой шелухой пасхальное яйцо», у господского лакея Никанора лицо «тупоскулое, круглое, как арбуз», у деда Дуная лицо «сухое, как грецкий орех», у эконома лицо, «заплеванное бородавками», походит на «растрескавшийся хлебце-гречаник...»

Романтическая приподнятость тона романа «Хлеб и соль», его «трудоважная» эстетика, крестьянский взгляд на вещи — все это определило многие немаловажные достоинства произведения. Однако «наши недостатки суть продолжение наших достоинств». Романтизация крестьянской жизни, рождающая поэтичнее страницы романа, оборачивается предельно уничтожительным и очень неточным изображением жизни господской. Как только автор — как бы даже против собственной воли, а только ради одной полноты картины — попадает в нарядные господские «горницы», заскоруждые, но искренние крестьянские речи о «земляльце» сменяются до неправдоподобия высокопарными рассуждениями дворян о само-

стейности, сердитый голос картавит «нызсканно, по-барски» и т. д.

Не потому ли в эпизодах, рисующих быт пана Стадницкого или Варавы, Стельмах не достигает той художественной убедительности, какой он добивается в изображении крестьян, что избранный им стиль уже не соответствует новому материалу живописания? Появляются вялые отступления, объясняющие, по мысли автора, господскую жизнь: «Отороченные садами и прудами родовые дворцы превращались в трухлявые развалины или шли с торгов, а их владельцы бежали в департаменты, присутствия, земства и, вздыхая, с увлажненными глазами вспоминали жизнь у родителей, свое золотое детство и вкусные деревенские блюда или опускались в полумрак ресторанов и притонов, где проматывали последние банкноты и откуда выходили растленные духом и немощные телом». Некий «полумрак» приблизительного представления о том, что творится за стенами помещичьих хором, ложится на эти эпизоды. И насколько же богаче, разнообразнее становятся изобразительные возможности художника, когда он наконец возвращается к батраку Роману Волошину или братьям Щербинам!

Наше знакомство с произведениями, опубликованными в «Дружбе народов», было прежде всего знакомством с художественной прозой, и это не случайно. Не потому только, что во всех «толстых» периодических изданиях прозу принято считать ведущим началом, своего рода журнальной тяжелой индустрией, что, конечно, тоже верно. Но особое значение ее для характеристики современных национальных литератур состоит в том, что в недавнем прошлом у ряда народностей вообще не было художественной прозы как таковой. Если на Украине или в Грузии издавна сложились устойчивые традиции, если там творили крупные мастера-прозаики, то, к примеру, в республиках Средней Азии такой эстафеты прозаиков, наследующих накопленное мастерство, не было. Вот почему, скажем, достижения туркменских писателей в этой области дают особенно много читателю для уяснения того, как велик путь, проделанный народами этих республик по развитию национальной — и одновременно интернациональной — социалистической культуры.

Преимущественное внимание в этом об-

зоре к художественной прозе объясняется еще и тем, что поэзия — смежный жанр — еще не заняла подобающего места.

В журнале выступают самые разные поэты, представляющие литературы с богатейшими традициями именно в области стиха. Однако, за некоторыми исключениями, о которых речь шла выше, поэзия в «Дружбе народов» страдает недостаточной глубиной, однообразием авторских голосов.

Огорчает и досадная неточность поэтических выражений, время от времени, к сожалению, встречающаяся на страницах «Дружбы народов» в произведениях старых и молодых поэтов. Какой, например, смысл хотел вложить узбекский поэт Максуд Шейхзаде в такие строчки своей «Азиатской баллады» (перевод С. Липкина), посвященной дню Октябрьской революции:

Родившийся осенью, — стал он весной,
Он дышит свободой, теплом, новизной.
Хотя (?) в ноябре мы его отмечаем,
Родным Октябрем мы его величаем.

Неужели только тот, что октябрь — весенний месяц? А ведь уже одна ответственность темы должна была заставить поэта (и переводчика) с особенной тщательностью отнестись к точности выражаемой мысли.

У коми-пермяцкого поэта Ивана Минина дед-мичуринец предлагает отведать яблоко:

Ты меня не мучай,
Видишь, ждет народ?
Вот попробуй лучше, —
Ведь с собой твоей рот!

(Перевод Н. Старшинова).

Молодой поэт сам поставил восклицательный знак там, где его следовало бы вписать критику. И уже просто огорчение вызывает подборка стихов Михаила Дудина «Воспоминания под вечер», напечатанная в № 4 «Дружбы народов».

Останавливает внимание поэтическое credo Дудина:

Спешу, отчаиваясь снова,
Пока перо поет (?) в руке,
Своей души оставить слово
В певучем русском языке.

«Свое слово» М. Дудин намерен оставить в интимной лирике, и это хорошо. В «Дружбе народов» слишком мало стихов, посвященных любви, словно тему эту отобрали у поэтов прозаики — Стельмах, Кербабаев, Сеидбейли, Адамян. Но лирика Дудина — комматная, в которой мы встречаем и «сладкие

укоры», и «тревожную пропасть души», и многое другое в этом роде. Странно, что опытный поэт так глух к собственным стихам.

Упруго дробили копыта
Тревожную дымку рассвета, —

пишет он, хотя «дробить дымку», да еще «упруго», так же маловероятно, как, предположим, пролить гранитную плиту.

В настоящее время во всех национальных республиках происходит стремительный рост литературы. И прежде всего за счет появления новых имен молодых прозаиков, поэтов, очеркистов. Журнал «Дружба народов» предоставляет им трибуну (создан специальный раздел «Новые имена»). Однако делается это еще слишком робко и преимущественно лишь в отношении молодых поэтов. Хотелось бы, чтобы редакция привлекала литературную молодежь гораздо смелее и чаще, чем она делала это до сих пор.

3

Обилие тем, которые должны находить отражение на страницах «Дружбы народов», потребовало тщательной и продуманной организации ее разделов. Как, например, рассказать о богатейшей культурной жизни республик и областей Советской страны? Ведь даже наиболее заметные события составят обширную и очень пеструю мозаику. «Хроника культурной жизни» прекрасно справляется с этой задачей. Это одновременно и почтовый ящик журнала (рубрика «Нам сообщают») и живой репортаж («В беседе с нашим корреспондентом»). К хронике непосредственно примыкает раздел «На темы культуры и искусства», знакомящий читателя со сценическим искусством, живописью, вокалом в братских республиках.

Разумеется, объем в шестнадцать печатных листов не позволяет осветить все темы с одинаковой полнотой. Понятно поэтому, что, скажем, статьи из раздела «На темы культуры и искусства», появившиеся в шести из девяти тетрадок журнала, знакомят нас не с театром всех национальных республик, а лишь с одним узбекским Академическим театром драмы имени Хамзы (№ 2), не с живописью братских народов вообще, а с живописью Азербайджана (№ 5), не с развитием вокала в ряде рес-

публик, а только об одном выдающемся певце — народном артисте СССР Бюль-Бюль Мамедове (№ 6), и т. д. Это понятно. Не объятного не обнимешь. Однако, быть может, было бы разумнее публиковать не отдельные статьи о самых разных видах искусства в различных республиках, а давать в нескольких номерах циклы статей, связанных единым замыслом, широкой темой. Тогда не создавалось бы впечатления разбросанности, некоторой случайности тем, какое оставляет раздел сейчас.

Наше путешествие по журналу «Дружба народов» близится к концу. И, как полагают, последняя главка обзора посвящена отделу критики. Не потому, разумеется, что отдел этот уступает другим, вовсе нет. Здесь сказывается всего лишь «географическое» положение отдела, добраться к которому можно, только преодолев горные перевалы прозы, реки и ручейки поэзии.

Отделу литературной критики «подведомственна» художественная продукция всех братских республик (а только в одном Таджикистане в прошлом году, по сообщению «Таджикского коммуниста», было издано четыреста двадцать названий книг общим тиражом более трех с половиной миллионов экземпляров), деятельность литературных журналов, газет. Обилие материала вызвало и свои особенные жанры: наиболее распространенными формами критических выступлений в «Дружбе народов» является либо обзорная статья, подводящая итоги определенным явлениям в литературе той или иной республики (такова, например, статья Владимира Юревича «Молодая, цветущая...» — о современной белорусской прозе; Андрея Малышко «Молодая украинская поэзия»; Р. Портного «Заметки о современной молдавской прозе»; Д. Юделявичуса «Творческие искания» — о современных литовских поэтах; Мирзо Турсун-заде «Жизнь и литература» — о таджикской литературе сегодня и т. д.), либо рецензия-«малютка», дающая книжке сжатую характеристику.

Преимущественное использование этих жанров на много увеличивает «пропускную способность» отдела литературной критики. Взять, скажем, сентябрьскую книжку «Дружбы народов». В ней, помимо выступлений, объединенных под рубрикой «Трибуна писателя», напечатаны заметка из цикла «По страницам журналов» (в данном случае о стихах в журнале «Литературная Грузия»), четыре статьи и девять малень-

ких рецензий — о рассказах белорусского прозаика В. Быкова, о стихах латышского поэта Бруно Саулитиса, о сборнике «Радуги пьют воду» закарпатского стихотворца Василия Вовчка и т. п. Многие рецензии снабжены сносками: произведение вышло на белорусском, на латышском, на украинском языке. Как видно, отдел критики журнала не только стремится полнее охватить новинки братских литератур, но и достигает на этом пути значительных успехов.

Однако пристальное внимание отдела к литературной жизни республик, стремление отметить и оценить и новую книгу рассказов азербайджанского писателя и новый сборник стихов башкирского поэта, не затеняют основных, общих для всей советской литературы, проблем. В статьях Вл. Баскакова «Нравственное богатство», И. Виноградова «Личная ответственность», Ю. Константинова «Передний край литературы», С. Ларина «Поиски героя» и других эти общие проблемы, закономерности, возникающие в литературе и в жизни, поверяются анализом крупнейших произведений последнего времени. «Битва в пути» Г. Николаевой, «Глубокий, тыл» Б. Полевого, «Кровь людская не водица» М. Стельмаха, «Суровое поле» А. Калинина, «Золотое кольцо» М. Жестева, «После свадьбы» Д. Гранина, «Соль земли» Г. Маркова, «Раздумье» Ф. Панферова, рассказы Абдуллы Каххара и т. д. — не просто названия, упоминающиеся в той или иной статье на современную тему. Нет, это в большинстве случаев широко и уместно привлекаемый материал не в качестве только объекта оценочной, «эстетической» критики, но критики с позиций современности, с позиций жизни. Лишь в статье Ю. Константинова я нашел обилие категорических оборотов, императивных формул, предваряющих разбор произведений. В основном же критики журнала «Дружба народов» исходят из конкретного анализа самого произведения.

Стоит отметить и тот факт, что в отделе литературной критики — в отличие, например, от отдела прозы — активно выступают молодые авторы с разной литературной и жизненной подготовкой, с разной шириной кругозора, но одинаково искренне радующиеся радостями литературы и печалющиеся ее печалью. Это И. Виноградов, И. Борисова, С. Ларин, З. Финицкая, М. Ландор.

Отдел стремится не пропускать без отклика заметных явлений как в художествен-

ной литературе, так и в области искусства литературной критики, будь то итоговый сборник старейшего советского мастера К. Чуковского (статья И. Питляра), или книга работ молодого талантливого критика М. Щеглова (статья И. Виноградова). Но всякое проявление безвкусицы и провинциализма вызывает отклик со внушением, а если нужно, то и с порцией критических «розог». Бережно и внимательно подходит в своей статье «Молодая украинская поэзия» к стихам поэтов Андрей Малышко, отмечая все ценное у Василия Юхимовича и Виктора Кочевского, Вл. Омельченко и Бориса Олейника. Зато фальшивые нотки в стихотворении М. Сома —

Не о джазе мечтал я в тиши аллей,
У природы взял я любовь свою.
Потому-то мне во сто крат милей
Кваканье лягушек в родном краю...—

вызывают у него справедливое возражение. «Дозорные» отдела критики «Дружбы народов» разбросаны по всей стране. Из Котопта Сумской области прислал рецензию на роман П. Загребельного — «Европа 45» Ю. Полетика, убедительно доказавший неправдоподобие многих ситуаций, безвкусицу языка. Из Тбилиси Вахтангом Жвания направлен сигнал о пошлом детективе «На волосе» К. Русидзе.

Теоретические работы, посвященные проблемам многонациональной советской литературы, помогают уяснить специфику каждой культуры, в которой вырос и сложился писатель. Кроме статей общего характера (Н. Гей и В. Пискунов «Эстетический идеал советской литературы», № 4), здесь следует отметить работу Г. Маргвелашвили «Подвиг поэта» (№ 6), где на примере переводов с грузинского Н. Заболоцкого ставится на обсуждение проблема взаимоотношения двух культур, рассматриваются конкретные условия сближения различных поэтических мирозерцаний. Интересным вкладом в теорию художественного перевода может служить статья Е. Эткинда (№ 7), автор которой выступает против «вербального» копирования иноземного оригинала, за постижение самой его сути, его поэтического духа.

Хочется пожелать отделу критики большей остроты и смелости в постановке важ-

ных литературных проблем современности. Нельзя не посетовать, что в этом году со страниц журнала исчезли литературные дискуссии и споры, которые составляли одну из традиций «Дружбы народов».

Приветствуя намерение Госиздата выпустить альманахи художественной литературы союзных республик, М. Горький ука­зывал: «Необходимость такого издания совершенно ясна: искусство слова — художественная литература — содействует взаимному пониманию людьми друг друга; рабочие и крестьяне Союза Социалистических Советов должны хорошо знать своих соседей иного языка, к этому их обязывает единство цели: создание новых форм государственной жизни. Чем лучше будут знать психику — «душу» — друг друга люди различных племен, тем единодушнее, быстрее, успешней будет их движение к намеченной великой цели». Широкая картина движения народа к намеченной великой цели, всеобщей борьбы за претворение в жизнь грандиозных задач семилетки вырисовывается со страниц «Дружбы народов».

Всего пятый год существует этот журнал. На Втором Всесоюзном съезде советских писателей в выступлениях О. Гончара, Л. Реммельгаса и других приветствовалось решение превратить альманах «Дружба народов» в ежемесячник и выражалась надежда, что новый журнал «станет признанной трибуной братских литератур». Путь молодого журнала был не гладким. Найти свое лицо, определить основные разделы, создать свой актив — на это понадобилось значительное время и усилия редакции. Но сегодня уже можно сказать, что журнал добился немаловажных успехов.

В романах и повестях, в очерках и статьях, в хроникальных заметках и литературно-критических обзорах отражены частицы социалистической нови, принесшей каждому — большому и малому — народу радостное освобождение, право равного участия в строительстве невиданного человеческого общества. Могучий рост национального искусства стал возможен благодаря завоеваниям Октябрьской революции. Это ее свет зажег маяки культуры в братских республиках, объединив воедино дружную семью народов Советского Союза.



ТОМОДЗИ АБЭ

★

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Письмо из Японии)

В минувшем году, воспользовавшись дружеским приглашением советских писателей, я провел три незабываемые недели в СССР. Я был поражен великолепным зрелищем созидания, которое я видел собственными глазами. На меня произвели глубочайшее впечатление почет, уважение, любовь, которыми в вашей стране окружены наука и искусство. Вместе с тем, наблюдая жизнь советских людей, я лишний раз убеждался, что, несмотря на различие общественных систем и традиций, в народах всех стран с каждым днем растет стремление к общности чувств и помыслов. Я понял, что в укреплении солидарности между народами литература играет исключительно важную роль.

Именно поэтому мне хочется познакомить советских читателей, искренний интерес которых к литературе моего народа я неоднократно наблюдал, с некоторыми ее характерными особенностями.

История современного мира, история Японии развивается стремительно. Современная литература также претерпевает ежедневно, ежечасно изменения. И все же традиционные особенности японской литературы, сложившиеся в ней с давних времен, живут и по сей день. Такой особенностью японской литературы, как это неоднократно отмечалось и самими японцами и иностранцами, является ее лирический характер.

И тут мне приходят на ум два диаметрально противоположных суждения о национальном характере японцев, высказанные двумя иностранцами. Одним из них был французский критик Альберт Тибодэ, утверждавший в одной из своих работ, что японцы — мужественный народ. Вероятно, он имел в виду распространенное представление о самураях. Другим был американский астроном Персифаль Лоуэлл. Он прожил некоторое время в Японии и пришел к заключению, что японцы обладают весьма женственной живостью восприятия. Существуют, наверное, и другие суждения. Но даже и национальный характер, самый противоречивый и сложный, тоже постепенно меняется.

Мне вспоминается книга «Сокровенное», написанная самураем, жившим в период Токугава¹. В ней утверждались принципы беспрекословного повиновения господину, воспевались мужество, смерть и война. Эти принципы денно и ночью внушали молодым японцам, мобилизованным в армию во время второй мировой войны. Автор этой книги рассуждал также и о любви. Он утверждал, что «терпение» — высший предел любви. Если любимый или любимая спросит тебя: «Ты любишь?» — следует ответить: «Нет!» И так, страдая, надлежит умереть. Тогда тот, кого ты любил, догадается

Томодзи Абэ (род. 1903) — известный японский прозаик и критик, автор многочисленных рассказов и нескольких романов («Зимний приют», «Зима» и др.). Участник движения борьбы за мир.

¹ Период Токугава — 1603—1867 годы, когда в Японии сохранялся чисто феодальный строй. (Здесь и дальше. примечания редакции.)

о твоем чувстве, как замечают дымок, тающий и исчезающий в небе, — в этом и состоит высшая ценность любви. Подобное толкование и восприятие любви находится в прямом противоречии с воинственным духом, пронизывающим всю книгу, но оно, тем не менее, дает все же представление о двойственности, присущей характеру японцев, живших в те отдаленные времена. Иными словами, в хорошем смысле это было сочетание храбрости и эмоциональности, в плохом — жестокости и сентиментальности.

Чем можно объяснить это? Вполне вероятно, что подобный национальный характер сложился в какой-то степени под влиянием своеобразной японской природы, где непрерывные землетрясения, извержения вулканов, тайфуны и наводнения сочетаются с удивительно мягким климатом и изумительными пейзажами. А быть может, сыграло роль длительное влияние буддизма с его проповедью бренности, тщеты всех земных устремлений. Но решающее значение имело, разумеется, длительное господство феодализма. При этом строе люди вынуждены были сдерживать свободное проявление своих мыслей и чувств, и не столько «сдерживать», сколько попросту бояться их. Японским детям, во всяком случае, включая и мое поколение, постоянно внушалась мысль: «Язык мой — враг мой». Как бы то ни было, открытый, жизнерадостный характер, которым обладали японцы в древности, — как об этом свидетельствуют памятники всех видов искусства — впоследствии, на протяжении веков, значительно изменился. Искусство, в особенности поэзия краткой формы, известная под названием «танка» и «хайку», стало не столько «выражать», сколько «намекать». То же можно сказать и о живописи тушью — ведь на полотнах остается так много незаполненного белого пространства! Главным в искусстве стало не рассказать о чем-то, не поделиться чем-то, а, напротив, что-то скрыть, о чем-то умолчать. Японский лиризм, тонкость эстетического восприятия, о которых я говорил вначале, по-моему, тесно связаны с этим. Именно эти особенности японского искусства дают себя знать и в современной прозе, в драме, в кино.

После окончания второй мировой войны Япония получила возможность развиваться по пути демократизма и свободы. Подавляющее большинство народа смогло участвовать в демократическом развитии страны. Человек, получивший свободу, ищет наиболее полного и ясного самовыражения. Положение в искусстве, когда многое скрывалось, передавалось лишь неясными намеками, неизбежно должно было измениться. Когда Такэо Кувабара (род. 1904), критик и специалист в области французской литературы, утверждал в своей работе «Второе искусство», что поэзия краткой формы — «танка» и «хайку» — не в состоянии выразить духовный мир человека, он, разумеется, не имел в виду только поэзию, он требовал изменения характера и дальнейшего шага вперед всей японской литературы, всего искусства. Вполне понятно, что его статьи имели широчайший отклик. Понятно также, что требования, выдвинутые Кувабарой, не утратили еще своей актуальности, хотя с тех пор прошло уже более десяти лет.

Наблюдая жизнь современной Японии, нетрудно убедиться, что принципы свободы уже завоевали какие-то позиции. В особенности среди молодого поколения японцев, которое действует в духе свободы и отнюдь не поддается чувству страха. Немаловажно и то, что японские женщины, так долго обреченные на молчание и подчинение в тисках феодальной семьи, получили теперь свободу действий, стали принимать активное участие в жизни. Разумеется, тут не обошлось без некоторых отрицательных явлений — проявлялось немало легкомыслия и даже некоторой распушенности нравов, но наше внимание должны привлекать в первую очередь не эти факты, а поразительно активное участие женщин в движении за мир, за запрещение атомного оружия и т. п.

Внедрение принципов свободы в общественную жизнь, разумеется, отразилось и в искусстве. Достаточно познакомиться с японскими популярными романами, с японскими кинофильмами, чтобы убедиться в происшедших переменах.

Ну, а как же обстоит дело с унаследованным от прошлых веков лиризмом, который основан на своеобразно японском, удивительно тонком восприятии явлений? Хотя жизнь значительно изменилась, лиризм этот продолжает существовать и оказывать свое влияние. Эстетические представления и глубинное восприятие искусства меняются нелегко. Я не хочу сказать, что они остаются неизменными, — это значило бы защищать реакционные взгляды, — но мы должны подходить к ним с величайшей осторожностью. Кроме того, не следует забывать и национальные традиции.

До сих пор я говорил о лирическом характере японской литературы (да и всего искусства), указывая главным образом на порождаемую им пассивность, но это отнюдь не означает, что роль лиризма проявляется лишь в отрицательном плане. Бывает и так, что достоинства становятся недостатками, а недостатки — достоинствами. Ведь невозможно представить себе историю японской культуры без поэзии краткой формы — «танка» и «хайку», — созданной после антологии «Манъёсю»¹, без прозы, созданной после романа «Повесть о Гэндзи»², без живописи, театра, искусства садоводства (все это носит лирический характер и тесно связано с глубокой любовью к природе). Эти творения принадлежат не только Японии, но и всему миру. Нужно не отрицать это искусство, а дать ему расцвести заново для здорового, свободного человека, нужно вывести его из темного, душного помещения на вольный воздух, на солнце, где оно обретет новую жизнь.

Но не пора ли перестать подводить итоги прошлого и делать предсказания на будущее? Лучше вернемся к современности. В послевоенной Японии, переживающей бурный переходный период, произведения наиболее видных писателей, представляющих буржуазную литературу, свидетельствуют о том, что традиционный японский лиризм глубоко укоренился в сердцах японцев. Я имею в виду такие произведения, как «Мелкий снег» Дзюньитиро Танидзаки (род. 1886) или «Тысяча цапель» Ясунари Кавабата (род. 1899). И даже если мы обратимся к творчеству Сигэхару Накано (род. 1907), наиболее видного представителя современной демократической литературы, мы снова столкнемся с этим. В молодости Сигэхару Накано начал свой путь в литературе стихотворением «Песня».

Перестань воспевать,
Перестань воспевать этот алый цветок, эти крылья стрекоз,
Этот вздох ветерка, запах женских волос,
Перестань воспевать!..

Казалось, этим стихотворением он сказал «прости» традиционному лиризму, но прошло тридцать пять лет, и его последнее произведение — роман «Цвет груши» — получило высокую оценку именно за тот замечательный лиризм, который пронизывает роман. Я не собираюсь выяснять здесь, является ли подобная эволюция заслугой или недостатком Сигэхару Накано, я говорю лишь о силе традиций японской литературы.

А как сказалось влияние иностранной литературы на эти традиции?

Вопрос этот — большой и сложный, и мне приходится сейчас коснуться его лишь крайне бегло.

В течение почти столетия после «Революции Мэйдзи»³ японская культура удивительно быстро и жадно впитывала в себя лучшие создания европейской литературы, стремясь переварить ее и усвоить (как известно, русская литература играла при этом чрезвычайно важную роль). Таким образом, иностранная литература постепенно стала органической частью — и это вполне естественно — жизни японцев. Большое влияние на развитие японской литературы оказали французские писатели — реалисты и натуралисты XIX века. Это влияние тоже было освоено органически, преобразовано на свой, японский, лад. В эту пору были созданы произведения, в которых литераторы описывают свою личную жизнь, обычную, повседневную жизнь, в манере, напоминающей заметки или дневник. И здесь тоже сказалась сила традиций.

После первой мировой войны внимание многих молодых писателей привлекли английские и французские писатели так называемого «психологического» направления. Произведения Джемса Джойса и Марселя Пруста во множестве переводились и рас-

¹ «Манъёсю» — поэтическая антология, созданная во второй половине VIII века; содержит наряду с чисто фольклорными произведениями оды и элегии поэта Какиномото Хитомаро, стихи о природе Ямабэ Акахито, стихи на социальные темы Яманос Окура, любовную и философскую лирику Отомо Якамоти и Отомо Табити и другие.

² «Повесть о Гэндзи» — лучшее произведение японской прозы начала XI века, написанное придворной дамой Мурасаки Сикибу; оно дает широкую картину быта и нравов аристократии того времени.

³ «Революция Мэйдзи» — половинчатая, незавершенная буржуазная революция, происшедшая в 1867—1868 годах в Японии.

ходились в Японии. Из среды этих молодых писателей вышел один из наиболее популярных деятелей современной японской литературы, человек, известный своими прогрессивными убеждениями,— Сэй Ито (род. 1905). Но и с ним повторилось то же — по мере того как наступала творческая зрелость, его произведения постепенно приобретали лирический характер, они сближались с жизнью и психикой японцев и становились все более непохожими на произведения европейской «психологической» школы.

Тем не менее спешу заметить, что некоторые тенденции «психологизма» — анализ и описание психологического состояния человека — издавна присутствовали в японской литературе наряду с лиризмом. Роман «Повесть о Гэндзи», написанный почти тысячу лет назад, тоже был произведением психологическим. Да и в недалеком прошлом писатель Нацума Сосэки (1867—1916), воспитанный на английской литературе, создал психологические романы, развив и продолжив традиционные национальные особенности японской литературы. Это говорит о том, что глубокий интерес японцев к внутренней жизни человека формировался на протяжении долгих веков. Другой писатель, намного моложе Ито, марксист по убеждениям, Хироси Нома (род. 1915), один из ведущих писателей демократического лагеря, тоже испытывал в начале своего творческого пути глубокий интерес к творчеству западноевропейской психологической школы, и на многих его произведениях, вплоть до самых последних, сохраняются следы этого увлечения. Но психологизм нашей литературы отнюдь не результат влияния или подражания иностранной литературе, психологизм этот своеобразный, чисто японский, он национальная особенность нашей литературы.

Итак, можно признать, что в японской литературе доминирующее место занимают произведения, в которых дается тщательное описание внутреннего мира человека, в то время как произведения, рисующие действия людей, противоречия и борьбу, конфликты общественной жизни, коллективное движение людей, занимают подчиненное положение. Разумеется, подобное явление вызвано определенными историческими условиями, и я вовсе не собираюсь утверждать, что это неизменная, незабываемая черта нашей литературы. Общественная жизнь в Японии постепенно меняется, она выдвигает перед литературой новые требования и создает почву для появления произведений, качественно отличных от прежних. Достаточно привести имена таких широко популярных писателей, как Тацудзо Исикава (род. 1905), Асихэй Хино (род. 1907) и сравнительно молодого Дзюмпэй Гомигава (род. 1916). Их произведения — «Тростник под ветром», «Отрезанная Окинава», «Условия человеческого существования» — уже известны советским читателям. Вот только, по мнению тонких ценителей литературы, их произведения чересчур уж сухи, слишком «деловые», а стиль их порой грубоват. Однако гуманизм, которым они проникнуты, волнует душу читателя. Мне кажется, что эти произведения, будучи переведены на иностранные языки, встретят за пределами Японии более сочувственную оценку и понимание, чем суждение о них японских ценителей литературы. А их переводчикам не придется столкнуться с трудностями при передаче тончайших психологических описаний в чисто японском духе.

Я говорил пока об эстетическом характере японской литературы, о ее форме и методе, но мало сказал о ее содержании. А между тем именно содержание-то и составляет главное. Нельзя рассуждать о современной литературе, не говоря о ее содержании. Основным же моментом в оценке содержания прежде всего должно быть то, как литература отражает волю народа к демократизации, к освобождению.

Но путь к освобождению вовсе не простой и не гладкий, он таит в себе много трудностей. Говоря о послевоенном периоде истории Японии, можно различить в ней два этапа. Первый из них — от окончания второй мировой войны до начала войны в Корее (1945—1950). В этот период в одних и тех же социальных условиях в литературе отчетливо определились два направления.

Одно из них олицетворяло собой голос отчаяния и душевной апатии, звучавший в обстановке распада и смятения, царивших в обществе. Писатели этого направления отрицали все человеческие ценности, проклинали жизнь, нередко используя при этом унаследованный от прошлого тончайший лиризм. Многие писатели этого направления безвременно умерли, сдружившись с вином, с наркотиками. Такими были Осаму Дадзай (1909—1946) и другие. Они оказали значительное влияние на молодежь.

Другое направление было демократическим. В то время казалось, что абсолютизм, военщина и феодальная идеология, разрушенные в результате военного поражения Японии, уничтожены навсегда. И японский народ, так долго страдавший под их гнетом, в большинстве своем верил, что именно сейчас наступило время, когда нужно строить на развалинах старой Японии новое, прекрасное общество. Начали активную деятельность вновь созданные демократические политические партии, рабочие профсоюзы, демократические союзы деятелей культуры, студенческие и женские организации. Некоторые представители старшего поколения литераторов осознали свою ошибку, что во время войны не оказывали сопротивления фашизму, или же раскаялись в том, что сотрудничали с ним. Они восхищались такими героическими личностями, как Такидзи Кобаяси¹ (1903—1933). Молодые литераторы были исполнены боевого духа и энергии, чувствуя себя бойцами на поле сражения. Они принимали деятельное участие в самых разнообразных формах общественной жизни. Часто бывало так, что общественная работа не оставляла возможности писателю заниматься литературным трудом, как, например, случилось с Сигэхару Накано, который был избран депутатом парламента. И все же в Японии появилось немало прекрасных произведений — достаточно назвать хотя бы книги Юрико Миямото (1899—1951). Японская демократическая литература, казалось, успешно развивается в содружестве с литературами соседнего Китая и Кореи.

Но вскоре наступил перелом. Он был связан с усилением «холодной войны» — составной части наступления империалистических сил во всемирном масштабе. В Японии это наступление нашло ясное и конкретное воплощение во многих событиях, которые принесла с собой война в Корее. Односторонне заключенный с США мирный договор (1951) сопровождался «договором с безопасности». Оба эти соглашения увлекали японский народ по пути, диаметрально противоположному демократии и сохранению мира. Заключение этих договоров стало отправной точкой для милитаризации. Политика, противоречившая интересам большинства, начала проводиться в области экономики труда, образования, культуры. Все это вызывало сопротивление прогрессивных кругов. Борьба между реакционными и демократическими силами продолжается и сегодня, оказывая серьезное воздействие на все области искусства.

Однако необходимо отметить, что нынешняя обстановка в стране отличается от той обстановки, которая существовала в Японии во время войны, когда прогрессивные явления культуры подавлялись чисто фашистскими, полицейскими мерами. Но если тогда применялись, так сказать, «политические» методы подавления, то теперь эти методы следовало бы назвать «экономическими». Теперь власти с любезной улыбкой объявляют о «свободе» слова, о «свободе» искусства. Они только сохраняют за собой свободу так же вежливо и с улыбкой закрыть дверь с помощью тех средств массового общения, которые целиком и полностью находятся в их распоряжении, для каждого, кто вздумает выразить неугодные им мысли.

Современное искусство находится в полном подчинении у коммерсантов с их торгашеским духом. Газеты, журналы, издательства, радио, телевидение — все средства общения художников слова с читателем — находятся в полной их власти. Таланты продаются и покупаются ими. Есть немало и таких деятелей литературы, которые умеют в чрезвычайно короткий срок нажить неплохое состояние. Но никто не смог бы поручиться, какая судьба ожидает завтра такого писателя или писательницу... Я не считаю нужным приводить здесь имена этих писателей — в общем бесплодных, хотя и весьма известных, — именно они любимчики прессы и радио. Названия их произведений тоже приводить не хочу. Не все ли равно, кто их написал, эти книги? Болезненная эротика, сцены убийств, заставляющие читателя трепетать от ужаса, «упоительно прекрасная» жизнь по буржуазному образцу — с помощью всех этих средств они стремятся поразить читателя, оглушить его, заставить его забыть о стремлении к правде. И многие люди, закрывая глаза на то, что поверхностное, частичное послевоенное «просперити» в действительности чревато опасностью для мира и счастья народа, гонятся лишь за мимолетными успехами.

¹ Такидзи Кобаяси — выдающийся писатель-коммунист, зверски убитый в полицейском участке через час после ареста в феврале 1933 года.

летными наслаждениями. А ведь с этим теснейшим образом связано разложение личности, загнивание искусства.

Значит ли это, что перед лицом подобного мощного наступления капитала, использующего все современные средства общения между людьми, подлинно честная демократическая литература совсем перестала существовать? Во все нет! Она борется с этим засильем пошлости и постепенно накапливает силы. И можно с уверенностью сказать, что в конечном итоге она выйдет победителем из этого сражения за прогресс против реакции, за национальную культуру против насаждаемой чуждой нам культуры.

Я позволю себе привести лишь несколько конкретных фактов. Старый заслуженный писатель Хироцу Кадзуо (род. 1891) поднял гóлос справедливого протеста против чудовищного «дела Мацукава». Этот факт, свидетельствующий о том, что литература сохранила совесть и честь, безусловно войдет в историю. Другой пример: когда через более чем десять лет после окончания войны влиятельный литературный журнал «Гундзо» провел среди читателей опрос, какое произведение послевоенной литературы они считают лучшим, подавляющее большинство высказалось за роман «Мертвая зона» Хироси Нома. Это свидетельствует о том, что, несмотря на засилье пустых, развлекательных книг, читатели по-прежнему сохранили правильные суждения о литературе. Живущий в Японии писатель кореец Ким Даль Су (род. 1919), уроженец острова Окинава Сэйдзи Симода создали удачные произведения, в которых отразился дух сопротивления. Но особенно примечательно то, что после войны в Японии появилось великое множество литературных кружков, которые объединяют рабочих, служащих, деревенских и городских домохозяек, школьников старших и младших классов. Члены этих кружков пишут о своей жизни, издают свои журналы, отпечатанные на ротаторе, а иногда даже типографским способом. Само собой разумеется, что эти кружки теснейшим образом связаны с прогрессивными литераторами. Это литературное движение становится большим подспорьем в движении за мир и за демократизацию Японии.

Демократические писатели и писатели — выходцы из литературных кружков в большинстве случаев помещают свои произведения в журнале «Синнихон бунгаку» (как, например, роман об острове Окинава). Этот журнал не имеет возможности выплачивать авторам гонорар, писатели должны зарабатывать себе на жизнь часто не литературным трудом или же помещая свои произведения в других изданиях. И всегда их серьезные, честные произведения находят читателей. Журнал «Синнихон бунгаку» не может организовать широковещательную рекламу, но все же находит достаточно читателей, чтобы в окружении всесильных коммерческих изданий продолжать успешно существовать. Может быть, найдутся люди, которые сочтут этот факт не заслуживающим внимания. Я придерживаюсь иного мнения.

Я верю, что наступит время, когда лирический характер японской литературы, являющийся ее национальным наследием, перестанет порождать произведения, проникнутые лишь настроениями грусти, как это было на протяжении долгого времени в прошлом, и в ней зазвучат чувства нового, свободного человека, такие же радостные, светлые, молодые, как стихи древней антологии «Манъёсю».

Перевела с японского И. Львова.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Мунблит. Повесть о рыбаках.— **А. Павловский.** Приметы времени.— **И. Мотяшов.** Правда сказки.— **Н. Стальский.** Книга живет.— **И. Бернштейн.** Чешский писатель об Америке.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Таланов. Книга о нашей Родине.— Кандидат исторических наук **И. Портной.** Очерк о целинном крае.— Полковник **Н. Денисов.** Воспоминания советского маршала.— **П. Шелест.** Выдающийся революционер и публицист.— Кандидат филологических наук **П. Николаев.** Летопись русской печати.

Литература и искусство

Повесть о рыбаках

В этой повести рассказано о том, как молодой ученый-ихтиолог, избравший темой своей диссертации биологическую защиту водорослей, чрезвычайно полезных в рыбном хозяйстве, приезжает в рыбацкий поселок на Азовском море, чтобы собрать необходимый ему материал.

Расчет у молодого ученого простой и разумный — опереться в своей работе на помощь людей, кровно в ней заинтересованных, людей, которые, несомненно, помогут ему своим опытом и знанием местных условий. Однако на деле все оказывается не так просто. Это верно, что первый же встреченный Сергеем Александровичем рыбак Данилыч, у которого он снимает комнату, проникается живым сочувствием к планам ученого и сразу же становится его усердным и деятельным помощником. Но зато председатель рыболовецкого колхоза Скиба относится к проблеме защиты водорослей с полным равнодушием и вообще оказывается человеком совершенно иного склада, причем именно от него-то и зависит решение весьма важного для успеха экспе-

диции вопроса. Речь идет о том, чтобы предоставить в распоряжение ученого моторную лодку, принадлежащую колхозу и вот уже несколько лет без дела стоящую в колхозном сарае. В хлопотах об этой лодке выясняется, какие сложные отношения существуют между Данилычем и Скибой и какими любопытными олицетворениями противоположных начал эти люди являются. Сам Скиба характеризует их разногласия следующим образом.

«Если ты хочешь сам жить, так дай и другим,— говорит он в разговоре с Сергеем Александровичем.— А он как ночной кобель: сам не спит и усю Слободку булгачит... Видите ли, мы уси тут работники, оказывается, нарушаем радянские законы, а он бережет их... Любой пустяк раздует так, шо только и ходу, шо из ворот да в воду. Привезут в Слободку керосин... Ну, бывает, шо нескольким хозяевам не достанет... Ну, ты приди до мене, мол, Скиба, помоги... Нет! Он в горсовет или в горком на костылях, як подбитый дудак, тюпает. Аврал подымает... Или возьмем белый хлеб. Нет, не сдобу, а печеный, формовой. Его тоже не всегда хватает — благосостояние-то советских людей

улучшилось, потребление выросло, каждому дай... А если его не хватает? Шо делать? Лучше хромать, чем сидеть! Ну, мы в сельпо бронируем (конечно, не официально) для тех, кому положено. Ну, скажите, шо тут такого? Если руководство будет стоять в очереди, кто же будет руководить? А вот он этого не понимает, заведется, и в автобус прыг да в горторг, а от него к прокурору — всех на ноги подымет... И вот меня, раба божьего, к Иисусу».

Как явствует из этой тирады, олицетворение плутовства, подхалимства, склонность выехать на кривой противостоят в повести святому беспокойству, стремлению к справедливости, стремлению к тому, чтобы справедливость восторжествовала немедленно и по возможности полно. И хотя Данилычу отведено в повести во много раз больше места, чем его противнику, хотя он-то и есть подлинный герой П. Сажина, но Скиба, так хорошо умеющий в жизни показать товар лицом и вылезти на первое место, и здесь, в качестве литературного персонажа, ведет себя точно так же — вертится перед глазами и, пользуясь дарованным ему автором острословием и примечательной внешностью, по временам пытается создать впечатление, будто и он ничуть не меньшая по рангу фигура, чем его соперник Данилыч.

Нетрудно представить себе читателя, который, установив, что в повести П. Сажина перед ним еще одно воплощение единоборства между защитником общественных интересов и ревнителем собственного благополучия, равнодушно отложит в сторону книгу.

— Я об этом уже множество раз читал! — вздохнув, промолвит такой читатель. — Стоит ли вновь возвращаться к этой истории с заранее всем известным финалом, где, разумеется, будет изображено торжество добродетели и бесславная капитуляция порока? Не вижу никакого смысла в новых и новых перепевах этой темы. Скибу и ему подобных такими сочинениями не испрашивишь, а читателей много порядка убеждать здесь не в чем — они и так сочувствуют Данилычу и ненавидят его врагов.

При всей внешней справедливости этого рода суждений наш воображаемый читатель неправ. Так же неправ, как его давний предшественник, со скукой откладывавший в сторону книжку на том основании, что в ней описано столкновение порока и добро-

детели или треволнения влюбленных, которым деспотические родители мешают соединиться.

Ведь если мы будем судить о книгах, сводя вопрос к тому, «о чем» эти книги написаны, нам, как говорится, предстоит печальная старость. Нашему читателю, извольте ли видеть, скучно читать о столкновениях между людьми вроде Данилыча и Скибы потому, что такие столкновения не раз изображались в нашей литературе! Ну, а как же быть, если борьба ревнителей общественной пользы и плутоватых стяжателей все-таки существует в жизни? Это старая тема? Правильно. Но должно ли смущать писателей обилие предшественников в том случае, если в старой, много раз описанной теме перед ними возникнет какая-то новая грань, если они обладают способностью видеть по-своему вещи, доступные многим, и писать о них так, что они предстают перед нами в новом, еще не виданном освещении? Вопрос этот сложный, но счастливая его особенность состоит в том, что его вовсе не обязательно решать. Пусть те писатели, которые вместе со своими немногочисленными читателями, одного из которых мы только что описали, питают склонность к тематической оригинальности, ищут новых сюжетов, а их менее изысканные коллеги довольствуются старыми, стремясь увидеть новое в уже рассказанных прежде историях. Пожелаем удачи и тем и другим, отметив лишь в скобках, что стремление к изощренным сюжетным построениям чаще всего свидетельствует не столько о самобытности, сколько о литературном кокетстве.

Но вернемся к повести П. Сажина. Мы остановились на том, что противопоставление Данилыча и Скибы — одна из главных ее коллизий, мимоходом упомянув, что поводом для очередного столкновения героев явился вопрос о моторной лодке, потребовавшейся молодому ученому. К сведению читателей, еще не знакомых с повестью, сообщаем, что в столкновении этом Данилыч и его новый друг одержали блистательную победу и Скиба принужден был выполнить все их требования. Произошло это после того, как Сергей Александрович и Данилыч побывали у секретаря горкома партии, и завершилось нижеследующей сценой:

«Сделав вид, что не замечает моей протянутой руки, Скиба, стоя за письменным сто-

лом (этим он хотел подчеркнуть, что разговор будет коротким), сказал в ответ на мое приветствие:

— Здравствуйте! — Не делая обычной для него паузы, продолжал: — Шож вы прийшли, когда я ще позавчера казав, шо не могу дать вам шлюпки... Ну не могу, и всё! — с раздражением сказал он. — Надо було з Москвы, как полагається у людей солидных, отношение или там заяву... Мы бы с МРС спланировали... А шож вы, як с неба свалились. А тут бичок скоро поидеть... Ну шо мне з вами, воду в ступе тольч? Не могу, и всё!

Он отвернулся к окну и пустил такую струю дыма, что в комнате стало темно. Я был в полном недоумении — неужели Маркушенко не говорил с ним?

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — подумал я, выходя из кабинета Скибы. Очухившись на крыльце правления, я потянулся за второй папироской, чего раньше не позволял себе натошак. Только я затынулся, как услышал за спиной голос Скибы.

— Слушайте! — сказал он. — Куда вы спешите?

Я вскинул на него глаза.

— Шо вы, — продолжал он, — не можете недельки две отдохнуть, а? Позагорайте, фрукту покушайте... Такую фрукту, как наша, в Москве ни за какие деньги не купишь! А недельки через две мы закончим план, тогда я сниму сейнер — валяйте хоть на Таганрогский, хоть в Арабатский залив... Можете аж до Керчи ходить! Га?

— Нет, — сказал я, — я не на курорт приехал.

— Ну, як знаете, — махнул он рукой, — дело хозяйское.

Я направился к выходу.

— Слушайте! — снова остановил он меня. — А может быть, вы с нами на бичка сходите? Я смогу поместить вас на флагмане. А?

— В другой раз с удовольствием, — сказал я, — а сейчас не могу.

— Ну, как знаете, — пробормотал он, повернулся и пошел в свой кабинет.

И опять не успел я сделать и десяти шагов, как снова услышал крик Скибы: «Слушайте!» Опять Скиба пытался дипломатничать, но я был непреклонен. Несколько раз он останавливал меня одним и тем же словом, которое он произносил каким-то тупым и скрипучим голосом. Вскоре до него дошло,

что я раздражен, и он перестал изображать из себя министра иностранных дел колхоза «Красный рыбак» и сказал совсем незнакомым мне, не скучным и не веселым, а каким-то решительно-отчаянным голосом:

— Слушайте! Шо, если я дам вам не баркас, а моторку, а человека вы сами договорите? Га? Ну того... Тримунтана... А? Он моряк о!

Скиба поднял большой палец на уровень своих глаз и хитренько, чуть заметно улыбнулся.

— А шо вон безногий, — продолжал он с нарастающим пафосом, — так это чепуха. Он любого хлопца за брючный ремень заткнет. Ну как, а?

Я промолчал, хотя предложение Скибы меня вполне устраивало и цену Данилычу я уже знал. Но надо же было выдержать «характер»!

— Ну, шо? — теряя терпение, спросил Скиба. — Шо, и это вас не устраивает? Берите! Мотор новый, шлюпка богацкая, а?

Больше тянуть было нельзя, и я сказал:

— Ладно!

— О це добре! — воскликнул он.

Читатель должен простить нам пространность этой выдержки, но облик Скибы предстает в ней с такой разительной точностью, что пересказать ее было бы невозможно. И не правда ли, как отлично выписан этот хитрец, сочетающий в своем характере извядки записного бюрократа с лукавством базарной торговки? Как идет ему этот его говорок, дающий повод Данилычу утверждать, что «он, чертяка, любит под украинца работать», как типично для него стремление перехитрить противника даже в том случае, когда исход спора, в сущности, предрешен.

И немалая заслуга П. Сажина в том, что образ Скибы, при всей его колоритности, не вызывает у читателя ни тени симпатии. В отличие от множества «отрицательных» персонажей, населяющих литературу и частенько затмевающих своих противников живостью, характерностью и естественностью поступков и побуждений, Скиба, как ни примечательна его фигура, порождает не усмешку, а раздражение.

Однако и это не главное в повести. Основная ее удача — образ Данилыча. В образе этого человека автору удалось самое трудное: не только убедить нас в правоте своего «положительного» героя, но и заставить запомнить его и по-настоящему полюбить.

Рядом с неповторимо характерной фигурой Скибы, которому позволено в повести и повеселить читателя, и, прикинувшись рачительным хозяином, попытаться снискать его уважение, и даже провести его кое в чем, П. Сажину удалось добиться того, что образ его любимца — Данилыча — выглядит значительно более колоритным и жизненно достоверным.

Продемонстрировать здесь облик этого героя П. Сажина с такой же наглядностью, с какой это можно было сделать, процитировав несколько разговоров со Скибой, нельзя. Образ Данилыча гораздо более сложен и глубок, чем образ его врага. Понять Данилыча можно, лишь услышав его жизнеописание, узнав о его поступках, о его отношении к людям, к своему долгу, к своей судьбе.

Но горестная история Данилыча, его несчастная любовь и неуютная, недружная жизнь с женой, пристрастие к выпивке, по временам одолевающее его, и вместе с тем страстная жажда деятельности, которую он испытывает непрерывно, его героическое участие в Отечественной войне и борьба с бюрократами, отказывающими ему в протезе на том основании, что он стал калекой еще в довоенное время и у него бытовая травма, а рядом со всем этим его трогательная преданность «ученому хлопцу» и самоотверженная готовность взять на себя в экспедиции самую трудную часть работы — все это так индивидуально, так живо и так по-человечески обаятельно, что где уж Скибе соперничать с этим своим противником в глазах читателей. Причем обаятельность в образе Данилыча возникает не потому, что разумное в нем соседствует со вздорным или деловитость с пристрастием к выпивке. Он нарисован вовсе не в тех традициях, которые некогда побуждали писателей сдобривать «для живости» характеры своих положительных персонажей маленькими слабостями и простительными пороками. Данилыч действительно живой человек, и это не результат писательских ухищрений, а награда за стремление к правде. И вот в этом не только достоинство, но и своеобразие повести П. Сажина, которое не успел заметить нелюбопытный читатель, описанный нами вначале.

Наша литература — литература прогрессивная в самом подлинном значении этого слова. Положительные герои, изображенные в книгах наших писателей, неизменно за-

щищают правду, добро, справедливость, они неизменно честны, действуют, руководясь чистейшими побуждениями, умно и красноречиво рассуждают, возвышенно чувствуют. Но заметили ли вы, что иногда, если рядом с таким положительным героем в книге или пьесе появляется его антипод, человек, идущий кривыми путями (особенно, если такой персонаж наделен комическими чертами), его образ выглядит более живым и естественным, чем образ защитника добра и правды? Происходит это, разумеется, не потому, что наши писатели с большим рвением работают над портретами отрицательных персонажей или недостаточно талантливы, чтобы сделать живыми свои олицетворения благородства и честности. Все дело в том, что образы положительных персонажей бесконечно труднее писать.

Тем значительнее, на наш взгляд, удача П. Сажина, сумевшего рядом с колоритнейшим образом хитреца и приспособленца нарисовать еще более колоритную фигуру чистого сердцем, простодушного труженика.

Но в повести есть еще один герой, о котором до сих пор не упоминалось. Этот герой — Азовское море. Оно вызывает у автора такое же горячее чувство симпатии и интереса, как и люди, живущие у его берегов. И надо отдать справедливость П. Сажину, он сумел написать об этом лишенном живописности, плоском маленьком море так, что нельзя не почувствовать своеобразной его красоты. Это умение заразить читателя собственным пристрастием, умение заставить его, читая, испытать те же чувства, которые испытывал автор, когда писал, — немалая заслуга автора повести.

Разумеется, если бы мы поставили перед собой задачу рассмотреть повесть П. Сажина подробно и всесторонне, нам обязательно пришлось бы отметить, что жизнеописание Данилыча, рассказанное им самим, изложено здесь с несколько излишней литературностью, а безответная влюбленность Сергея Александровича, внезапно возникающая в финале повести, выглядит в ней чужеродно и ничем не помогает раскрытию авторского замысла; может статься, что при таком подробном рассмотрении повести пришлось бы упомянуть о том, что образу молодого ученого не хватает той самой характерности, которая делает живыми фигуры Данилыча и Скибы, что в речах и поступках Сергея Александровича неощутим

его возраст, его профессия, его индивидуальность, что научная сторона повести существует в ней в виде отступлений, уводящих читателя в сторону от основной повествовательной линии, вместо того чтобы вплестаться в самую ткань повествования... Все эти недочеты в повести действительно есть, и при тщательном взвешивании ее достоинств и недостатков они должны быть упомянуты и соответствующим образом учтены. Но нам представляется, что о повести П. Сажина правильнее судить, не соотнося между собой ее отдельные достоинства и недостатки, а

оценивая тот уровень, на который автору удалось подняться в главном — в том, что составляет смысл его вещи,— в постижении сути и прелести людей, которых мы называем «хорошими», в умении заставить читателя полюбить одного из таких людей не только за то, что он прав в столкновениях со своими противниками, но и за чисто человеческую привлекательность, существо которой познаешь уже после того, как отдал свое сердце покорившему тебя человеку.

Г. МУНБЛИТ.

★

Приметы времени

Есть в Ленинграде молодой талантливый рассказчик Эдуард Шим. Он выпустил уже не одну книжку маленьких изящных миниатюр, написанных для детей,— это рассказы на одну-две странички о смекалистых обитателях природы; трудолюбивых ежах, проказливых белках, хитрых лисах. В каждом рассказе своя изюминка: одно какое-нибудь наблюдение, чаще всего именно одно-единственное, ради которого и написан весь рассказ. При такой манере есть, наверно, опасность показаться бедным — ведь всего-навсего одно наблюдение, есть также опасность, что рассказа вообще не получится, а выйдет простая фенологическая заметка — вроде тех, что иногда публикуются в вечерних газетах. Но Шим, конечно, понимает, что одного наблюдения, какого бы оно труда ему самому ни стоило и как бы ни было оно занято, все же маловато для художественного произведения. Поэтому, помимо «наблюдения», у Шима во всех рассказах ощущается еще и «сверхзадача».

Вот, например, рассказ «Тяжкий труд» — о еже. «Наверняка всякий слышал про то, как еж на колючках таскает листья. Говорено про это много,— не без лукавства пишет Шим.— Ловко так в рассказах-то получается: повалялся еж, наколол листву и стащил в нору. С плеч скинул — и все тут.

А на деле — другое. Не так просто.

...Семенит еж по тропинке, несет три листочка: два с боков, один на загорбке. Ему эта ноша нипочем, не чувствует, на-

верно. Вдесятеро больше бы унес. Но ведь иголки-то частые, плотные, листья на них плохо накальваются. Все равно, как нам гребнем бумагу протыкать. Неспособно. Вот и приходится к норе трусить почти порожняком... А как снимешь листья? Лапой не ухватить. Зубами — и думать нечего... Стал еж об корень тереться, сдирать листья. С боков-то содрал, хоть и разлохматил. А вот с загорбка — никак. Пыхтит от усердия, задними лапами поддает, а лист не слезает, да и баста. Долго старался. Умаялся, а листа так и не снял. Постоял, сказал: «туфф, туфф» — это, наверно, вроде нашего — «ох, ох» — и отправился назад по тропинке.

Как скрылся он из глаз, я в низинку сбегал, принес листьев, сунул в нору.

— На тебе, не мучайся!

Нельзя было не помочь. Такая тяжелая работа у ежа!»

Что в этом рассказе интересно для детей? Само наблюдение? Конечно. Но, помимо наблюдения, дети незаметно для себя начинают понимать, что все в окружающем их мире создано и создается трудом. У Шима трудится вся природа ежеминутно и непрестанно. Следовательно, и ты, маленький человек, школьник, пионер, должен быть готов к тому, чтобы достойно занять свое место в этом вечном круговороте труда. Уж если еж так трудится, то человеку вовсе не пристало лениться!

Для Шима труд не только средство педагогического воздействия, но, если хотите, даже целая философия, пронизывающая не только его произведения для детей, но и рассказы для взрослых, собранные в вышедшем недавно сборнике

«Ночь в конце месяца». Все рассказы сборника именно о труде. Причем Шим, как правило, любит показывать труд ручной, тяжкий, требующий многолетнего опыта, сноровки, традиций, а значит, и большой любви к нему. В рассказах трудятся у него столяры, плотники, строители, пастухи,— словом, люди тех простых профессий, у которых на ладонях застарелые мозоли, у которых мускулы, как камни, которых после работы пошатывает от усталости.

«Через полмесяца мозоли на моих руках стали желтыми и твердыми, как старая кость. Они уже не болели, только сжимать руку было неловко, будто она сунута в жесткую перчатку. Я хорошо помню тот день, когда я впервые сработал свою норму... А я чувствовал себя именинником, мне было радостно, словно я выдержал, выстоял в каком-то очень важном испытании... Меня пошатывало от слабости...» («Ночь в конце месяца»).

«Как это было трудно!.. Дерево сопротивлялось, оно почти визжало, когда отрывались волокна; оно вывертывалось, изгибалось, и Алеша в слепом отчаянии наугад двигал и двигал рубанком... Потом неделю у него ныла спина. Невозможно было нагнуться. Свежие мозоли кусались так, будто в руках зажаты раскаленные пятаки» («Ученик мастера Соболева»).

Надо отдать должное Шиму: он хорошо, в деталях знает то, о чем пишет, и его наблюдения над работой с помощью рубанка нередки так же точны и интересны, как и его природоведческие находки. Кто знает — может быть, та точность и внимательность глаза, какая все время чувствуется в многочисленных деталях, рассыпанных по его «взрослым» рассказам, может быть, эта точность глаза была впервые выработана Шимом именно на природе, в многочасовых, терпеливых наблюдениях над животными, птицами и растениями. Что же касается единства авторского мировосприятия в рассказах «Тяжкий труд» и в произведениях для взрослых, собранных в нынешней книжке «Ночь в конце месяца», то оно очевидно. У Шима есть, следовательно, качество, очень важное для писателя,— свой взгляд на мир, а значит, и своя манера.

Э. Шим, разумеется, не останавливается на художественной констатации извечной тяжести человеческого труда. Если бы он

этим ограничился, он пришел бы к мысли о труде как проклятию. Но труд у Шима всегда праздник, великое благо и подлинно человеческая радость. Люди трудятся у него вдохновенно, радостно и самозабвенно.

В «Ученике мастера Соболева» Шим рассказывает легенду. Жил когда-то в старинные времена искусный мастер-краснодеревщик. Он полировал мебель так, что она казалась вырубленной из драгоценного камня. Окончание полировки он определял по отражению в зеркальной поверхности вещи своего седого волоса. Однажды старик полировал крышку рояля, он полировал ее неустанно и бесконечно. Никто не видывал лучшей полировки, но старик продолжал трудиться, пока не умер: он не догадывался, что начал слепнуть, и ждал отражения своего волоса, не считая возможным кончить работу.

Шим любит описывать самый процесс работы, это всегда выходит у него и поэтично и романтично.

«На верстаке лежит дубовая доска. Она перекошенная, в трещинах. Цвет у нее как у гнилого сена. Темные сучки похожи на старческие закрытые глаза... В доске много разных вещей. Только все они скрыты под грязной корой, спят как мертвые.

Но Алеша может их разбудить.

Он обнимет рубанок за теплую спинку, проведет по доске. Морщинистая стружка брызнет вверх. И откроется чистое дерево, будто ксжа в легком загаре, и дубовый сучок взглянет на Алешу живым и веселым глазком.

Как в сказке, Алешины руки разбудят спящую красоту... Алеше эти минуты всегда казались волшебными. Ну да, он знал законы полировки, он долго муштровал руку, добываясь ее послушности... Но рождение мерцающего света в глубинах дерева было таким необъяснимым, что Алеша невольно боялся — вот дрогнет рука, и чудо исчезнет, от неловкого движения погаснет таинственный огонь».

Романтика труда у Шима не наигранна, не риторична. она очень искренна и рождается естественно и даже незаметно для читателя из самой сути правдиво описанных человеческих отношений и характеров.

Естественно, что при таком видении и осмыслении своей излюбленной темы писатель мерилом человеческой личности, всех ее качеств делает именно труд. Герой

рассказа «Лушка Сапогова», молодой про- раб, готов поначалу едва ли не презри- тельно, во всяком случае свысока, отно- ситься к простой работнице Лушке. Она и впрямь страшно неуклюжа, некрасива, го- лос у нее такой, что им впору «кирпичную кладку сверлить», ругается бесшабашно и грубо. Внешняя примитивность Лушки и то обстоятельство, что она, по-видимому, была вполне удовлетворена своей скром- ной, рядовой судьбой обыкновенного строи- тельного рабочего, заставляли героя рас- сказа рассуждать о ней так: «Все просто, как гвоздь. Существуют люди на свете, которые всю жизнь остаются на зауряд- ной, черной работе. У них не хватает спо- собностей подняться выше, и они до стар- ости работают каменичками, малярами, дворниками. Такова и Лушка».

Но рассказ неторопливо движется даль- ше, сменяются эпизоды, как всегда у Шима, очень точно, в подробностях рису- ющие будничную жизнь стройки, и образ Лушки мало-помалу проясняется и для героя рассказа и для нас самих. Она, ока- зывается, из той же породы людей, что и старинный мастер-краснодеревщик, о кото- ром рассказывала легенда, потому что не менее его влюблена в свою работу, потому что она, как и он, талантлива — вот в чем все дело!

«Десятки работ были ей известны до тонкостей; с одинаковой уверенностью она брала в руки вибратор, плотницкий топор или стальной мастерок. И этот инстру- мент, взятый от разных людей, вдруг ока- зывался ей удивительно впору, словно она давно уже привыкла к нему и знала его особенности...»

Описывая талантливых русских умель- цев, людей «тяжкого труда», Шим видит в этом исконную традицию, идущую, не прерываясь, к современным людям, его ге- роям, из легендарной дали веков. Недаром столяр Соболев «по едва уловимым при- знакам, по следам инструмента на древе... узнавал древнего столяра», когда реставри- ровал старинную музейную мебель. «Сдви- гались пространства,— пишет Шим,— ис- чезало время, ничего не оставалось, кроме тайной связи, объединявшей двух человек из разных столетий. Этой связью было ма- стерство — непреходящее, вечное...»

Возможно, что пафос мастерства — «не- преходящего, вечного» — мог бы оказаться в книге Шима самодовлеющим, если бы

«мастерство» и «время» были для него по- нятиями отвлеченными. Но мы уже сказа- ли, что Шим обычно очень точен в своих деталях и конкретен в обрисовке характе- ров. Как бы ни был близок его Соболев легендарному старинному мастеру, он че- ловек своего времени. В труде героев Шима мы ощущаем заботы сегодняшнего дня. Труд для них не самоцель и, тем бо- лее, не средство для наживы или карьеры. Лушка Сапогова не только талантлива, она еще и человек высокого гражданского сознания: ей уйти со своей тяжелой работы «жалко». Почему? А «кто заместо меня работать будет? За двенадцать-то лет я кой-чему научилась... И могу такое, чего другие не могут».

Другими словами, для нее дороги инте- ресы стройки, интересы и польза — в ко- нечном счете — всей страны.

У Шима, таким образом, есть хорошая художническая чуткость к новым приме- там времени. Несколько его рассказов — в особенности «Полдома» и «Дорога» — посвящены целиком теме раскрытия новых черт характера в современном человеке. Рассказ «Полдома» особенно хорош; в нем изображены молодожены, снявшие комнату в каком-то южном городке. С точки зре- ния хозяйки дома, молодые супруги со- вершенно «не умеют жить» — они легко и беззаботно относятся к деньгам, хотя имеют их в обрез, не ссорятся из-за про- павших вещей, не торгуются из-за высокой цены... Все это кажется хозяйке странным и непонятым и рождает в ее очерствев- шей душе смутные и беспокойные чувства. Да, родились какие-то новые люди, старые скопидомские порядки для них просто не существуют, сама их психическая органи- зация отмечена какой-то небывалой но- визной и свежестью.

Сродни им и героиня рассказа «Доро- га» — молоденькая женщина, проделавшая длинный путь в Сибирь с такой завидной легкостью и беспечностью, словно бы все окружающие заранее предупредили ее о непрестанной с их стороны помощи и вни- мании. «Она не благодарила меня и вела себя так, будто иначе и не могло слу- читься: я должен встретить ее, взять че- модан и проводить в деревню. Все просто и обычно.

И я подумал, что, наверное, вот так, как должное, принимая помощь от неизвест- ных людей, эта женщина и проделала весь

свой длинный путь — в поездах, на машинах, пешком...»

Что ж, может быть, это просто молодость, беззаботная, беспечная молодость, ждущая от жизни только радостных сюрпризов и чудес? Да, конечно, и молодость. Но все же прав герой-рассказчик, когда говорит: «Нет, это не легкомыслие, не беспечность, это совсем другое...»

Где-то в основе поведения таких людей. как героиня «Дороги» или молодожены из рассказа «Полдома», живет, очевидно, чувство большой родственности всему окружающему их миру — случайные попутчики или соседи представляются их сознанию, в сущности, членами одного коллек-

тива, именуемого советским обществом, а необъятная страна кажется родным и обжитым домом, населенным давними и хорошими знакомыми.

Как видим, Э. Шим — интересный прозаик, и, хотя в его сборнике можно найти слабые вещи — вроде слащавых «Подснежников» и шаблонного по сюжету, психологически малоубедительного рассказа «Палан Красная Калина», — читатель, несомненно, оценит и интеллектуальную напряженность лучших рассказов Шима, (качество, не столь уж часто встречающееся), и хороший язык, и художническую наблюдательность автора.

А. ПАВЛОВСКИЙ.

★

Правда сказки

Сухие и скучные люди не любят сказок. Они их не понимают. Они всерьез думают, что сказка — это неправда и годится лишь для несмышленных детей. Нам их жаль, этих людей: им не знакома светлая и окрыляющая радость общения со сказкой; для них закрыт чудесный мир, рожденный фантазией сказочников, мир необычный, волшебный, но бесконечно далекий от надуманного, ложного, искажающего жизнь и уводящего от нее!

Пьесы-сказки Т. Габбе, изданные недавно отдельной книгой в Детгизе, уже много лет не сходят с театральных подмостков крупнейших городов нашей страны. Не утрачивают они своих достоинств и в чтении.

...Жадные чужеземцы лишили вольный Город Мастеров свободы. Владыкой города стал наместник иностранного короля герцог де Маликорн. Только один человек в городе, старшина цеха ювелиров и часовщиков Мушерон, признал власть наместника.

Наместник был уродлив — горбатый, с противным обезьяньим лицом. Страшась своего безобразия, он никогда не показывался на глаза жителям Города Мастеров.

Но был в городе еще один горбун — метельщик Жильберт, прозванный за свой горб Караколем (улиткой). Он не стыдился

и не боялся людей. Он трудился, как все, и пел людям песни: о правде, о радости, о победе добра... Он возглавил восстание горожан против наместника. Враги были убиты, изменники наказаны. Город Мастеров снова стал вольным и счастливым.

Когда это было, в какой стороне,
Об этом сказать мудрено:
И цифры и буквы у нас на стене
От времени стерлись давно,—

поет перед опустившимся занавесом Улитка, которая тоже является одной из героинь пьесы. Да полно, стерлись ли? Ведь если исключить некоторые элементы фантастики и заменить титулы, имена и костюмы, то можно подумать, будто сказка повествует о реальных событиях. Есть и теперь еще на земле страны, где на плечах трудового народа сидят пытающиеся скрыть свое истинное лицо наместники и трусливо-жадные предатели мушероны. И то в одной, то в другой из них, как было недавно в Ираке или на Кубе, как происходит сейчас в Алжире или Конго, поднимаются волны народного гнева и обрушиваются на захребетников. Нет, весьма современная и своевременная эта сказка про Город Мастеров.

О подчиненной роли вымысла в своих пьесах хорошо сказала сама Т. Габбе. В прологе к сказке «Оловянные кольца» у нее есть следующий разговор между Старухой-Сказкой и Автором, согласившимся «впустить» Сказку в созданную им пьесу:

Т. Г а б б е. Город Мастеров. Пьесы-сказки. Редактор С. Миримский. 384 стр. Детгиз. М. 1958.

«Автор. Только имейте в виду: характеры должны остаться мои.

Старуха. Идет! А имена и костюмы пусть будут мои — сказочные.

Автор. Идет! Но предупреждаю вас: мысли будут мои.

Старуха. А приключения — мои.

Есть в сказках Т. Габбе важное достоинство, отличающее подлинную сказку от ремесленной поделки, — глубина, емкость инсказаний.

В сказке «Город Мастеров» горб наместника — это своеобразное обнажение его внутреннего уродства, черноты его души, неправды его жизни. Вот почему наместник прячется от народа: он боится, что правда рано или поздно откроется и тогда все увидят, с каким отвратительным существом имеют дело.

Караколь, в отличие от наместника, не придает своему уродству большого значения. Для веселого метельщика оно внешнее, неглубокое и непрочное. Душа Караколя прекрасна и благородна. Не случайно, что любящей Веронике Караколь вовсе не кажется горбатым.

Сказки Т. Габбе учат, говоря ее собственными словами, «отличать поддельное от настоящего, простоту — от глупости, ум — от хитрости, гнев — от злости... Не бояться страха, смеяться над тем, что смешно, черное называть черным, а белое — белым...» И есть в них одна мысль, образующая своего рода идейный стержень всех помещенных в книгу пьес. Это мысль о красоте мнимой и красоте подлинной, являющейся залогом истинного счастья.

Настоящую красоту увидеть нелегко. Для этого нужно иметь зоркий глаз и доброе сердце. Для этого надо быть мудрым и человеческим.

Подруги Вероники заметили, что у Караколя исчез горб. «Посмотри, Вероника, какой он стал красивый, наш Караколь!» — воскликнула Лорнана. «Прямой, статный!.. — добавила Маргарита. — Как он переменился!» — «Разве? — искренне удивилась Вероника. — А по-моему, он всегда был такой». И старая проницательная гадалка, бабушка Тафаро, поддержала ее: «Правда, Вероника! Он всегда был такой, да не все это видели».

В сказке «Оловянные кольца» одна принцесса Алели — наивное и милое существо — сумела разглядеть за непривлека-

тельной и смешной внешностью садовника Зинзивера человека большой и прекрасной души и полюбила его. Физическая красота, пришедшая к садовнику вместе с любовью принцессы, и здесь выступает лишь как форма, делающая его внутреннюю красоту видимой каждому. «...Чего не хватало Зинзиверу? Только одного: чтобы все увидели, как он хорош», — говорит Алели.

В сказках Т. Габбе отнюдь не случайный гость щедрая, порой веселая, порой навевающая легкую грусть выдумка. Она и в занимательных хитросплетениях сюжета, и в остроумно-значительных именах персонажей — принц Болталон, купец Скоробогаччио, доктор Лечиболь, — и в забавном, но опять-таки не бесцельном, «обыгрывании» знакомых слов, вдруг обретающих для нас неожиданный смысл. Когда Золушке приходится в пору хрустальный башмачок и становится ясно, что быть ей теперь принцессой, Мачеха, только что говорившая о ней, как о презренной нищенке-замарашке, круто меняет тон: «Это моя младшая дочь! Моя радость! Моя любимица!..» — «А мне было показалось, что вы называли ее вашей служанкой или даже судомойкой», — ядовито осведомляется королевский шут. Однако Мачеху не смутит. Она моментально находит ответ: «Ах, она была для нас всем... Всем на свете...»

Подобных находок в пьесах немало. И хотя только в одной из них — «Авдотье Рязаночке» — действуют заведомо русские люди, в каждой из пяти пьес можно услышать хорошую русскую речь — меткую, точную, образную. Органически входят в произведения стихи и песни С. Маршака, как всегда отличающиеся высокой простотой и находящиеся в единстве с замыслом автора пьес.

Понятно, не все сказки Т. Габбе равноценны. Лучшие из них — «Город Мастеров» и «Оловянные кольца». Значительно слабее «Сказка про солдата и змею». Ей явно не хватает драматизма, особенно в первой части, где рисуются взаимоотношения солдата Жана и принцессы Людовины. Слишком уж легко влюбляется бывалый и искушенный жизнью солдат в эту откровенно лживую и коварную женщину, наивно не замечая в ней ни лжи, ни коварства. Даже не раз отвергнутый и обманутый Людовиной, он продолжает по-прежнему верить ей, пока жестоко не платится за свою ничем не оправданную наивность.

Думается, здесь условность сказочной формы берет верх над реализмом содержания. В результате произведение теряет глубину, а с ней и значительную долю жизненности.

Чужеродной представляется фантастика в легенде об Авдотье Рязаночке. Не то чтобы она совсем не имела в пьесе смысла: смысл-то как раз есть. И лешие и волшебный жар-цвет играют здесь примерно ту же роль, что Медведь, Лев, Улитка и Заяц в «Городе Мастеров»: символически воплощают животворную силу родной земли. Но что уместно в одной разновидности сказки, может оказаться вовсе ненужным в другой. По самой своей сути повествование об Авдотье Рязаночке ближе к историческому сказу, нежели к волшебной

сказке. И не случайно фантастический элемент не оказывает почти никакого влияния на ход пьесы: лешие не помогают Авдотье избежать встречи с разбойниками, и не жар-цвет, а головы пленных ханских братьев решают участь рязанского полона.

Конечно, сказка имеет свои особенности и законы. Но подлинно-художественная сказка — явление реализма, и общие закономерности реализма для нее обязательны. Именно там, где Т. Габбе забывает об этом, ее подстерегает опасность «литературности» — подмены живого, органического творчества рассудочно-холодным «деланием», конструированием вещи, опасность, которой она счастливо избегает в лучших своих пьесах.

И. МОТЯШОВ.

★

Книга живет

Оскар Эрдберг (Тарханов) — один из первых советских писателей, написавших книгу о Китае больше тридцати лет назад. Это книга о взволнованном и мятущемся Китае, книга о стране, которая поднималась на борьбу против векового гнета иностранных поработителей, на борьбу за свободу и независимость.

Люди двадцатых годов помнят то волнение, тот напряженный интерес, с которым ловили мы каждую весть из бурлящего Китая. Вспомним знаменитый «Лучший стих» Маяковского, вспомним бурные овации на спектакле «Рычи, Китай!» в театре Мейерхольда, на балете «Красный мак» в Большом театре. Не было в те годы ни одного съезда, ни одной конференции, на которых не приветствовали бы народной революции в Китае, не тревожились бы за ее судьбы. Каждая, даже самая маленькая книжка о Китае мгновенно расхватывалась. Понятно, с каким интересом была принята книга Эрдберга, писателя, который поехал в Китай не как сторонний наблюдатель, а как работник международного коммунистического движения.

Все рассказы и очерки, составляющие книгу, тесно связаны с временем и местом их действия: они писались тут же, по горячим следам событий, под свежим впечатлением. Произведения эти объединяет и

скрепляет в единую цельную книгу партийная страстность и боевой темперамент коммуниста писателя, зоркость настоящего художника.

Советско-китайская дружба имеет свою историю, свои давние славные традиции. «Китайские новеллы» показывают прочность и органичность этой великой дружбы, показывают то огромное, решающее влияние, какое имели Великая Октябрьская революция и первые шаги Советского государства на пробуждение революционного сознания в китайском народе. Оскар Эрдберг раскрывает это влияние на небольших, самых простых, но таких убедительных примерах. Вспомним маленький рассказ «Талисман».

В далеком китайском городке, на севере Цзянси, герой-рассказчик встречается старого садовника, который, узнав, что перед ним советский человек, обещает показать ему привезенный его братом-матросом из «государства бедных» талисман. По словам старика, талисман этот утешает несчастных, лечит больных и награждает богатством бедных. Остерегаясь, оглядываясь, с опаской старик вынимает чудесный талисман — «Инструкцию Московского Совета Р.К. и К.Д. о взимании квартирной платы. Москва. 1923 г.». В дальний угол Китая проникла весть о Советской стране, проникли «могущественные силы, не знающие ни границ, ни расовой розни, ни религиозных различий». Это силы международной

О. Эрдберг. Китайские новеллы. Редактор М. Иванова. 178 стр. «Советский писатель». М. 1959.

солидарности трудящихся, это силы пролетарского интернационализма.

А вот заключительный рассказ книги, называется он «Красный шарф». Герои рассказа возвращаются из Китая через Монголию. В песках пустыни они хоронят погибшего по трагической случайности товарища, француза, боровшегося за революцию в Китае. У свежей могилы путники встречают караван. Китайцы — студенты московских вузов, Коммунистического университета трудящихся Востока и университета имени Сун Ят-сена — возвращаются на родину, чтобы работать для революции. Китайка, одетая в кожаную куртку, как русские комсомолки двадцатых годов, оставляет на могиле французского юноши красный шарф.

«Он полощется на буйном ветру и смеется над злой старухой-пустыней, над Великой Китайской стеной, которая протянулась на сотни километров южнее, он смеется над песками, под которыми похоронены великие империи прошлого, но которые бессильны помешать этой девушке в кожаной куртке с косыми глазами и черными жесткими волосами, этим юношам из КУТВа и Суновки прийти в Китай и разбудить миллионы его сыновей».

Миллионы сыновей Китая пробудились на наших глазах, создали великую Китайскую Народную Республику, строят социализм. Книга Эрдберга напоминает нам о тех героических юношах и девушках, которые начали борьбу за пробуждение своего народа и отдали ему все силы и самые жизни.

Задачей Эрдберга, по его собственным словам, было показать, как вступление в борьбу преображает вчерашних забытых кули в сознательных участников движения. Писатель показывает это с силой подлинного драматизма — вспомним, например, рассказ «Кульг предков», где самоотверженный поступок китайского юноши предотвратил разгром революционного отряда Красных Пик. Или перечитаем «Тайанскую симфонию», повесть о заурядной жизни китайского рабочего, после многих страданий и борьбы научившегося новой песне — «Интернационалу».

Писатель на живых примерах раскрывает рост революционного сознания масс, накопление опыта борьбы. Эрдбергу удалось это потому, что он вдумчиво наблюдал и

глубоко осмыслил взаимоотношения классов в китайской революции, он показал, как и в чем совпадали интересы классов и как они на определенном этапе должны были разойтись и действительно разошлись. Он во весь рост изобразил злейших врагов китайской революции и китайского народа. Это прежде всего иностранные империалисты.

Памфлет, названный «Великие демократии», и в наши дни звучит с огромной силой сатирического обличения. Он описывает празднование четвертого июля, Дня независимости Соединенных Штатов. Приводятся известные слова из провозглашенной 150 лет назад в Филадельфии «Декларации независимости»: все люди имеют право на «жизнь, свободу и искание счастья» — и рядом с ними коротенькие, но потрясающие данные о расстреле американской полицией мирной демонстрации в Шанхае. Рассказы «Без трех», «Ожидающие», «Христиане» — блестящие образцы сатирического разоблачения империалистов и империализма, их разбойничьей и бесчеловечной сущности.

Книжка Эрдберга создавалась в годы, когда китайская компартия была в союзе с гоминданом, когда шли еще споры о роли гоминдана и национальной буржуазии в китайской революции, когда раздавались голоса оппортунистов, утверждавших, что именно буржуазия должна быть гегемоном революции. «Китайские новеллы» беспощадно развенчивают буржуазно-реакционную сущность правого крыла гоминдана, показывают его предательскую роль. Теперь правый гоминдан и Чан Кай-ши давно разоблачили себя как враги китайского народа. Но и сейчас убийственная сила этих рассказов-памфлетов не уменьшилась, не ослабла. «Грязные ноги», «Три принципа мистера Куна», «На горе Лушань» и особенно «Ночь четвертого августа» остаются замечательными образцами сатирического разоблачения классовой сущности правого гоминдана и предательства его вождей. Особенно хорош последний рассказ. В нем сжато, почти протоколно, описываются продолжающиеся из вечера в вечер заседания гоминдановской комиссии по аграрному вопросу, даются убийственные портреты ее участников, коротко приводятся их речи.

«За окнами ночь, знойные мостовые, дремлющие в полузабытьи кули. За городской стеной — рисовые поля. Изрезанная

межами, плененная земля. И пахари в развалившихся хижинах.

За окнами ночь, кули на мостовых, пахари на плененной земле».

Страна ждет. Деревня ждет. Но гоминдан не спешит проводить аграрную реформу. У самих членов комиссии по несколько тысяч му земли. Поэтому они утверждают: «В Китае нет крупных помещиков».

Критика тридцатых годов высоко оценивала небольшую и скромную книжку «Китайских новелл». Например, А. Селивановский в 1929 году в журнале «Октябрь» писал: «Мы имеем художественную книгу о китайской революции, лучшую из многих,— книгу, на страницах которой прощупывается биение сердца освобождающегося от иноземных и отечественных поработителей Китая».

За стуком этого сердца следил тогда весь мир, и прежде всего его лучшие люди. В архиве М. Горького хранится письмо, написанное Марией Павловной Кудашевой, женой Ромена Роллана, 14 апреля 1932 года. В нем она пишет, что Ромен Роллан усиленно разыскивает материалы о борьбе китайского народа и «прочел несколько рассказов Эрдберга в журнале Иллеша и Ясенского (в журнале «Интернациональная литература», редактировавшемся в те годы

Б. Иллешем и Б. Ясенским.— Н. С.). Они очень его заинтересовали. Этого направления ему и не хватает». Очевидно, подруга писателя имела в виду боевую направленность рассказов, глубокое проникновение в жизнь народа, которыми отличаются рассказы Эрдберга и которые, вероятно, пришлись по душе Ромену Роллану.

Оскар Эрдберг оставил небольшое по объему, но значительное и очень емкое литературное наследие. Маленькие его вещицы написаны с мастерством подлинного и очень своеобразного художника. Сжатая выразительность, экономный и энергичный язык, короткая и быстрая фраза, умение точно и броско нарисовать портрет, строго отточенная литературная форма — основные признаки этого мастерства. Эрдберг остался в истории советской литературы автором одной-единственной книги. Но книга эта живет и будет жить. Пожелаем, чтобы она попала на книжные полки не только советских, но и зарубежных читателей. Она расскажет много важного и ценного и китайскому читателю и читателям стран Азии и Африки, особенно читателям тех стран и народов, которые борются за освобождение от колониального рабства, от иностранного империализма.

Н. СТАЛЬСКИЙ.

★

Чешский писатель об Америке

Путевые очерки принадлежат к таким литературным жанрам, в которых особенно отчетливо проявляется личность автора. Чешская литература XX века богата разными, непохожими друг на друга и притом первоклассными произведениями этого жанра. Трудно спутать иронические очерки К. Чапека, свидетельствующие о его тончайшей наблюдательности, с лирическими дневниками М. Пуймановой, а страстные боевые репортажи Ю. Фучика с обстоятельными заметками Я. Дрды. Свой вклад в чешскую литературу о путешествиях вносит и книга Людвика Ашкенази «Бабье лето».

В этой книге об Америке,— точнее говоря, о Нью-Йорке,— своеобразно переданы неповторимые впечатления взволнованного наблюдателя, по-своему переживающего увиденное.

Л. Ашкенази. Бабье лето. Редактор М. Апрелева. 220 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

Л. Ашкенази, несомненно, обладает тонким поэтическим чувством, проявлявшимся и раньше в его рассказах и очерках. Он видит поэтическую прелесть и в одиноком желтом листе на скамейке нью-йоркского Центрального Парка, и в неоновой феерии рекламных огней на Таймс-сквере, и во всей «ультрасовременной неизъяснимой прелести нью-йоркского пейзажа». Человек, который так чутко к красоте, ощущает, обычно, и тепло человеческой души. С любовью рассказывает Л. Ашкенази об одинокой пожилой горничной немке в отеле, которая почувствовала внезапное доверие к приезжему, потому что Прага ближе к ее родному Дуйсбургу, чем Нью-Йорк, и о старой негритянке, «няньке» пса Помпея, «важная» должность которой дает ей возможность жить в фешенебельном районе Нью-Йорка, обычно закрытом для негров. Сердечно написан образ продавца газет мистера Купферберга с его воспоминаниями о

далеком Вильно, где он родился, и мечтой увидеть еще когда-нибудь настоящие березы; с мягким юмором изображен огромный полицейский Джо Кратохвил, уроженец чешской деревни Сушице.

Автор «Бабьего лета» обладает умением почувствовать скрытую драматичность и в обыденном эпизоде и в обычной человеческой судьбе. Немногословно и внешне спокойно передает он, например, всего один эпизод, происходящий на палубе фешенебельного парохода, идущего в Нью-Йорк. Бывший английский солдат, получивший за свои боевые заслуги лакейскую должность на пароходе, обслуживая гитлеровского генерала, который едет в Америку по делам, совершает не свойственную ему неловкость — роняет чашку с горячим бульоном. Этот случай на миг проткрывает целую драму униженного человеческого достоинства, за ним стоят не только характеры, но и судьбы людей. Драма открывается и за коротким, случайно подслушанным разговором на палубе между старым безобразным богачом американцем и молоденькой продавщицей мороженого из Парижа, которую он купил, то есть сделал своей женой, и теперь везет за океан, на родину.

Еще более глубоко раскрывает Л. Ашкенази драматизм в жизни людей, которых он знает ближе. А таких неприметных с виду драм много под крышами огромных зданий Нью-Йорка, в непрерывной суতোлке нью-йоркской жизни, полной кричащих противоречий. Рассказчик подружился с молодым американским экономистом Брайаном. Брайан не может найти постоянную работу, потому что его взгляды и его понятие обязанностей честного американца не нравятся тем, от кого зависит материальное благополучие. И хотя его жена, синеглазая Божка, чешка по происхождению, мечтает пожить спокойно «как все», она гордится своим неуступчивым мужем и понимает его. А как печальна история маленькой немолодой женщины, гости Брайана. Всю жизнь она с любовью и заботой учила детей. А теперь ее престарелая мать заболела, и она вынуждена пропускать занятия. Но из ее скромного жалования вычитают плату заместительнице. И вот эта женщина приехала издалека в Нью-Йорк, надеясь занять денег у своего бывшего ученика Брайана. А Брайан сам остался без работы и без денег и, не имея возможности помочь своей

старой учительнице, почувствовал себя самым низким человеком на свете.

За время своего пребывания в Нью-Йорке автор не раз сталкивается с проявлением недоверия к странам социалистического лагеря, искусственно раздуваемого панического страха перед угрожающей якобы атомной агрессией. На этих страхах спекулируют владельцы отеля, рекламируя шикарное бомбоубежище с дневным светом. Не удивительно, что радиопередача о нападении марсиан на Америку вызывает настоящую панику. Те, кто включил приемник в середине, решили, что речь идет о настоящем военном нападении таинственного врага. В атмосфере общего недоверия разыгрываются и комические эпизоды. Неожиданно из номера исчезают брюки путешественника. А когда он сообщает об этой пропаже администрации отеля, ему таинственно отвечают: международное положение так серьезно, что, очевидно, кому-то понадобилось обследовать карманы приезжего из «красной» Чехословакии.

Но наряду с паникой и недоверием пришелец из другого мира встречается с симпатией и с глубоким интересом к своей стране. Старая горничная, лифтер в гостинице относятся к нему с теплотой, с доверием слушает его Брайан, с взволнованным любопытством — мистер Купферберг. А в шофере такси, родители которого когда-то эмигрировали из далекой польской деревушки, желание узнать правду о социалистической стране вступает в такой острый конфликт с привычным недоверием к «пропаганде», что он даже пытается высадить своего пассажира среди дороги. Правда, потом они в полном согласии прибывают к месту назначения.

Одно из качеств Ашкенази-рассказчика — живое чувство юмора. С добродушной улыбкой рассказывает он об аккуратной и даже изысканно одетой нищесте на Бродвее (американская публика не любит дурно одетых, выглядящих несчастными людей), который «зарабатывает» немало денег, прося подавание под своеобразным девизом: «Сегодня — вы мне, завтра — я вам».

С бесподобным юмором рассказана история парикмахера Джованни Маруццо, который всю жизнь ждет прихода какого-то неведомого благодетеля и всю жизнь остается женихом, потому что «на невесте можно еще кое-что сэкономить», а на жене — нет.

Л. Ашкенази передает, казалось бы, совершенно без комментариев объявления и ответы на вопросы читателей, которые публикует одна газета, или содержание телепередачи. Но сам объективный тон делает особенно ясным удивительное убожество интересов, грубость нравов, которые отражены и в газетной «светской хронике» и в глупых ответах некоего многоопытного лица, знающего, как разрешать любое жизненное затруднение. И телепередача производила бы скорее комичное впечатление, если бы из нее не вырисовывалось с такой ясностью тяжелое положение американской школы, вызванное недостатком материальных средств. Уже не с юмором, а скорее с болью рассказывает автор о встрече с маленькими уличными артистами, возглавляемыми девятилетним бизнесменом-импресарио, который чувствует себя хозяином и безжалостно бьет барабанщика, пытавшегося присвоить брошенную зрителем монетку. Этот эпизод имеет весьма характерный подзаголовок — «Рассказ о свободном предпринимательстве». И отнюдь не улыбку, а негодование вызывает красноречивая сцена в вагоне метро, когда двое нагих мо-

лодчиков издеваются над старой негртяжкой и грубо оскорбляют пытавшегося образумить их пассажира.

С большой серьезностью и грустью говорит Л. Ашкенази об угрожающей распространности кровавых детективов, усиленно рекламируемых издательствами. Он пытается понять, какие черты общественной жизни Америки способствовали особой популярности детективных романов Микки Спиллейна и созданного им героя Майка Хэммера «с его кулаком, револьвером и моралью с позиции силы».

Путевые очерки Л. Ашкенази не претендуют на разрешение больших вопросов социальной организации Америки. Это только заметки наблюдателя — чуткого, тонкого и обогащенного опытом своей Родины, строящей социализм. Этот наблюдатель увидел много интересного и характерного для американской действительности. Книга Л. Ашкенази будет, без сомнения, полезна для советского читателя. Она познакомит с тонким и талантливым чешским писателем и расскажет много нового о заокеанской действительности.

И. БЕРНШТЕЙН.

★

Политика и наука

Книга о нашей Родине

Давно назрела потребность в такой популярной справочной книге. Можно лишь пожалеть, что до сей поры не издавались подобные маленькие энциклопедии.

Книга эта — о стране, протянувшейся с запада на восток примерно на четверть длины экватора. Страна так велика, что в ее часовых поясах Новый год встречают одиннадцать раз. И даже самый скорый поезд, если бы он мог безостановочно объехать ее границы, потратил бы на это два месяца.

СССР...

Могучее, гордое понятие заключено в четырех символических буквах. И сколь удивительной кажется Советская держава, если посмотреть на нее взглядом не привычным, а как бы со стороны. Именно такое ощущение создает книга «СССР как он есть», хотя

СССР как он есть. Популярный иллюстрированный справочник. Редакторы-составители Г. Х. Шахназаров и М. А. Лебедева. 464 стр. Госполитиздат. М. 1959.

в ней нет никаких нарочито подобранных «эффектов» или приукрашенных живописаний, а собраны лишь скупые фактические материалы и цифры. Сопоставленные друг с другом, они оживают, становятся конкретными, действенными и в своем сочетании рождают увлекательный, динамический рассказ.

Разделы книги, посвященные различным отраслям народного хозяйства, в этом отношении особенно показательны. Вот глава о металле. Нынче странно представить, что доля царской России в мировом производстве черных металлов составляла только шесть процентов. Недаром В. И. Ленин в 1913 году с горечью писал: «Относительно железа — одного из главных продуктов современной промышленности, одного из фундаментов, можно сказать, цивилизации — отсталость и дикость России особенно велики».

Весной 1924 года XIII съезд Коммунистической партии признал развитие метал-

лургии важнейшей государственной задачей. Советский Союз в короткий срок сумел выиграть битву за металл. Со сказочной быстротой были построены гигантские комбинаты с мощными домнами и мартенами. Не случайно имеются мартены, носящие имена былинных русских богатырей — «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович».

Уже в довоенное время по производству черных металлов СССР вышел на первое место в Европе и второе в мире. В последующие годы темпы развития металлургии были еще выше и намного опередили темпы передовых капиталистических государств. Среднегодовой прирост производства стали в СССР к 1957 году равнялся семи и шести десятым процента, а в США — всего лишь двум десятым процента. Разительное превосходство!

Краткие комментарии усиливают звучание цифр в справочнике. Таков, к примеру, впечатляющий рассказ о замечательных успехах наших угольщиков и нефтяников.

По темпам ежегодного прироста добычи нефти СССР занимает первое место в мире. Темп невиданный для российских нефтяников в прежние времена!

В короткой, но содержательной главе «Благородное топливо» говорится о промышленном использовании газа. Читатель получает любопытные сведения о крепнущей с каждым годом советской газовой индустрии и, в частности, о подземной газификации угля, что еще недавно было лишь инженерной мечтой.

К сожалению, менее удачна глава, посвященная электрификации. Здесь наряду с интересными сведениями встречаются общеизвестные истины, вроде: «Электричество не только дешево, но и наиболее удобно для применения. Электрический ток легко и почти мгновенно можно передавать на большие расстояния. Этого нельзя сделать, например, с энергией пара». Право, подобные «открытия» более уместны в какой-либо детской энциклопедии, а не в серьезном справочнике.

Разочаровывает глава «Незаменимые заменители» — о производстве пластических масс. И глубже и шире следовало бы осветить эту важнейшую тему. Как развивается у нас промышленность полимерных материалов? Каковы ее ближайшие перспективы? Об этом можно было бы рассказать очень много. Однако справочник дает лишь скуд-

ные и скучные сведения. Да, скучные, потому что они уже достаточно известны из популярных статей в газетах и журналах.

«Машиностроение — это ворота, через которые технический прогресс входит в жизнь индустрии». Нельзя не согласиться с этими несколькими вычурными, но по существу верными словами, которыми начинается одна из глав книги. Крупнейшие в мире реактивные самолеты, лучшие в мире турбобуры, атомные электростанции, советские искусственные спутники Земли, космические ракеты, а также многие другие выдающиеся достижения отечественной техники были бы невозможны без развитого машиностроения.

Уже в 1957 году наши машиностроительные заводы каждые два дня выпускали больше продукции, чем в дореволюционной России производилось за год. И если когда-то машиностроение сосредоточивалось преимущественно в Москве и Петербурге, ныне его география охватывает сотни городов в европейской и азиатской части Советского государства. Некоторые города прославились своей превосходной продукцией. Всем известны челябинские тракторы, горьковские автомобили, ростовские комбайны, свердловские экскаваторы.

Сведения этого раздела книги полезны и одновременно любопытны. Совсем не плохо, что иногда они напоминают журнальную рубрику «А знаете ли вы?..». Познавательная ценность фактов несомненна, а изложенные в такой форме они воспринимаются с большим интересом.

В этом отношении особенно удачен раздел «Преображенная земля», в котором много примечательных цифр и фактов, характеризующих колоссальные успехи социалистического сельского хозяйства. Наглядные диаграммы и остроумные рисунки служат запоминающимся дополнением к тексту.

Справедливо говорится в заключении этой главы книги: экономическая карта страны меняется с такой быстротой, что картограф едва успевает отмечать новостройки. И самая точная карта назавтра становится устаревшей.

А как сильно изменилась жизнь советских людей! Об этом убедительно рассказывают многие страницы книги. В разделах «Все для человека» и «Культура нового мира» собраны обильные факты, рисующие труд и быт, науку и искусство в социалистическом государстве.

Некоторые главы этого раздела звучат, как коротенькие монографии. Читатель почерпнет интересные данные о развитии советской литературы, живописи, музыки. К сожалению, гораздо скупее рассказ о кинематографии, о ее достижениях за последние годы.

Хотелось бы также гораздо больше узнать о жизни наших театров. Однако вместо творческой характеристики театров читателю дается лишь перечислительное описание репертуара прошлых лет. Весьма произволен список пьес, в которых воплощены образы положительных героев, строителей социализма. Притом список этот кончается почему-то на предвоенном периоде. Да и способно ли вообще принести кому-либо пользу такое перечисление?

Издатели справочника поступили правильно, уделив значительное место характеристике социальных условий в Советском государстве. Эта важнейшая тема нашла полное и в основном успешное отражение.

Отдельно хочется остановиться на оформлении книги. В изданиях такого рода внешнее оформление имеет огромное, почти самостоятельное значение. Наглядность, броскость рисунков и диаграмм усиливают выразительность текста и особенно цифрового материала.

На страницах книги встречаются иллюстрации, вполне отвечающие своему назначению. Повезло главе «Преображенная земля», где оформление органически сопутствует тексту и смыслово дополняет его. Есть и достаточно наглядные диаграммы, например, те, что показывают рост советской металлургии. Хороши рисунки в главе, посвященной социальным преобразованиям. Однако в целом оформление книги далеко не на высоте.

Прежде всего бросается в глаза разнообразность и пестрота художественного оформления. Реалистические пейзажи зача-

стую находятся в соседстве с шутивными рисунками или диаграммами, которые вдруг перемежаются далеко не всегда удачными фотопортретами выдающихся людей.

Чего, к примеру, стоит фотопортрет знатного рыбака И. Малякина и его дочери перед отлетом с Камчатки! Они кажутся сверстниками. Рядом помещено фото того же И. Малякина, прилетевшего в Москву в тот же день. Трудно догадаться, что это один и тот же человек! И помещены эти фотографии между рисунком дизель-электротохода и шутивной диаграммой.

На многих страницах встречаются просто нелепые рисунки. Почему-то данные об использовании газа для синтетических материалов украшает некая девица в более чем легком газовом платье. Сообщение о полете советского спутника в космос сопровождает странная карикатура «Собака в космосе!», как будто только в этом заключается смысл события мирового значения.

Некоторые рисунки настолько плохи, что без подписи трудно догадаться, что именно они должны изображать. На рисунке, помещенном на странице 15 и сильно смахивающем на рекламу рыбного магазина, крохотные килька и салака ничем не отличаются от крупных лосося и осетра. Еще более удивительное сходство обнаруживают изображенные на одном развороте (204—205 стр.) шесть тепловозов разной конструкции, выпущенных в различные годы.

Подобных примеров множество. И это особенно досадно, так как недостатки оформления заметно портят очень нужную и полезную книгу.

Надо надеяться, что в последующих изданиях справочник «СССР как он есть» будет избавлен от своих «детских болезней». Пожелаем ему счастливого роста!

А. ТАЛАНОВ.

★

Очерк о целинном крае

Акмолинская область... Здесь, на бескрайних степных просторах, не утихая, идет борьба за обильный урожай. Вместе с ветеранами целины трудятся тысячи моло-

Андрей Дубицкий. Акмола — город славный. Исторический очерк. Редактор И. К. Мириленко. 127 стр. Акмолинское областное издательство. 1959.

дых патриотов, приехавших сюда из различных городов и сел страны на постоянное жительство, чтобы вложить свои знания и труд в развитие экономики и культуры крупнейшего района по производству зерна и продуктов животноводства.

Молодые новоселы успели полюбить этот край, славный своими революционными гра-

дициями, замечательными успехами покорителей целинных земель, и хотели бы побольше узнать о его богатой событиями истории.

Такому знакомству помогает выпущенная Акмолинским издательством книга А. Дубицкого «Акмола — город славный».

Автор задался целью «кратко рассказать, при каких исторических условиях в казахской степи появились русские поселки и города, как возник и развивался Акмолинск, какие экономические и культурные завоевания были сделаны трудящимися Акмолинской области при Советской власти».

Автор начинает свое повествование с XVI века. Территорией современного Казахстана, с его привольными пастбищами, лесами, богатыми рыбой реками, залежами всевозможных руд, заинтересовались русские цари. Их привлекало и то, что торговые пути, пролежавшие через Казахстан, соединяли среднеазиатские и европейские государства.

Важной вехой в истории Казахстана явилось воссоединение с Россией, значительно превосходившей его в экономическом и культурном отношении.

В 1824 году на караванных путях была основана крепость Акмола, постепенно превратившаяся в город Акмолинск. Гарнизон Акмолы должен был защищать казахов, принявших русское подданство, от шаек вооруженных грабителей, а также охранять торговые караваны. В 1838 году малочисленный русский гарнизон отстоял крепость, осажденную многотысячными отрядами феодала Кенесары Касымова, стремившегося оторвать Казахстан от России.

Развитие капитализма в России в пореформенный период все больше превращало Казахстан в рынок сбыта хлеба и промышленных товаров, в источник животноводческого сырья. В результате спекулятивных махинаций купцы наживали состояния, в то время как трудящийся люд Акмолинска продолжал ютиться на окраинах и влачил полуголодное существование.

Достаточно полно и всесторонне излагаются в книге события на Акмолинщине в эпоху империализма, в период трех революций. На основе вновь выявленных архивных документов автор показывает тяжелые условия жизни казахских и русских рабочих на предприятиях горнодобывающей промышленности, принадлежавших русским и иностранным предпринимателям.

В начале XX века происходят первые забастовки на Карагандинских шахтах, Успенском руднике, Спасском медеплавильном заводе. Революционное движение народных масс продолжалось в годы столыпинской реакции и первой мировой войны.

Важное значение в сплочении трудящихся Казахстана для дальнейшей борьбы с царизмом имело народно-освободительное восстание 1916 года, получившее широкий размах на территории Акмолинской области. Казахские трудящиеся еще раз убедились в том, что смогут добиться освобождения от империалистического гнета и феодально-байской кабалы только в неразрывном союзе с русским пролетариатом, под его руководством.

Значительную ценность представляет собранный автором фактический материал о деятельности акмолинских большевиков в период Великой Октябрьской революции, а также в годы гражданской войны. Несмотря на свирепый белогвардейский террор, трудящиеся края не прекращали борьбы за родную Советскую власть. Самым крупным и организованным выступлением против ненавистного колчаковского режима было Мариинское восстание весной 1919 года, в котором приняли участие крестьяне Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского и Петропавловского уездов.

После ликвидации колчаковщины акмолинцы проделали огромную работу по заготовке продовольствия и оказанию помощи голодающим страны. В. И. Ленин лично поддерживал связь с Акмолинском, давая практические советы и указания.

В заключительной главе раскрываются коренные изменения, которые произошли в политической, экономической и культурной жизни города и области за годы Советской власти. Подробное описание этих преобразований, бурного развития сельского хозяйства после исторических решений февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС — несомненная удача автора.

Пятого марта 1954 года акмолинцы встречали первый эшелон новоселов — москвичей, прибывших для освоения целинных земель. За три-четыре года было распаханно три с половиной миллиона гектаров целины и залежи. Число совхозов возросло с пятнадцати до ста девяти, валовой сбор зерна увеличился в пять с половиной раз, а хлебосдача — более чем в десять раз.

Советская страна высоко оценила патриотическую работу акмолинцев. В 1956 году свыше семи тысяч тружеников сельского хозяйства были награждены орденами и медалями, а 29 особо отличившихся удостоены звания Героя Социалистического Труда. За выдающиеся успехи, достигнутые в производстве зерна и других сельскохозяйственных продуктов, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 ноября 1958 года наградил Акмолинскую область орденом Ленина.

В книге приведен ряд любопытных фотографий, помещен указатель основных событий, происшедших со дня основания Акмолинска и до наших дней.

Отдавая должное большой работе, проделанной автором, в частности, по выявлению документальных данных ряда архивов, музеев и библиотек, в то же время следует обратить внимание на наиболее существенные недостатки и упущения, имеющиеся в книге.

В первых двух главах содержится немало ценных сведений из истории края и города. Но они носят фрагментарный характер. Читатель не найдет четкой картины возникновения и развития экономических и политических связей России с казахскими ханствами. Не раскрыто во всей полноте историческое значение присоединения Казахстана к России и важнейший его результат — сближение русского и казахского народов в совместной борьбе против царизма, русских помещиков и капиталистов, казахских феодалов.

В этих главах отсутствует и глубокий анализ социально-экономических отношений. Автор подчас некритически следует за «Историей России с древнейших времен» С. Соловьева, за историком сибирского казачьего войска Ф. Усовым и за некоторыми другими устаревшими источниками. Говоря об административной реформе, разработанной М. Сперанским, автор почему-то делает вывод, что с 1822 года в Казахстане была уничтожена наследственная власть ханов и заменена выборными органами, а через

абзац сам опровергает свой тезис, показывая, что выборного правления здесь быть не могло.

Материал книги распределен неравномерно. Советскому Акмолинску, по сравнению с главами о дореволюционной истории города, уделено недостаточно места. Всего четыре страницы посвящено освоению целинных и залежных земель, вдохновляющая и направляющая роль нашей партии показана недостаточно. Последние главы перегружены статистическими материалами. Вместе с тем поверхностно показаны перспективы дальнейшего экономического роста Акмолинщины в семилетии.

Бледно освещено культурное строительство в области. В Акмолинске начинал свой творческий путь один из основоположников казахской советской литературы Сакен Сейфуллин. В годы борьбы за установление и упрочение Советской власти он создал здесь цикл своих замечательных стихов. В 1917 году была поставлена его пьеса «На пути к счастью». В книге об этом нет ни слова.

Автор ничего не говорит о Сабите Муканове — одном из ведущих писателей казахской советской литературы, творческий путь которого начался в двадцатых годах. Нет упоминания о плодотворной деятельности музыкальных школ в Акмолинске и Атбасаре.

Не всегда верна в книге историческая терминология. Так, на странице 3 автор называет казахские ханства «ордой». Там же он упоминает о «татарском царстве». Неточно воспроизведено высказывание Петра I о Казахстане (стр. 5). Книга не свободна от стилистических небрежностей.

Эти недостатки в известной мере снижают ценность книги. Все же она как систематизированный и в целом подлинно научный исторический очерк с интересом будет встречена массовым читателем и, в частности, теми, кто навсегда связал свою судьбу с этим замечательным краем.

Кандидат исторических наук
И. ПОРТНОЙ.

г. Акмолинск.

Воспоминания советского маршала

Книга Маршала Советского Союза А. И. Еременко «На Западном направлении» представляет собой воспоминания о боевых действиях советских войск в первый период Великой Отечественной войны. Они охватывают прежде всего те события, непосредственным участником которых был автор, находясь летом и осенью 1941 года на посту командующего (и заместителя командующего) Западным фронтом, заместителя командующего Западным направлением, командующего Брянским фронтом, а затем, зимою 1942 года, командующего 4-й ударной армией.

Автор «Воспоминаний» прибыл на Западное направление с Дальнего Востока в конце июня 1941 года. В сложившуюся тогда здесь обстановку его кратко ввел товарищ К. Е. Ворошилов. Автор так рассказывает об этом эпизоде:

«Посмотрев на меня внимательно своими добрыми, усталыми от бессонных ночей глазами, Климент Ефремович сказал:

— Дела очень плохи, сплошного фронта пока нет. Имеются отдельные очаги, в которых наши части стойко отражают яростные атаки превосходящих сил врага. Связь с ними у штаба фронта слабая... Нужно немедленно подтягивать резервы и вторые эшелоны, чтобы закрыть образовавшиеся бреши и задержать наступление противника; по-настоящему организовать управление войсками».

И, отнюдь не приукрашивая действительности, автор кратко, но выразительно повествует о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться советским войскам в первый период войны. Вместе с другими офицерами, находившимися у руководства войсками Западного направления, он принимал ряд мер для того, чтобы организовать действительный отпор врагу, рвущемуся на восток, к жизненным центрам страны. И многое, несмотря на чрезвычайную сложность обстановки, все же удалось сделать. Благодаря созданной под Могилевом сильной полосе заграждений удалось на целых десять дней

задержать наступавшие части гитлеровцев и тем самым выиграть время для развертывания подходивших к фронту резервов. Центральный Комитет КП Белоруссии и Военный Совет фронта ставили конкретные задачи организующимся партизанским отрядам.

С каждым днем нарастало наше сопротивление врагу. На Западном направлении в дни Смоленского сражения в районах Духовщины и Ельни советские войска нанесли большой урон гитлеровской армии и похоронили намерение фашистов молниеносно продвинуться к Москве. Описанию этого сражения посвящена глава «Бой за Смоленск». В ней приводится ряд интересных эпизодов, позволяющих читателю окунуться в тревожную обстановку того времени, рассказывается о деятельности многих военачальников, командиров и политработников и в том числе Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, ныне Маршалов Советского Союза И. С. Конев и К. К. Рокоссовского, дивизионного комиссара Д. А. Лестева, генералов Г. К. Маландина, П. А. Курочкина, В. А. Юшкевича и других.

Кстати сказать, здесь, под Смоленском, состоялось одно из первых боевых испытаний наших прославленных «катюш». «Новое оружие,— говорится в «Воспоминаниях»,— мы испытали под Рудней. 15 июля 1941 г. во второй половине дня непривычный рев реактивных мин потряс воздух... Эффект одновременного разрыва 320 мин в течение 26 секунд превзошел все ожидания. Солдаты противника в панике бросились бежать в тыл».

Подсчитывая свои потери в Смоленском сражении, гитлеровский генеральный штаб определил их в четверть миллиона солдат и офицеров. Сотни сожженных и разбитых боевых машин, весьма ощутительный урон в артиллерии, в стрелковом оружии и особенно в минометах, которые выводились из строя целыми батареями,— таковы были безотрадны для фашистов итоги боев под Смоленском. Они заставили гитлеровское командование изменить свои планы и начать лихорадочную переброску войск, подтягивание резервов. Офицеры и штабы были охвачены нервозностью. «Иными стали и приказы германского командования,— свидетельствует книга,— из них стали исчезать слова

Маршал Советского Союза А. И. Еременко На Западном направлении. Воспоминания о боевых действиях войск Западного, Брянского фронтов и 4-й ударной армии в первом периоде Великой Отечественной войны. Редактор полковник М. А. Алексеев. 192 стр. Воениздат. М. 1959.

«внезапность», «молниеносность». В последних приказах все чаще говорилось о потере, о бережном отношении к материальной части, об экономии горючего и боеприпасов. Командиров предупреждали, чтобы они не рассчитывали на прибытие танков и автомашин, на пополнение живой силой».

Заключая главу о боях под Смоленском, автор делает закономерный вывод: молниеносную войну, лежавшую в основе фашистской военной доктрины, советские воины своим героическим сопротивлением превратили в затяжную. Под Смоленском враг, неся огромные потери, вынужден был топтаться на месте почти в течение всего времени, которое было отведено пресловутым планом «Барбаросса» на всю войну против СССР.

В середине августа 1941 года автор «Воспоминаний», находящийся тогда в районе известной многим воинам Западного фронта так называемой Соловьевской переправы, был вызван в Ставку Верховного главнокомандования и получил назначение на пост командующего вновь организуемого Брянского фронта. На этот фронт возлагалась ответственная задача — прикрывать Московский стратегический район с юго-запада. «На Брянском направлении», — пояснил И. В. Сталин генералу А. И. Еременко, — действует танковая группа Гудериана, там будут происходить тяжелые бои...»

Эти бои разыгрывались под Карачевом и Фатежем, под Кромами, Льговом и Севском, под Новгородом-Северским, Трубчевском и Стародубом, на той древней русской земле, где еще восемь столетий назад происходила борьба русского народа с иноземными захватчиками, воспетая в «Слове о полку Игореве». Теперь вместо звона старинных мечей и посвиста стрел тут лязгали гусеницы гудериановских танков, гулко ухали артиллерийские орудия, раздавался дробный перестук автоматной и пулеметной стрельбы. Врагу, рвавшемуся на Брянск и Москву, были нанесены сильные удары.

Приведенный в «Воспоминаниях» богатый фактический материал, вплоть до ссылок на документы гитлеровского генерального штаба и свидетельства самого Гудериана, командовавшего наступающими на Брянском направлении фашистскими войсками, убедительно опровергают фальсификаторские утверждения многих зарубежных историков, говорящих о каких-то «котлах», в которые якобы попали наши крупные вой-

сковые группировки южнее и севернее Брянска, и о том, что, мол, еще в самых первых числах сентября Брянск был захвачен гудериановскими танками. На самом же деле в это время под ударами наших войск гитлеровцы, неся большие потери, откатились с занимаемых позиций и оказались в шестидесяти километрах от Брянска. А в последующем, когда значительно превосходящему в силах врагу удалось овладеть Брянском и Орлом, армии фронта организовано, нанося противнику большой урон, сумели выйти из оперативного окружения и, укрепившись на новых оборонительных рубежах, вновь преградить гитлеровцам дорогу к Москве.

Как во время боев на Западном фронте, так и под Брянском замечательное мастерство, мужество и отвагу показали многие советские воины и их командиры. Высоко оценивает автор действия частей и соединений, которыми руководили в те дни ныне Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, генералы А. М. Городнянский, Я. Г. Крейзер, А. С. Жадов, А. Н. Ермаков, полковник А. З. Акименко и многие другие военачальники. «Эти замечательные люди, — говорится в книге, — воспитанные нашей Коммунистической партией, в тяжелейшие дни начального периода войны свято и преданно выполняли свой долг перед Родиной. В невероятно сложной обстановке боевых действий с перевернутым фронтом, когда приходилось парировать удары с тыла и флангов, одновременно прорывая мощные заслоны врага и отбивая его лобовые и фланговые контрудары, они вывели войска из кольца окружения. При этом было проявлено много инициативы, упорства, воли к победе, искусства маневрирования, умения поднять моральный дух воинов действенной партийно-политической работой и личным примером. Все это укрепляло и цементировало дисциплину и порождало массовый героизм».

Героизм проявлялся всеми воинами, от рядовых бойцов до крупных военачальников. Они были смелыми, упорными и настойчивыми не только при управлении войсками в бою, но и тогда, когда складывавшаяся обстановка заставляла их самих братья за оружие. Именно так, например, получилось, когда на командный пункт штаба фронта неожиданно, двигаясь лесными дорогами, вышли фашистские танки и мотопехота. Автор «Воспоминаний», встав тогда

во главе небольшой группы солдат и офицеров, вступил в схватку с врагом. Выигравшая время для спасения оперативных документов, вдвоем с шофером А. А. Горлановым он открыл автоматный огонь по голове приближающейся мотоколонны гитлеровцев и задержал их до подхода подразделений, охранявших штаб.

В октябре 1941 года, находясь в расположении 269-й стрелковой дивизии, которая вела бой с противником, А. И. Еременко был тяжело ранен. После выздоровления, вступив в командование 4-й ударной армией Северо-Западного фронта, уже в начале 1942 года он руководил двумя крупными наступательными операциями — Торопецкой и Велижской, в результате которых наши войска за три недели боев продвинулись на 250—300 километров, освободили около трех тысяч населенных пунктов и нанесли серьезное поражение восьми вражеским дивизиям. Этим боям, в которых автор был вновь ранен, и посвящены заключительные главы его «Воспоминаний».

С немалым интересом прочтет читатель и те страницы книги, где прямо, без обиняков, вскрываются и некоторые причины наших первоначальных военных неудач и наиболее характерные недостатки в управлении войсками. Автор при этом высказывает критические замечания не только по поводу действий подчиненных ему частей или соседей, но и в адрес Ставки Верховного главнокомандования.

Книга «На Западном направлении», несмотря на некоторую загруженность наименованиями войсковых частей и местами сухость изложения (иногда язык живых воспоминаний подменяется языком оперсводок),

будет хорошо принята широкими кругами читателей. Ценность книги прежде всего в том, что она документальное свидетельство одного из тех советских полководцев, которым довелось в тяжелых сражениях добывать победу над сильным и коварным врагом, победу, на века прославившую советский народ. Особый интерес «Воспоминания» Маршала Советского Союза А. И. Еременко вызывают еще и тем, что они охватывают исключительно трудное фронтовое время лета и осени 1941 года, время, которое в значительной части нашей прежней военно-исторической литературы, пораженной культом личности, порою было представлено в несколько искаженном виде. И если, может быть, некоторые детали в новой книге о первых месяцах Великой Отечественной войны кажутся спорными и нуждаются в тех или иных уточнениях, то в целом она достаточно отчетливо и правдиво воссоздает картину того поистине героического времени.

Отзыв на книгу Героя Советского Союза А. И. Еременко хочется закончить пожеланием автору продолжить творческую работу над своими воспоминаниями о пройденном боевом пути не только на Западном направлении, но и на многих других фронтах Великой Отечественной войны. Воспоминания наших полководцев крайне нужны, и можно лишь пожелать, чтобы Военное издательство увеличило количество книг, рассказывающих о славе нашей Родины. Такие книги будут бесценным подспорьем в воспитании нашего молодого поколения, несущего дальше эстафету своих отцов.

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

★

Выдающийся революционер и публицист

Когда в марте 1912 года царской охранке удалось арестовать С. С. Спандаряна, известие об этом сильно встревожило Владимира Ильича Ленина. «В Париже жил отец Сурена,— вспоминает Н. К. Крупская.— Мы пошли с Ильичем к нему, чтобы поподробнее узнать об аресте сына. Отец Сурена, больной старик, жил одиноко и заброшенно, не было у него денег, не-

чем ему было даже заплатить за квартиру... А из Баку вести были нерадостные. Сурен сидел в очень тяжелых условиях, некому было о нем позаботиться. Когда пришли мы домой, Ильич тотчас написал письмо Воски (Воски Тер-Иоаннисян.— П. Ш.), прося позаботиться об обоих Спандарянах... Мы ему помогли небольшим займом».

О жизни и деятельности Сурена Спандаровича Спандаряна, человека, которого высоко ценил Ленин, называя его своим другом, достаточно полное представление

С. С. Спандарян. Статьи, письма и документы. Составитель Г. С. Анопин. 360 стр. Госполитиздат. М. 1958.

дает сборник его статей, писем и документов.

Литературно-публицистическая работа Спандаряна была органической, составной частью всей его революционной, партийно-организаторской деятельности. «Становитесь под знамя Ленина!» — таковы были последние слова Спандаряна, умершего в царской ссылке в 1916 году в возрасте всего лишь тридцати четырех лет. Он пронес их через всю свою жизнь как девиз, как клятву.

Глубокая идейность, четкая направленность и заостренность, воинствующая партийность отличали все выступления Сурена Спандаряна в печати. Особенно это относится к произведениям, посвященным исторической роли пролетариата и его революционной партии. «В рамках современного общества интересы и стремления пролетариата по своему объективному значению соответствуют общественному прогрессу, развитию всего человечества», — подчеркивал он в одной из своих статей, включенных в рецензируемый сборник. Спандарян внушал читателю веру в освободительную миссию рабочего класса, призванного создать и утвердить новый общественный строй.

Собранные в книге многочисленные работы Спандаряна позволяют судить о нем как о смелом и оригинальном публицисте. Его статьи воссоздают многие важнейшие черты эпохи подготовки пролетарской революции в России. Самые различные проблемы находили отражение в его трудах. Он писал о безработице, о рабочих профессиональных союзах, выступал на тему «самодержавие и крестьянство».

Яростные удары обрушивал Спандарян на оппортунистов и националистов, на всех тех, кто, говорил он, «разлагает революционные силы, разбивает их единство, становясь орудием в руках реакции». Выступая за сплочение рабочих под флагом ленинского интернационализма, Спандарян разоблачал всякие попытки националистов прикрыть социалистической фразеологией свои притязания на руководство рабочим классом.

Очень интересны высказывания Спандаряна по вопросам искусства, литературы, журналистики. С большим уважением отзывался он о Белинском, Герцене, Огареве, называя их «светочами русской жизни». Мы

находим у Спандаряна ценные мысли о творчестве многих писателей — Ф. Шиллера, Л. Толстого, М. Горького, Л. Андреева. В статье «Благородное негодование» Спандарян отстаивает ленинские идеи о литературе, ссылаясь на известные высказывания В. И. Ленина о Толстом. В этой полемически острой статье он подверг резкой критике буржуазную прессу, которая не видит в культуре человечества социальных противоречий, провозглашает внеклассовое искусство и подходит к оценке прошлого с космополитических позиций.

Изо дня в день вел Спандарян мужественную борьбу против реакционной печати, затемнявшей сознание рабочих. Разоблачая нравы, присущие капиталистической прессе, он призывал читателей «дезинфицировать воздух газетного мира».

В нашей исторической литературе еще не разработана тема «Спандарян — публицист». Но несомненно, что исследователь высоко оценит его незаурядный талант. Передовая статья и корреспонденция, обзор печати и театральная рецензия, пропагандистская статья и политический обзор, фельетон и полемическая заметка — во всех этих жанрах Спандарян явил запоминающиеся образцы публицистики, отличающиеся смелой постановкой вопроса и превосходной литературной формой. Он умел захватить читателя, взволновать его ярким образом, неожиданным и глубоким сопоставлением.

Включенные в сборник письма Спандаряна из ссылки дают обширный материал для более полного раскрытия образа выдающегося революционера и пламенного агитатора. Несмотря на тяжелейшие условия, он продолжал в Сибири работать, веря в победу идей ленинизма. «Настанет время, туман развеется, наступит час расплаты за море слез, за океаны крови, за миллионы загубленных жизней», — писал он из ссылки незадолго до смерти. Письма напоминают о еще одной важной черте, отличающей публицистику Спандаряна, — ее оптимизме.

Рецензируемая книга, в основу которой положен сборник произведений С. С. Спандаряна, вышедший в Ереване в 1940 году, имеет по сравнению с предшествующим изданием ряд достоинств. В ней строже отобраны материалы, включены новые письма и документы. С интересом читается вступительная статья Г. Акопяна.

Книга не свободна от некоторых ошибок и неточностей. В статье «Поиски «виноватого» Спандарян приводит сокращенное название одной бакинской газеты: «Пр. Вест.» и «Пром. Вест.». В книге это сокращение расшифровывается как «Промышленный вестник». Но такой орган печати никогда не издавался в Баку. Спандарян имел в виду «Промысловый вестник», меньшевистскую газету, выходящую в Баку в ноябре — декабре 1907 года и с марта по июль 1908 года. Кстати, о полном названии этой газеты можно узнать в статье Спандаряна «Вопль недовольных» (стр. 112).

В одних сносках перед фамилией Джапаридзе стоит инициал «А», в других — «П». При этом не сказано, что партийная кличка Прокофия Джапаридзе была «Алеша», и читатель может подумать, что речь идет о разных людях. Трудно разобраться в датах: они указаны то по новому, то по старому стилю. Примечания в книге в основном воспроизводят текст ереванского издания 1940 года, вплоть до... ошибок. Так, в сноске к странице 112 утверждается, что вопрос о созыве в Баку совещания рабочих с неф-

тепромышленниками возник в 1907 году. Правильнее было бы указать 1905 год, так как в ноябре 1907 года обсуждался вопрос уже о третьем совещании. Есть неточности и в других примечаниях.

Справочный аппарат книги следовало расширить, он беднее, чем в ереванском издании. В статье «Наброски из армянской жизни» встречаются имена: Спандар Спандарян, Лео, Калантар, Ерванд, Гр. Арцруни. Из них составитель счел нужным прокомментировать почему-то лишь первое и последнее. Современный читатель может не знать, что Кочегар, о котором Спандарян пишет в статье «Злобное бессилие», это псевдоним И. Шитикова (Самарцева), официального редактора-издателя большевистской газеты «Гудок». Есть и другие имена, встречающиеся в статьях Спандаряна и не получившие объяснения.

Все это говорит о том, что нужна была более тщательная подготовка к печати книги, представляющей собой ценный вклад в сокровищницу марксистской публицистики.

П. ШЕЛЕСТ.

★

Летопись русской печати

Изучение истории русской журналистики началось у нас уже довольно давно. Особенно усилилось оно в послевоенные годы. Были тщательно проанализированы отдельные периоды истории журналистики и некоторые периодические издания, прежде всего XVIII века и первой половины XIX века (из новейших работ обращает на себя внимание монография В. И. Кулешова «Отечественные записки» 40-х годов и русская литература», МГУ, 1958). Однако полная картина истории русской журналистики пока еще не нарисована.

Именно поэтому следует положительно оценить выпуск Госполитиздатом справочника «Русская периодическая печать». Регистрационное описание периодических изданий было предпринято еще в дореволюционные годы. Известная работа Н. Лисовского, зарегистрировавшая более двух тысяч изданий, до сих пор является настольной книгой каждого серьезного специалиста. Другие энтузиасты библиографического де-

ла стремились аннотировать периодические издания. Эта работа оказалась менее успешной.

С выходом рецензируемой книги исчезло одно из «белых пятен» в нашей библиографии и достигнут важный успех в изучении истории русской журналистики. Студенты и научные работники получили полезное пособие.

Но книга привлечет внимание и более широких кругов читателей. Она раскрывает культурные богатства прошлого, показывает рост демократической русской прессы. В отличие от Н. Лисовского составители не включили в справочник всякого рода богословские и узко специальные издания, но зато ввели альманахи и сборники, решавшие общественно-литературные задачи. Такой отбор вполне правомерен. В самом деле, трудно представить историю журналистики, скажем, двадцатых годов XIX века без декабристского альманаха «Полярная звезда». Составителями пересмотрено около двух тысяч газет и журналов и почти каждому органу дана краткая, но содержательная характеристика. Удовлетво-

ряет структура и композиция книги, ее научный аппарат. Хорошо подобраны иллюстрации. Чувствуется, что книга готовилась тщательно, с любовью.

Со временем может возникнуть потребность в переиздании книги. Поэтому хочется высказать сейчас и некоторые критические суждения об этом справочнике.

Прежде всего справочник не дает твердого решения вопроса об определении программы и идейной позиции периодического органа. Составители хорошо понимают, а автор предисловия особо подчеркивает, что о программе издания нельзя судить исключительно по анонсам и проспектам редакции, так же как не всегда можно ее выяснить по публицистическим статьям журнала или газеты: иногда социально-политические воззрения редакции выражаются в художественных произведениях. Это справедливое положение, и оно, разумеется, предостерегает прямолинейный подход к периодическому изданию.

И все-таки им нельзя ограничиться. Это становится особенно заметно после того, как автор предисловия проиллюстрировал свой тезис. Он сослался на «Отечественные записки» семидесятых годов, дав понять, что не в статьях публицистов, идеализировавших общину, а в беллетристических произведениях, рисовавших ее разложение, надо видеть истинную программу этого демократического журнала. Однако, думается, дело обстоит гораздо сложнее. Позиция «Отечественных записок» тех лет выражалась одновременно и в беллетристике и в публицистике и была весьма противоречивой.

Эту противоречивость, как известно, охарактеризовал В. И. Ленин, писавший о том, что «Отечественные записки» хотя и не умели понять антагонистичности русского общества, но сознавали ее и хотели бороться против организации общества, порождавшей антагонистичность. Сознавали, но не понимали. Как точно сказано! Вот ключ к познанию противоречивого мировоззрения публицистов и писателей прошлого столетия! Понятно, что чаще всего «осознание» проявлялось в конкретном изображении жизни, а «понимание» — в публицистических рассуждениях, носивших отвлеченный характер. Но «осознание» и «понимание» существовали не параллельно, а в сложном единстве. И это сложное единство надо видеть, говоря о позиции «Отечественных

записок» семидесятых годов. Составитель данного раздела не учел этого обстоятельства. Поэтому он, в сущности, и не определил программу журнала этого периода.

При этом, по установившейся в нашей научной литературе в недавнее время неверной точке зрения, Некрасов и Шедрин (которого Ленин называл писателем «старой» народнической демократии), возглавлявшие журнал, принципиально противопоставляются народничеству семидесятых годов, имевшему своих идеологов в «Отечественных записках». Общие для революционного народничества семидесятых годов и революционного демократизма идеологические установки в аннотации затушевываются, обходятся молчанием. Это несправедливо.

Как только составителям приходится говорить о публицистах, разделявших теорию общинного социализма, так им изменяет чувство объективности. Журнал П. Лаврова «Вперед», по мнению автора аннотации, выражал идеологию правого народничества, близкого к либерализму. «Общинник» Лавров в первой половине семидесятых годов оказался, в интерпретации составителей, идейно ниже Шелгунова, не испытывавшего иллюзий относительно общины. Но разве можно забывать о том, что Лавров в этот период верил в крестьянскую революцию, а Шелгунов сделал шаг назад от своих бывших революционных настроений? Разве можно забывать о том, что именно вера в общину как зародыш социализма поднимала тогда сотни революционеров на борьбу против самодержавия?

Было две тенденции в русском народничестве: демократическая и либеральная; журнал «Вперед» представлял первую, а вторую (так же и газета «Неделя» семидесятых годов и — что не отмечается автором — в конце шестидесятых годов).

В большинстве случаев составители, определяя позицию того или иного периодического издания, не ограничиваются простой констатацией, а убедительно аргументируют свое определение фактами, материалом.

Однако иногда авторы, к сожалению, отступают от этого хорошего правила. Вот примеры. Журнал «Время» назван органом «почвенничества», реакционного направления общественной мысли шестидесятых годов. Это, конечно, правильно. Но в чем видит автор реакционность журнала? В том,

что он был сторонником проводимых реформ, выступал против революционной демократии и ратовал за сближение образованных «верхних классов» с «почвой», с народом. Но почему это не либерализм? Что же касается «сближения» интеллигенции с народом, то за это боролись и передовые деятели тех лет. Следовательно, надо было объяснить специфически реакционный характер «почвеннического» понимания «сближения».

Выходивший на рубеже двух веков журнал «Мир божий» назван органом либерального направления. Но последующая характеристика материалов журнала никак не подтверждает такого определения. Автор пишет, что журнал вел борьбу с народничеством (понятно, либеральным) с позиций «легального марксизма», и это соответствует ленинской оценке журнала.

Непонятно, почему фельетоны и обзоры А. В. Дружинина, печатавшиеся в «Библиотеке для чтения», названы реакционными по своему содержанию, а не либеральными.

Общественные позиции журнала «Европеец», включенного Герценом в мартиролог русских периодических изданий, вообще не получили определения.

Перечисляя произведения беллетристического отдела «Русского вестника», нужно было назвать «Войну и мир» Л. Толстого

и сказать о конфликте писателя с Катковым из-за «Эпилога» «Анны Карениной». В разделе о «Москвитянине», говоря о славянофильских публицистах, составитель правильно подчеркивает их близость к теоретикам «официальной народности», выступавшим, в частности, против западноевропейской философии. В данном случае было важно отметить эклектизм теоретических воззрений славянофилов, их (как это ни парадоксально на первый взгляд) эпигонское следование идеалистическим концепциям западноевропейских философов (что впервые было отмечено Чернышевским).

Большинство критических замечаний в этой рецензии относится к разделам о журналистике середины и второй половины XIX века. Это не значит, однако, что эти разделы самые слабые. Напротив, в целом они (особенно те, что касаются середины века) содержательны и интересны. Но материалы журналов и газет этого периода очень сложны, и естественно, что здесь оказались неточности и упущения.

В итоге еще раз хочется подчеркнуть, что читатель получил нужную книгу. Это полезный библиографический труд, серьезный вклад в изучение истории русской журналистики.

Кандидат филологических наук
П. НИКОЛАЕВ.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. ФЕЙХТВАНГЕР НА ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИ ЦАГИ

В начале декабря 1936 года Лион Фейхтвангер приехал в Советский Союз.

Свои впечатления от этой поездки он, как известно, описал в книге очерков «Москва 1937».

Приезд Фейхтвангера был крупным событием в культурной и общественной жизни страны. Фейхтвангера встречали как писателя-антифашиста, поднявшего голос в защиту мировой культуры на Западе. Теплый и дружеский прием оказал ему москвичи на читательских конференциях, в клубах, на заводах.

Одна из таких встреч состоялась в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Еще задолго до приезда писателя в Москву сотрудники ЦАГИ послали Фейхтвангеру письмо, в котором приглашали его посетить их институт и присутствовать на читательской конференции, посвященной творчеству гостя.

В ответ на это письмо Фейхтвангер писал своей переводчице, передавшей ему приглашение: «Уважаемый друг. Сердечно благодарю за Ваше письмо и за письмо коллектива читателей, которое Вы нам переслали. Передайте, пожалуйста, всем подписавшимся мою большую благодарность. Я очень рад буду встретиться со всеми вами. Большой привет.

Лион Фейхтвангер».

28 декабря 1936 года Фейхтвангер встретился со своими читателями в ЦАГИ. Во вступительном слове писатель С. Третьяков, сопровождавший Фейхтвангера, сказал: «Лион Фейхтвангер — это не только крупнейший борец антифашистского фронта, это не только интереснейший исторический романист, это, быть может, один из очень немногих, если не первый, создатель германской прозы, которой, как вам известно, Германия, изобиловавшая

разными искусствами, похвалиться не могла».

Все выступавшие с глубокой заинтересованностью говорили о творчестве Фейхтвангера, художественном и общественно-политическом значении его романов. Вместе с тем они поделились своими мыслями о том, что казалось им непонятным, что вызывало порой недоумение, иногда возражения. Писателю были заданы многочисленные вопросы о некоторых персонажах его романов (в частности, о связи между героями романов «Еврей Зюсс» и «Семья Оппенгейм»), о методе работы писателя над историческими романами, о том, как он понимает роль и значение отдельных личностей в исторических событиях, о планах дальнейшей работы и так далее.

Фейхтвангер в своем выступлении стремился ответить на большинство вопросов. Ниже приводится выступление писателя, публикуемое по стенограмме перевода с необходимыми редакционными исправлениями. Думается, что этот документ представляет значительный интерес.

Стенограмма публикуется впервые. Материалы читательской конференции хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 114).

«Дорогие друзья и товарищи! Я не знаю, достаточно ли умно я делаю, выступая здесь с ответами на ваши вопросы.

Во-первых, надо сказать, что меня за эти три недели, в течение которых я нахожусь в Советском Союзе, столько чествовали, что чуть до смерти не зачествовали. Я устал, нахожусь, как говорится, не в форме и не совсем подготовлен к этому выступлению.

Во-вторых, я писатель, а не оратор.

В-третьих, еще Гёте дал писателям совет: «Художник, твори, но не говори».

Но все же разрешите мне ответить на ваши выступления и прежде всего на те, которые касаются моих исторических романов. В ваших выступлениях был такой вопрос: кем я в большей степени являюсь — историком или художником?

Хотя я в свое время очень серьезно занимался исторической наукой и имел ученую степень, но когда пришел Гитлер, он

меня этого звания лишил¹, и это, пожалуй, единственный пункт, в котором я с ним согласен, потому что я чувствую себя не столько историком, сколько художником.

В чем заключается разница между прежними историческими романами и моими?

Я в своих исторических романах никогда не стремился дать историческую картину данной эпохи, меньше всего в этих романах меня интересовала сама история. Вы могли заметить, что как в «Безобразной герцогине» (роман о XIV веке), так и в «Еврее Зюссе» (роман о XVIII веке) и в романе о I веке н. э.², я никогда не указывал никаких дат и не давал конкретной исторической обстановки. Очень часто я даже игнорировал историю, и моей задачей всегда было выразить мое мирозерцание в известном историческом аспекте и увязать этим данную историческую эпоху с современностью.

Итак, разница между моими историческими романами и прежними заключается в том, что я не подчеркиваю ни костюмы, ни историческую обстановку³.

Когда я учился в Баварской классической гимназии, нам история преподносилась в историческом разрезе, всё старались представить в очень благородной форме, в благородном виде, римляне были наряжены в героическую тогу, всё было очень пышно и полно декламации. Но когда я изучал

¹ В 1933 году, во время фашистского переворота в Германии, Л. Фейхтвангер находился в США. Его дом в Берлине был разгромлен фашистами в числе первых, имущество конфисковано. Его фамилия была опубликована в первом списке лиц, лишенных германского подданства, одновременно он был лишен и звания доктора философских наук.

² Имеется в виду роман «Иудейская война».

³ В этом высказывании Фейхтвангера о своем методе создания исторических романов отражены сильные и слабые стороны этого метода.

Он обращается к истории не для того, чтобы умиляться добрым старым временем, а для того, чтобы (по его собственному признанию) «дать то же содержание, что и в современных» романах.

Но во многом фейхтвангеровская теория исторического романа неверна. Раскрытие движущих сил и событий истории с позиций современности часто подменяется у Фейхтвангера произвольным перенесением конфликтов и проблем нашего времени в прошлое. И это в какой-то мере нарушает объективность повествования, правду истории.

Цицерона, мне попало на глаза одно его письмо, которое бросило очень яркий свет на историю совсем не в том разрезе, в каком она обычно преподносилась. Это письмо Цицерона к жене, где он писал: «Я завтра приеду домой, узнай, исправлена ли ванна; если не исправлена, то позаботься, чтобы она была исправлена. Приеду вечером. Цицерон».

Теперь об отдельных моих книгах.

Начнем с «Безобразной герцогини». Что касается меня, то я эту книгу ценю меньше всех других книг; если она даже в художественном отношении довольно удачна, то по внутреннему ее смыслу и содержанию я ее ставлю ниже других.

Мне тут был задан такой вопрос — сложилась ли бы судьба немецких габсбургских государств иначе, если бы владелица этих стран, «безобразная герцогиня», не была столь безобразной. Этот вопрос давно волнует историю. Вопрос о том, сложилась ли бы история Египта иначе, если бы у Клеопатры нос был длиннее, задавался уже неоднократно. Конечно, было бы смешно ставить историю в зависимость от судьбы и внешности отдельного лица. Но все-таки я считаю, что определенное влияние внешность человека, в особенности если это женщина, могла иметь. В данном случае «безобразная герцогиня», если бы она была не столь безобразной, может быть, не приложила бы столько усилий, чтобы развить свои таланты, и, таким образом, может быть, действительно несколько иначе сложилась бы судьба подвластных ей стран.

Мне представляется довольно трудным отвести те возражения, которые были сделаны против моей книги «Еврей Зюсс».

Во-первых, я эту книгу люблю больше своих других книг, она мне ближе, и, во-вторых, отвечать здесь гораздо сложнее.

В свое время, когда эта книга была написана, она вызвала много возражений и дискуссий. Говорили, что не может быть, чтобы кто-нибудь сейчас заинтересовался историей XVIII века, и я в течение двух лет не мог найти издателя для этого романа.

Перейду к отдельным образам книги — к ростовщику Ландау.

Меня упрекнули, что я изобразил его не без сочувствия. Я, к сожалению, этому не могу помочь: действительно, я испытывал к нему сочувствие и сделал разницу

между этим представителем XVIII века и остальными представителями.

Здесь говорили о совпадении фамилий еврея Зюсса и позднейших героев книги «Семья Оппенгейм». Спрашивали: существует ли между ними связь, потому что Зюсс был Оппенгеймер? Надо сказать, что никакой связи нет.

Что же касается истории заглавия «Семья Оппенгейм», то я о ней расскажу, когда коснусь этой книги.

Очень трудно защищать кабалиста Магуса. Может быть, я сегодня иначе описал бы его, чем это сделал первоначально. Но я постараюсь это объяснить.

Этот кабалист относится к эпохе Сведенборга¹. Это была эпоха, когда многие люди верили в такие вещи, как ясновидение, и даже Кант допускал возможность ясновидения, когда говорил о человеке, который рассказывал о пожаре, происходившем в это время за двести километров от данного места.

Не приходится говорить, что сам я не верю в возможность чудес. Но мой кабалист в такую свою способность совершать чудеса верил.

Магус был необходим для этого романа. Чтобы это объяснить, скажу, в чем я вижу главную идею этого романа. Я хотел изобразить человека, который вначале является носителем большой активности и который постепенно, под влиянием ряда событий, развертывающихся в романе, переходит к полнейшей пассивности, к полнейшему непротивлению.

Я хотел показать человека, который стоит между двумя мирами: активным миром Европы и миром пассивности, миром непротивления—Азией. Еврея я выбрал потому, что мне кажется, что еврейская нация стоит на рубеже двух миров, на рубеже между Европой и Азией.

Может быть, вы сочтете все мои рассуждения заумными и вычурными, но, во всяком случае, мне так казалось.

Теперь перейду к своим двум современным романам.

Прежде всего о «Семье Оппенгейм». Расскажу историю заглавия этого романа, которая имеет внешний характер. Надо сказать, что первоначально я дал этой книге название «Семья Опперман». Фамилию

Опперман я выбрал потому, что фамилия Оппенгейм чисто еврейская, а мне именно хотелось подчеркнуть, что семья эта настолько сроднилась с немецкой средой, что даже фамилия была не чисто еврейской. Однако, когда этот роман был набран в Голландии на немецком языке, один немец по фамилии Опперман, являвшийся конкурентом моего брата по роду занятий, обратился ко мне с угрожающим письмом и заявил, что если я не перестану позорить его честное немецкое имя и не перемену заглавия романа, то он меня засадит в концентрационный лагерь.

Так как принципиально особых возражений у меня не было, то с этим изменением я согласился, и немецкое издание вышло под названием «Семья Оппенгейм». Русский перевод был сделан с этого издания, и в Советском Союзе роман получил такое же название. Во всех остальных изданиях роман выходит под названием «Семья Опперман»...

Что касается самого романа, то я жалею, что его в Советском Союзе так высоко ценят. Я сам далеко не такого высокого мнения об этой книге. Я считаю, что в художественном отношении она удалась мне меньше других. Это произошло потому, что мне не терпелось изобразить гитлеровскую эпоху, я торопился, и роман был написан наспех.

Основным недостатком романа я считаю то, что развитие действия в нем идет двумя параллельными линиями: история Густава слабо, не органически связана с историей остальной семьи Оппенгейм. Это произошло потому, что Густав должен был явиться героем отдельной книги. Этот образ был написан с Ратенау¹, поэтому связь его с семьей Оппенгейм оказалась очень ненадежной. Густав получился не на уровне средней немецкой семьи, которая изображена в романе.

Мне очень хотелось поскорее добиться политического эффекта написанием этой книги. Я считаю, что, может быть, политического эффекта я и добился, но это произошло в ущерб художественной ценности романа.

¹ Ратенау Вальтер (1867—1922) — германский буржуазный политический деятель. Был сторонником установления нормальных отношений с Советским государством. Убит в июне 1922 года участниками националистической организации «Консул».

¹ Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский мистик и теософ.

А теперь относительно «Успеха».

Меня упрекали, что таких коммунистов, как Каспар Прекль, не бывает. Но он списан с живого человека. Товарищ Третьяков, который знаком с прототипом Прекля, может подтвердить это¹. К сожалению, я могу писать только то, что вижу и что есть в действительности, а не то, что я хотел бы видеть.

Что касается Иоганны, то мне жаль, что она не понравилась, ее я буду защищать зубами и когтями, потому что я ее очень люблю и мне она очень дорога. Правда, она порой продает себя, но это ничего не значит, все-таки она хорошая.

Весь роман в целом — это только первая часть большой трагедии. Первая часть охватывает период с двадцать первого по двадцать четвертый год. Вторая часть еще будет писаться. Это будет роман об эми-

¹ С. Третьяков в своем кратком выступлении на вечере встречи подтвердил слова Л. Фейхтвангера: «Относительно коммуниста Прекля я могу сказать, что прототипом для этого образа явился очень крупный писатель Бертольт Брехт».

Дело в том, что Бертольт Брехт переживал переход, я бы сказал, от анархически настроенного интеллигента-социалиста к коммунизму, он переживает его еще и сейчас. Он идет очень сложным путем. Учитывая это объективное обстоятельство (хотя это не совсем в духе большевиков — прятаться за объективные обстоятельства, но так и быть, пойдем на эту уступку), а именно то, что под рукой у Фейхтвангера не оказалось более коммунистически настроенного коммуниста, мы ему простим».

грации, о наших днях¹. А третья часть будет написана с положительным концом, как просили здесь читатели.

Порукой за благополучное написание этого романа с положительным концом является мое пребывание в СССР. Я считаю, что самое большое и самое ценное, что я привезу с собой из Советского Союза, — это возможность написать такой роман с положительным концом».

После выступления Л. Фейхтвангера представитель коллектива ЦАГИ выразил благодарность писателю за его творческий вклад в дело борьбы против фашизма и преподнес ему на память об этой встрече модель самолета «АНТ-25».

В заключительном слове Фейхтвангер сказал:

«Товарищи, то, что вы сравниваете мою работу с вашей, для меня является самым лестным и самым почетным из всего, что я слышал о себе в Советском Союзе. Благодарю вас».

Позднее писатель в интервью с корреспондентом «Литературной газеты» заявил:

«Я искренне счастлив, что мое творчество встречает здесь такой горячий отклик... Как память об этих интересных встречах и спорах, я увезу с собой из СССР вот эту чудесную вещь, подаренную мне работниками ЦАГИ».

Вяч. НЕЧАЕВ.

¹ Имеется в виду роман «Изгнание», написанный Л. Фейхтвангером в 1939 году.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Ю. МОРАЛЕВИЧ. Великое семилетие. Госполитиздат. М. 1959. 240 стр. Цена 3 р.

Подзаголовок этой книги гласит: «Книга для чтения о семилетнем плане». Разделы книги знакомят с поистине грандиозным развитием, которое получают в семилетии важнейшие отрасли народного хозяйства нашей страны: энергетика, металлургия, химия, сельское хозяйство, строительная индустрия, транспорт. В книге немало цифр и диаграмм, органически связанных с текстом. Изложение отличается живостью.

Автор рассказывает: «Когда Чернышевскому, находившемуся в царской ссылке, принесли чайную ложку из поразительно легкого серебристого металла и сказали, что этот металл получен из глины, Чернышевский воскликнул в волнении:

— Этому металлу суждено великое будущее. Перед вами, друзья, металл социализма».

Глава об алюминии так и названа: «Металл социализма».

Фотографии, помещенные в книге, немало теряют из-за плохой бумаги.

А. ПЛОНСКИЙ. Наука, мир, коммунизм. Госполитиздат. М. 1959. 152 стр. Цена 1 р. 75 к.

Наука, мир, коммунизм... Эти три высоких слова неразрывно связаны в сознании нашего народа. Каждый новый крупный успех советской науки — а они стремительно следуют один за другим — содействует укреплению мира во всем мире, приближает светлую эру коммунизма.

Книга А. Плонского совсем недавно увидела свет, и все же ее раздел «Человек и Вселенная» кажется написанным довольно давно: советский «лунник» и третья космическая ракета успели уже совершить свой победный полет. Впрочем, этот раздел знакомит и с будущим науки, предвосхищая, в частности, путь человека к звездам.

Конечно, основное внимание автора уделено нашей планете, точнее, нашей стране, успешно осуществляющей семилетний план. Читатель узнает немало интересного и поучительного из разделов «Энергия мира и созидания», «На столбовой дороге технического прогресса», «Химия — советскому человеку».

В заключение автор рассказывает о задачах, стоящих перед различными областями социалистической науки, которую вооду-

шевляет благородная цель — одержать победу в мирном соревновании с капитализмом.

Г. ГЛЕЗЕРМАН. Будущее, которое начинается сегодня. «Молодая гвардия». М. 1959. 136 стр. Цена 1 р. 95 к.

В своей новой книге доктор философских наук. Г. Е. Глезерман рассказывает об основных чертах коммунизма и о его ростках, уже наглядно заметных в советской действительности. «Коммунизм для нас уже не отдаленная цель, — пишет он, — его контуры и черты ясно проступают во всей нашей повседневной созидательной работе, подобно тому как из-за строительных лесов виднеются очертания величественного здания».

В период развернутого строительства коммунистического общества нашему народу предстоит решить ряд сложных задач, обеспечивая переход к высшей фазе коммунизма. И эта задача будет решена тем успешнее, чем больше людей сможет отчетливо представить себе теоретическую сторону этой проблемы. Такой цели служит издаваемая «Молодой гвардией» библиотечка «Молодому строителю коммунизма», в которую входит аннотируемая книга.

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. (Сборник статей). Воениздат. М. 1959. 336 стр. Цена 6 р. 30 к.

За последние годы на Западе вышло множество книг, посвященных второй мировой войне. Общей для этих книг чертой является то, что их авторы — буржуазные историки — сплошь и рядом беззастенчиво искажают и подтасовывают факты, тщетно стремясь умалить заслуги советского народа и его Вооруженных Сил в деле разгрома германского фашизма и японского милитаризма.

Целью настоящего сборника, в котором участвуют четырнадцать советских военных историков, является восстановление истинного хода войны и причин ее возникновения.

Статьи сборника (некоторые из них были опубликованы в печати, но для этого издания переработаны) охватывают широкий круг вопросов и разоблачают домыслы буржуазных историков, маневры западногерманских реваншистов.

Книга окажет помощь нашим пропагандистам, преподавателям и лекторам и явится вкладом в борьбу против новой войны, неуклонно проводимую Советским Союзом

Т. РОЖНЯТОВСКИЙ и З. ЖУЛТОВСКИЙ. Биологическая война. Угроза и действительность. Перевод с польского. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 331 стр. Цена 8 р. 15 к.

Вряд ли основатели микробиологии, о которых с признательностью вспоминает все человечество, могли допустить мысль о том, что их великие открытия попытаются использовать не для спасения людей, а для их умерщвления. Между тем на Западе публикуются все новые данные о «достижениях» в области подготовки биологической войны (отличающейся от бактериологической тем, что она использует в качестве поражающих средств не только болезнетворные микробы, но и насекомых, а также растительные вещества, которые могут вызвать быструю гибель фауны).

Специфичность биологического оружия состоит в возможности проводить испытания в глубокой тайне. Трофейные материалы, захваченные Советской Армией после разгрома гитлеровской Германии и империалистической Японии, располагавшей смертоносными лабораториями, помогли раскрыть планы врагов человечества. Но грозная опасность продолжает существовать. Бактериологическое оружие использовали интервенты во время войны в Корее. Обстоятельная работа польских эпидемиологов Т. Рожнятовского и З. Жултковского напоминает миролюбивым народам о подстерегающей их опасности.

Книга содержит очерки истории биологической войны, обзор болезней человека, которые западные «теоретики» считают пригодными для диверсионного распространения через воздух, воду, пищу или насекомых. Заключительная глава посвящена средствам обороны в биологической войне.

Л. ОСТРОВЕР. Ипполит Мышкин. «Молодая гвардия». М. 1959. 240 стр. Цена 5 р. 20 к.

В серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Ипполита Никитича Мышкина — одного из видных представителей революционного движения семидесятых годов прошлого века. В. И. Ленин высоко ценил его, ставил в один ряд с П. Алексеевым, С. Халтуриним и А. Желябовым.

Автор книги внимательно проследил весь жизненный путь И. Мышкина, убедительно показал, что привело этого «солдатского сына» в ряды борцов за народное дело, подробно осветил наиболее значительные эпизоды его революционной деятельности: организацию нелегальной типографии в Москве, смелую попытку освобождения Чернышевского из вильюского заточения, неоднократные побеги с царской каторги.

Славу талантливого политического оратора создала И. Мышкину его замечательная речь на «процессе 193-х», а также речь

в тюремной церкви над гробом погибшего революционера Дмоховского, которая заканчивалась словами: «На почве, удобренной кровью таких борцов, как ты, дорогой товарищ, расцветет дерево свободы». До последних минут своей рано оборвавшейся жизни сохранил И. Мышкин твердую убежденность в победе того дела, которому он так беззаветно служил. «Верю, — писал он перед казнью, — новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись и гибли».

Наш молодой читатель с интересом и пользой прочтет книгу об одном из славных борцов революции, подготовивших победу Великому Октябрю.

Н. ПАНИЕВ. Человеку 150 лет. Повесть о Махмуде Эйвазове. «Молодая гвардия». М. 1959. 238 стр. Цена 5 р. 55 к.

Жизнь, продолжающаяся вот уже полтора века... Кого не привлечет, не заинтересует рассказ об этой удивительной жизни? Повесть бакинского журналиста Николая Паниева, посвященная одному из старейших граждан нашей страны — жителю высокогорного азербайджанского села Пирассуры Махмуду Эйвазову, — во многом удовлетворяет этот интерес. В этой художественно-документальной повести прослежена жизнь Эйвазова с тех далеких времен, когда в начале XIX века первые русские появились в горах Талыша и один из них, врач и поэт Александр Алмазов, спас жизнь новорожденного Махмуда, до самых последних дней, принесши старому Махмуду орден Трудового Красного Знамени, всеююзную славу и почет. Наиболее интересна книга своей документальной частью, где автор, не увлекаясь, как в других главах, беллетризацией во что бы то ни стало, просто и увлекательно рассказывает о «секретах» долголетия, утраченной работоспособности и завидного здоровья старейшего должителя Советского Союза.

Л. БЕЛОВ, В. КАСТОРСКИЙ, И. СОКОЛОВ. Галич. (К 800-летию города Галича). Костромское книжное издательство. 1959. 144 стр. Цена 3 р. 60 к.

На географической карте нашей страны Галич, районный центр Костромской области, обозначен маленькой точкой. Но этот городок с населением в шестнадцать тысяч человек — ровесник Москвы и имеет богатое прошлое. Сборник содержит очерки по истории Галича от древности до наших дней, о культуре и быте района, его сельском хозяйстве и промышленности.

Особый интерес представляет глава «Выдающиеся люди галичского края». Читатель найдет здесь короткие справки о знаменитых ученых, уроженцах Галича (включая лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда физика Б. П. Константинова), о литераторах Аблесимове и Свиньине, художнике Топорове, замечательном большевике Долматове и о многих других галичанах.

В конце книги дан краткий указатель литературы о городе.

Н. ДОЛИНИНА. Мои ученики и их родители. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1959. 94 стр. Цена 1 р. 50 к.

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни...» Эти слова А. С. Макаренко ленинградская учительница Наталья Долинина избрала эпиграфом к своей книге очерков. Каждый из них написан строго и ясно, без ненужного украшательства и в то же время без навязчивой назидательности (чем грешат порой иные педагогические произведения, рассчитанные на массового читателя).

О чем же эти очерки? О «трудных» детях и о «троечниках», о доверии ученика к учителю и о взаимоотношениях мачехи с падчерицей, о том, что такое настоящая родительская любовь, и о многих конфликтах и случаях, повседневно возникающих в жизни семьи и школы.

ДЖОН О. КИЛЛЕНС. Молодая кровь. Роман. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 576 стр. Цена 15 р. 35 к.

Это роман об американо-американских неграх, и написан он молодым негритянским писателем. Лори, Джо, Роб, Дженни Ли — члены семьи Янгблад, их друзья и товарищи по работе и школе — люди нашего времени. Они не хотят больше быть покорными и безответными. Для них имя «дяди Тома» — героя известной книги Бичер-Стоу — стало презрительной кличкой, клеймящей тех, кто рабски ждет, когда ему подбросят жалкую кость с господского стола.

Роман рассказывает о том, как американские негры собирают силы для организованного отпора массовой и изощренной дискриминации. «Молодая кровь» — это не только фамилия семейства Янгблад, гордых и по своему смелых людей, но и символ нового поколения, которое не желает мириться с прежними нормами жизни. И хотя старший Янгблад гибнет в борьбе с белыми расистами, но слова его: «Когда-то мне казалось, что жизнь наша безнадежна, что это уже конец, но теперь я знаю, что это лишь начало! Шагайте, дети, вместе!» — звучат как завещание, как наказ молодым.

Предисловие к книге написал Поль Робсон.

Н. Г. ПОСПЕЛОВА. Алжир. Экономико-политический очерк. Соцэкгиз. М. 1959. 106 стр. Цена 1 р. 45 к.

В редком номере нынешних газет отсутствует упоминание об Алжире. Уже свыше

четырёх лет передовые люди всех стран с глубоким сочувствием следят за мужественной борьбой алжирского народа против французских колонизаторов. Эту войну в Алжире, уносящую множество жизней и огромные государственные средства во имя баснословных прибылей монополий, французский народ назвал «грязной войной».

Из книги Н. Г. Поспеловой читатель узнает о населении Алжира, его этническом составе и классово-социальной структуре, о том, как страна закабалена французскими колонизаторами, и о неизбежных последствиях закабаления: о слабости промышленности и о все растущем дефиците внешней торговли.

Специальная глава отведена рассказу о политической системе угнетения, в основу которой положен принцип насильственной «ассимиляции».

Последняя глава рассказывает о национально-освободительном движении алжирского народа.

Г. И. ЛЕВИНСОН. Филиппины вчера и сегодня. Соцэкгиз. М. 1959. 240 стр. Цена 5 р. 15 к.

23 сентября 1945 года улицы Манилы увидели мощную народную демонстрацию. Ее участники несли транспаранты с надписью: «Президент Трумэн, дайте нам независимость!»

Это справедливое требование филиппинского народа не удовлетворено и до сегодняшнего дня. Хотя Соединенные Штаты в результате национально-освободительного движения вынуждены были в 1946 году предоставить Филиппинам независимость, на деле она оказалась фикцией. По-прежнему США контролируют как внешнюю, так и внутреннюю политику страны, и «независимые» Филиппины остаются в тисках американских монополистов.

Но свободолюбивый филиппинский народ не смирился с этим положением. Он хочет сам управлять своей страной, хочет жить в мире и дружбе с народами других стран, поэтому он продолжает вести борьбу за свою национальную независимость.

В книге «Филиппины вчера и сегодня» рассказывается о жизни страны с 1941 по 1957 год. Книга является продолжением ранее опубликованной работы того же автора — «Филиппины между первой и второй мировыми войнами». Автором привлечены многочисленные источники: официальная статистика, законодательные и дипломатические акты, выступления государственных и общественных деятелей, периодическая печать на многих языках.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 24—29 июня 1959 г. Стенографический отчет. 832 стр. Цена 13 р.

КПСС о работе Советов. Сборник документов. 688 стр. Цена 11 р. 20 к.

Н. С. Хрущев. Воля народов всех стран — обеспечить мир во всем мире. Речь на митинге в станице Вешенской Ростовской области 30 августа 1959 года. 32 стр. Цена 25 к.

Н. С. Хрущев. О мирном сосуществовании. 32 стр. Цена 25 к.

Поль Гольбах. Карманное богословие или краткий словарь христианской религии, написанный аббатом Вернье, лицензиатом богословия. 208 стр. Цена 3 р.

Л. И. Любошиц. Общие и специфические экономические законы. 200 стр. Цена 2 р. 50 к.

Е. Л. Маневич. Жизненный уровень советского народа. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

Международный политико-экономический ежегодник. 1959. 752 стр. Цена 18 р.

Наш друг Китай. Словарь-справочник. 632 стр. Цена 15 р. 50 к.

XI съезд Коммунистической партии Чехословакии. Прага, 18—21 июня 1958 года. 268 стр. Цена 5 р. 30 к.

С. Г. Струмилин. Очерки социалистической экономики СССР (1929—1959 гг.). 420 стр. Цена 9 р. 20 к.

Пальмиро Тольятти. Итальянская коммунистическая партия. 116 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ш. Я. Турецкий. Очерки планового ценообразования в СССР. 500 стр. Цена 13 р.

С. Хейнман. Как буржуазные экономисты «сражаются» с советскими темпами. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

Цзэнь Вэнь-цзин. Социалистическая индустриализация Китая. 384 стр. Цена 7 р. 25 к.

А. Ф. Шишкин. Из истории этических учений. 344 стр. Цена 5 р. 50 к.

СОЦЭКГИЗ

Ян Боднар. О современной философии США. 248 стр. Цена 6 р. 20 к.

Ван Я-нань. Исследование экономических форм полуфеодального, полукOLONиального Китая. 396 стр. Цена 13 р. 55 к.

Избранные произведения болгарских революционных демократов. 668 стр. Цена 16 р. 30 к.

Е. А. Коровин. Основные проблемы современных международных отношений. 220 стр. Цена 6 р. 70 к.

Крестьянское движение в России в 1890—1900 гг. Сборник документов. 752 стр. Цена 13 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Балдано. Избранное. Пьесы. Перевод с бурятского. 356 стр. Цена 5 р. 50 к.

Б. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика. 320 стр. Цена 8 р. 35 к.

В. Вальбе. А. П. Чаплыгин. Критико-биографический очерк. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

Л. Волинский. Высокий берег. Рассказы. 297 стр. Цена 5 р. 15 к.

О. Гончар. Перекоп. Роман. Перевод с украинского. 443 стр. Цена 8 р. 40 к.

А. Григорьев. Избранные произведения. 604 стр. Цена 17 р. 75 к.

Б. Губер. Бабье лето. Рассказы. 259 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Дельвиг. Полное собрание стихотворений. 372 стр. Цена 7 р. 80 к.

М. Зингер. Ходили мы походами. Повести, рассказы, очерки. 472 стр. Цена 7 р. 50 к.

Л. Ленч. В таком разрезе. Избранное. 480 стр. Цена 8 р.

На Дальнем Востоке. Сборник. 475 стр. Цена 8 р. 50 к.

Революционная поэзия (1890—1917 гг.) 612 стр. Цена 5 р. 85 к.

М. Танк. Восток зарей пылает. Стихи. Перевод с белорусского. 44 стр. Цена 50 к.

Х. Тапалцян. Золотая долина. Роман. Перевод с армянского. 619 стр. Цена 10 р. 70 к.

Н. Яновский. Л. Н. Сейфуллина. Критико-биографический очерк. 177 стр. Цена 3 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Димитр Ангелов. Не на жизнь, а на смерть. Роман. Перевод с болгарского. 456 стр. Цена 13 р. 90 к.

Бехар. Стихотворения. Перевод с персидского. 224 стр. Цена 4 р. 40 к.

Рудольф Блауман. Избранное. Перевод с латышского. 680 стр. Цена 9 р. 85 к.

Томас Гарди. Повести и рассказы. Перевод с английского. 367 стр. Цена 6 р. 50 к.

Т. Мотылева. Творчество Ромена Роллана. 487 стр. Цена 12 р.

Проблемы реализма в мировой литературе. (Материалы дискуссии о реализме в мировой литературе 12—18 апреля 1957 г.). 636 стр. Цена 15 р. 10 к.

Турецкие народные сказки. Перевод с турецкого. 240 стр. Цена 3 р.

Лион Фейхтвангер. Лисы в винограднике. Перевод с немецкого. 696 стр. Цена 15 р. 35 к.

Ж. Фревилль. Тяжелый хлеб. Роман. Перевод с французского. 280 стр. Цена 4 р. 45 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Алексеев. Сын великана. Повесть. 159 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Астафьева. Девчата. Стихи. 112 стр. Цена 2 р. 65 к.

М. Ефетов. Ветер в лицо. Рассказы. 221 стр. Цена 4 р. 75 к.

М. Кратохвилл. Ян Гус. 176 стр. Цена 4 р. 40 к.

С. Наумов. Плечо товарища. Рассказы. 191 стр. Цена 4 р. 20 к.

М. Сергеев. Прощальный вечер. Рассказы. 255 стр. Цена 5 р. 10 к.

Ю. Семенов. Дипломатический агент. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 70 к.

Н. Тарасенкова. Через лес. Рассказы. 176 стр. Цена 4 р. 10 к.

Т. Тэру. Волк. Роман. Перевод с японского. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

Чжан Мэн-лян. Годы бедствий. Повесть. Перевод с китайского. 303 стр. Цена 6 р. 75 к.

ДЕТГИЗ

А. Алексин. Говорит седьмой этаж. 304 стр. Цена 6 р.

В. Глущенко. Крайняя точка. 152 стр. Цена 3 р.

С. Голицын. Сорок изыскателей. Повесть. 208 стр. Цена 4 р. 75 к.

К. Домбровский. Внимание... съемка! Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 60 к.

А. Дорохов. Как гайка толкнула грузовик. 56 стр. Цена 4 р. 40 к.

Я. Перельман. Занимательные задачи и опыты. 528 стр. Цена 10 р.

Подлиза. Польские рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 70 к.

О. Секора. Погода в картинках. Перевод с чешского. 24 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Сепеш. Маленькая Панны на Балатоне. Перевод с венгерского. 48 стр. Цена 2 р. 90 к.

Сказки народов Азии. 440 стр. Цена 15 р. 25 к.

Скандинавские сказания о богах и героях. 240 стр. Цена 5 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Игорь Балза. История чешской музыкальной культуры. Том I, 331 стр. Цена 19 р. 75 к.

Л. В. Канторович. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. 344 стр. Цена 13 р. 80 к.

В. А. Ковда. Очерки природы и почв Китая. 456 стр. Цена 31 р. 90 к.

А. Н. Несмеянов. Избранные труды. Том I, 712 стр. Цена 35 р.

О. Н. Писаржевский. Дмитрий Иванович Менделеев. 1834—1907. 391 стр. Цена 11 р. 90 к.

А. Б. Ранович. О раннем христианстве. 524 стр. Цена 18 р. 80 к.

Славянский архив. Сборник статей и материалов. 355 стр. Цена 14 р. 10 к.

Философские вопросы современной философии. 427 стр. Цена 15 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Бузург ибн Шахрияр. Чудеса Индии. Перевод с арабского. 132 стр. Цена 4 р. 50 к.

С. А. Воеводин, А. М. Круглов. Социалистическое преобразование капиталистической промышленности и торговли в КНР. 165 стр. Цена 7 р.

А. Г. Мазаев. Аграрная реформа в Демократической Республике Вьетнам. 145 стр. Цена 4 р. 20 к.

Монгольский сборник. Экономика, история, археология. 202 стр. Цена 9 р. 60 к.

Страны и народы Востока. География, этнография, история. Выпуск I. 354 стр. Цена 20 р. 80 к.

Ф. И. Шабшина. Очерки новейшей истории Кореи. 1918—1945. 276 стр. Цена 10 р. 50 к.

В. М. Штейн. Гуань-цзы. Исследование и перевод. 380 стр. Цена 17 р. 50 к.

Японская литература. Исследование и материалы. 236 стр. Цена 12 р.

ГЕОГРАФИЗ

Я. М. Бергер. Китай. 112 стр. Цена 2 р.
Коллектив авторов. Климат Антарктики. 286 стр. Цена 11 р. 50 к.

Коллектив авторов. На самой южной земле. 470 стр. Цена 11 р. 55 к.

Г. Г. Сочевко. Вьетнам. 150 стр. Цена 6 р.

И. С. Шукин, О. Е. Шукина. Жизнь гор. 286 стр. Цена 9 р. 40 к.

А. Л. Ященко. Путешествие по Австралии. 200 стр. Цена 5 р. 65 к.

МЕДГИЗ

И. Н. Агапкин, М. И. Багаева. Туберкулез кожи. 224 стр. Цена 7 р. 10 к.

Н. И. Гращенков. Роль В. М. Бехтерева в развитии отечественной неврологии. 44 стр. Цена 1 р. 10 к.

Р. Б. Давыдов, В. П. Соколовский. Молоко в питании человека. 172 стр. Цена 5 р. 90 к.

М. Л. Зильбергольц. Рентгенотерапия в дерматологии. 164 стр. Цена 5 р. 15 к.

Е. В. Зубкова. Краткий словарь клинических терминов. 128 стр. Цена 4 р. 75 к.

Мать и дитя. 156 стр. Цена 4 р. 70 к.

В. И. Разумовский. Избранные труды 384 стр. Цена 18 р. 35 к.

А. И. Штенберг. Основы рационального питания. 152 стр. Цена 3 р. 85 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

И. А. Богачик. Основные элементы системы земледелия и их экономическая эффективность. 93 стр. Цена 1 р. 25 к.

И. Д. Брауде. Закрепление и освоение оврагов, балок и крутых склонов. 280 стр. Цена 4 р. 80 к.

А. С. Всяких. Наследственность и управление ею при разведении животных. 206 стр. Цена 4 р. 40 к.

З. И. Журбицкий. Удобрение кукурузы за рубежом. 184 стр. Цена 2 р. 80 к.

Справочник ветеринарного санитаря. 422 стр. Цена 6 р. 50 к.

Лесоводство и агролесомелиорация. 325 стр. Цена 12 р. 65 к.

К. А. Охалкин. Оплата труда в колхозах 171 стр. Цена 2 р. 30 к.

Справочник зоотехника нечерноземной полосы СССР. 560 стр. Цена 12 р. 85 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Я. Борисов, Л. Н. Гореватый. Пособия рабочим и служащим по временной нетрудоспособности (в вопросах и ответах). 100 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Герцензон. Об основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Ю. Гольдштейн, В. С. Коротков. Рабочее время и время отдыха рабочих и служащих в СССР. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Я. Дорохов, В. С. Николаев. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. 236 стр. Цена 7 р. 35 к.

А. С. Кауфман. Государственный строй Бирмы. 84 стр. Цена 95 к.

И. Ф. Панкратов. Правовые формы ответственности должностных лиц колхозов. 200 стр. Цена 5 р. 50 к.

В. И. Попова. Работа местных Советов депутатов трудящихся по обеспечению социалистической законности. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 15/IX 1959 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/X-59 г.
А 08076 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум л — 24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 1838.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.